UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00322571 1

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/alymech00gipp

182
Gippius, Zinaida Nikolaevna
(40)
8081
70146

АЛЫЙ МЕЧЬ

Alyĭ mech

РАЗСКАЗЫ

ЗИНАИДЫ ГИППІУСЪ

М. В. ПИРОЖКОВЪ

Спб., В. О., Большой пр., д. 6

(„Литературная Книжная Лавка")

ИЗДАТЕЛЬСТВО и КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ

I. Историческій отдѣлъ

Батюшковъ, Ѳ. Д.

В. Г. Короленко, какъ человѣкъ и писатель, по его произведеніямъ. Съ портретами и иллюстраціями (№ 13) [печатается].

Богучарскій, В.

Изъ прошлаго русскаго общества. Съ 6 портретами. Спб. 1904 г. 2 р. (№ 4).

Бороздинъ, А. К.

Литературныя характеристики. Девятнадцатый вѣкъ (№ 1).

Томъ I. Съ 8 портретами. Спб. 1903 г. 1 р. 75 к.

Томъ II. Съ 18 портретами. Вып. I. Съ 13 портретами. Спб. 1905 г. 1 р. 75 к.—Вып. II. Съ 5 портретами [печатается].

Брюкнеръ, А.

Исторія польской литературы (№ 18) [печатается].

Буркгардтъ, Яковъ.

Культура Италіи въ эпоху Возрожденія. Перев. съ нѣм. *С. Бриліанта*, съ 8-го изданія, переработаннаго Людвигомъ Гейгеромъ. Въ 2 тт. Спб. 1906 г. Ц. за оба тома 5 р. (№ 7).

Вандаль, Альбертъ.

Возвышеніе Бонапарта. I. Происхожденіе брюмерскаго консульства. Конституція III года. Переводъ съ XI-го франц. изд. *З. Н. Журавской*. Спб. 1905 г. 2 р. (№ 16).

Каутскій, Карлъ.

Томасъ Моръ и его Утопія. Переводъ съ нѣм. *М. А.* и *А. Г. Генкель*. Спб. 1905 г. 1 р. 25 к. (№ 14).

Лемке, Мих.

Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX столѣтія. Съ 19 портретами и 81 каррикатурою. Спб. 1904 г. 3 р. (№ 2).

Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—65 годовъ. Съ 4 портретами. Спб. 1904 г. 3 р. (№ 3).

Милюковъ, П.

Государственное хозяйство Россіи въ первой четверти XVIII столѣтія и реформа Петра Великаго. 2-е изд. Спб. 1905 г. 3 р. 50 к. (№ 5).

Никитенко, А. В.

Моя повѣсть о самомъ себѣ и о томъ, „чему свидѣтель въ жизни былъ". Записки и дневникъ (1804—1877 гг.). Съ портретомъ автора. Изданіе 2-е, исправленное и дополненное *по рукописи* подъ редакціей, съ примѣчаніями и алфавитнымъ указателемъ *М. К. Лемке*. Въ двухъ томахъ. Спб. 1905 г. Ц. за оба тома 7 р. (№ 12).

Общественныя движенія въ Россіи въ первую половину XIX вѣка (№ 11)

Томъ I. Декабристы: М. А. Фонъ-Визинъ, кн. Е. П. Оболенскій и бар. В. М. Штейнгель (статьи и матеріалы). Составили: *В. И. Семевскій*, *В. Богучарскій* и *П. Е. Щеголевъ*. Съ 3 геліогравюрами. Спб. 1905 г. 5 р.

Выписывающіе изъ Склада за пересылку не платятъ.—Каталогъ высылается за 7-микоп. марку по первому требованію.

PG
3460
G5A58
1906a

LIBRARY
FEB 28 1966
UNIVERSITY OF TORONTO

1053186

Gippius, Zinaida Nikolaevna

З. Н. ГИППІУСЪ

Alyĭ mech

АЛЫЙ МЕЧЪ

Разсказы

(4-ая книга)

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе М. В. Пирожкова
1906

ОГЛАВЛЕНІЕ

	СТРАН.
Алый мечъ	1— 65
Небесныя слова	67—117
Законъ	119—155
Сумасшедшая	157—197
Вымыселъ (вечерній разсказъ)	199—233
Босякъ	235—272
Внѣ времени (старый этюдъ)	273—301
Въ четвергъ	303—314
Все къ худу	315—328
Тварь (ночная идиллія)	329—348
Свѣтлое озеро (дневникъ)	349—419
Suor Maria	421—480

АЛЫЙ МЕЧЪ

I

Дрезденъ, 17 января 1900

„Люся, дорогая моя дѣвочка! До послѣдняго дня боялся написать, но теперь напишу, теперь ужъ, кажется, вѣрно,—ѣду въ Россію! Алеша со мной, конечно. Голубчикъ, душа у меня плачетъ отъ радости, какъ подумаю, что скоро тебя увижу,—послѣ двухъ лѣтъ самой безсмысленной разлуки... (прости, ты знаешь, я такъ именно думаю). И всѣ недоразумѣнія кончатся. Что намъ играть въ прятки, сестренка! Были между нами недоразумѣнія, были. Развѣ эти два года—не недоразумѣніе? Развѣ письма твои ко мнѣ и къ Алешѣ—не недоразумѣніе? Развѣ то, что я ничего не знаю о тебѣ,—ни о твоей внутренней, ни даже о твоей внѣшней жизни—не самое ужасное, нелѣпое недоразумѣніе? Мы три года жили всѣ вмѣстѣ заграницей, у насъ была общая работа, общія мысли, общія надежды; тѣмъ драгоцѣннѣе это было, что мы все таки—три разныхъ человѣка, съ различными душами. И ты не могла не знать, какъ ты намъ была нужна, и даже не намъ, а этимъ нашимъ общимъ мыслямъ и надеждамъ. Милая, когда я смотрю на твою громадную, неоконченную статую, (она въ Алешиной мастерской)—я вѣрю, что могъ бы создать храмъ, достойный этого Бога; но тебя нѣтъ, и я теряю

половину моей силы. Помнишь, какъ ты спорила съ Алешей? Алеша—живописецъ, но вы, въ сущности, такъ близки: у него тусклыя, странныя краски, онъ весь—въ чертахъ и формахъ. Художникъ, скульпторъ и архитекторъ, слитые, свитые, какъ мы были—не есть-ли это драгоцѣнный даръ небесъ, соединеніе, дающее право бытія самымъ дерзкимъ надеждамъ? Ты знаешь, какъ я вѣрю въ Алешу; я вѣрилъ и въ себя, и въ мое искусство; въ тебя? не хочу и повторять... Но вотъ, все оборвалось. Съ тобой—точно камень вынули изъ основанія нашего дворца.

Я до сихъ поръ не знаю, и не понимаю хорошенько, зачѣмъ ты уѣхала а, главное, почему не возвратилась черезъ мѣсяцъ, какъ было рѣшено. Ну, уѣхала ты потому, что мужъ твой умеръ, потому что мать мужа заболѣла и звала тебя. Но съ мужемъ ты разошлась давно, мать его, Вѣра Васильевна, никогда не была тебѣ особенно близка. Дѣла затянулись? Но въ мѣсяцъ-два все таки можно было ихъ кончить. Вѣра Васильевна не выздоровѣла вполнѣ: но развѣ некому ходить за ней? Она не одна, при ней второй сынъ и дочь—дѣвушка. Что же случилось? Ты никогда не писала мнѣ опредѣленно, какъ живешь въ Петербургѣ, надъ чѣмъ работаешь теперь. Только разъ, полуслучайно, вскользь, выбранила насъ мечтателями, созерцателями, сказала, что мы жизни не знаемъ, а жизнь проще, суровѣе, и необходимѣе, чѣмъ ты думала. Милая! Ну, конечно, мы мечтатели и не умѣемъ жить,—но развѣ уже не много то, что мы это сознали, и даже мечтаньямъ нашимъ *хотимъ* придать самую реальную форму, воплотить ихъ,—сообразно нашимъ способностямъ и силамъ? Но нельзя отрекаться и отъ своего перваго свойства—созерцанія. Знаешь, было бы хорошо, еслибъ была та-

кая молитва: Господи, Ты, Кто владѣешь жизнью моей! Духъ невѣрія, самоневѣрія, раздѣленности, одиночества—не дай мнѣ; духъ-же созерцанія и дѣянія, разумѣнія, чувствованія и тишины—подай мнѣ, человѣку Твоему...

Прости, милая, ты не любишь длинныхъ писемъ (оттого, можетъ, и о себѣ не писала?), а я совсѣмъ съ тобой заговорился. И о нашемъ пріѣздѣ ничего путемъ не сказалъ. Пора, пора домой! Мы оба поняли, что здѣсь намъ больше не для чего оставаться, что надо домой, въ Россію, надо тамъ учиться и тамъ работать, ибо все ученье и вся работа въ сущности были для нея-же. Слышала-ли ты, что въ N* предвидятся работы по возстановленію стариннаго храма? Поѣду сначала въ Петербургъ, потомъ туда, можетъ быть найдется работа и для меня. Вотъ необходимая намъ школа. Мнѣ писали, что кое-что возможно устроить. Это, вѣдь, не сейчасъ, успѣемъ многое увидѣть, освѣжить, понять. Алеша, конечно, со мною, и ты съ нами. Какъ Алеша, будучи живописцемъ, близокъ тебѣ, скульптору,—такъ ты, въ сущности, близка мнѣ, входишь въ меня, въ архитектуру. Да, Люся милая, мы тѣмъ и можемъ быть сильны, что мы, въ спеціальномъ смыслѣ слова, не скульпторы, не архитекторы, не живописцы, и даже не художники, не только художники, не помѣщаемся мы въ рамкахъ „чистаго“ искусства... просто чортъ насъ знаетъ, что мы такое, а возможно, что и сила.

Ну, жури брата за продерзостныя слова! А все таки вѣрь во всѣхъ насъ.

Ты меня не баловала. Алешѣ же и вовсе перестала писать. А вѣдь онъ тебя любитъ... не меньше, чѣмъ я, хотя, конечно, и не такъ, какъ я. Да что теперь объ этомъ! Скоро, скоро увидимся! Гдѣ намъ остановиться?

Я совсѣмъ отвыкъ отъ Петербурга, ничего не знаю. Не приготовишь ли намъ помѣщенія, если тебѣ не трудно? Еще успѣешь написать сюда строчку. О днѣ и часѣ прибытія телеграфируемъ. Позаботься о твоихъ нежизненныхъ братѣ и другѣ и прости ихъ безпомощность. Люся, дѣтка моя, неужели увижу тебя наконецъ? И вѣрю, и не вѣрю...

Твой Ѳедя.

На это письмо Ѳедоръ Анатоліевичъ Бѣляевъ получилъ отъ сестры отвѣтъ очень скоро.

СПБ. 19 $\frac{21}{XII}$ 00

Дорогой Ѳедя.

Очень рада, что ты и Алексѣй Ивановичъ пріѣзжаете въ Петербургъ. Комнаты я вамъ возьму на Владимірской, д. 31, кв. 13. Проѣзжайте туда прямо. О днѣ пріѣзда прошу телеграфировать. Длинное письмо твое прочла съ большимъ удовольствіемъ, спасибо, во многомъ оно меня душевно задѣло. До скораго свиданія. Обнимаю тебя.

Любящая тебя сестра Люся.

II

Путешественники,—Ѳедоръ Анатоліевичъ Бѣляевъ и другъ его, Алексѣй Ивановичъ Новиковъ,—пріѣхали въ Петербургъ рано утромъ. Былъ конецъ января, дни свѣтлѣли, морозило не сильно.

— Она не поѣдетъ такую рань на вокзалъ, Алеша,— говорилъ Бѣляевъ.—Да оно и лучше. Умоемся, отдохнемъ, позавтракаемъ—она придетъ.

На вокзалѣ ихъ, дѣйствительно, никто не встрѣтилъ.

Справившись съ багажомъ, друзья сѣли въ санки и поѣхали на Владимірскую.

— Ничуть не измѣнилась наша сѣверная столица за эти годы,—съ легкой брезгливостью сказалъ Новиковъ.—Тѣ же плоскія улицы, желтыя казармы, грязный снѣгъ, да скука...

Бѣляевъ взглянулъ на него строго.

— Не хорошо встрѣчаешь родину, Алеша. Вѣдь это все равно, еслибъ ты матери сказалъ послѣ разлуки: „а ты такъ и не похорошѣла! Старуха безобразная“.

— Ну, прости. Не буду. Воздержусь. Хотя ты, Ѳедя, для меня слишкомъ сантименталенъ.

Бѣляевъ улыбнулся и ничего не отвѣтилъ. Ему было холодно въ заграничномъ пальто, но весело, и Петербургу онъ былъ радъ. Онъ сбоку поглядывалъ на своего пріятеля, ему хотѣлось, чтобы и онъ радовался. Алексѣй Новиковъ былъ довольно красивъ. Ему шелъ уже двадцать девятый годъ, но въ чертахъ его осталось что-то не то юношеское, не то женственное; зеленоватые глаза онъ щурилъ, лицо у него было смуглое, блѣдное, узкое, черная узкая бородка не кудрявилась. Слишкомъ маленькій ротъ подъ незакрывавшими его усами складывался иногда въ капризную, брезгливую улыбку, но въ тонкихъ бровяхъ лежала почти непріятная серьезность. Бѣляевъ былъ старше, полнѣе, плотнѣе; золотистая борода—окладистѣе, взглядъ—живѣе и добрѣе. Въ нихъ обоихъ было что-то останавливающее вниманіе, особенно когда они были вмѣстѣ.

— Знаешь, Алеша, я замерзъ. А ты? Да вотъ, кажется... стой, здѣсь, пріѣхали!

— Домъ довольно непріятный,—сказалъ Алеша,—выходя.

Внутри домъ оказался еще непріятнѣе. Квартира но-

меръ тринадцатый—была просто меблированныя комнаты, грязноватыя. Люся взяла имъ два номера рядомъ, одинаковые, маленькіе и узкіе.

— Что это, правда, за конуры? заворчалъ и веселый Бѣляевъ.—Ужъ была-ли тутъ Люся? Положимъ, мы потомъ сами поищемъ, да первое-то впечатлѣніе, жалко, будетъ скверное.

Къ счастью, нашлись двѣ другія комнаты, почище, на улицу, спальня съ двумя постелями и довольно просторный, хотя скучный, „салонъ".

Друзья спросили кофе и принялись устраиваться.

— Мы все таки здѣсь не останемся,—говорилъ Алеша.— Я эту улицу терпѣть не могу. Найдемъ квартирку гдѣнибудь на Сергіевской, на Шпалерной... Я жилъ на Шпалерной.

— Да, пожалуй, придется. Раньше Пасхи, то-есть начала апрѣля, врядъ-ли выберемся изъ Петербурга. А не сидѣть же сложа руки. Намъ и свѣтъ небесный нуженъ.

Къ завтраку никто не пришелъ. Рядомъ, за стѣной, пробило два, потомъ три часа.

— Однако, твоя сестрица не очень спѣшитъ увидать насъ,—сказалъ Новиковъ.—И долго-ли намъ дожидаться ея въ этомъ подземельи? Пройтись хоть по улицѣ.

— Какъ ты дурно сказалъ, Алеша! Не люблю твоего тона. Просто, не получила телеграммы. Подождемъ до четырехъ, а потомъ отправимся къ ней. Я потому не хотѣлъ итти къ ней съ самаго начала, что она живетъ не одна, съ этой Вѣрой Васильевной, Вѣра же Васильевна больная... До четырехъ подождемъ, Алеша...

Какъ разъ въ эту минуту дверь отворилась и въ комнату вошла, почти вбѣжала, молодая женщина въ черномъ.

— Не надо ждать до четырехъ, Ѳедя, потому что я уже пришла. Заждались? Сердились?

Она весело закинула руки, обняла и поцѣловала брата.

— Здравствуйте, Алексѣй Ивановичъ.

Новиковъ подошелъ къ ней и, казалось, оба они одно мгновенье были въ нерѣшимости, не поцѣловаться-ли имъ. Но тотчасъ же она протянула ему руку, безъ перчатки, которую онъ и поцѣловалъ.

— Ну, рада вамъ, мои милые,—говорила Люся, снимая шляпу и усаживаясь.—Батюшки, какъ Ѳедя потолстѣлъ! Алеша все такой-же, прибавила она съ ласковой обмолвкой.

— Какія ты намъ, однако, палаты приготовила...

— А что? Недоволенъ? Не все ли равно! То-то я вижу, вы перемѣнили. Давайте чаю спросимъ, потолкуемъ. Давно не видались. Отвыкли, я думаю, другъ отъ друга.

Она говорила много въ эту первую минуту свиданья, но видно было, что она вообще не говорлива и сдержанна.

— Дай посмотрѣть на себя, сказалъ Бѣляевъ, подходя къ ней.—Ничего. Ничего. Похудѣла немножко. И прическа другая, глаже. Еще больше на Алешу стала походить.

Люся усмѣхнулась. Она была красива, гораздо красивѣе Алеши, хотя, дѣйствительно, въ ихъ лицахъ было что-то общее. Всякій скорѣе принялъ бы ее за сестру Новикова, чѣмъ Бѣляева. Узкое, смуглое лицо, всѣ черты—узкія и прямыя; маленькій ротъ; только глаза у нея были другіе, свѣтло-сѣрые и прозрачные. Темные волнистые волосы, не очень густые, ложились ровно вдоль худенькихъ щекъ.

Принесли большой мутный самоваръ и стаканы.

— Я буду хозяйничать, вы—гостья, сказалъ Нови-

ковъ и ловко сталъ распоряжаться съ чаемъ, отъ котораго, впрочемъ, отвыкъ заграницей.

Ѳедоръ Анатоліевичъ сѣлъ рядомъ съ сестрой и не спускалъ съ нея пристальнаго и добраго взгляда.

— Какъ-же ты живешь, Люся?—спросилъ онъ серьезно.—Отчего не пришла утромъ?

— Я занята была до трехъ.

— Занята? Ты много работаешь? Хорошая у тебя мастерская?

— У меня нѣтъ мастерской.

— Какъ нѣтъ? Ты лѣпишь у себя?

— Ахъ, да нѣтъ!—сказала Люся устало, поднялась и прошлась по комнатѣ. Лицо у нея сдѣлалось непріятное, застывшее. Потомъ она повернулась и произнесла съ нѣкоторымъ усиліемъ веселости:

— Узнаю тебя! Съ первой минуты—допросъ! Что, какъ, гдѣ... Впрочемъ, еслибы не ты,—допросъ началъ бы Алексѣй Ивановичъ. Онъ ужъ совсѣмъ дѣловитый мечтатель. А на меня ваша дѣловитость дурно дѣйствуетъ. Мнѣ отрадно было итти къ вамъ, хотѣлось поговорить о чемъ-то совсѣмъ иномъ, не о васъ и не о себѣ, о далекомъ, о безполезномъ... А вы...

— Люся, Богъ съ тобой! Не ты-ли упрекала насъ въ томъ, что мы жизни не любимъ? И говоришь такъ, точно ты въ театръ шла, посмотрѣть на насъ. Точно ты не наша, не мы-же...

— Ну, все равно. Прости,—сказала Люся.—Ты знаешь, мнѣ всегда было скучно говорить о себѣ. Но теперь, конечно, надо. Я ни о чемъ не писала. Простите, Алексѣй Ивановичъ, дорогой,—и вамъ не писала. Словомъ—вотъ что: я бросила скульптуру.

— Ты? Нѣтъ, Люся, это вздоръ. Я не вѣрю.

— Не вѣрь, пожалуй. Однако это такъ.

— Можно узнать, почему?—спросилъ Новиковъ.

— Алексѣй Ивановичъ, прошу васъ, безъ ироніи. Я ея не выношу. Я оставила искусство потому, что... во первыхъ... я бездарна...

— Давно васъ сталъ занимать этотъ вопросъ?— сказалъ опять Новиковъ.

Но Люся продолжала, не слушая:

— Я бездарна,—по всѣмъ вѣроятіямъ; я жила странно, жила „мимо" жизни,—понимаете? углубленная въ себя, только съ собой да съ вами, не видя, какъ живутъ и страдаютъ рядомъ другіе; а ихъ такъ много! И страдаютъ они просто, и помогать имъ нужно просто, сейчасъ, сію минуту, чѣмъ можешь, реально... Нужны ли имъ мои, можетъ быть еще бездарныя, статуи? А коечто другое отъ меня имъ нужно. И лучше понять это во-время, лучше пойти въ чернорабочіе, дѣлать, что можешь,—чѣмъ упиваться мечтами и любоваться своими произведеніями... искусства. Я женщина,—и я не глупа. Мнѣ нуженъ былъ внутренній толчокъ, чтобы понять, гдѣ мое мѣсто. И я поняла, что мое мѣсто—черная, упорная, простая работа въ жизни, а не заоблачныя мечтанья въ искусствѣ.

Она перевела духъ. Ѳедоръ Анатоліевичъ глядѣлъ на нее въ изумленіи. Новиковъ всталъ.

— Это, конечно, приговоръ и намъ, Елена Дмитріевна,—сказалъ онъ. —То есть, вы думаете, что это и нашъ приговоръ.

— Постой, постой, Алеша,—вмѣшался Бѣляевъ.—Мы отвыкли другъ отъ друга, мы не понимаемъ, мало знаемъ... Люся, дѣвочка моя дорогая, вѣдь мы любимъ тебя, разскажи намъ попросту, что случилось, что ты дѣлаешь, какъ живешь. Мы рады понять тебя. Развѣ не вѣришь, что я люблю тебя, сестренка? Вся ты мнѣ

мила, ручки твои узкія люблю, и рѣсницы, и черный завитокъ около уха... Ты сердишься?

Люся поблѣднѣла и улыбнулась. Помолчавъ, она проговорила виновато:

— Да, конечно, мы отвыкли другъ отъ друга. Я васъ понимаю, но захотите ли вы меня понять? А разсказывать почти нечего...

Она разсказала, немногословно и почти сухо, что живетъ тамъ же, съ матерью покойнаго мужа, съ его сестрой и братомъ, Антономъ Семеновичемъ Меньшинымъ. Антонъ Семеновичъ, филологъ, не остался при университетѣ, а открылъ не такъ давно школу, изъ которой думаетъ впослѣдствіи сдѣлать образцовое учебное заведеніе, новое и живое. Тутъ же основанъ журналъ для юношества, который ведется тоже Антономъ Семеновичемъ.

— Журналъ нашъ—очень интересное дѣло, широко поставленное. Для юношества—но въ сущности онъ имѣетъ общеобразовательный характеръ. Развѣ все наше общество не юно?

— Ты говоришь—„нашъ“ журналъ, Люся,—перебилъ ее Бѣляевъ.- Ты тоже тамъ участвуешь?

— Приходится работать. Что могу. Иногда пишу замѣтки; роюсь въ книгахъ. И Тоня пишетъ мало, онъ только ведетъ дѣло. Въ школѣ же я преподаю рисованіе. У меня только что былъ урокъ... Оттого я опоздала къ вамъ немного.

Бѣляевъ глядѣлъ на Люсю и растерянно молчалъ. Наконецъ, произнесъ неловко:

— Такъ ты много работаешь, моя дѣвочка? Вотъ и похудѣла. Ну хорошо, хорошо...

Люся нетерпѣливо усмѣхнулась.

— Ахъ, Боже мой, какъ это скучно! Ѳедя, сдѣлай

милость, не смотри на меня такими глазами! Почему самыя простыя вещи тебѣ кажутся ужасными? Алексѣй Ивановичъ въ молчаливомъ негодованіи... Знаете, тутъ есть какая-то изломанность. Вы негодуете — на что? Смѣшно сказать! Или не хорошо дѣлать дѣло, которое нужно всѣмъ, важно, полезно, и которое интересуетъ?

— Нѣтъ, не то,—тихо произнесъ Новиковъ. — Мнѣ только странно... Вы—и точно не вы.

— Плохо знали меня, вотъ и все!

И Люся поднялась, разсмѣявшись.

— До свиданья, мнѣ пора. Приходите вечеромъ оба ко мнѣ. Я сегодня свободнѣе.

— Люся, постой,—сказалъ Бѣляевъ.—Постой, скажи: ну а то дѣло, наше, о которомъ мы вмѣстѣ, втроемъ, думали, — оно развѣ не „всѣмъ нужное"? И не самое первое, не прежде всѣхъ дѣлъ, не самое всѣмъ нужное? Помнишь, мы...

— Ахъ, помню, помню! Ради Бога, Ѳедя! Потомъ поговоримъ! И постараемся понять другъ друга. Потомъ, пожалуйста!

У нея сжались губы, лицо поблѣднѣло. Бѣляевъ замолкъ.

Когда друзья остались одни, Ѳедоръ Анатоліевичъ робко посмотрѣлъ на Алексѣя.

— Что это?—произнесъ онъ.—Мнѣ все кажется, что я съума сошелъ. Право, мы съ тобой сумасшедшіе. Я въ нее—вижу теперь — больше, чѣмъ въ себя и тебя вѣрилъ. И вѣрю. Какъ же такъ?

— Не знаю, что тебѣ сказать, другъ,—отозвался Новиковъ.—Подожди. Узнаемъ. Посмотримъ.

III

Бѣляевъ и Новиковъ нашли себѣ квартиру на тихой Кирочной улицѣ, три громадныя, пустоватыя комнаты съ длинными окнами, въ первомъ этажѣ. Всякими практическими дѣлами завѣдывалъ Алексѣй Ивановичъ. Хотя и у него нерѣдко выходила путаница, но такъ ужъ повелось, что и квартиры нанималъ, и деньгами общими распоряжался именно Алексѣй Ивановичъ.

Теперь же, послѣ свиданія съ сестрой и неожиданнаго разговора—Бѣляевъ совсѣмъ растерялся. Онъ разсчитывалъ, что въ Петербургѣ они поселятся вмѣстѣ, какъ жили заграницей, до весны, — а потомъ поѣдутъ вмѣстѣ въ N, работать. Новиковъ отнесся къ дѣлу мирно.

— Зачѣмъ тревожить Елену Анатоліевну?—Тамъ, къ веснѣ, все опредѣлится. Пока же станемъ работать, у меня столько эскизовъ неконченныхъ. Хлопоты предстоятъ: вѣдь очень бы хотѣлось, чтобы намъ дѣйствительно поручили какія нибудь работы по возстановленію N-скаго собора. Можно, конечно, и такъ поѣхать, да и не только въ N,—но лучше бы взглянуть на дѣло ближе, серьезнѣе. Намъ такая школа нужна.

Алексѣй Ивановичъ кончилъ петербургскую Академію и сохранилъ кое-какія связи. Онъ принялся хлопотать. Бѣляевъ засѣлъ за довольно скучные проэкты и планы—парижскій заказъ, который надо было кончить къ веснѣ.

Вечерами друзья сидѣли одни. Люся приходила рѣдко и, послѣ того перваго раза, она точно избѣгала разговоровъ по душѣ. Такъ все и лежало между ними невыясненнымъ, непонятнымъ. Бывали друзья и у нея; но

тамъ, въ редакціи, тѣснилось столько народу, что и вовсе разговаривать было нельзя.

Въ одинъ темный и мокрый вечеръ, уже въ февралѣ Бѣляевъ предложилъ Алексѣю Ивановичу навѣстить Люсю.

— Цѣлую недѣлю не видались. Здорова-ли?

Въ редакціи все было совершенно какъ всегда. Громадная, низковатая и темноватая комната; посерединѣ— длинный чайный столъ. Квартира была большая, но сидѣли всегда въ первой комнатѣ. Народъ приходилъ и уходилъ. Худыя, пожилыя дамы въ черныхъ платьяхъ, молодые субъекты въ тужуркахъ съ кожанными поясами, критики, профессоръ, преподаватели...

Алексѣй Ивановичъ и Бѣляевъ сѣли на концѣ стола, около Мери, которая разливала чай. Мери была молоденькая, черномазая курсистка, сестра Антона Семеновича Меньшина, директора и основателя школы, редактора юношескаго журнала.

Молодой, веселый и увѣренный голосъ Меньшина еще раздавался въ сосѣдней комнатѣ; черезъ минуту онъ вошелъ въ столовую, шумно поздоровался съ Бѣляевымъ и Алексѣемъ Ивановичемъ и сѣлъ на свое мѣсто, рядомъ съ Люсей, на другомъ концѣ стола.

На Меньшина отрадно было смотрѣть. Живой, молодой, весь какой-то внутренно упругій, безъ тѣни сомнѣнія въ правильности всего, что онъ дѣлалъ, каждаго своего движенія или слова,—онъ казался успокоительнымъ и совершеннымъ. Мыслей у него, вѣроятно, и не было никакихъ, потому что онѣ естественно и тотчасъ же претворялись въ дѣйствія. Если онъ говорилъ о томъ, что нужно сдѣлать, то выходило всякій разъ, что это ужъ и дѣлалось. Возраженія онъ выслушивалъ, но врядъ ли ихъ слышалъ, да ему рѣдко кто и возражалъ: несо-

гласные съ нимъ отъ него отставали, вѣроятно,—потому что несогласныхъ около него не было. Да и какъ то тянуло быть съ нимъ согласнымъ, не думать, а дѣлать то̀, что онъ, съ такой ясной увѣренностью, дѣлалъ. Его любила самая строптивая молодежь, хотя онъ далеко не былъ „крайнимъ",—вѣдь „крайность" не воплотима, а всѣ убѣжденія Меньшина безпрерывно вливались у него въ соотвѣтственныя жизненныя формы. И это было хорошо, и успокаивало, и давало отраду.

И наружность Антона Семеновича была соотвѣтственная. Онъ отнюдь не походилъ на мрачныхъ, непричесанныхъ и грубыхъ „честныхъ дѣятелей" прошлаго столѣтія. Это была совсѣмъ новая „свѣтлая личность". Здоровое, пріятное, широкое лицо, бритое, какъ у актера, волна золотистыхъ волосъ надо лбомъ, увѣренная складка дѣтски-припухлыхъ губъ,—и такой весь крѣпкій, хорошій, вымытый, веселый. Отъ бодрости его и другимъ становилось весело. Онъ казался немного избалованнымъ, да его, вѣроятно, и баловали, нехотя. Одна Люся говорила съ нимъ немного капризнымъ тономъ.

Тотчасъ же онъ сталъ разсказывать что-то интересное о школѣ, о томъ. какъ пріѣзжалъ попечитель. Говорилъ громко, громко смѣялся. Всѣ слушали во внимательномъ молчаніи. Вдругъ Меньшинъ перебилъ себя.

— Люся, а ты сдѣлала, что я просилъ? Исправила замѣтку?

— Я?.. Вотъ Тихонъ Ивановичъ сдѣлаетъ...

Тихонъ Ивановичъ Лосевъ, милый человѣкъ съ бородкой, худощавый и синеглазый, внимательнѣе и благоговѣйнѣе другихъ смотрѣвшій на Люсю и Меньшина, вдругъ вспыхнулъ:

— А что же вы сами, Елена Анатоліевна? Это странно. Я готовъ,—но вѣдь я не съумѣю...

— Ничего, она сдѣлаетъ завтра,—спокойно сказалъ Меньшинъ.—А вы, Тихонъ Ивановичъ, завтра лучше за образцами съѣздите.

Мери, полускрытая самоваромъ, тихонько сказала Бѣляеву.

— Знаете, Люся удивительная помощница Тонѣ! Мы ее бранимъ, что она лѣнится, а, въ сущности, они двое только и работаютъ. Тоня —по натурѣ иниціаторъ, у него все кипитъ, но помощники и ему нужны.

Алексѣй Ивановичъ услышалъ и сказалъ, тоже не громко:

— Я давно знаю Елену Анатоліевну и никогда не подозрѣвалъ въ ней педагогическихъ способностей.

Мери улыбнулась.

— Да и мы сначала не подозрѣвали. Она пріѣхала изъ-за границы совсѣмъ другая. Тоня, да и мы всѣ, смотрѣли на нее иначе—художница, скульпторъ... Что-то чуждое. А потомъ настоящее дѣло ее захватило. Мы очень рады за нее.

— И я радъ, если она довольна,—проговорилъ Бѣляевъ.

Мери опять усмѣхнулась.

— Ну, вы-то не рады,—сказала она не безъ лукавства.—Я знаю, вы и вашъ пріятель осуждаете ее за то, что она бросила свою скульптуру. Вы—художники, мечтатели, для васъ выше искусства ничего нѣтъ. На практическое дѣло вы всегда будете смотрѣть съ нѣкоторымъ презрѣніемъ.

Алексѣй Ивановичъ сказалъ съ серьезной искренностью:

— Нѣтъ, Марья Семеновна, дѣло ваше, и школа, и журналъ, — хорошее дѣло. Да вопросъ не въ этомъ... Скажите, вы видѣли какія-нибудь скульптурныя работы Елены Анатоліевны?

— Видѣла... что-то такое.

Разговоръ ихъ сталъ громче. Люся къ нему уже давно прислушивалась. Меньшинъ тоже повернулъ голову и спросилъ:

— О чемъ это вы разсуждаете?

Алексѣй Ивановичъ взглянулъ на него.

— А вотъ, о томъ, что всякое хорошее дѣло — хорошо. Ужасно мнѣ и Ѳедору Анатоліевичу ваше дѣло нравится.

— Очень радъ, засмѣялся Меньшинъ.—Милости просимъ къ намъ. Мы всѣ давно мечтаемъ, особено я и Люся, привлечь и васъ съ Ѳедоромъ Анатоліевичемъ хотя бы къ журналу. Помощники намъ нужны. А? Какъ думаете?

— Вотъ тутъ-то и начинается суть всего, Антонъ Семеновичъ. Я не договорилъ. А хотѣлъ я сказать, что всякое хорошее дѣло хорошо, надо только, чтобы всякій нашелъ *свое* хорошее дѣло. Опасно ошибиться. Вы нашли—исполать вамъ! А еслибъ я сталъ ваше дѣло дѣлать, хорошее, но ваше,—оно бы сейчасъ для меня стало дурнымъ.

— Да я васъ не принуждаю, — сказалъ Меньшинъ добродушно.—Не хотите работать у меня — Богъ съ вами. Конечно, и чистое искусство—великая вещь...

Новиковъ не сталъ возражать насчетъ „чистаго искусства".

Тихонъ Ивановичъ Лосевъ замѣтилъ:

— Алексѣй Ивановичъ правъ, всякій долженъ выбирать дѣло по себѣ, найти свое мѣсто. Только ошибиться, я думаю, трудно. Всегда знаешь...

— Не ошибиться — ошибаться. Бываетъ, что и знаешь, а все таки ошибаешься...

Алексѣй Ивановичъ проговорилъ это очень спокойно,

почти равнодушно. Но тутъ случилась совершенно неожиданная вещь. Люся вдругъ поднялась со стула, и со взволнованной надменностью произнесла:

— Алексѣй Ивановичъ, прошу васъ говорить безъ намековъ. Вы хотите сказать, что я не на своемъ мѣстѣ, что я занимаюсь презрѣнной журнальной работой, вмѣсто того, чтобы высѣкать мраморныхъ боговъ и жить заграницей съ вами и съ братомъ? Ахъ, какъ это надоѣло, эти вѣчные намеки, мораль, поученія! Печальные взоры, жалкія слова! Дайте немного свободы. Оставьте меня въ покоѣ.

Бѣляевъ тоже быстро всталъ.

— Люся! Господь съ тобою! Кто тебѣ не даетъ свободы? Мы вѣримъ въ тебя, и мы... глубоко уважаемъ и Антона Семеновича, и его помощниковъ, и все дѣло. Что за вздоръ! Что тебя взволновало?

— Ахъ, ничего! Пустяки, оставь...—сказала она съ холодной небрежностью, морщась, и сѣла.

Всѣмъ было неловко. Меньшинъ, впрочемъ, тотчасъ же засмѣялся, упрекнулъ Люсю въ излишнемъ трагизмѣ и перемѣнилъ разговоръ.

Прощаясь, Бѣляевъ сказалъ Люсѣ:

— Ты зайдешь?

— Да... непремѣнно.

Лицо у нея было блѣдное, губы сжаты, не то съ болью, не то со злобой.

IV

Въ средней комнатѣ, гдѣ Новиковъ и Бѣляевъ пили вечерній чай, было довольно пусто и не очень свѣтло. Небольшая электрическая лампа освѣщала столъ въ углу, покрытый темнымъ ковромъ, и низкій диванъ.

Столъ съ чайнымъ приборомъ былъ у другой стѣны. Въ длинныя, узкія окна смотрѣлъ сѣровато-синій, уже трудно и тяжело потухающій день.

Никодимъ, старый лакей, слабый и глухой, внесъ, сгибаясь, небольшой самоваръ.

Алексѣю Ивановичу нравился Никодимъ. У него было не лакейское, свое лицо, никакой угодливости, а скорѣе смиренное презрѣніе. Онъ служилъ такъ, какъ будто исполнялъ послушаніе. Самое имя его было не лакейское.

— Ты можешь итти спать, Никодимъ, сказалъ Бѣляевъ, который прохаживался по комнатѣ.—Завтра уберешь.

Никодимъ сурово глянулъ на него изъ подъ бровей.

— Спать? Намъ не спать. Завтра праздникъ большой.

— Чтожъ, Богу всю ночь станешь молиться? А потомъ опять ноги заболятъ.

Никодимъ не отвѣтилъ, явно отъ смиреннаго презрѣнія. Онъ подвинулъ чашки, чайникъ, повернулся къ дверямъ, по дорогѣ бросилъ привычный, осудительный взглядъ налѣво, въ уголъ, гдѣ стоялъ столъ, покрытый ковромъ, но опять ничего не сказалъ и вышелъ.

Новиковъ зналъ этотъ осудительный взоръ Никодима. На столѣ, въ самомъ углу, на невысокомъ пьедесталѣ, стояла бѣлая, голая Венера, не очень большая, Люсиной работы. Она принадлежала Алексѣю Ивановичу, который всегда возилъ ее съ собою. Изъ пяти вещей, которыя тогда Люся посылала въ парижскій салонъ, одна эта Венера была отвергнута.

— Въ моей комнатѣ есть слѣпки съ римскихъ статуй, сказалъ Алексѣй Ивановичъ.—Однако Никодимъ ничего. А вотъ эту—явно не любитъ.

Бѣляевъ молча ходилъ по комнатѣ.

Алексѣй Ивановичъ продолжалъ, наливая чай, проливая на скатерть и оттого сердясь:

— Никодимъ нашъ душу спасаетъ. Смерть чуетъ. Тѣло-то поизносилось, такъ нá тебѣ его, Господи, во всю, а душу за то спаси мнѣ. Она цѣльненькая.

Ѳедоръ Анатоліевичъ замедлилъ шаги и остановился передъ мутнымъ окномъ.

— Да что ты? Спросилъ Алексѣй.

— Ничего... Тоска у меня, Алеша. Ужасная тоска. Не то предчувствіе, не то просто сердце болитъ. Слабость какая-то одолѣваетъ.

Онъ помолчалъ и прибавилъ:

— Тоска—и смиреніе. Право, хочется, какъ Никодимъ, пойти въ каморку, стать на колѣни, да еще на горохъ какой нибудь, на стекла, и начать душу спасать въ уединеніи и покаяніи.

— Передъ Никодимовыми образами?

— Да. Тамъ ужъ, по крайней мѣрѣ, извѣстно и вѣрно.

Алексѣй Ивановичъ ласково усмѣхнулся.

— А я не хотѣлъ-бы спасенія души, Ѳедя. Если пожаръ—пусть все горитъ, не хочу спасать половину имущества. Ты лучше вотъ этой Венерѣ помолись. Развѣ не богиня?

Онъ подошелъ и поставилъ лампу такъ, что лучи ея упали пятномъ прямо на статую. Голое, тонкое, бѣлое тѣло, дельфинъ у подножія, какъ у Медичейской, легкія и узкія ступни ногъ. Маленькая голова и перевязанные волосы. Въ ней была, можетъ быть, нѣкоторая условность, внѣшняя подражательность древнимъ образцамъ, точно художникъ желалъ подчеркнуть, что это именно Венера. Но во всемъ тѣлѣ, въ его изгибахъ и падающихъ линіяхъ была такая сладострастная нѣж-

ность, что все равно никто не усомнился бы, что это— богиня любви, повелительница прекраснаго. Руки съ узенькими ногтями, съ чуть замѣтными, еще дѣтскими ямочками у начала пальцевъ, не сохраняли обычнаго жеста Афродиты, выходящей изъ волнъ. Руки были совсѣмъ легко сложены на груди, и голова, съ вѣнцомъ волосъ, наклонена. Взоръ чуть опущенъ, въ углу рта— предчувствіе тихой, недоумѣлой и странной улыбки.

„Я не знаю, не понимаю, какъ это будетъ", говорило склоненное, прекрасное лицо,—„но да будетъ".

Бѣляевъ тоже обернулся и смотрѣлъ.

— Никодимъ самъ не вѣдаетъ, за что не любитъ нашу Венеру,—сказалъ Алексѣй Ивановичъ.—А я его понимаю. Онъ ее всю отвергнуть не можетъ, она ему нужна; но ему надо, чтобъ она была не бѣлая, не голая, чтобъ была плоская, сверхъ красныхъ и синихъ покрововъ еще сдавленная золотой ризой,—и тогда онъ прошепталъ бы передъ нею: „величитъ душа моя Господа"...

Въ эту минуту въ передней слабо позвонили.

V

— Люся, ты? Такъ поздно?

— Развѣ поздно?

Она тихонько улыбнулась и не отнимала рукъ у брата.

— Голубчикъ мой, какъ я радъ тебѣ! Вѣдь ты три недѣли не была! Ну да что считаться! Спасибо.

— И я радъ, сказалъ Алексѣй Ивановичъ, цѣлуя ея руку.—Вы не сердитесь больше на меня? прибавилъ онъ тише.

Люся робко улыбнулась.

— Что вы! Нѣтъ, нѣтъ.

Она отказалась отъ чаю и сѣла поодаль, на диванъ. Черное суконное платье, бѣлый воротничекъ у шеи, волосы, гладко зачесанные — все дѣлало ее меньше, тоньше; и было въ ней что-то дѣтское и безпомощное.

— Ты нездорова, милая? спросилъ Бѣляевъ.

— Нѣтъ, такъ... Устала. И соскучилась о васъ обоихъ. Даже не соскучилась, а вдругъ страшно стало безъ васъ. Нервы, должно быть,—прибавила она съ усмѣшкой.

— А у меня-то какая тоска была,—сказалъ Бѣляевъ. Алеша мнѣ ужъ Богу совѣтовалъ молиться.

— И освѣтилъ вашу богиню, — добавилъ Алексѣй Ивановичъ, еще повертывая лампу.

Люся подняла глаза.

— Ахъ, это моя отверженная Афродита? Какъ она у васъ хорошо стоитъ!

Люся оживилась и пристально глядѣла на статую.

— Мнѣ теперь виднѣе недостатки, — сказала она.— Но знаешь, Ѳедя, вѣдь это я не сама придумала... То-есть это страшное... что въ ней есть. Помнишь наши разговоры? Это не я, это вы.

— Ты точно боишься своей Афродиты, отрекаешься отъ нея. Она тебѣ не нравится?

— Нѣтъ, нравится...

Она вдругъ замолкла и повернула лампу. На склоненную смиренно голову богини набѣжала тѣнь.

Ѳедоръ Анатоліевичъ хотѣлъ что-то сказать, но не сказалъ. Молчаніе длилось, тяжелое, потому что каждый боялся его нарушить. Такія молчанія оканчиваются словомъ или очень важнымъ, или совсѣмъ пустымъ.

— Скоро весна,—сказала Люся, глядя на длинный, мутный четыреугольникъ окна.

Это было пустое слово, а можетъ быть и важное.

Ѳедоръ Анатоліевичъ проговорилъ:

— Да. Намъ ужъ недолго въ Петербургѣ. Скажи Люся... ты прости, я такъ только спрашиваю, чтобъ знать... ты окончательно бросила скульптуру? Это безповоротно?

Люся молчала. Бѣляевъ подождалъ и опять заговорилъ:

— Потому что, видишь-ли... Я такъ вѣрю въ твои способности. Мнѣ было-бы жаль... Конечно, и твоя журнальная работа, и преподаваніе—отличныя вещи, но зачѣмъ же и отъ своего перваго дѣла отвертываться? Вотъ мы жили всѣ вмѣстѣ, работали, вѣрили каждый въ другого и въ нашъ союзъ, и себя никто не судилъ и не осуждалъ. Мы ничего худого не сдѣлали, но ты уѣхала и не вернулась, рѣшила все для себя сама и отталкиваешь прошлое и насъ. Какъ-же это, ты и тогда была искренна, и теперь? Въ насъ ничто не измѣнилось, значитъ въ тебѣ измѣнилось? Ты насъ боишься?

— Ѳедя, ради Бога! Я ничего не знаю. Можетъ быть, и боюсь васъ. Меня влечетъ къ жизни, къ дѣйствію, а вы...

Алексѣй Ивановичъ вдругъ всталъ и почти грубо засмѣялся.

— А мы — проповѣдники „чистаго“ искусства? Да, вы измѣнились. Не своимъ языкомъ говорите, и не свои мысли.

Люся взглянула на него безъ злобы.

— Какъ это жестоко, Алексѣй Ивановичъ! Что я вамъ сдѣлала?

Бѣляевъ вспыхнулъ, подошелъ къ сестрѣ, взялъ ея руки и поцѣловалъ одну за другою.

— Прости его, Люся, милая, ему больно. Не надо спорить. Мы лучше тихонько поговоримъ, по душѣ.

— Да о чемъ-же?

— А вотъ, о томъ, уйдешь ты отъ насъ, или нѣтъ. Ты говоришь, что нужно дѣлать нужное для всѣхъ. Развѣ не вмѣстѣ мы поняли, что нужнѣе всего человѣку, людямъ—и такимъ, какъ мы, и тѣмъ, которые будутъ, какъ мы? Вѣдь если мы выбились изъ безсмысленной тьмы „чистаго“ искусства, позитивизма,—то вѣдь и другіе непремѣнно выбьются, поймутъ... Ты забыла, Люся?

Люся молчала у окна. Бѣляевъ всталъ.

— Если ты забыла,—я повторю то, о чемъ мы столько говорили. Нужнѣе всего человѣку—Богъ. Первѣе всего, нужнѣе всѣхъ дѣлъ, какъ бы они нужны ни были, нуженъ для самихъ же дѣлъ. Богъ есть вѣчный,—нашъ и общій Богъ, но нѣтъ у насъ соединенія въ любви къ Нему, нѣтъ молитвъ, — нѣтъ храма. Кто понялъ это, тотъ знаетъ, что нуженъ храмъ, и предчувствуетъ, какія тамъ будутъ молитвы. Вотъ и мы... по мѣрѣ силъ... послужимъ этому разумомъ, способностями, жизнью. Нашъ путь (именно нашъ, и *только* путь!)—искусство. И мы были—сила, пока были трое. Гдѣ двое или трое... ты и это забыла, Люся? Неужели и самое тайное нужно сказать словами?

Люся порывисто подошла къ брату и обняла его.

— Ѳедя! Я знаю, знаю! Я помню! Но какъ мнѣ повѣрить, до конца,—что стѣны нашего храма будутъ настоящія, изъ камня и земли? Что тамъ будетъ стоять настоящая, изъ мрамора, Великая Мать, что на стѣнѣ или на холстѣ, красками, въ самомъ дѣлѣ, для всѣхъ явно, будетъ тамъ написано рожденіе и воскресенье Распятаго? А это именно нужно и для меня, и для васъ, и для всѣхъ. Видишь, я все помню, все; а чего я боюсь—развѣ и вы не боитесь?

Она опять казалась такой трогательно-безпомощной дѣвочкой. Бѣляевъ тихонько погладилъ ее по головѣ.

— Люся, все нужное на свѣтѣ — страшно и очень трудно. Да пусть страшно. Только-бы передъ собой не лгать.

Алексѣй Ивановичъ подошелъ къ нимъ.

— А если... — началъ онъ, и вдругъ остановился, всмотрѣвшись въ ихъ лица: они были свѣтлыя и хорошія, а то, что онъ хотѣлъ сказать—было почти грубое, да можетъ быть еще и невѣрное. Онъ пожалѣлъ друзей и промолчалъ.

Люся обернулась къ нему и взяла его за руку. Его слова она не разслышала.

— Милый Алеша, и ты, Ѳедя,—не сердитесь на меня никогда. Я, вѣдь, правда, какъ вы. Если вы мечтатели— я тоже. Я ужъ отравленная. Съ вами только и хорошо. Тянетъ къ вамъ. Когда я съ вами—я вамъ о себѣ вѣрю, а потомъ... Дайте мнѣ одной подумать обо всемъ... Рѣшить...

Люся ушла не сейчасъ, но больше они не говорили.

Послѣ этого хорошаго вечера она не была цѣлую недѣлю. Всю недѣлю стояли розовые, холодные, солнечные дни, и отраженный, блѣдно-золотой свѣтъ сквозь длинныя окна наполнялъ квартиру на Кирочной тихой радостью.

Но погода испортилась. Ѳедоръ Анатоліевичъ прихворнулъ и написалъ сестрѣ записку. Въ тотъ же день она пріѣхала—вмѣстѣ съ Антономъ Семеновичемъ.

Антонъ Семеновичъ былъ очень милъ, громко говорилъ и смѣялся, встряхивая золотой гривой,—какъ всегда увѣренный, довольный и неотразимый именно этой увѣренностью и довольствомъ.

Но Бѣляевъ смотрѣлъ на Люсю. Она сегодня до

странности была непохожа на ту блѣдную, безпомощную дѣвочку со смѣлыми глазами, какою онъ видѣлъ ее въ послѣдній разъ,—такая нарядная, суетливая, и взоръ у нея скользилъ, не встрѣчаясь ни съ чьимъ.

Когда гости уѣхали, Бѣляевъ вопросительно взглянулъ на друга.

— Что это... какая она?

— Какая?

— Да не знаю... Другая какая-то.

— Чѣмъ была въ прошлый разъ?

— Ну да.

— Она при Антонѣ Семеновичѣ всегда такая. Развѣ ты не замѣчалъ? Ты просто забылъ.

— Пожалуй, ты правъ,—въ раздумьи сказалъ Бѣляевъ.—Но отчего это?

— Не знаю.

— Да что ты думаешь?

— Думаю, что мы съ тобой просто дураки, мечтатели въ самомъ скверномъ смыслѣ слова. Разглагольствуемъ, разводимъ прекрасныя теоріи, глядимъ на цвѣтъ облаковъ—и падаемъ, зацѣпившись за камень. Дѣйствительность иногда проста и груба... до величія. Не доросли мы, что-ли, до нея? Не понимаешь? Ты—то, сё, а Люся, можетъ быть, попросту...

— Не понимаю! Не знаю! И знать не хочу!—сердито перебилъ его Бѣляевъ и отвернулся.

VI

Антонъ Семеновичъ сказалъ Бѣляеву, что его собирается навѣстить Лосевъ, милый, худощавый сотрудникъ журнала для юношества. И Лосевъ дѣйствительно пришелъ.

Алексѣй Ивановичъ только что собрался выйти. У него болѣла голова, на дворѣ свѣтило неяркое, желтое солнце. Прохладно-голубое, точно фарфоровое, небо казалось такимъ свѣжимъ.

Лосевъ поболталъ съ Ѳедоромъ Анатоліевичемъ, поразсказалъ кое-какія новости и скоро всталъ:

— Алексѣй Ивановичъ, вы куда-то собирались, я не хочу васъ задерживать. Можетъ быть, вмѣстѣ выйдемъ?

— Я хотѣлъ только прогуляться. Въ Лѣтнемъ саду теперь хорошо, я думаю.

— Очень хорошо! Вотъ и пройдемся.

Въ голосѣ его была веселая настойчивость. Алексѣй Ивановичъ молча одѣлся и они вышли.

Снѣгъ недавно сошелъ, и уже подсыхало. Воздухъ былъ холодный, какъ зимою, но весь, по мартовски, острый и легкій. На улицахъ люди суетились немного больше, чѣмъ всегда, потому что не очень далекъ былъ Свѣтлый праздникъ.

Новиковъ, въ мѣховомъ пальто и шапкѣ, казался крупнѣе Лосева съ его полулѣтнимъ макферланомъ, у котораго даже воротникъ не былъ поднятъ.

Некрасивое лицо Тихона Ивановича улыбалось, и потому было пріятно, а Новиковъ хмурился, смотрѣлъ презрительно и зло, и казался тяжелымъ.

Въ Лѣтнемъ саду воздухъ еще раздвинулся, сталъ еще рѣже. Вся длинная аллея, выходящая къ Марсову полю, была точно налита желтымъ и жидкимъ, какъ расплавленный топазъ, свѣтомъ. Этотъ свѣтъ давалъ радость, тѣлесную, всѣмъ; даже тѣмъ, у кого на душѣ темно, даже тѣмъ, у кого на сердцѣ—равнодушно.

Аллея была не пустынна, но и не многолюдна.

— Сядемъ,—предложилъ Тихонъ Ивановичъ Новикову, увидавъ незанятую скамейку.

Они сѣли спиной къ деревьямъ, лицомъ—къ Марсову полю, къ плоскому, желтому, золотому солнечному простору.

Новиковъ видѣлъ, что Тихонъ Ивановичъ хочетъ о чемъ-то съ нимъ поговорить, но рѣшилъ, что самъ не начнетъ никакого разговора.

— Какъ пригрѣваетъ солнце-то, сказалъ Лосевъ улыбаясь и снявъ на минуту свою коричневую фетровую шляпу.—Совсѣмъ весна. А долго вы еще думаете пробыть въ Петербургѣ, Алексѣй Ивановичъ?

Странно: въ солнечныхъ лучахъ молодое лицо Лосева вдругъ постарѣло: онъ сощурилъ глаза, около носа и вдоль щекъ собрались будущія морщины,—некрасивыя, непочтенныя, какъ у неумныхъ пожилыхъ людей. И смуглый цвѣтъ кожи слишкомъ отдавалъ теперь въ непріятную, сухую желтизну. Алексѣй Ивановичъ взглянулъ искоса на этого молодого смѣшливаго старичка и не торопясь отвѣтилъ:

— Долго-ли мы останемся въ Петербургѣ? Не знаю, это какъ дѣла. Думаю, нѣсколько недѣль еще. Къ Пасхѣ или на Пасхѣ уѣдемъ.

— Извините, Алексѣй Ивановичъ, если я нескроменъ. Но мнѣ съ вами очень нужно по душѣ поговорить. Скажите, вы матеріально отъ этихъ вашихъ дѣлъ зависите?

— Кто? Я лично?

— Вы... И Ѳедоръ Анатоліевичъ, конечно.

— Мы зависимъ—отчасти,—отъ нашихъ работъ, но отъ тѣхъ дѣлъ, которыя я здѣсь устраиваю теперь—нѣтъ. Да вы, я думаю, знаете, что у Ѳедора Анатоліевича есть свои небольшія средства. У меня тоже. Но почему вы меня объ этомъ спрашиваете?

— Сейчасъ, сейчасъ объясню. Скажите еще, извѣстно вамъ, что Елена Анатоліевна свое состояніе, которое

было у нея отъ мужа, цѣликомъ вложила въ школу и журналъ? Такъ же, впрочемъ, какъ и Антонъ Семеновичъ поступилъ со своимъ собственнымъ капиталомъ.

Алексѣй Ивановичъ ничего не зналъ, однако тотчасъ-же отвѣтилъ:

— Мнѣ это извѣстно. Но зачѣмъ вы предлагаете ваши вопросы?...

— А затѣмъ,—подхватилъ Тихонъ Ивановичъ,—чтобы видѣть, сознаете-ли вы и Ѳедоръ Анатоліевичъ всѣ практическія неудобства для Елены Анатоліевны если она приметъ ваше предложеніе? Вѣдь вы, я знаю, предлагаете ей бросить здѣсь все и ѣхать съ вами. Но она связана...

— Мы, кажется, касаемся чужихъ дѣлъ,—почти грубо оборвалъ его Новиковъ и попытался встать.—Меньшинъ знаетъ о нашемъ разговорѣ?

— Что вы, что вы! Ахъ, какой вы, право! Ну какъ вамъ не стыдно? Вы ужъ думаете, не Меньшинъ-ли меня подослалъ, не за деньги-ли испугался? Не уходите!

Новиковъ почувствовалъ, что онъ говоритъ искренно, да и не похоже было это грубое предположеніе на правду. Лосевъ продолжалъ:

— Нѣтъ, я самъ отъ себя говорю; я не считаю дѣла Елены Анатоліевны или Антона Семеновича—чужими дѣлами. Мнѣ эти люди какъ свои. У меня родныхъ нѣту, я сжился, я весь и дѣлу, и всѣмъ имъ душой преданъ. И они меня нисколько не считаютъ чужимъ. Мы все серьезное сообща обсуждаемъ.

— Вотъ какъ!—протянулъ Алексѣй Ивановичъ.—Извините, я не зналъ. Но что-же вы отъ меня собственно хотите? Относительно практическихъ неудобствъ,—я думаю, это не такъ сложно. Капиталъ мужа Елены Анатоліевны, конечно, останется въ дѣлѣ; но вѣдь у нея есть и собственныя скромныя средства, тѣ-же, что и у брата.

— Да... конечно... это такъ... но все таки... Вы, кажется, сердитесь, Алексѣй Ивановичъ? А у меня, видители, есть еще кое-какія соображенія, и вопросы... Я ихъ друзьямъ моимъ не высказывалъ, думалъ съ вами поговорить...

— Говорите, пожалуйста,—сказалъ Алексѣй Ивановичъ холодно.

Солнце било ему прямо въ лицо, но онъ не щурилъ глазъ и былъ очень спокоенъ.

VII

Молодой старичокъ въ морщинахъ приблизился немного къ Новикову и произнесъ:

— Вѣдь вы... влюблены въ Елену Анатоліевну.

Новиковъ съ любопытствомъ, молча, посмотрѣлъ на собесѣдника.

— Конечно, влюблены,—продолжалъ Лосевъ.—Оттого и хотите, чтобъ она бросила здѣшнее дѣло, вернулась къ вашему искусству. Это все вы,—Ѳедоръ Анатоліевичъ ужъ за вами. Да я понимаю. Я понимаю. Даже допускаю, что у васъ это безотчетно, что вы готовы теперь искренно возмутиться моими словами,—а все таки правда-то моя.

— Нѣтъ, я нисколько не возмущаюсь, Тихонъ Ивановичъ. Вы совершенно правы. Я влюбленъ.

Тихонъ Ивановичъ былъ озадаченъ на мгновенье.

Хорошенькая дѣвочка въ капорѣ пробѣжала мимо, крича кому-то: „не поймаешь! не поймаешь!“ Лосевъ проводилъ ее глазами, оправился и продолжалъ:

— Вотъ то-то и есть. Я убѣжденъ, что вы Еленѣ Анатоліевнѣ не докучали своей любовью, даже, можетъ быть, никогда и не говорили о ней. Вы смотрите на любовь совсѣмъ иначе, нежели мы, простые люди. Въ

художникахъ, извините меня, часто бываетъ какая-то ненормальность. Васъ, можетъ быть, совершенно удовлетворяетъ связь искусства съ любимой женщиной. Это случается. Но это ненормально. И какъ хотите—во многомъ вы тутъ не отдаете себѣ отчета.

— Я опять согласенъ съ вами,—сказалъ Алексѣй Ивановичъ. — Вотъ только понятіе ненормальности... не знаю... такое это неуловимое понятіе. Но я вовсе не хочу сказать что связь искусства меня удовлетворяетъ. Я ровно ничего не хочу сказать.

— Не удовлетворяетъ? Но вѣдь вы не женитесь на Еленѣ Анатоліевнѣ? Она за васъ не пойдетъ.

— Чего вы испугались?

— Я нисколько не испугался. Я вотъ къ чему велъ: если вы ее любите—вы должны думать и о ней. Зачѣмъ вы ее тревожите? Она была счастлива. Работала, жила... Я ее знаю лучше васъ. Она малоиспорченный, хорошій, нормальный человѣкъ. И, право, лучше пусть она и замужъ выйдетъ, и хорошо.

— За кого-же? За Антона Семеновича? Или... за васъ?

Новиковъ прищурилъ глаза и ждалъ отвѣта. Солнце опускалось, гдѣ то далеко, въ концѣ туманной, желтой улицы.

Лосевъ внезапно смѣшался и молчалъ.

— Пойдемте, мнѣ пора, сказалъ Новиковъ поднимаясь.

Лосевъ вскочилъ за нимъ.

— Что же, Алексѣй Ивановичъ, теперь, когда все ясно... когда вы сознали... Неужели вы еще будете вліять на Елену Анатоліевну..?

Онъ взялъ его за рукавъ шубы.

— Голубчикъ, пусть это будетъ между нами завѣтный разговоръ. Я передъ вами такъ открылся. Обѣщайте же мнѣ...

— Ну что я вамъ могу обѣщать, Тихонъ Ивановичъ? Что я не разскажу пока ничего Люсѣ. Я вѣдь вамъ ничего не говорилъ—вы говорили, и за меня, и за себя. Теперь мнѣ пора, простите. Я поѣду на извозчикѣ.

Онъ вышелъ изъ воротъ, сѣлъ въ первую пролетку и поѣхалъ налѣво, по прямой улицѣ, сплошь, до самаго конца, пронизанной безконечно длинными лучами низкаго солнца.

Лосевъ остался и глядѣлъ ему вслѣдъ, не улыбаясь.

VIII

Алексѣй Ивановичъ подождалъ нѣсколько дней, пока Бѣляевъ совершенно поправился, а потомъ съ точностью, подробно, передалъ ему весь свой неожиданный разговоръ съ Лосевымъ и прибавилъ:

— Видишь, другъ,—все такъ просто и... даже хорошо. Нехорошо для насъ однихъ. Мы не умѣемъ быть простыми. Мы Люсѣ давали только безполезныя терзанія. Пусть она будетъ просто счастлива, если умѣетъ просто любить.

— Да... да...—сказалъ растерянно, безъ удивленія, Ѳедоръ Анатоліевичъ. — Если умѣетъ просто... если умѣетъ...

Бѣляеву въ первый разъ въ жизни стало тяжело наединѣ съ Алексѣемъ Ивановичемъ. Онъ радъ былъ, когда Новиковъ уѣхалъ по дѣламъ. Работать Бѣляевъ не могъ. Онъ одѣлся, вышелъ и бродилъ по улицамъ.

Шелъ мокрый снѣгъ, проливной, какъ дождь. Внезапно прекращался—и такъ-же внезапно опять начиналъ валиться, литься. Стемнѣло, какъ въ сумерки, а былъ только первый часъ дня.

Бѣляеву было очень тяжело и одиноко. Обида сда-

вливала сердце до тупой, физической тошноты. Самая тяжелая обида,—не за себя. О Люсѣ онъ думалъ съ такой жалостью, что отъ нея боль была, какъ отъ ненависти, и мысли не складывались стройно, а все повторялось въ умѣ одно слово, которое выражало почему-то и всю его любовь, и всю боль: „ненаглядная. Дѣвочка ненаглядная“.

Сѣрая вода всхлипывала у него подъ ногами. Съ трескомъ и чмоканьемъ прокатывались мимо черныя коробки извозчиковъ. Вогнутое, какъ старый потолокъ, небо сползало на старую, грязную землю.

— Ну, чего я? бодрился Ѳедоръ Анатоліевичъ. — Правда, мы съ Алешей какіе-то мечтатели ненужные, а все гораздо проще. Ну, снѣгъ идетъ, грязь хлюпаетъ, а ты это пойми и полюби. Всѣ идутъ по грязи, и всѣ одинаково, въ сущности, ее любятъ, и правы. Всѣ одинаковы, и это благо. Ихъ много, они вмѣстѣ и у нихъ сила. И счастье.

Онъ проходилъ мимо низкаго окна суровской лавочки, гдѣ выставлены были, длинно-свернутые, куски разноцвѣтныхъ матерій съ билетиками цѣнъ. Передъ окномъ стояли двѣ женщины въ вязаныхъ платкахъ. Одна держала за руку, не глядя, мокраго, покорнаго, маленькаго ребенка.

— По семнадцати такой точно къ Рождеству у меня братъ,—кричала, стараясь заглушить стукъ колесъ, женщина безъ ребенка—другой и тыкала сквозь стекло на что-то голубое. — Ей Богу, такой, вотъ хоть съ обращикомъ приду. Я имъ въ морду-то ткну! Двадцать двѣ!

Женщина съ ребенкомъ, кажется, не повѣрила. Онѣ стали переругиваться. Бѣляевъ, отходя, слышалъ:

— Да ты не ври! Опомнилась-бы, кадентка!

— А ты не ругайся словами! На исповѣдь завтра идешь, бѣлые твои глаза!

Молодой приказчикъ, вынырнувъ на минуту изъ дверей, презрительно улыбался.

Бѣляевъ опять шелъ. Сѣрый снѣгъ холодилъ ему лицо.

— И пусть она, Люся, будетъ сильная, какъ всѣ, со всѣми вмѣстѣ, думалъ онъ. И дай ей Богъ. Сильная, нормальная, какъ теперь—всѣ. Великая это сила—сила пола! Лучше подъ нею быть, чѣмъ совсѣмъ безъ нея. Ну, полюбила Люся Меньшина, и пусть любитъ. Что я сужу? Гдѣ сила—тамъ и правда. Ей такъ послано, а мы ее отвлеченіями смущаемъ; потому что гдѣ-же наша-то сила? Говоримъ только: „любить землю, любить небо, но иначе"... А какъ? Не знаемъ. „Новая земля будетъ, новое небо"... Какія? Опять не знаемъ... Дѣвочка моя милая... Господь съ нею... Ненаглядная, бѣдная...

Онъ вышелъ на какую то площадь. Площадь вся блестѣла, покрытая грязной водой. Лужи стояли среди волнистой мостовой, рябыя отъ частыхъ, тучныхъ капель. По серединѣ площади былъ круглый, бѣлый соборъ, съ круглымъ палисадникомъ, который отдѣлялся отъ идущаго кругомъ троттуара не заборомъ, а темными, вольно-пущенными, цѣпями съ большими, круглыми звеньями.

На паперти, въ палисадникѣ, у распахнутыхъ воротъ, на троттуарѣ, по всей площади—стоялъ народъ и, видно, давно ужъ стоялъ такъ, въ водѣ,—тѣсной, темной толпой. Ждали чего-то. Какъ черные грибы круглились зонтики—но мало зонтиковъ, потому что концы впивались въ сосѣдей и сосѣди ругались.

Бѣляевъ сталъ среди лужи.

— Что это здѣсь? спросилъ онъ у молодого, румянаго мальчишки въ новенькомъ картузѣ.

— Архіерей попа хоронитъ, сказалъ тотъ, не обернувшись.—Ишь зазвонили. Несутъ, должно.

— Второй часъ! визгливо крикнула какая-то баба.— Не дождаться ихъ тутъ, ей Богу!

Тоненькій, остренькій колоколъ сталъ настойчиво что-то лепетать. Ему, точно съ укоромъ, отозвался большой, весь круглый, покатился, закатился за ближнюю стѣну и уже не вышелъ назадъ, а такъ оттуда и сталъ вздыхать, лѣниво и печально.

— Попы идутъ! Несутъ! захлебывалась баба, становясь на ципочки.

Толпа заколыхалась, содвинулась и вытянулась. Священники съ непокрытыми головами вышли роемъ на троттуаръ. Между ними, низко, несли гробъ, обернутый желтымъ. Дождь превратился на мгновенье въ снѣгъ и таялъ на дьяконской головѣ, на широкомъ рядѣ. Кадило потухло.

— Кругъ церкви пойдутъ, ей-же Богу, три раза кругъ церкви пойдутъ! Кричала та-же баба.

Зрѣлище захватило всѣхъ. Никто не думалъ о мертвомъ, заколоченномъ попѣ. Священники пошли по троттуару вокругъ собора, увѣренно разбрызгивая воду сапогами, которые виднѣлись изъ подъ короткихъ ризъ. Несли мокрыя, дрожащія хоругви. Священники шли, зная, что они дѣлаютъ, дьяконъ бряцалъ потухшимъ кадиломъ, кто-то что-то не очень слышно, хрипло, пѣлъ, изъ за красной стѣны несся круглый, лѣнивый звонъ большого колокола, бѣлый соборъ, увитый, сжатый цѣпями, молчалъ, а сверху, изъ купола, глядѣли на площадь его мертвые глаза—окна, закапанныя дождемъ.

— Ну точно спитъ, вотъ совсѣмъ спитъ! - говорила рядомъ съ Бѣляевымъ женщина, видѣвшая раньше покойника.

— Да, можетъ, не померъ? отозвался кто-то.

— Гдѣ не померъ,—померъ! Старъ былъ, померъ, померъ! Ишь, торжество устроили! Генераловъ однихъ сколько!

Бѣляевъ смотрѣлъ на мертвыя очи собора. Слезы, какія-то странныя, тихонько сжимали ему горло. Торжественныя похороны... Похоронное торжество... Что ему мертвый священникъ? Отчего вдругъ больно отъ этой смерти, точно отпѣваютъ родного, а въ груди такая жаркая, жалкая надежда, что онъ не умеръ—а спитъ? Нѣтъ, умеръ, умеръ, какъ давно умеръ этотъ соборъ, этотъ храмъ, гдѣ отупѣвшіе люди служатъ обѣдни Богу, о которомъ знаютъ лишь, что Онъ умеръ, но давно забыли, что Онъ воскресъ.

Падаютъ похоронные звоны, сверху падаетъ грязная вода, ноги обтекаетъ вода съ землей. Кругомъ, въ грязи, люди, счастливые, тупые, сильные, теперешніе, правые; потому счастливые, что ничего, даже и правоты своей,—не сознаютъ. Ничего. И словъ „плодитесь и множитесь"—не помнятъ, и не оттого плодятся и множатся, что имъ это было сказано.

Не только къ Люсѣ—но ко всѣмъ мокнущимъ людямъ была теперь въ душѣ Бѣляева такая властная жалость, что онъ не могъ заглушить ее даже мыслями о ихъ счастьи. А Люся? Господи, не умѣетъ душа молчать! Люсю жаль до послѣдняго ужаса. Что обманывать себя? Даже и счастлива, какъ они, какъ эти,—она не будетъ. Не сможетъ больше быть.

— У меня нервы разстроены, я боленъ,—сказалъ себѣ Ѳедоръ Анатоліевичъ вслухъ.—Холодно, холодно...Домой.

Покойника везли теперь по улицѣ, толпа хлынула отъ собора. Снѣгъ повалилъ сплошь, какими-то тряпками. Бѣляевъ, вздрагивая отъ сырости, повернулъ за уголъ.

IX

Когда черезъ десять минутъ Ѳедоръ Анатоліевичъ позвонилъ у дверей своей квартиры—ему отворили тотчасъ-же, какъ будто давно ждали звонка.

За Новиковымъ, который отперь дверь, Ѳедоръ Анатоліевичъ увидалъ въ сѣрой полутьмѣ передней—лицо Люси. Она была блѣдна и встревожена.

— Это ты, Люся? спросилъ онъ безъ удивленія.

— Да, я только что пріѣхала. Только сію минуту. Ѳедя. Господи, какъ ты вымокъ! Ты навѣрно простудился!

— Ничего, ничего,—сказалъ Алексѣй Ивановичъ.—Онъ сейчасъ переодѣнется, а мы пока приготовимъ чай и ромъ. Никодима нашего нѣтъ, въ церковь ушелъ.

Скоро всѣ сидѣли за чаемъ. Бѣляевъ пилъ уже второй стаканъ, и согрѣлся какъ будто,—но внутри ему все такъ же было холодно, точно падалъ на сердце упорный, мягкій, мокрый снѣгъ.

Люся молчала. Нѣжное, смуглое лицо ея было очень блѣдно. Полуразвившаяся темная прядь волосъ закрывала ухо. Бѣляевъ вдругъ наклонился и поцѣловалъ маленькую, узкую руку, лежавшую на скатерти.

Люся чуть замѣтно покраснѣла и взглянула на часы.

— Я сейчасъ уйду,—проговорила она.—Но раньше, мнѣ хотѣлось-бы... Мнѣ хотѣлось-бы... Алексѣй Ивановичъ! Правда-ли, что Лосевъ говорилъ съ вами надняхъ обо мнѣ?

— Правда.

— И... Ѳедя знаетъ, что это былъ за разговоръ?

— Да, знаетъ.

— А я не знаю. Что вы говорили?

— Я ничего не говорилъ, Елена Анатоліевна. Говорилъ Тихонъ Ивановичъ. Я съ нимъ не спорилъ.

— Все равно. Я хочу знать.

Новиковъ помолчалъ немного, подумалъ,—потомъ съ точностью, безъ всякихъ вставокъ отъ себя, передалъ почти весь разговоръ. Люся прослушала въ молчаніи. Брови ея были сдвинуты, лицо стало еще блѣднѣе.

— Такъ я и думала... Ну, чтожъ!

— Я прибавлю только два слова, Елена Анатоліевна, сказалъ Алексѣй Ивановичъ.—Разъ ужъ зашла рѣчь... Вы меня выслушаете?

— Конечно... произнесла Люся съ какой то невеселой усмѣшкой.

— Я сказалъ,—началъ Алексѣй Ивановичъ негромко,—Лосеву, что я въ васъ влюбленъ, Елена Анатоліевна. То-есть я согласился, когда онъ мнѣ это сказалъ. Но я не хотѣлъ-бы, чтобъ вы поняли мои слова невѣрно. Куда ты, Ѳедя? Останься. Я хочу при тебѣ говорить.

— Да, Ѳедя... Пожалуйста...

Люся перевела духъ.

— Алексѣй Ивановичъ, неужели вы думаете?.. Зачѣмъ эти объясненія? Я вѣрю, я знаю, между нами всегда была только дружба. Влюбленность, если хотите, — дружба съ оттѣнкомъ чувственности. У меня къ вамъ чувственности никогда не было.

Она говорила поспѣшно, не подымая глазъ. Алексѣй Ивановичъ отвѣтилъ не сразу.

— Вы это нехорошо сказали, Люся. И слова не тѣ. Правда, мы въ первый разъ говоримъ такъ прямо другъ о другѣ, о нашихъ отношеніяхъ, насъ *двоихъ*. Не дружба у меня къ вамъ, не влюбленность, не чувственность,—и даже не все это вмѣстѣ, а только *открытость* всего меня ко всему этому вмѣстѣ, вѣчная готовность для этого сложнаго, слитаго... не чувства, а не знаю, какъ и назвать. Я всегда отъ васъ всего желалъ-бы,—

и ничего-бы не хотѣлъ. Говорю смутно, непонятно. Но словъ еще такъ мало...

— Ничего. Я слышу,—тихо сказала Люся.

— Я говорю о томъ, чего нѣтъ, но что могло бы быть, если бы *всѣ* возможности стали дѣйствительностями. И ни любви, ни влюбленности, ни дружбы—у меня къ вамъ нѣтъ. Ни пѣсенъ, ни молитвъ, ни храма нашему новому, вѣчному Богу у насъ нѣтъ. Есть только возможность. Есть только желанія. И, вѣроятно, это все, на что мы, одинокіе, теперешніе,—способны. И это очень много.

Люся молчала. Ѳедоръ Анатоліевичъ взялъ ее за руку.

— Люся, постой, вотъ что. Лучше сказать, чѣмъ думать... Люся, прости насъ, если мы тебя мучаемъ. Мы не хотѣли... Но мы все поймемъ. Лишь бы ты передъ собой была права. Скажи намъ, вѣдь ты любишь Меньшина? Или мы ошибаемся? Милая, прости ты насъ!

Люся положила голову на столъ и молча заплакала. Алексѣй Ивановичъ быстро всталъ, налилъ воды въ стаканъ и далъ Люсѣ, почти съ грубостью.

— Выпейте. Что за дѣтство. Ѳедя нехорошо спросилъ васъ—съ испугомъ, съ осужденіемъ. А ничто не дурно само по себѣ. Дурно только то, чего мы въ себѣ не хотимъ, и что все-таки есть. Другой тутъ не судья.

Стемнѣло. дождь еще шелъ, и слышно было, какъ вода льется изъ трубы на троттуаръ. Бѣляевъ подошелъ къ столу и зажегъ лампу. Уголъ освѣтился красноватымъ свѣтомъ, и выяснилась бѣлая, тонкая, смиренная Афродита со сложенными на груди руками.

— Люся, дорогая, не сердись на меня,—сказалъ Бѣляевъ.—Такъ тяжело все между нами. Очень ужъ мы сложные, ни къ чему не приспособленные, люди. Ты еще сильнѣе насъ, ты корнями въ жизни всѣхъ людей, и ты права. Только надо и позволить себѣ до конца

быть со всѣми. А мы съ Алешей въ монастырь уйдемъ. Я колокольни буду строить,—Алеша образа святыхъ писать. Душу, какъ ни какъ, спасемъ.

Онъ улыбался, съ покорной грустью.

— Ѳедя, а мнѣ кажется... началъ Алексѣй Ивановичъ и взглянулъ на Люсю.

Она стояла спокойная, глаза у нея были простые и смѣлые.

— Вамъ кажется, что я еще что-то скажу, Алексѣй Ивановичъ? Да, скажу. Вы меня съ самаго начала перебили, и вышло тяжело, трудно и ненужно. Ѳедя, не спрашивай меня никогда ни о чемъ... если тяжело спрашивать. Душа любитъ тайну, даже и страданье—тайное. Но довольно. Вотъ съ чѣмъ я шла сегодня къ вамъ: шла сказать, что все таки хочу ѣхать съ вами, и буду съ вами до послѣднихъ силъ. А тамъ—хоть въ монастырь. Хоть замужъ...

Бѣляевъ испуганно глядѣлъ на нее, не понимая.

Она улыбалась.

— Чтожъ, примете меня? И ни о чемъ больше не спрашивайте. Не судите. Не исправляйте меня. И работать буду. Вы не видали еще моего святого Іеронима? По ночамъ лѣпила, что дѣлать,—вдохновеніе нашло!

Она совсѣмъ смѣялась, но слезы все наполняли ея глаза, и она смигивала съ рѣсницъ свѣтлыя капли.

— Ты, кажется, не вѣришь, Ѳедя? Я и сама не вѣрю. А все таки пойду. — Только не мучьте меня больше, прибавила она тихо.—Ни меня, ни себя. Не надо словъ.

X

Вскорѣ многое выяснилось. Бѣляевъ и Новиковъ должны были, не теряя времени, ѣхать въ N, гдѣ хотѣли получить работу, и ознакомиться съ дѣломъ на мѣстѣ.

— Знаешь, вѣдь я бывалъ въ N въ дѣтствѣ,—говорилъ Бѣляевъ Алексѣю Ивановичу.—И соборъ помню, только плохо. Мнѣ было лѣтъ четырнадцать. Мы выросли въ деревнѣ, въ имѣніи, во Владимірской губерніи. Я въ гимназіи до пятнадцати лѣтъ не былъ. А Люся и вовсе въ гимназію не поступала,—прямо въ Московскую школу живописи. А ты, Алеша, вѣдь въ Псковѣ родился?

— Да. Въ Псковѣ. У меня и теперь есть тамъ братъ, двоюродный. По дворянскимъ выборамъ служитъ.

Бѣляевъ задумчиво улыбнулся.

— А вѣдь это хорошо, Алеша, что мы—русскіе. И даже не въ Петербургѣ родились, и дѣтство наше не здѣсь прошло. Я помню, какъ насъ въ нашу деревенскую церковь причащать водили. Круглый такой голубь надъ царскими дверями, а въ разныя стороны все отъ него идутъ густые, колючіе, золотые лучи. Рядомъ со мной Люся, въ бѣленькомъ вышитомъ платьицѣ, кудряшки темные. Стукнетъ завѣса кольцами, золотое сіянье наверху распадется, распахнутся двери... А пѣвчіе молчатъ, и всѣ молчатъ, ждутъ Люсю; няня впередъ меня подводила, и поднимала ее немножко, Люся дѣвочкой была долго такая маленькая...

Рѣшено было ѣхать не позже Пасхи. Квартиру они пока оставляли за собой, присмотритъ Никодимъ.

— А послѣ мы и тебя, Никодимъ, выпишемъ,—весело говорилъ ему Бѣляевъ.—Что здѣсь, въ Петербургѣ? А тамъ церкви старыя, мощи есть, и колокола звонче.

Но Никодимъ угрюмо не соглашался.

— Куда это еще? Здѣсь родились, прожили, здѣсь и умремъ. Поздно мнѣ по богомольямъ-то ходить. Захочу въ монастырь,—и здѣсь примутъ. Душу-то вездѣ можно спасти.

— Душу-то вездѣ...—задумчиво повторилъ Бѣляевъ и больше его не уговаривалъ.

Сборы такъ и кипѣли. Скоро Люся прислала къ нимъ небольшой чемоданъ—она рѣшила ѣхать не изъ дому, а отъ нихъ. „Такъ проще“, коротко отвѣтила она на вопросъ Новикова: „почему“?

Новиковъ и Бѣляевъ зашли разъ вечеромъ въ редакцію. Тамъ все было попрежнему. Люся даже за чаемъ не отрывалась отъ какой-то корректуры.

— Увозите мою помощницу, соблазнители!—съ веселымъ укоромъ сказалъ Меньшинъ.—Просто не знаю, какъ и справлюсь безъ нея въ эти два мѣсяца. Хорошо еще, что время не горячее. Пусть отдохнетъ немного, она заработалась зимой. А вы на цѣлое лѣто въ N?

— Не знаю, какъ работа,—отвѣтилъ Бѣляевъ, и что-то недоумѣлое было въ его голосѣ.

Люся вышла въ переднюю, когда Ѳедоръ Анатоліевичъ и Новиковъ уходили.

Бѣляевъ взглянулъ на нее странно и спросилъ:

— Люся, ты сказала Антону Семеновичу, что уѣзжаешь только на два мѣсяца отдохнуть?

Она вдругъ покраснѣла, сдвинула брови и торопливо прошептала:

— Да. Такъ лучше. Зачѣмъ-же сразу? Не все-ли равно? И зачѣмъ безполезная... жестокость?

Потомъ подняла глаза на Алексѣя Ивановича и, невесело усмѣхнувшись, прибавила:

— Вамъ, кажется, это не нравится?

Алексѣй Ивановичъ хотѣлъ сказать „нѣтъ, нѣтъ“, или „что вы“, или вообще что нибудь успокоительное, но не сказалъ ничего.

XI

Стояли золотые весенніе дни. Уже не морозно-розовое, хрустальное предчувствіе весны,—а сама весна, живая, свѣжая, какъ лицо ребенка послѣ прогулки,—пришла и взглянула съ небесъ. Длинные, грѣющіе лучи солнца пронизывали, какъ копьями, прямыя петербургскія улицы, зажигали ослѣпительнымъ, бѣлымъ пламенемъ стекла верхнихъ оконъ и часами рдѣли, медленно умирая, на главахъ далекаго собора. А вечеромъ, чуть смеркнется, чуть немного послѣ чаю заговорятся Бѣляевъ съ Алексѣемъ Ивановичемъ,—уже сѣрѣютъ, синѣютъ, зеленѣютъ длинныя окна, тѣни точно смываются съ небесъ, небеса холодѣютъ, ледяныя, зеленыя, не то радостныя—не то уныло-страшныя, а потомъ, внизу, сквозь зелень, будто розовое пятно крови проступитъ, и расползается шире и выше.

Бѣляевъ уходилъ спать, Алексѣй Ивановичъ оставался и долго еще глядѣлъ въ окно, ждалъ перваго кроваваго луча въ небесахъ. Какая страшная весна! Какой жестокій разсвѣтъ! Въ эти минуты—вся душа Алексѣя Ивановича была—страданіе.

Ему казалось, что этотъ первый лучъ—не лучъ, а мечъ. Онъ проколетъ сердце того перваго, дерзкаго и слабаго человѣка, который стоитъ ближе всѣхъ, прямо на его пути. Не лучше-ли бѣжать, спрятаться, не смотрѣть,—или упасть внизъ, чтобы лучъ,—или мечъ,—прошелъ по̀-верху, не коснувшись? Мечъ—холодитъ, когда онъ входитъ въ сердце. А этотъ мечъ—горячій; онъ такъ-же смертоносенъ для смертнаго, но въ немъ есть еще ужасъ пламени.

— Мечтатель, мечтатель! съ усмѣшкой повторилъ Алексѣй Ивановичъ, и сейчасъ-же ему стало стыдно

передъ собою этой усмѣшки. И онъ уже серьезно спрашивалъ себя:

— Отчего у меня—и не у меня одного, а навѣрно у всѣхъ насъ—такая боль? Такая тоска? Такая скорбь?

Небо молчало, кругомъ была глухая тишина, какъ на кладбищѣ. Алексѣй Ивановичъ постоялъ еще немного, онъ вспоминалъ какія-то слова; вспомнилъ ихъ и отошелъ, повторяя:

„Женщина, когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому „что пришелъ часъ ея; но когда родитъ младенца, уже „не помнитъ скорби отъ радости, потому что родился „человѣкъ въ міръ. Такъ и вы теперь имѣете печаль; „но Я увижу васъ опять, и возрадуется сердце ваше, и „радости вашей никто не отниметъ у васъ“.

Дни бѣжали, длинные—и быстрые. Близилась Страстная, недалекъ былъ отъѣздъ. Казалось, все шло хорошо, все готово, все устроено.

Но чѣмъ больше близился отъѣздъ—тѣмъ больше Ѳедоръ Анатоліевичъ тосковалъ. Страхъ неизвѣстнаго несчастія мучилъ его.

И несчастіе, дѣйствительно, случилось.

Люся обѣщала притти во вторникъ. Это было на шестой недѣлѣ. Во вторникъ не пришла, не пришла и въ среду. Въ четвергъ Бѣляевъ, уже довольно поздно вечеромъ, рѣшилъ самъ зайти въ редакцію.

Новиковъ остался дома.

Ѳедоръ Анатоліевичъ не звонилъ, дверь была открыта. Изъ передней онъ услышалъ безпорядочный шумъ голосовъ, не то споръ, не то просто крики. Онъ различилъ и голосъ Люси, и удивился: такой онъ былъ непривычно-взволнованный, но не рѣзкій и властный, даже не грубый, а обиженно-злобный, съ женскими взвизгиваньями.

Въ большой первой комнатѣ столько было народу, стояла такая жара, такой дымъ и паръ, что Ѳедоръ Анатоліевичъ сразу ничего не различилъ и никого не узналъ. Потомъ, освоившись, онъ увидалъ за столомъ и вокругъ стола преподавателей школы, сотрудниковъ и много другихъ лицъ, которыхъ онъ не встрѣчалъ, но которые, очевидно, тоже имѣли отношеніе либо къ школѣ, либо къ журналу.

Меньшинъ сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, красный, безъ улыбки, лицо его выражало энергичную и упорную злобу, казалось слишкомъ полнымъ и уже непріятнымъ. Бѣляева поразило сходство выраженія этого лица съ лицомъ Люси, которая стояла у кресла Меньшина. Та-же злобность. Они были похожи, какъ родные, Люся и Меньшинъ, хотя Люся была очень блѣдна.

Тихонъ Ивановичъ, жестикулируя, кричалъ что-то Люсѣ, она соглашалась, быстро кивая головой, а черная бородка Тихона Ивановича вздрагивала отъ взволнованнаго возмущенія.

И на всѣхъ лицахъ, обращенныхъ къ Меньшину, лежала та-же, какая-то жидкая, дрожащая злобность, точно сверху всю комнату полили горячимъ уксусомъ.

На Бѣляева никто не обратилъ вниманія. Онъ подошелъ ближе и спросилъ:

— Господа, что происходитъ?

Люся обернулась, взглянула разсѣянно, занятая другимъ, и сказала безъ удивленія:

— Ахъ, это ты! Очень рада. Вотъ, послушай, что у насъ случилось...

Она стала разсказывать, торопясь. Кто-то ее перебилъ, Меньшинъ вставлялъ свое, Тихонъ Ивановичъ тоже. Разсказывали не сначала, а не то съ середины, не то съ конца. Бѣляевъ слушалъ эти перескакивавшія

другъ черезъ друга слова и не могъ ничего взять въ толкъ.

Недоумѣніе его длилось долго. Въ концѣ концовъ онъ понялъ, что пріѣзжалъ попечитель, что у Меньшина вышли непріятности по школѣ, и дѣло обернулось скверно: школу могли закрыть.

Меньшинъ отвѣтилъ довольно рѣзко на надоѣвшія ему замѣчанія попечителя. Попечитель, который до сихъ поръ смотрѣлъ сквозь пальцы на разныя новшества въ школѣ Антона Семеновича,—вдругъ обидѣлся и видно было, что онъ постарается повредить, насколько возможно.

— Вы тутъ подробностей не знаете, не можете понять всей важности случившагося,—сказалъ Меньшинъ Бѣляеву, съ оттѣнкомъ сожалѣнія, что онъ не знаетъ подробностей.—Возмутительно! Изъ-за этого старикашки можетъ погибнуть прекрасное, полезное дѣло, которому мы отдаемъ всѣ силы...

— Возмутительно!—подтвердилъ Тихонъ Ивановичъ. И подумайте, Антонъ Семеновичъ, вѣдь тутъ не одна школа, тутъ и журналъ! Не можетъ это на немъ не отразиться.

Антонъ Семеновичъ сжалъ брови.

— Однако надо дѣйствовать. Надо всѣхъ поднять на ноги. Ты, Люся, завтра же поѣзжай къ Голихвостовой. Будемъ ковать желѣзо, пока горячо.

Люся, слушая, кивала головой. Бѣляевъ несмѣло сказалъ:

— Антонъ Семеновичъ! Но, быть можетъ, если бы вы уладили все это лично съ попечителемъ...

Меньшинъ только плечами пожалъ.

— Ахъ, вы не судья. Вы не были въ моемъ дѣлѣ. Примиреніе невозможно. Итакъ, Люся, надо дѣйствовать. Передъ нами двѣ недѣли до Ѳоминой, когда въ

школѣ должны возобновиться занятія. Посмотримъ, чья возьметъ!

Снова начался крикъ. У Люси блестѣли глаза. Бѣляевъ глядѣлъ на нее и видѣлъ, что она теперь ничего не думаетъ, а только чувствуетъ. Что чувствуетъ? Боль за погибающее полезное дѣло? Или боль оскорбленія за оскорбленнаго Меньшина? Или ее оживляетъ предстоящая борьба за дѣло Меньшина, — одна борьба, какъ спортъ? Точно какая то внѣшняя сила подмяла ее подъ себя, и она даже не сопротивлялась.

— Вотъ такъ исторійка!—сказалъ тихо Бѣляеву одинъ изъ юныхъ сотрудниковъ. — Не знаетъ попечитель нашего Антона Семеновича! Онъ за себя постоитъ!

И прибавилъ:

— А вы, кажется, уѣзжаете? И Елена Анатоліевна собиралась съ вами, на поправку? Жаль, теперь не вырваться ей... Блѣдненькая такая.

Меньшинъ услышалъ и глянулъ въ ихъ сторону.

— Да, конечно, Люсѣ теперь и думать нечего уѣзжать. А вы когда?

Бѣляевъ всталъ.

— Думаемъ въ Страстную субботу. Удобнѣе. До свиданья, Люся. Такъ тебѣ нельзя?

Она взглянула на него безъ всякаго смущенія, съ бездумной искренностью, и нетерпѣливо, жестомъ Меньшина, пожала плечами.

— Боже мой, Ѳедя! Конечно, нѣтъ. Ты видишь, теперь не до отдыховъ... Дѣло серьезнѣе, чѣмъ ты думаешь.

Ѳедоръ Анатоліевичъ весь какъ то съежился. Ему вдругъ показалось, что эти тревоги ея—дѣйствительно важное, настоящее, насущное, а онъ и Новиковъ,—маленькія дѣти, которыя носятся съ бумажными игруш-

ками. Ѣдутъ куда-то, эскизы какіе то, мечтанья какія-то... Строители! Фу, какъ смѣшно и стыдно! Тутъ—хорошее или дурное—но *есть*, а у нихъ съ Новиковымъ—ничего нѣтъ, особенно если приглядѣться.

Онъ наклонилъ голову и пошелъ изъ комнаты. Люся взглянула на него пристально, задумалась на мгновенье—и, вставъ, вышла за нимъ въ переднюю.

— Ты не повѣришь, какъ мнѣ непріятно...—сказала она, догоняя брата въ дверяхъ.

Онъ обернулся. Лицо у Люси было опять другое, беззлобное, только измученное и усталое.

Бѣляевъ сказалъ:

— Люся, такъ ты думаешь... тебѣ никакъ нельзя?..

— Ты все о томъ-же! Ахъ, Ѳедя, Ѳедя! Подумай самъ, могу ли я теперь бросить Тоню и наше дѣло? Здраво, просто разсуждая, — хорошо-ли бы это было? Честно ли? Вы ѣдете заниматься искусствомъ, тихими мыслями... Не спорю, не спорю, онѣ и мои, во мнѣ много вашего. Но теперь... Не судьба.

Ѳедоръ Анатоліевичъ вдругъ прошепталъ:

— Дѣточка... можетъ мы подождемъ тебя, а? Недѣлю, мѣсяцъ, два... сколько надо. Намъ ничего подождать. Мы...

Лицо у Люси вдругъ сдѣлалось испуганное и жалкое, точно она сейчасъ заплачетъ.

— Ни за что! Ѳедя, милый, ради Бога! Не ждите, бросьте, забудьте меня, если я стою! Я не могу знать, что вы меня...

Она оборвала, увидѣвъ входящаго въ переднюю Лосева и добавила другимъ голосомъ:

— Я заѣду проститься въ пятницу. Сейчасъ, Тихонъ Ивановичъ, сейчасъ! Я вамъ нужна?

Бѣляевъ вышелъ. Навстрѣчу, на лѣстницѣ, ему попа-

лось еще нѣсколько педагоговъ или сотрудниковъ, съ озабоченными лицами спѣшившихъ въ редакцію. Въ ушахъ Ѳедора Анатоліевича звенѣлъ бодрый и злой голосъ Меньшина, его призывы къ борьбѣ за правое и полезное дѣло. И опять Бѣляеву показалось, что онъ и Новиковъ—дѣти съ бумажными игрушками. Пророки! Ѣдутъ спасать міръ! И еще ужасаются, что Люся откровенно слѣдуетъ своимъ человѣческимъ и женскимъ инстинктамъ, а не отправляется съ ними, бросивъ все ради психопатическихъ мечтаній, куда-то въ провинцію, лѣпить неподходящіе, подозрительные барельефы.

Какая чепуха! Какое мелкое безуміе! Нѣтъ, даже не безуміе, а только дѣтство.

И Бѣляевъ весь сжался отъ стыда и отъ разслабленнаго, покорнаго смиренія.

XII

Въ пятницу Люся пріѣзжала проститься—вмѣстѣ съ Антономъ Семеновичемъ. Люся говорила мало, была блѣдна. Меньшинъ уже опять съ бодрой и ободряющей веселостью разсказывалъ о своихъ хлопотахъ, заботахъ, жалѣлъ, что Люсѣ нельзя поѣхать отдохнуть и выражалъ надежду, что она пріѣдетъ къ нимъ, когда здѣсь все уладится.

На порогѣ Люся — Антонъ Семеновичъ прошелъ впередъ—обернулась было къ брату, хотѣла что-то сказать,—но не посмѣла или не съумѣла, махнула рукой и быстро вышла за Меньшинымъ, почти выбѣжала. Бѣляевъ услыхалъ далекій стукъ входной двери. И все кончилось.

Вечеромъ, уже поздно, Никодимъ подалъ самоваръ.

Въ молчаніи друзья пили чай, потомъ Бѣляевъ сѣлъ

къ окну и сидѣлъ такъ, не двигаясь. Алексѣй Ивановичъ, тихо ступая, ходилъ отъ угла до угла. Была могильная тишина, даже часы не тикали, ихъ уложили. Разоренная комната казалась больше и выше. На голомъ столѣ уже не было Афродиты. Ящикъ съ планами выставлялъ бѣлесоватые, острые углы. Каминъ чернѣлъ, какъ открытая пасть.

Алексѣй Ивановичъ остановился у засинѣвшаго окна.

— Скоро свѣтать начнетъ, — сказалъ онъ, и голосъ прозвучалъ неожиданно громко отъ пустоты. — Чтожъ, Ѳедя? Ты что думаешь? Завтра... вѣдь надо... ѣхать?

— Надо? Не знаю. Вотъ, и ты не знаешь. Слабы мы, Алеша.

— Нѣтъ, другъ, не въ томъ дѣло. Дѣло въ самомъ дѣлѣ. Можетъ быть еще не вытесаны камни для стѣнъ нашего храма. Вотъ, мы съ Люсей все потеряли—а отчего? Отчего такъ важно, такъ было намъ теперь нужно увидѣть, что Люся съ нами, наша? Я думаю, мы не съ Люсей боролись, а каждый изъ насъ—съ самимъ собою. Мы не слабые, мы только—прошлые. Мысли у насъ новыя, а тѣла наши—старыя. Оттого и мысли наши—невозможное.

Онъ помолчалъ. Бѣляевъ тоже молчалъ.

— Невозможныя, небывалыя, пустыя надежды!—продолжалъ Алексѣй Ивановичъ. — И никому непонятныя, неуловимыя—теперь. Подумай: чего мы хотѣли? Чтобы Богъ вошелъ въ жизнь, а жизнь сплелась съ Богомъ. Да развѣ это было когда нибудь? Развѣ искусство, знаніе, любовь—служили Богу, Христу? Онъ—узкій темный корридоръ къ душеспасенію, жизнь—большая, круглая, безвыходная площадь, тамъ и любовь, тамъ и слава, тамъ и то, что зовутъ искусствомъ. Храма еще никогда не

было. Были только подземелья, катакомбы. Ты въ монастырь уйдешь, Ѳедя? Въ корридоръ?

— Не знаю...

— А я на площадь. Я искусство люблю. Меня мой старый человѣкъ въ эту сторону тянетъ. Ты помнишь Жанну?

Бѣляевъ поднялъ глаза.

— Какую Жанну?

— Въ Римѣ, въ Римѣ, mademoiselle Жанну Дефруа, мою любовницу?

— Твою любовницу?

— Что ты испугался? Ну да, она была моей любовницей. Молодая, богатая дѣвушка... Невинная, даже наивная... Путешествовала съ компаньонькой. Я писалъ портретъ. И соблазнилъ ее. Не знаю, я-ли ее соблазнилъ,—мы оба, другъ друга... Помнишь, тогда мы второй годъ уже втроемъ, съ тобой и Люсей, жили, и тайныя мысли наши только что рождались, выяснялись... Столько говорили тогда. И вдругъ—Жанна. Помнишь, я ходилъ не то веселый, не то злой? Мысли шли, а меня самого жизнь съ другой стороны схватила, простая и сильная. Я тогда жениться думалъ, уѣхать въ Парижъ, забыть „мечтанья“ и отдаться искусству ради прекраснаго. Такъ было легко и просто.

— Алеша, а потомъ?

Потомъ я увидѣлъ, что во мнѣ есть другое желаніе, гораздо страшнѣе. И совсѣмъ противоположное, убивающее первое, такъ что я уже не хотѣлъ ни Жанны, ни чистаго искусства, ни какой извѣстной мнѣ жизни. Я измучилъ Жанну, она ничего не понимала; она отлично видѣла, что я люблю ее, а мнѣ... была противна моя собственная любовь. Католичка,—когда я ей говорилъ о Богѣ, она складывала руки и восклицала: „mais,

j'adore le bon Dieu!“ а потомъ цѣловала меня и помню шопотъ ея: „mon cheri, mon adoré... tu es mon dieu... mon tout... je t'aime“... И была ужасно при этомъ красива, и волновала меня, и кончалось это всегда очень просто и нормально. А я уходилъ отъ нея больной, съ опустошенной душою, точно послѣ звѣрской ненормальности. И тогда мнѣ было ясно, что для меня это, вся *эта* жизнь, уже ненормальность, какъ не здорово, ненормально теперь для насъ разрывать зубами живыхъ звѣрьковъ и ѣсть ихъ. Иная, новая любовь души хочетъ и новой тѣлесной любви, а тѣло—старое. Мы—прошлые, Ѳедя. Долго мы боролись, всѣ трое, во имя еще смутныхъ, едва рождающихся желаній,—и всѣ трое, полумертвые, упали на старую, безнебесную землю. Ты, впрочемъ, уйдешь, можетъ быть, въ старое одинокое небо. Я уѣду къ Жаннѣ... меня и теперь часто къ ней влечетъ, право...

Бѣляевъ всталъ и тихо обнялъ его.

— Алеша, какіе мы несчастные...

— Нѣтъ, нѣтъ, почему? вѣдь я—художникъ, Ѳедя, я только художникъ. Какія тѣни тамъ, въ Нормандіи, а какія сочетанія свѣта бываютъ на берегахъ Сены! Что мнѣ церковь надъ рѣкой за Псковомъ, гдѣ я выросъ? Что мнѣ богиня, похожая на Богоматерь? Что мнѣ любовь, похожая на молитву? Зачѣмъ мнѣ моя унылая, тихая родина, бѣдные, родные, глупые люди-дѣти? Нѣтъ храма, — нѣтъ Бога; и не надо мнѣ его. Я осужденъ на одну... красоту. Это—есть. И жизнь—есть. И красота есть въ жизни. Только Бога нѣтъ въ жизни. Чтобы они соединились—надо понять сызнова Бога, и сызнова понять жизнь. А мы не можемъ. Значитъ —конецъ.

Онъ остановился. Разсвѣтало. Синій мракъ уползалъ

вверхъ, въ самую середину неба. Кровавыя пятна выступали ниже. Далеко гдѣ то пѣлъ пѣтухъ.

— Ночь кончилась, сказалъ Бѣляевъ.—Алеша, Алеша! Прости себѣ и Ему. Ты говоришь—конецъ. А я чувствую—въ тебѣ еще не конецъ. И не говори о матери дурно, Алеша,—о родинѣ, о любви, о нашихъ родныхъ мысляхъ. Даже если онѣ—невозможное, слабыя мечтанья, непонятныя и еще ненужныя людямъ—развѣ мы вольны въ нихъ?

Первый лучъ, острый, какъ мечъ, красный, какъ огонь—прорѣзалъ опаловый небесный дымъ. Алексѣй Ивановичъ закрылъ глаза рукою.

Друзья стояли у окна, близкіе, не родные, но такіе близкіе, какъ будто у нихъ была одна душа.

— Да, еще нѣтъ конца, сказалъ тихо Алексѣй Ивановичъ—но скоро конецъ. Можетъ быть, это безуміе, Ѳедя... Но я не хочу падать раньше конца. Не могу.

— Послѣдній день наступилъ.

— Онъ не прошелъ. Будемъ вѣрны нашимъ... „безумнымъ мечтаньямъ".

— Ты пойдешь къ Люсѣ? Ты хочешь?..

— А ты не хочешь?

Бѣляевъ вдругъ взглянулъ на него прежнимъ, мертвымъ взоромъ и опустилъ голову.

— Ахъ, это безполезно, прошепталъ онъ устало.— Какое безуміе... Нѣтъ, даже не безуміе. Какое дѣтство!

XIII

На улицахъ была сосредоточенная, торжественная суета. Ни одного облака, ни тѣни въ глубинѣ ровно-синеватаго неба. Золотые лучи на землѣ, на спящихъ деревьяхъ, золотой огонь въ стеклахъ высокихъ домовъ.

Уже пахло городской, весенней пылью отъ просохшихъ камней. Церкви молчали, будто притаились. Былъ часъ четвертый.

Бѣляевъ и Алексѣй Ивановичъ шли по Спасской улицѣ, потомъ перешли Литейную, все прямо. Шли они медленно, у Бѣляева было нехорошее лицо, измученное, точно послѣ болѣзни.

— Пойдемъ-же,—говорилъ Новиковъ.

— Нѣтъ, Алеша. Я усталъ. Я не могу. Ты пойди, а я останусь. Вѣдь ужъ были мы вмѣстѣ у нея... Ея нѣтъ. Развѣ успѣемъ теперь на Невскій? И куда? Мы съ ней непремѣнно разойдемся. Если хочешь—пойди одинъ. А я здѣсь подожду.

— Гдѣ же здѣсь?

— Да вотъ, сначала въ саду посижу. А послѣ видишь,—уголокъ солнечный, около этой коричневой церкви, на троттуарѣ. Я подожду.

— Сюда притти?

— Да. Если встрѣтишь ее,—скажи, что я здѣсь жду. Чтобы пришла проститься. Приведи ее... проститься. Я буду ждать. Видно издали, если ты съ Невскаго по каналу пойдешь.

Алексѣй Ивановичъ посмотрѣлъ на него, подумалъ,— и согласился. Ему легче найти Люсю одному. Онъ знаетъ, что она поѣхала, полчаса назадъ, на Невскій, въ какую-то типографію противъ Пушкинской. Если ее тамъ уже нѣтъ — онъ спроситъ, куда она пошла оттуда и поѣдетъ за ней.

Онъ отыскалъ типографію. По случаю Страстной субботы она была заперта. Ему сказали, что, дѣйствительно, кто-то сейчасъ былъ на квартирѣ у типографа, но теперь уже нѣтъ никого.

Алексѣй Ивановичъ вышелъ на Невскій. Возбужден-

ная, торжественная суета. Далеко-далеко видно; солнечный воздухъ,—какъ желтый туманъ. Много разныхъ людей, всѣ торопливые, молчаливые, всѣ незнакомые, незнающіе ничего другъ о другѣ, почти не видящіе другъ друга.

Куда итти? Опять въ редакцію? Но ея навѣрно тамъ нѣтъ. Въ какую сторону она пошла? Къ кому? Зачѣмъ?

Столько было людей, и такъ невозможно казалось, что среди нихъ могла быть Люся, единственно-нужная,—что тупость овладѣла Алексѣемъ Ивановичемъ, разсѣяность и равнодушіе. Случай—всегда противъ, когда отъ него зависишь и только на него разсчитываешь.

Но минута равнодушія прошла. Алексѣй Ивановичъ вернулся, позвонилъ къ типографу. Долго объяснялся съ нимъ. Наконецъ все таки узналъ, что г-жа Меньшина была.

— Они, кажется, отсюда къ Лупину заѣдутъ. По Невскому-же, къ Думѣ.

Очень было все это смутно. Новиковъ вышелъ и повернулъ направо, къ Думѣ.

— Времени-то много прошло,—думалъ онъ озабоченно, высчитывая. Онъ ни о чемъ не думалъ, кромѣ одного, самаго близкаго дѣла,—встрѣтить Люсю.

— Какой Лупинъ? Тоже типографъ, что-ли? Нѣтъ, она теперь не можетъ быть у Лупина, никакъ не можетъ...

Онъ уже пересѣкъ Литейную. И вдругъ, впереди, онъ увидѣлъ совершенно ясно и безспорно,—Люсю, ея тонкую, узкую фигуру въ черномъ, даже низкій узелъ черныхъ волосъ увидалъ и узналъ. Она шла медленно, не оборачиваясь. Рядомъ съ ней шелъ Антонъ Семеновичъ, статный, быстрый, въ легкомъ пальто. Онъ что-то говорилъ жестикулируя, съ обычной горячностью.

Алексѣй Ивановичъ, даже еслибъ Люся была одна, не смогъ бы сразу подойти къ ней. Онъ и забылъ, что къ ней нужно подходить. Онъ такъ остро хотѣлъ ее найти, увидѣть, что,—казалось,—уже всѣ его желанія исполнились. Только бы теперь не потерять.

И онъ медленно двигался за ними, стараясь не уменьшать и не увеличивать разстоянія.

Но вдругъ, противъ Троицкой улицы, Люся остановилась. Антонъ Семеновичъ тоже остановился, продолжая говорить. Вѣроятно, ему нужно было еще въ Троицкую, и онъ звалъ ее съ собою. Но дѣло, повидимому, не особенно важное, потому что скоро Меньшинъ кивнулъ головой, улыбаясь, еще что-то сказалъ и направился одинъ, черезъ Невскій, къ Троицкой.

Люся медленно повернулась и пошла назадъ, прямо на Алексѣя Ивановича, который остановился и ждалъ.

Она смотрѣла внизъ и увидала его, только подойдя совсѣмъ близко. Лицо ея вдругъ измѣнилось, испуганное и страшно радостное, все розовое отъ испуга и радости.

— Это вы? А Ѳедя? Вы еще здѣсь? Еще не уѣхали?

Какъ будто она не знала, что они уѣдутъ только вечеромъ.

Алексѣй Ивановичъ тоже потерялся, когда она заговорила. Слишкомъ долго и упорно онъ ее искалъ, слишкомъ нужно ему было ее найти.

Люся уже оправилась.

— Ну, я рада, что еще встрѣтила васъ. Вы куда шли? Не торопитесь?

— Нѣтъ. Я все за вами шелъ. У васъ былъ, потомъ въ типографіи. Потомъ за вами все шелъ.

Она опять вспыхнула, но тотчасъ-же сказала, почти спокойно:

— Вѣдь ничего не случилось? Гдѣ Ѳедя?

— Ѳедя тамъ, на улицѣ ждетъ, у церкви. Онъ очень усталъ. Мы къ нему пойдемъ.

— Къ нему?

— Да, онъ ждетъ... проститься.

Люся не отвѣтила и не двигалась.

— Чтожъ, пойдемте?

Она взглянула на него растерянно и молча пошла.

Они повернули на Фонтанку, не переходя Аничкина моста. Шли молча, медленно, едва-едва. Люся еще замедлила шаги.

— Алексѣй Ивановичъ,—чуть слышно сказала она.— Надо-ли?

— Что надо-ли?

— Да вотъ, къ Ѳедѣ. Проститься, вы сказали.

— Еслибъ я не нашелъ васъ... Вы бы не пошли?

Она испуганно взглянула на него.

— Да... Я думала... Я хотѣла... Но не пошла-бы. Нѣтъ, нѣтъ, не пошла-бы. Господи! Неужели въ васъ жалости ко мнѣ нѣту?—Не пошла-бы; и теперь не пойду.

Но она не остановилась. Алексѣй Ивановичъ сказалъ:

— Должно быть нѣтъ жалости, ни къ себѣ, ни къ вамъ. Ну, не надо къ Ѳедѣ итти... прощаться. А совсѣмъ?

Она опять покраснѣла, но не удивилась, точно давно понимала, о чемъ они говорятъ.

— Люся, у меня больше нѣтъ никакихъ словъ. Да и о чемъ намъ говорить. Знаю все, что въ вашей душѣ, какъ вы знаете, что въ моей. Развѣ *я* съ вами борюсь? Въ васъ самой два желанія; вотъ, надо только понять, которое больше. Только своему желанію можно—и должно—покориться.

Кругомъ было солнечно и тихо. Ровный гулъ шелъ съ окрестныхъ улицъ.

— Даже все равно, что вѣрнѣе, остаться или ѣхать,—

сказалъ опять Алексѣй Ивановичъ. — Вѣрнѣе то, что дороже.

Она молчала.

— Люся, можетъ быть все въ томъ, что вы насъ не любите.

— Я не люблю?

— Нѣтъ, знаю, любите, только одной душой, а не всѣмъ существомъ. Вотъ какъ Ѳедя васъ любитъ, кровью любитъ, всю васъ любитъ, завитки вашихъ волосъ, вашъ голосъ, ваши руки... И я, я вѣрю могъ-бы... Нѣтъ, нѣтъ, молчите, вы не знаете, что̀ я думаю. Я и самъ ничего не знаю о той любви, которою могъ-бы васъ любить. Я только люблю ее, мысль о ней люблю. А мы такіе люди, что намъ нужно, прежде человѣка, *любить нашу любовь* къ нему. Если мы любимъ, а любовь свою ненавидимъ, и мучаемся ею—это не наша истинная любовь, это грѣхъ, это мука, это все равно гибель.

— О чемъ вы говорите?—сказала Люся быстро, почти враждебно.—О комъ?

— О себѣ. Я любилъ... красивую дѣвушку. Очень любилъ. Я и теперь, можетъ, еще люблю ее. Но любовь свою ненавидѣлъ, потому что она шла мимо моихъ первыхъ, самыхъ дорогихъ, желаній. И я ушелъ... Люся, Люся, да что обо мнѣ, не сто̀итъ, ну любилъ, люблю, и ушелъ... Не слушайте, Люся, мнѣ было легко уйти, все вздоръ, я молчу. Вы себя слушайте. О, еслибы тишины вокругъ насъ!

Онъ умолкъ, и опять они шли. Уже на лѣвомъ берегу засѣрѣли деревья. И вдали, въ глубинѣ, темнымъ облакомъ поднимались нагія липы Лѣтняго Сада.

Люся все замедляла шаги.

— Гдѣ Ѳедя ждетъ?

— У церкви, на троттуарѣ. Теперь близко.

Она попыталась улыбнуться и пошутить.

— Алексѣй Ивановичъ, вѣдь это ужасно нежизненно и романтично. Вы точно похитить меня собираетесь. Вы бы разсудили: ну какъ это такъ вдругъ, сразу на поѣздъ, точно бѣгство. И вы не подумали: дорого-ли стоитъ мое согласіе, если соглашусь? Поймали меня на улицѣ, ведете, какъ плѣнницу... Скорѣй, скорѣй, а то опять томленіе, опять перерѣшитъ. Да вѣдь я и оттуда могу сбѣжать... къ Меньшину,—прибавила она смѣло.—Нѣтъ, бросьте меня, Алеша.

Алексѣй Ивановичъ взялъ ее за руку, съ робкой нѣжностью. Она не отнимала руки и шла впередъ.

— Мы оба все знаемъ, Люся,—сказалъ онъ.—Если теперь... то навсегда. Что дороже вамъ? Что дороже—то и вѣрнѣе.

Она улыбнулась и не отвѣтила, и все шла, быстро. Темная туча деревьевъ выросла, цѣпи моста рѣзали солнечное небо передъ ними.

— Ѳедя здѣсь?

— Да. Сейчасъ. Въ этой улицѣ. Вонъ уголъ церкви. Коричневая.

Люся глянула направо, въ улицу, полную желтаго солнечнаго дыма. Солнце уже опускалось къ краю неба и лучи становились отложе и длиннѣе.

Алексѣй Ивановичъ хотѣлъ повернуть, но не посмѣлъ. Сердца, удары котораго онъ слышалъ сквозь уличный шумъ, теперь онъ въ себѣ больше не чувствовалъ. Точно опустѣло въ немъ.

Люся еще разъ взглянула направо—и вдругъ остановилась, и руку свою вырвала почти грубо.

— Не могу,—сказала она.—Нѣтъ, не могу.

Она прислонилась къ желѣзной рѣшеткѣ набережной и смотрѣла внизъ, въ воду. Вода была черная, тяжело-

ватая, холодная и простая. Наискосокъ, на другомъ, недалекомъ, берегу, круглился еще мостъ, подъ нимъ вода была темнѣе и тяжеле. Нагія деревья отъ солнца казались спящими, а не мертвыми. Только одни колеса гремѣли. А люди шли молчаливо, чужіе другъ другу, не замѣчая другъ друга.

Алексѣй Ивановичъ не смотрѣлъ на Люсю.

— Я не могу,—повторила она.—Вы видите, не могу. Вѣдь вы видите?

Тупая настойчивость была въ ея голосѣ. Точно она сама не слышала, что говоритъ.

— Не знаю, Люся. Нѣтъ у меня никакихъ словъ.

И словъ, дѣйствительно, не было. Шли мгновенья, она все такъ-же стояла, опершись на рѣшетку. Покойно лежала внизу тяжелая вода. Связнымъ, однообразнымъ уличнымъ шумомъ былъ полонъ воздухъ.

Вдругъ Алексѣй Ивановичъ поднялъ голову.

— Люся,—произнесъ онъ тихо и по-дѣтски безпомощно.—Вѣдь Онъ сегодня воскреснетъ, Люся. Ради—Христа?..

XIV

Ѳедоръ Анатоліевичъ, когда Новиковъ оставилъ его, пошелъ было въ садъ, посидѣлъ на лавочкѣ, но тотчасъ-же его потянуло вонъ, къ церкви, на условленное мѣсто.

— Онъ не можетъ такъ скоро вернуться,—говорилъ Бѣляевъ себѣ,—никакъ не можетъ. А все таки лучше. Вдругъ придетъ, а меня и нѣтъ. Чепуха выйдетъ.

Онъ упорно думалъ только объ Алексѣѣ Ивановичѣ, ни о комъ другомъ онъ не позволялъ себѣ думать.

Свѣтлая стѣна около троттуара, широкаго, насквозь была прогрѣта солнцемъ. Церковь сразу выступала впередъ, съуживая троттуаръ, въ солнечномъ углу было еще теплѣе, почти жарко.

Церковь—небольшая, похожая на домовую, съ подъѣздомъ, съ двумя стеклянными дверями, которыя отворялъ сторожъ. Сквозь низкія окна, забранныя рѣшетками, глядѣлъ сумракъ и красныя, маленькія пятна свѣчей. Ѳедоръ Анатоліевичъ прошелся раза два и опять вернулся къ церковнымъ дверямъ, къ солнечному углу. Люди шли и ѣхали мимо. Цѣпи моста, вдали, едва золотились въ солнечномъ туманѣ. Темнымъ облакомъ вставали за мостомъ, за рѣшеткой канала,—сѣрыя деревья садовъ. И вся улица, прямая, длинная, была похожа на широкій золотой мостъ, которому ни справа, ни слѣва не было концовъ.

Прошелъ часъ, прошло больше, а Ѳедоръ Анатоліевичъ все ждалъ, то стоя у двери, въ углу, то прохаживаясь по троттуару, мимо церковныхъ оконъ со свѣчками.

— Ни за что онъ такъ скоро не придетъ,—опять думалъ Бѣляевъ.—Странно было-бы и ждать. Раньше, чѣмъ солнце начнетъ садиться, онъ не придетъ.

Ѳедоръ Анатоліевичъ очень усталъ, но потомъ, оттого, что ждалъ ужъ слишкомъ долго, забылъ, что усталъ и совсѣмъ ничего не чувствовалъ. Онъ даже забылъ, что ждетъ, а все ходилъ и стоялъ, не думая о времени.

Кусокъ набережной канала, рѣшетка, даже круглый, дальній мостъ были видны отъ церковныхъ дверей. Люди шли съ набережной, поворачивали направо, въ улицу, или налѣво, къ саду.

Все больше людей становилось къ вечеру. Солнце стояло еще высоко, но лучи были острѣе, желтѣе, отложе, стекла оконъ пылали нестерпимо,—не близко въ улицѣ,—улицу солнце низало вдоль,—а тамъ гдѣ то, далеко, и дома-то не видно было, а только пламя стеколъ.

Ѳедоръ Анатоліевичъ долго не могъ отвести глазъ

отъ пылающей точки. А когда отвелъ, и опять взглянулъ на каналъ, въ сторону моста,—онъ увидалъ на Набережной, у чугунныхъ перилъ, Алексѣя Ивановича и Люсю. Сначала Бѣляевъ подумалъ, что ошибся, но это были точно Люся и Алексѣй Ивановичъ, и они не шли, а стояли. Говорятъ-ли они, или молчатъ—нельзя было разобрать, но Бѣляевъ видѣлъ, что Люся стоитъ, прислонившись къ рѣшеткѣ, что оба они его не видятъ, да и не смотрятъ въ его сторону.

Бѣляевъ не двинулся съ мѣста. Надо было ждать, онъ ждалъ и смотрѣлъ.

Большая тѣсная толпа мужиковъ въ чистенькихъ армякахъ оттѣснила его, сразу наполнивъ церковный подъѣздъ и занявъ весь троттуаръ. Были и женщины, съ укутанными дѣтьми на рукахъ и съ узелками. Толпа напирала на церковныя двери.

— Вы куда? спросилъ сторожъ.

Высокій, пожилой и степенный мужикъ, русобородый, отвѣтилъ за всѣхъ.

— А въ церкву. Мы не здѣшніе.

— Къ плащаницѣ, что-ль?

— Зачѣмъ. Мы къ плащаницѣ вчерась прикладались. Мы къ утрени. Потому здѣсь, сказывали намъ, опосля то и не попасть. А мы привыкши, чтобы пѣніе слышать Не здѣшніе мы, голубчикъ, переселенцы.

Сторожъ разсердился.

— Къ утрени! День бѣлый, а они къ утрени. Это не показано. Вонъ васъ какое мѣсто, найдете спозаранку, такъ потомъ никому не пробраться. Ступайте-ка съ Богомъ. Не время.

Мужикъ удивился.

— Не время! Мы ништо, мы обождемъ. Намъ бы только въ церкву.

— Да церковь-то у насъ маленькая! Какъ бы вродѣ домовая. Господа больше бываютъ. Идите въ соборъ, тамъ паперть есть, на паперти подождете.

— Мы нездѣшніе, упрямо и степенно повторилъ высокій мужикъ.—Мы этихъ дѣловъ не знаемъ, гдѣ соборне, гдѣ какъ. Ты ужъ, служивый, пропусти насъ въ церкву-то.

— Да коли не время! закричалъ сторожъ.—Экій народъ несуразный, времени не знаетъ.

Толпа, казалось, еще увеличилась. Слышны были женскіе голоса, ребенокъ заплакалъ.

Къ дверямъ подошелъ какой-то молодой человѣкъ, въ коричневой рясѣ, можетъ быть дьяконъ, а можетъ быть и священникъ.

Ѳедоръ Анатоліевичъ слышалъ плачъ дѣтей, голосъ сторожа, все повторяющій: „не время“, смотрѣлъ вдаль, къ рѣшеткѣ канала, и не зналъ, какое минуло время. И онъ увидѣлъ, какъ узкая темная фигура Люси отдѣлилась отъ рѣшетки, какъ за ней двинулся Алексѣй Ивановичъ, и какъ оба они стали приближаться, вмѣстѣ, и смотрѣли теперь въ его сторону.

Подошедшій человѣкъ въ рясѣ сказалъ сторожу:

— Пропусти. Церковь приходская. Пусть идутъ.

Высокій мужикъ перекрестился, медленно и широко.

— Слава Тебѣ, Господи! Сподобилъ Господь. Храмъ Божій. Храму Божьему всякъ часъ—время.

Толпа сразу потянулась въ открывшіяся двери. Когда вошелъ послѣдній—дверь хлопнула.

Ни одного шага навстрѣчу не сдѣлалъ Ѳедоръ Анатоліевичъ. Ни о чемъ не спросилъ онъ, когда Алеша и Люся подошли къ нему. Онъ только сказалъ:

— Зайдемте въ церковь,—и они всѣ тотчасъ же двинулись къ дверямъ, которыя сторожъ открылъ передъ ними.

Въ церкви тепло, темно, низкіе своды, бѣлыя колонны, пахнетъ воскомъ и нѣжной влажностью. Толпа переселенцевъ уже заняла почти весь притворъ, женщины съ дѣтьми сидѣли на полу, у стѣнъ. Посерединѣ, между колоннами, стоялъ на возвышеніи гробъ съ тѣломъ Христа—Плащаница.

Люся, ея братъ и Алеша поклонились, поднялись на ступени и поочередно поцѣловали темный холстъ Плащаницы.

А потомъ, въ молчаніи, не сговариваясь, поцѣловали всѣ трое другъ друга.

Высокій, русобородый мужикъ, стоявшій впереди, обернулся и поглядѣлъ на нихъ.

— Что ты? ласково сказалъ ему Бѣляевъ.

— Да вотъ, гляжу, что христосуетесь,—дѣловито, вполголоса, промолвилъ мужикъ.—А вѣдь Христосъ-то воскресъ еще не пѣли.

Ему отвѣтила Люся и улыбнулась.

— Мы въ путь нынче ѣдемъ. Ночь въ пути будемъ; какъ Христосъ воскресъ станутъ пѣть—не услышимъ. Намъ теперь воскресъ Христосъ.

Мужикъ посмотрѣлъ-посмотрѣлъ на нее—и одобрительно кивнулъ головой.

— Ну... инъ такъ,—сказалъ онъ и неторопливо вытеръ губы рукавомъ.—Христосъ Воскресъ, коли такъ.

Люся отвѣтила „воистину", и они трижды поцѣловались. За нею похристосовались также и братъ, и Алеша. Остальнымъ они поклонились. Женщины вставали передъ Люсей и кланялись.

Потомъ они трое взялись за руки и вышли изъ церкви.

Солнце ослѣпило ихъ.

НЕБЕСНЫЯ СЛОВА.

I.

ВВЕРХЪ.

О небесахъ всегда говорили много пустяковъ. Поэты описывали ихъ пріятный видъ, астрономы занимались вычисленіями,—каждая звѣзда у нихъ подъ номеромъ; обыкновенные люди глядятъ на небо, когда боятся, что пойдетъ дождь, а всѣ вообще убѣждены, что между человѣческими дѣлами и небомъ очень мало связи. Люди религіозные, впрочемъ, этого не скажутъ; но они смотрятъ на небо, какъ на задернутую голубую занавѣску, которая сама по себѣ не важна, а только скрываетъ отъ нихъ важное и съ ними имѣющее связь.

О небесахъ, какъ о задернутой занавѣскѣ, не буду говорить. Небо для меня живо, точно живое человѣческое лицо; и оно всегда со мною. принимая самое близкое участіе во всѣхъ моихъ мысляхъ и дѣлахъ. Лицо неба понятнѣе лица земли: люди землю почти никогда не видятъ истинною, нагою, а больше измѣненною же собственными руками; да и какъ иначе? Небеса же чисты и очень широки, а потому и выразительны.

Я разскажу нѣсколько отрывочныхъ случаевъ изъ моей жизни, и будетъ ясно, что небеса живутъ съ нами, говорятъ съ нами, только мы рѣдко слушаемъ ихъ слова.

Поэты въ особенности невыносимы. У нихъ аллегорическія небеса, а я вовсе не хочу аллегорическихъ небесъ. Поэтъ описываетъ грозу долго, подробно, только для того, чтобы прибавить: „въ душѣ моей часто бываютъ такія же грозы...“. Или говорятъ о солнцѣ и сравниваютъ его съ „солнцемъ любви“. Доктора склонны думать, что грозы вліяютъ на человѣческій, организмъ, на внѣшняго человѣка, самымъ понятнымъ образомъ И все это не то.

Мы заняты своими дѣлами, мы въ нерѣшительности, въ сомнѣніи,—и небо съ нами, улыбается, хмурится, совѣтуетъ, объясняетъ, утѣшаетъ, подсмѣивается—нужно только понимать его слова.

Выучиться нетрудно при вниманіи; особенно, если имѣешь нѣкоторыя способности и склонность смотрѣть вверхъ. Я зналъ одну старушку, которая во всѣхъ затруднительныхъ случаяхъ прибѣгала... даже не къ Библіи, и не къ Евангелію, а къ часослову. Небо гораздо шире часослова, а притомъ эта книга всегда раскрыта на нужномъ мѣстѣ.

II.

КРЫСА.

Я долго жилъ, совершенно не обращая вниманія на небеса,—долго, должно быть, лѣтъ до десяти. Злился, когда съ крышъ текла вода, и прыгалъ козломъ по саду, когда на пескѣ лежали солнечныя пятна,—а наверхъ какъ то вовсе не глядѣлъ. Мы жили въ деревнѣ, въ Малороссіи, воспитывали меня свободно—вѣрнѣе, вовсе не воспитывали,—я вѣчно былъ одинъ, и очень былъ золъ, упрямъ и тупъ.

Какъ то разъ, въ воскресенье, послѣ завтрака, я по-

шелъ къ старому амбару ловить крысу, которую я тамъ раньше запримѣтилъ. Старый амбаръ на задворкахъ былъ единственнымъ мѣстомъ, куда мнѣ запрещали ходить, а потому я вѣчно торчалъ у амбара. Сегодня же это было особенно преступно, такъ какъ утромъ меня водили къ обѣдни и надѣли мнѣ голубую шелковую рубашку, которую, я зналъ, я непремѣнно испорчу за амбаромъ. Рубашка, впрочемъ, мнѣ нравилась, и я ее немного жалѣлъ, но дѣлать было нечего.

У заброшеннаго амбара, сѣраго съ колонками, росла густая трава, почти въ мой ростъ, кругомъ тѣснились строенія, было очень уединенно, никто сюда не заходилъ. Я сѣлъ на корточки передъ заранѣе намѣченной дырой, подъ перекошенной галлереей амбара,—вынулъ кусокъ измятаго сыра, который стащилъ за столомъ, положилъ у дыры и сталъ ждать. Оружія у меня никакого не было, и я не знаю, какъ могъ я надѣяться поймать крысу, и на что она мнѣ, вообще, была нужна,—однако, ждалъ и надѣялся.

Я такъ долго ждалъ, что когда крыса пришла,—я совершенно обезумѣлъ и бросился на нее. Она съ быстротой молніи помчалась наверхъ, на галлерею. Я, кажется вопя,—за ней, на гнилыя доски, и ухватился за поперечную палку перилъ. Палка тотчасъ же переломилась и я упалъ навзничь съ порядочной высоты. Но паденіе только ошеломило меня, потому что я упалъ затылкомъ на густую траву. Вмѣсто крысы я держалъ въ рукахъ сѣрый обломокъ перила. Тонкія зеленыя нити колебались около меня, а прямо надо мною, только очень высоко, былъ кусокъ неба, голубой, какъ шелкъ моей рубашки. Я зналъ, что это—небо, но въ первый разъ какъ слѣдуетъ посмотрѣлъ на него, подумалъ о немъ—и оно мнѣ понравилось. Оно было, пожалуй, еще

голубѣе моей рубашки и стояло надо мной такъ, какъ будто ничего не случилось. Однако, оно видѣло, что я полетѣлъ, и мнѣ стало стыдно. Но лежать и смотрѣть вверхъ все таки было пріятно, и я не двигался.

Главное, мнѣ нравилось, что небо такое просторное и ничѣмъ не загромождено. Еслибъ крыса тамъ бѣгала, ей некуда было бы спрятаться, и я бы ее непремѣнно поймалъ. А здѣсь выдумали эти амбары, да норы... Хорошо тоже, что пустынно. И небо, хотя видѣло мое пораженіе, осталось серьезнымъ и не очень меня осуждало, такъ что я пересталъ стыдиться, и оно мнѣ еще больше понравилось. Я взглянулъ на рубашку. Она порвалась на рукавѣ и казалась очень тусклой передъ небомъ. Я полежалъ еще, потомъ бодро всталъ, оправился и опять взглянулъ наверхъ. Ну не поймалъ крысу, ну изорвалъ рубашку, а вотъ за то у меня теперь есть небо. Оно видѣло все—и ничего, осталось какъ было. Это хорошо, что оно теперь у меня есть.

Зачѣмъ оно мнѣ нужно—я не зналъ; что мнѣ съ нимъ дѣлать—тоже не зналъ, да впрочемъ, я не зналъ, что дѣлать и съ крысой, которую хотѣлъ поймать. Но у меня было такое довольство, точно ко всѣмъ старымъ игрушкамъ, которыя нисколько не надоѣли,—мнѣ неожиданно подарили новую. У меня былъ амбаръ, садъ, крысы, трава, я самъ—словомъ все, что внизу,—а теперь я открылъ, что и вверху есть тоже хорошее, и оно тоже мое. Хотѣлъ бы я видѣть, кто могъ у меня отнять небо!

Кромѣ того—это было и таинственно: о небѣ никто не говорилъ, и никто не подозрѣвалъ, что оно—мое; и я не хотѣлъ ничего говорить, да и какъ бы я сказалъ? Вотъ я даже теперь говорю, и для другихъ непонятно,—а тогда я ни одного слова объ этомъ не сумѣлъ бы сказать.

Вечеромъ, читая „Отче нашъ“, я остановился: „на небеси...“ Что это тутъ о небѣ? У меня была нянька. злая, которую я не любилъ и втайнѣ презиралъ. Однако я спросилъ ее, что говорится о небѣ. Она сухо объяснила мнѣ, что Богъ на небѣ.

Я промолчалъ, но это мнѣ не понравилось. Мало, что ли, Богу мѣста, что онъ поселяется именно на небѣ? Пусть бы въ церкви... Да, я слышалъ, кто то говорилъ, что Богъ—вездѣ. Ну, тогда мнѣ все равно, пусть и на небѣ. Но небо—мое, совершенно такъ же, какъ садъ, амбаръ и крысиная нора. Не больше, но и ни за что не меньше. Все, что на землѣ, амбаръ, трава—пусть Божье, я знаю, что это и мое; и все, что на небѣ, солнце, тучи длинныя (я теперь вспомнилъ, что видѣлъ тучи длинныя)—пусть Божье, если оно все таки мое. Это ничему не мѣшаетъ.

III.

ТЕТРАДЬ.

Меня отправляли въ гимназію, въ городъ. Стоялъ свѣтлый, безсолнечный день. Небо разстилалось надо мною ровное-ровное, все бѣлое, какъ страницы новой тетради. Я нисколько не грустилъ, что уѣзжаю. Ну, будутъ другіе дома, другія деревья, еще другія; мнѣ не казалось, что я теряю эти. Дорога, по которой я поѣду, соединяетъ безъ всякаго перерыва этотъ кусокъ земли съ другимъ: значитъ—оба мои. Совершенно такъ же, какъ небо накрываетъ безъ прорыва оба мѣста, и всѣ мѣста, и все оно—мое. Я не могу видѣть все на землѣ сразу, потому что я малъ и у самой земли; а небо все могу сразу, потому что издали шире видно. А въ сущности, вѣдь тоже самое.

Теперь небо, хотя и привѣтливое, сочувственное—молчало, все бѣлое и ровное. Я понялъ это такъ, что оно не желаетъ меня развлекать. Я долженъ позаняться, поучиться, чему тамъ въ гимназіи учатъ, а оно пока помолчитъ, подождетъ. Разстаться вѣдь все равно мы не можемъ. Когда понадобится—оно тутъ какъ тутъ. А поучиться тоже необходимо.

И я уѣхалъ очень веселый.

IV

СВОБОДА.

Пишу мои небесныя воспоминанія каждый вечеръ понемногу, какъ дневникъ. Тихо пишу и почти не надѣюсь, что кто нибудь прочтетъ и пойметъ, до какой степени близко намъ небо,—родное, какъ земля.

Достойно замѣчанія, однако, что почти всѣ люди, вспоминая свои слова, долгое время забытыя—вспоминаютъ мѣсто, гдѣ слова были произнесены. Иной разъ и мысли, и чувства, диктовавшія слова, исчезли изъ памяти, а мѣсто помнится. И было ли въ тотъ моментъ свѣтло или темно. Такъ я помню всегда—небо. Если, даже и не видѣлъ его, если былъ подъ потолкомъ, я зналъ, какое оно, что говоритъ,—я о немъ думалъ.

Иногда я его ненавидѣлъ, ссорился съ нимъ, оно мнѣ было противно; но не думать о немъ не могъ.

Мы шли, я и два товарища (я ужъ кончалъ университетъ) въ бѣлую ночь по набережной Невы. Чистое, жидкаго зеленоватаго цвѣта, небо покрывало насъ. Ни одна облачная тѣнь не нарушала его холодной ровности. Мы говорили о свободѣ и ужасно спорили. Особенно я залеталъ высоко. Границъ, казалось, не было моимъ мечтаніямъ. Даже вспомнить не могу всего, что говорилъ.

Товарищи, не слушая меня, такъ же, какъ и я ихъ, тоже говорили и, кажется, совершенно то же самое.

И вдругъ я остановился и замолчалъ, какъ будто меня толкнуло. Ужасно сложны были мои мечты о свободѣ и совершенно не имѣли предѣловъ. А небо надъ нами ровно круглилось, просторное и вездѣ одинаково свѣтлое. За строеніями не видно было линіи соединенія его съ землею, но угадывалось, какъ эта зеленая чаша крѣпко и аккуратно впивается краями въ землю, и какъ твердо замкнуты мы въ этомъ кругѣ. Я всегда любилъ нѣжную и ясную черту приникновенія неба къ землѣ, ихъ поцѣлуй, ихъ соединеніе. О какой свободѣ я говорю? Я зналъ и знаю, я чувствовалъ и чувствую, что я свободенъ въ этомъ кругѣ, и всякій можетъ быть въ немъ свободенъ, какъ я, если полюбитъ обоихъ, и землю, и небо одинаково,—какъ я люблю. Свободенъ въ кругѣ,—до заколдованной, непереходной черты. А другая свобода—какая?—столь невозможна, что даже и не нужна. И столь ненужна, что даже и хотѣть ея никакъ нельзя,—невозможно.

Это была у меня не мысль, не знаніе и не чувство. не ощущеніе; это было то, что я называю сознаніемъ: то-есть чувство—со знаніемъ, ощущеніе—съ мыслью. И я замолчалъ и не говорилъ больше ни о какой свободѣ, а товарищи мои долго еще говорили, слушая каждый себя, и не замѣтили, что я умолкъ.

V

МОЯ ЖЕНА.

Облака—мысли неба. Такъ и по человѣческому лицу часто проходятъ тѣни мыслей, и лицо мѣняется. Мнѣ кажется, что я иногда умѣю читать мысли людей—и почти

всегда умѣю читать мысли неба. И какъ измѣняются черты человѣка,—измѣняются и черты небеснаго лица: солнце сегодня другое, чѣмъ было вчера, и уже никогда не будетъ сегодняшнимъ. И луны я не видалъ одинаковой. О звѣздахъ и говорить нечего. На солнце рѣдко кто смотритъ—да вѣдь и прямо въ глаза человѣку мы очень рѣдко смотримъ.

Кончая мою жизнь, я не знаю, поймутъ ли меня, но въ молодости я былъ наивенъ и думалъ, что всѣмъ людямъ свойственно столько же смотрѣть вверхъ, сколько внизъ.

Но, однако, прежде, чѣмъ небо меня покорило безвозвратно, случилось вотъ что: когда я въ первый разъ открылъ, что люди живутъ помимо неба, не обращая на него вниманія, и живутъ просто и даже недурно—я глубоко усумнился въ себѣ. А если я не правъ? Если все это я только себѣ выдумалъ, а небо—обыкновенный потолокъ, которому до насъ нѣтъ дѣла? Отчего бы и мнѣ не жить попросту, какъ всѣ, глядя себѣ подъ ноги? Признаться, въ ту пору жизни вѣчное вмѣшательство неба въ мои дѣла стало мнѣ просто стѣснительно, утомило и разсердило меня. И вотъ я рѣшилъ быть одинъ, дѣлать безъ свидѣтелей все, что мнѣ хотѣлось, самъ, безъ указокъ, безъ морали, а жить по просту, совершенно какъ всѣ. Я рѣшилъ забыть о небѣ навсегда, потому что вѣдь иначе отъ этого свидѣтеля и учителя нельзя было уйти.

Въ ту пору я только что кончилъ университетъ, служить не начиналъ и даже не зналъ, буду ли служить. Деньги у меня имѣлись, немного, но довольно для меня: отецъ, умирая (мать скончалась давно), оставилъ мнѣ ту небольшую деревушку въ Малороссіи, гдѣ я выросъ. Я писалъ стихи, мнилъ себя поэтомъ и мечталъ посвя-

тить жизнь литературѣ. Университетъ я, впрочемъ, кончилъ математикомъ.

Не надо забывать, что мнѣ шелъ тогда лишь двадцать второй годъ.

Несмотря на такую крайнюю молодость, я рѣшилъ жениться. И не то, чтобы у меня кто нибудь былъ на примѣтѣ; я просто рѣшилъ жениться какъ можно ранѣе, прожить жизнь, какъ можно нормальнѣе, по Толстому. Такія намѣренія не очень вязались съ моими стихами и мыслями о „борьбѣ на поприщѣ поэта"—но въ двадцать одинъ годъ чего не свяжешь!

Въ Петербургѣ барышни были все какія то неподходящія. Я поѣхалъ путешествовать по Россіи, посмотрѣть какъ люди живутъ, да кстати поискать и невѣсту.

Въ Кіевѣ (къ себѣ въ деревню я такъ и не заѣхалъ) мнѣ пришлось познакомиться съ цѣлымъ сонмомъ барышенъ, которыя были совершенно непохожи на петербургскихъ, а потому всѣ до одной мнѣ нравились, т. е. казались подходящими женами.

Впрочемъ, скоро я остановилъ мое вниманіе на Вѣрочкѣ Бецъ и Аннѣ Ловиной. Онѣ были очень различны, и каждая хороша въ своемъ родѣ. Вѣрочка—живая, бойкая, если и не умная, то находчивая дѣвушка, блондинка безъ золота—волосы точно пыльные, но красивые; Анна—смуглая, тихая, робкая, можетъ-быть, глупая, но милая, съ длинной, черной косой. Взглядъ у нея былъ медленный, скользящій. Между этими двумя я никакъ не могъ выбрать.

И вотъ я рѣшился разсказать той и другой, отдѣльно, конечно, то, что я думалъ во дни „молодости" о небѣ, какъ оно со мной жило, какъ мнѣ мѣшало и надоѣдало, пока, наконецъ, я не вздумалъ бросить всѣ эти бредни и жить, какъ всѣ. Впрочемъ, о томъ, къ чему я пришелъ,

я не хотѣлъ говорить, а только разсказать факты и узнать, не расположена ли которая нибудь изъ нихъ къ небесной болѣзни. Этого именно я и боялся, и не хотѣлъ. Я смутно чувствовалъ, сквозь юношескую удаль, что и самъ не вполнѣ вылѣчился—если только это болѣзнь.

Въ первый же вечеръ, когда мы цѣлой компаніей гуляли въ паркѣ надъ Днѣпромъ, я постарался остаться наединѣ съ которой нибудь, съ Анной или Вѣрочкой. Вышло съ Анной.

Мы сидѣли на скамейкѣ у рѣки, надъ нами было черносинее, лѣтнее небо и различные узоры изъ довольно большихъ звѣздъ. Самъ я отводилъ глаза, боясь чтобы небо не заговорило со мною противъ воли, и я не сталъ бы его слушать, а ей сказалъ:

— Посмотрите. Видите—небо?

— Да,—отвѣтила она робко.

Мой первый вопросъ прозвучалъ довольно глупо; меня даже укололо, что она не разсмѣялась. Тогда я рѣшилъ продолжать съ поэзіей:

— Что говорятъ вамъ эти звѣзды?

Это была и условная поэзія—и вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ шелъ къ дѣлу.

Она отвѣтила не сразу. И тихо.

— Я не умѣю разсказать...

— Но говорятъ? Говорятъ?—приставалъ я.

Она опять долго молчала. Я ужъ началъ терять терпѣніе.

— Да, много...—сказала она.

— Вотъ какъ! Даже много! Послушайте-ка, что я вамъ разскажу...

Я ей вкратцѣ разсказалъ все, что думалъ о небѣ еще годъ тому назадъ. Я увлекся и уже хотѣлъ было прибавить, что теперь мысли мои измѣнились,—какъ вдругъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что Анна плачетъ.

— О чемъ вы?—сказалъ я непривѣтливо и подумалъ про себя, что дѣло плохо.

— Я... такъ понимаю васъ...—сказала Анна взволнованно.—Вотъ это именно... я не умѣю выразить... но я все это понимаю.

У меня сердце упало. Еслибъ я ее любилъ—я бы, конечно, тутъ же понялъ, какъ я дерзко глупъ со своимъ мальчишествомъ насчетъ небесъ, и слѣпота прошла бы—вѣдь она сама собою прошла черезъ нѣсколько мѣсяцевъ; но я не любилъ Анну.

Я внутренно поздравилъ себя, что придумалъ такой отличный опытъ, и всталъ со скамьи.

— Успокойтесь, Анна Васильевна... Мы еще поговоримъ... А теперь, я боюсь, насъ ищутъ...

Это было ужасно грубо, но я, увлеченный своими опытами, рѣшилъ продолжать ихъ немедленно. Я на глазахъ у Анны сталъ искать уединенія съ Вѣрочкой и безъ особой ловкости увлекъ ее на ту же скамью.

— Ну, что вы хотѣли мнѣ сказать?—торопила она.—Скорѣе, вѣдь всѣ видѣли, какъ мы сюда шли.

— Пускай видятъ.

— Хорошо, но что такое?

— Этого не скажешь въ двухъ словахъ,—неожиданно обидѣлся я.

Она улыбнулась, сѣла рядомъ и проговорила чинно:

— Все равно, хоть въ десяти.

Звѣздные узоры переливались передъ моими глазами, хотя я ихъ и отводилъ. И къ моему удивленію, я не зналъ, какъ начать разговоръ. Потомъ рѣшилъ, безъ дальныхъ исканій, начать его совершенно такъ же, какъ съ Анной, и спросилъ:

— Что говорятъ вамъ эти звѣзды?

Вѣрочка расхохоталась.

— Такъ это то было ваше важное дѣло? О, поэты, поэты!

— Не смѣйтесь, Вѣра Сергѣевна. Подождите. Послушайте, что я вамъ разскажу.

И разсказалъ ей то же, что Аннѣ, только еще короче. Вѣрочка опять усмѣхнулась.

— Ну, что же вы скажете?—спросилъ я.

— Что скажу? Ничего. Я не люблю притворяться, Иванъ Ивановичъ. Мнѣ лѣнь. Пожалуй, можно бы выдумать какія нибудь поэтическія слова для этой вашей поэтической... или астрономической исторіи, но ей Богу, мнѣ лѣнь. Мнѣ все равно. Ну звѣзды и звѣзды. Интересно, конечно... Но мнѣ все равно.

Если бы я ее любилъ—то я бы опять догадался о своей слѣпотѣ, о томъ, что она—изъ породы существъ, которыя не смотрятъ вверхъ, и потому для меня не подходитъ, какъ и я для нея; еслибъ я ее любилъ—я бы всталъ и ушелъ отъ нея; но я ее не любилъ. Несмотря на это, мнѣ все таки не хотѣлось дѣлать предложенія; однако, стыдъ передъ собой—развѣ я не рѣшилъ? что за пустяки?—заставилъ меня торопливо, давясь, проговорить:

— Вѣра Сергѣевна, угодно вамъ быть моей женой?

Она, кажется, удивилась:

— Это не поэтическая вольность?—спросила она.

Но я не расположенъ былъ къ веселью и легкимъ шуткамъ.

— Угодно вамъ быть моей женой?—повторилъ я.

Она помолчала.

— Если вы серьезно, то... то я подумаю. Или нѣтъ, впрочемъ, все равно: я согласна. Все равно.

Я почтительно поцѣловалъ ея руку, и мы возвратились къ обществу.

Вѣрочка, дѣйствительно, не любила лгать. Она очень искренно сказала это свое „все равно“. Родителей у нея не было, какой-то опекунъ завѣдывалъ ея состояніемъ. Замужъ ей выйти, чтобы пріобрѣсти самостоятельность, было нужно, а за другого или за меня—все равно. Я ей меньше нравился, чѣмъ Козицкій, напримѣръ (она сама мнѣ это все объясняла съ дѣтскимъ простодушіемъ), но Козицкій, пожалуй, заперъ бы ее, заставлялъ бы ее быть вѣрной,—онъ самъ ее любилъ. А я... Вѣрочка отлично видѣла, что я ее не люблю, и удивленно говорила послѣ свадьбы: „Знаешь, я не понимаю, зачѣмъ ты на мнѣ женился?“ Я конфузился и угрюмо молчалъ: я и самъ этого уже не понималъ больше.

Никакой семьи у насъ, конечно, не вышло, даже медоваго мѣсяца почти не вышло. Мы отправились проводить его въ мою деревушку. Сначала былъ холодъ, у Вѣрочки сдѣлался насморкъ, отовсюду дуло, и ужасно мы другъ другу не нравились, и это выяснилось именно въ одиночествѣ. Потомъ, слава Богу, настали теплые дни, а съ ними налетѣли къ намъ гости, все больше мужчины, студенты изъ Кіева, офицеры — Вѣрочка зажила весело.

Она, я думаю, начала мнѣ измѣнять со второго-третьяго мѣсяца. Почти у всѣхъ людей, и у женщинъ тоже, есть призванія: одинъ чувствуетъ себя рожденнымъ медикомъ, другой—путешественникомъ, третій—чиновникомъ... Ошибки бываютъ, но къ добру не ведутъ, и сила человѣка—найти свое собственное мѣсто. Вѣрочка была рождена куртизанкой. Настоящей, искренней, наивной, пылкой—жрицей любви. Всякое дѣло или хорошо, или дурно, смотря по тому, дѣйствительно ли оно принадлежитъ человѣку, который имъ занимается, или нѣтъ. Если бы Вѣрочка пошла въ сельскія учи-

тельницы или монахини—это было бы дурно. Но она была куртизанкой, безкорыстной, беззлобной, потому что родилась для этого—и такъ было хорошо.

Она, конечно, чувствовала, что это хорошо, но безсознательно: сознанію ея все таки было натолковано, что это—*всегда* дурно. И потому она, хотя и безъ ощущенія вины, старалась скрывать, первое время, отъ меня и отъ другихъ, свои невольныя измѣны. Скрывала плохо—лгать она не умѣла—и только озлоблялась и опошлялась, ибо чувствовала свое оправданіе и не знала его.

Я ее понялъ быстро, быстрѣе, чѣмъ понялъ бы, еслибъ любилъ ее, былъ въ нее влюбленъ. А тутъ мнѣ ничто не мѣшало. Я видѣлъ, что она озлобляется, мучается мною, начинаетъ ненавидѣть меня, не вольная въ себѣ, а я не зналъ, какъ развязать этотъ узелъ, чтобы не оскорбить ее. У нея былъ крошечный-крошечный умъ, а такія существа легко обижаются, всѣмъ обижаются и тогда безцѣльно страдаютъ.

Я понялъ все это въ тотъ день, когда опять принялъ небо, какъ моего учителя, какъ что то живое около меня, покорился ему снова—и уже навсегда. Принявъ небо, я принялъ и землю; вѣдь и ее, не зная того, я отвергъ, отвергая небо. Принялъ и понялъ... Для меня они были—и вновь стали—неразрывны.

Это случилось въ жаркій іюльскій день, когда я лежалъ въ полѣ, на опушкѣ лѣса. Сѣрая земля лиловѣла у горизонта и переходила въ такое же лиловое небо, которое незамѣтно мѣнялось къ зениту, синее насквозь —и потомъ опять, склоняясь къ другому горизонту, мутнѣло, лиловѣло и переходило въ землю. Гдѣ они дѣлились—я не зналъ, да и дѣлились ли? Я лежалъ навзничь и чувствовалъ только это земле-небо да жизнь.

Кромѣ земле-неба и жизни, то-есть движеній моего сердца—и другихъ движеній другихъ сердецъ, конечно, —ничего не было. Это я почувствовалъ со знаніемъ—и стало мнѣ почти легко, хотя и отвѣтственность свою, своей отдѣльной жизни, среди другихъ жизней, я понялъ. Я думаю тогда, въ этотъ моментъ, я въ первый разъ выступилъ изъ младенчества.

Къ осени въ Вѣрочку влюбился одинъ пріѣзжій изъ Петербурга офицеръ и, кажется, серьезно. Этого я только и ждалъ. Она была имъ увлечена, и я видѣлъ, что ей непріятна будетъ разлука, она мучается и не знаетъ, что придумать.

Раньше, чѣмъ офицеръ уѣхалъ, я сказалъ ей:

— Вѣра, здѣсь скучно. Хочешь, поѣдемъ въ Петербургъ?

Она вспыхнула и взглянула на меня странно: точно боялась, что я ее ловлю, замышляю зло. Я поспѣшно прибавилъ:

— Мнѣ необходимо, Вѣра. Дѣла...

Другая, болѣе „добродѣтельная“ женщина, радовалась бы такому удобному мужу, держалась бы за него; но ея прямому характеру это претило, да и не понимала она ни меня, ни себя и мучилась,—я это видѣлъ.

Мы пріѣхали въ Петербургъ въ октябрѣ, остановились въ гостиницѣ. О квартирѣ я говорилъ,—но глухо, я зналъ, что надо скорѣе все кончить.

Вѣра пропадала по цѣлымъ днямъ. Вечеромъ мы сходились, и я все хотѣлъ начать и все не зналъ какъ, боясь ее обидѣть. Съ того дня, въ полѣ,—она мнѣ стала дорога, какъ всякая жизнь, всякое дыханье. Все право, что живо.

Пока я собирался, Вѣра, которая была прямѣе, рѣшительнѣе меня, сама не выдержала.

— Гдѣ ты была?—спросилъ я ее какъ то, безъ всякой мысли, просто, чтобы сказать что нибудь.

Она вспыхнула.

— Что это за вопросъ?

Я не отвѣтилъ, да она и не ждала отвѣта. Вдругъ озлобившись, видимо измученная, она стала нападать на меня, неумно, дико—и естественно.

— Я знаю, знаю, что ты думаешь! Ты думаешь, что я видѣлась съ Анатоліемъ Ильичемъ! (Такъ звали офицера). Не могу я выносить твоихъ взоровъ! Что это за подлая мука! Намъ надо, наконецъ, объясниться, Иванъ Ивановичъ!

— Ну да, Вѣра, конечно надо,—сказалъ я кротко.

Она, было, притихла, но потомъ опять вскрикнула:

— Я давно вамъ хотѣла сказать, что я васъ не выношу! Мнѣ ложь ненавистна. Я никого не боюсь. Да, я видѣлась съ Анатоліемъ Ильичемъ! Да, я его люблю! Онъ—не вы! Развѣ я не вижу, что и вы меня нисколько не любите? Вы — странный человѣкъ! Вамъ не надо было жениться! Вы заняты вашей астрономіей, или поэзіей, или ужъ не знаю чѣмъ, а не женой! — Я буду вѣрной женою Анатолію Ильичу, если вы дадите мнѣ свободу! Вы должны мнѣ ее дать.

Бѣдная, она искренно цѣплялась за любовь, какъ за оправданье, искренно думала, можетъ быть, что будетъ вѣрной женой. Какъ сказать ей, что я хочу ей ея блага и только о томъ мечтаю, чтобы дать ей свободу?

— Вѣра, не сердись. Я и самъ хотѣлъ предложить тебѣ разводъ, хотя я и не думаю...

— Вы не вѣрите, что я искренно люблю другого, навсегда, вы не вѣрите?—закричала она со слезами, съ отчаяніемъ—и я понялъ, что я ее обидѣлъ. Надо и тутъ лгать?

Я подошелъ къ окну. За чернымъ окномъ было небо, похожее на ничто, на пустоту. Я зналъ, что оно тамъ, но его не видѣлъ, не слышалъ, оно—молчало.

Что же, лгать?

Небесная пустота, не слышная, не видная, сказала мнѣ: молчи.

И я смотрѣлъ и молчалъ, пока Вѣра не проговорила всего, что хотѣла, и за себя, и за меня, и, успокоенная, пришла къ тому, къ чему хотѣла придти, то есть рѣшила, что я съ нею во всемъ согласенъ и на все согласенъ.

Мы разъѣхались почти ласково. Вскорѣ я далъ ей разводъ. Но замужъ она не вышла ни за этого офицера, ни за кого другого. Она въ Парижѣ безвыѣздно, кажется, счастлива; даже навѣрное счастлива: она нашла свое призваніе. Ей все простится—если и есть у нея грѣхи.

VI

СМѢХЪ.

Я не пишу послѣдовательной исторіи моей жизни. Это лишь тѣ отрывочные случаи, которые мнѣ наиболѣе памятны и наиболѣе связаны съ небесами.

Я еще былъ очень молодъ, когда въ первый разъ поѣхалъ за границу, въ Италію. Изъ младенчества я вышелъ, исторія съ женой сдѣлала меня серьезнѣе, но все таки порою совсѣмъ дѣтская, неразумная удаль меня охватывала; и порою я казался себѣ разочарованнымъ искателемъ новыхъ красотъ, почти демонистомъ, что не мѣшало мнѣ бы быть, въ сущности юнымъ романтикомъ не безъ сантиментализма.

И вотъ, я отправился въ Италію. Рѣшилъ пооригинальничать, начать съ конца. Проѣхать Германію, Австрію, всю Италію насквозь, не останавливаясь нигдѣ, даже въ Неаполѣ, сѣсть въ Реджіо на пароходъ и открыть глаза только въ Сициліи.

Такъ я и сдѣлалъ. Даже въ окна вагоновъ мало смотрѣлъ, въ Неаполѣ, куда пріѣхалъ вечеромъ, сѣлъ тотчасъ же на поѣздъ—и утромъ уже качался на волнахъ Іоническаго моря.

Въ Мессинѣ я тоже не остановился, а проѣхалъ дальше, въ небольшой городокъ; у меня было рекомендательное письмо къ одной всегда живущей тамъ семьѣ.

Была весна. Нѣмецкая семья приняла меня радушно, дала комнату въ нижнемъ этажѣ съ длиннымъ балкономъ надъ крутыми уступами. На уступахъ были апельсинныя деревья въ цвѣту, за ними—леденѣла развалившаяся, широкая Этна, а слѣва, полукругомъ, открывалось высокое-превысокое море, ярче неба.

Сталъ я жить и вскорѣ немного обжился, первое же время я ходилъ, какъ обезумѣвшій, съ открытымъ ртомъ отъ всѣхъ этихъ чудесъ, непривычныхъ и ошеломляющихъ грубо, но сильно. Я не былъ подавленъ, а только изумленъ и почему то очень гордился, что я — тутъ и вижу такія неестественныя вещи.

Гордость и опьяненіе не совсѣмъ прошли, когда я и обжился. Опьяненіе даже исподволь усиливалось, потому что каждый новый день рождалъ новые цвѣты, новые цѣпкіе запахи, а также новыя зрѣлища.

Немудрые, но милые, мои хозяева перезнакомили меня съ тамошней иностранной колоніей, равно какъ и съ нѣкоторыми сицилійскими семействами, и я сталъ вникать въ жизнь маленькаго городка.

Ну и городокъ былъ! Весь бѣлый и голубой. Бѣлые домики, точно оплетенные цвѣтами, а внизу и вверху—только голубое, голубое,—небо, какъ море, море, какъ небо. Потомъ я понялъ, что такое море: это земля, притворяющаяся небомъ, подражающая небу; только черты неба—солнце, луна, звѣзды, а также и мысли неба—облака—всегда въ немъ не чисты, а исковерканы. Я не люблю море, но въ то время я рѣшительно ничего не понималъ, и мнѣ казалось, что я достигаю вершинъ красоты, блаженства и тончайшей мудрости.

И люди, которые тамъ жили, все чаще казались мнѣ мудрецами, открывающими завѣтныя тайны наслажденій, глубокихъ, великихъ и смѣлыхъ. Изъ иностранцевъ-собственниковъ, навсегда поселившихся въ этомъ городкѣ, семейныхъ почти не было. На выѣздѣ, по уступамъ, лѣпились бѣленькія виллы одинокихъ богачей-американцевъ, англичанъ; было два-три нѣмецкихъ барона; была вилла какого-то графа, не то поляка, не то русскаго. Хозяинъ мой, старичокъ, имѣлъ, впрочемъ, жену, довольно молодую, хозяйственную и экзальтированную нѣмку, сдѣлавшуюся уже похожей на сицильянку; но это была почти единственная женщина среди всего кружка.

Одинъ англичанинъ, самый богатый, молодой, громаднаго роста, мистеръ Миддль, велъ себя немного отчужденно; говорилъ мало, иногда совсѣмъ не приходилъ туда, гдѣ мы собирались, на виллѣ его я еще не былъ, а про нее разсказывали чудеса. Извнѣ- ничего особеннаго, бѣлыя стѣны, изъ-за нихъ чуть видна крыша небольшого домика, затянутаго блѣдными глициніями. Стоялъ этотъ домикъ въ сторонѣ, почти у самаго подножья сѣрой, скалистой горы—Monte Venere. Когда я встрѣчалъ на узенькой городской улицѣ мистера Мид-

для, громаднаго, сосредоточеннаго, вѣжливо-молчаливаго, почти таинственнаго—я кланялся ему съ уваженіемъ, со страннымъ замираніемъ сердца, похожимъ и на сомнѣніе и на зависть. Мнѣ вспоминались мои недавніе, неудачные романы—и всѣ женщины казались мнѣ такими плоскими, пошлыми, и всякая любовь къ нимъ —пошлой, сѣрой, уродливой. Развѣ есть, можетъ-быть, въ подобной любви что нибудь соотвѣтственное красотѣ здѣшнихъ цвѣтовъ и всего этого сказочнаго, бѣло-голубого города? Нѣтъ, здѣсь все должно быть особеннымъ, необыкновеннымъ, утонченно прекраснымъ, смѣлымъ до дерзости. И я чувствовалъ, какъ я самъ утончаюсь, забываю все на свѣтѣ и только обожаю красоту, да ненавижу пошлые, старые пути.

И вотъ однажды мистеръ Миддль пригласилъ насъ всѣхъ къ себѣ,—обѣдать.

Хозяйка наша волновалась и разсказывала мнѣ въ сотый разъ о красотѣ виллы мистера Миддля. Я, кажется, тоже волновался цѣлый день. Съ утра мы разбирали цвѣты, которые наканунѣ нанесли моей хозяйкѣ знакомые изъ города, туземные друзья изъ окрестныхъ деревень по случаю дня ея рожденія (она была довольно популярна). Я, можно сказать, объѣлся цвѣтами; но не только не получилъ отвращенія къ нимъ, а какъ то животно наслаждался, перебирая тонкіе, шелковые лепестки, нѣжные, точно шейка ребенка. Мы такъ и не разобрали всѣхъ, когда уже наступилъ вечеръ и пора было итти.

Мистеръ Миддль не любилъ позднихъ гостей. Поэтому онъ и приглашалъ къ обѣду, къ семи часамъ. Чуть-чуть темнѣло, когда мы вышли. Хозяйка моя огорчалась, что теперь новолуніе, потому что вилла мистера Миддля еще красивѣе въ лучахъ мѣсяца.

Вилла оказалась совсѣмъ не роскошной, не большой. Садъ и балконъ были увиты, улиты цвѣтами до такой степени, и такіе они, цвѣты, были тутъ сильные, громадные, властные,—что мнѣ вспомнился рай послѣ грѣхопаденія. Послѣ грѣхопаденія, опустѣвъ, онъ, вѣроятно, разросся пышнѣе; Адамъ и Ева не мяли больше цвѣтовъ. Во всякомъ случаѣ, здѣсь, глупенькое и надоѣдливое щебетанье которой нибудь изъ правнучекъ Евы было бы не у мѣста; лишало бы всю эту красоту ея таинственннаго соблазна. Я даже съ неудовольствіемъ посмотрѣлъ на мою хозяйку; но она держала себя скромно и ни на что не претендовала.

Обѣдали на террасѣ, выходившей въ садъ. Освѣщеніе было какое то странное, движущееся, медленно и правильно переходящее изъ краснаго въ зеленое и потомъ опять въ красное. На столъ подавали молодые служители мистера Миддля въ разноцвѣтныхъ сицилійскихъ одеждахъ, длинныхъ, складчатыхъ. Что я ѣлъ и пилъ—не помню; пилъ не много, хотя часто видѣлъ около себя пару черныхъ, точно бархатныхъ глазъ и смуглую руку, наполняющую мой бокалъ. И ѣда, и питье, казалось, пахли цвѣтами. Я оттого и не могъ ни ѣсть, ни пить,—но все таки это мнѣ нравилось.

Послѣ обѣда мы сошли съ террасы на площадку, освѣщенную тѣмъ же вертящимся верхнимъ свѣтомъ. Мистеръ Миддль оживился, сталъ почти любезенъ.

— Сейчасъ... наша тарантелла...—сказалъ онъ и хлопнулъ въ ладоши.

Изъ темнаго, чернаго сада зазвенѣла струна. Невидимые музыканты заиграли тарантеллу. Несложный, быстрый и не то что тоскливый, а тяжелый напѣвъ; какъ страсть бываетъ тяжелая.

Танцовали тѣ же юноши въ длинныхъ одеждахъ, на

площадкѣ передъ нами. Помню черные, безсвѣтные, безмысленные глаза съ пристальнымъ взоромъ, смоляные кудри подъ алой повязкой и узкую полоску лба, смуглаго, гладкаго, съ крошечными капельками пота. И быстрыя, граціозно-легкія—и все таки тяжелыя — движенія подъ тяжелый, однообразный и потрясающій напѣвъ.

Мистеръ Миддль тоже плясалъ—и, кажется, мастерски. Пошла на кругъ и моя хозяйка съ другимъ мальчикомъ. Тотъ, темноглазый, въ аломъ,—выбиралъ только мистера Миддля. Плясалъ и графъ, гибкій, нѣжный, длинный, какъ стебель ириса. Если я не плясалъ, то лишь потому, что совершенно не умѣлъ.

Музыканты, уходя, вѣчно-невидные, сыграли какую то звенящую серенаду, старую сициліанскую.

Былъ уже десятый часъ. Ушли и мы.

Дома я, не отвѣчая на длинные возгласы моей хозяйки, простился съ нею и тотчасъ же спустился къ себѣ.

Я не зажегъ лампы и не остался въ комнатѣ, а вышелъ на балконъ. Облокотившись на рѣшетку, я сталъ смотрѣть внизъ, въ черный провалъ, откуда поднимался и ласково душилъ меня тяжелый, какъ запахъ ладана, запахъ апельсинныхъ цвѣтовъ. Море шуршало въ глубинѣ, направо острилась сѣрая гора богини Любви.

И я былъ влюбленъ. Влюбленъ, какъ никогда, во все, что меня окружало, и въ себя, и въ свою влюбленность.

Тѣло мое ныло, сладко и слабо, и я чувствовалъ его на себѣ все слабѣющимъ, мягкимъ, безвольнымъ, безсильнымъ. Мнѣ казалось, что я достигаю, касаюсь вершинъ красоты, отъ которыхъ пошлость такъ же далека, какъ я самъ далекъ теперь отъ низкихъ, пошлыхъ людей, съ ихъ грубой „нормальной“ любовью на грубой,

уродливой землѣ. Новые пути, новыя формы красоты, любви, жизни... Иду къ нимъ, предчувствую ихъ, чувствую ихъ!

Я поднялъ глаза—и увидѣлъ небо.

Въ первую минуту, помню, я ничего не думалъ, не понялъ еще, но тонкій холодокъ пробѣжалъ у меня по спинѣ.

Отвести взора я уже не могъ. Все смотрѣлъ, смотрѣлъ...

Небо смѣялось.

Въ слѣдующую же минуту я увидалъ и понялъ, что оно смѣется. Черное, чистое, какъ будто звонкое и холодноватое, несмотря на крупныя звѣзды, которыя щурились, мигали, трепетали отъ смѣха. Юный мѣсяцъ готовился закатиться за Этну, почти лежалъ на ея тупой вершинѣ, именно лежалъ, потому что острые концы его, оба, были обращены вверхъ, точно углы улыбающихся устъ. Небо опять говорило со мной, и опять я понималъ, слышалъ его,—и принималъ его судъ надъ собою. Потому что это былъ его судъ—его смѣхъ, такой неожиданный, почти жестокій.

Я глядѣлъ—и съ моего тѣла, и съ моей души медленно сползало что то теплое, вязкое, разслабляющее и жалкое. Новая красота, новая любовь! Господи, что со мною было? Точно свѣтъ во мнѣ погасъ. Нѣтъ, все это, хоть и грубое—даже не страшное, а только смѣшное, такое смѣшное, что и я улыбнулся въ темнотѣ. Небо и надо мною смѣялось, и я стоилъ.

Крупный англичанинъ, его обѣдъ въ свѣтѣ вертящихся фонариковъ, извилистый, нѣжный графъ, шампанское, пахнущее цвѣтами, тупые глаза мальчика въ алой повязкѣ, потъ у него на лбу, сомнительная музыка спрятанныхъ музыкантовъ, уединенія именитыхъ

иностранцевъ, глубокомысленность священнодѣйственная —эта жизнь, эта разползшаяся Этна, и кривляющееся море, на которое никакъ нельзя посмотрѣть, чтобъ не сказать: comme c'est beau! и злополучная гора Венеры, куда иногда отсылаютъ уличенныхъ молодыхъ гражданъ,—да, все это—красота мистера Миддля, когда онъ съ серьезнымъ лицомъ подпрыгиваетъ, громадный, въ тарантеллѣ, и тяжелая золотая цѣпь бьетъ его по животу.

И такъ до смерти, отупѣніе, разваливаніе, болѣзнь... не новые это пути и формы, и не людскіе, а старые, обезьяньи. Жалкое возвращеніе назадъ—жалкое и забавное. Я вспомнилъ себя въ позѣ гордаго, блаженнаго, влюбленнаго мудреца—и уже не смѣхъ, а хохотъ сжалъ мнѣ горло.

Звѣзды мигали и щурились, но мѣсяцъ коснулся плоской Этны, и только что коснулся — тотчасъ же и упалъ внизъ, едва мелькнули алые кончики. Улыбка исчезла. Небо меня простило.

Черезъ два дня я уѣхалъ во Флоренцію.

VII.

ЖАЛОСТЬ. СМЕРТНАЯ ТѢНЬ.

Какъ то ужасно тоскливъ, вѣрнѣе—утомителенъ этотъ мой небесный дневникъ. Все больше „психологія", а это слово теперешняя молодежь произноситъ — еслибъ вы слышали—съ какимъ презрѣніемъ! Но что же дѣлать, въ наше время не стыдились „психологіи". Можно, конечно, молчать о ней, какъ стараются молчать теперь, но вѣдь она все таки въ душѣ, имѣетъ свою цѣну и значеніе, занимаетъ свое мѣсто и, не высказанная, подчасъ давитъ человѣка. Къ тому же небо у

меня такъ связано съ психологіей, а психологія съ жизнью, что ихъ я не умѣю разорвать.

Психологія—да любовь... Право, можно подумать, что эти записи дѣлала женщина, или ужъ завзятый донъ-Жуанъ... Попадаются такіе, въ мое время попадались, особенно среди поэтовъ. Но я нисколько не донъ-Жуанъ. Во всю мою жизнь я любилъ одну женщину—и эта любовь оставила у меня въ душѣ такую горькую борозду, что я радъ былъ забыть любовь, и потомъ очень сторонился женщинъ, которыя мнѣ могли бы понравиться.

Эта моя единственная любовь началась и кончилась небесными словами. Но разскажу очень кратко, потому что слушать чужія любовныя исторіи тяжело и скучно, только никто въ этомъ никому еще не признавался.

Мнѣ было тогда лѣтъ двадцать пять — двадцать шесть. Въ Петербургѣ я имѣлъ занятія, дѣла. Мнѣ жилось не плохо. И все это я бросилъ, и вотъ, въ половинѣ ноября, ѣхалъ въ Римъ. Тамъ ждала меня женщина, которую я видѣлъ передъ тѣмъ всего разъ десять, встрѣтилъ случайно лѣтомъ, на водахъ, о которой я почти ничего не зналъ, даже лица ея не могъ ясно вспомнить,—но которую любилъ.

Мы переписывались, она сказала, что проживетъ зиму въ Римѣ и звала меня туда. Она меня ужасно любила, а мнѣ иногда казалось, что мое къ ней чувство похоже больше на нѣжность, чѣмъ на любовь. Впрочемъ, не знаю, что это было—не все ли равно? Если и нѣжность—то громадная, почти страшная, обезсиливающая.

Я подъѣзжалъ къ Риму рано, на зарѣ. На сѣрой, темной, осенней зарѣ. За часъ до Рима я уже всталъ,

былъ готовъ и глядѣлъ пристально, не отрываясь, на блѣдную Кампанью изъ окна вагона.

Никогда не видалъ я ее поздней осенью. О, страшная, о, торжественная Кампанья! Ходили понизу живые, медленные туманы, точно тяжелые мертвецы ползали въ тянущихся за ними бѣлыхъ одеждахъ; качались — и вѣрно сухо шуршали—у самыхъ оконъ вагона желто-бурые камыши, стѣны камышей, высокихъ и толстыхъ, стволистыхъ, какъ деревья; иногда, точно изъ сѣраго пара сдѣланные, волновались полукруги далекихъ акведуковъ; низина страшная, влажная, безкрайная, погружающая душу въ непонятное, счастливое томленіе, въ тихій, радостный ужасъ. Это мѣсто, гдѣ кажется, что все, что было, все, что будетъ,—есть, гдѣ времени на себѣ не чувствуешь. Но въ этотъ разъ я не могъ совершенно выйти изъ времени, какой то кусокъ меня оставался во мнѣ—и это было еще страшнѣе.

Свѣтлѣло, свѣтлѣло, все бѣлѣли одежды мертвецовъ, и мертвецы тяжело подымались изъ болотъ, выше къ небу, по которому уже пошли стальныя, все синѣющія, тѣни. Но въ разсвѣтномъ небѣ не было веселья, оно круглилось тихое, грустное, и чѣмъ больше я на него смотрѣлъ, тѣмъ печальнѣе сжималось мое сердце. Точно не на любовь я ѣхалъ, а на прощанье.

Я говорилъ себѣ, что она любитъ меня, а если любитъ, то все хорошо; какая бы она ни была—она будетъ хорошей, настоящей, любовь дастъ ей все, что нужно. А я дамъ ей все, что отъ меня захочетъ ея любовь. Я не жалѣлъ себя, но... вдругъ я увидѣлъ ясно, понялъ, почувствовалъ —что небо меня жалѣетъ. Поѣздъ шелъ все тише; тихой, сырой свѣжестью вѣяло изъ спущеннаго окна; на краю небесъ я увидалъ всю бѣлую, тихую, большую, съ прозрачнымъ свѣтомъ, утреннюю

звѣзду. О, какая она была нѣжная, милая! Крупная, низкая, точно скатившаяся слеза. Небо молчало, оно не могло помочь, потому что должно было совершиться должное,—но я понялъ его печаль обо мнѣ, его любовь и нѣжность. Моя грусть не прошла оттого, что небо меня пожалѣло, но мнѣ стало легче ее нести,— я былъ не одинъ.

Когда я вышелъ въ Римѣ, вздрагивая отъ утренняго холода и внутреннихъ слезъ, -- я еще видѣлъ звѣзду въ просвѣтѣ между вагонами. Она тихо скользила внизъ. Но. проѣзжая по мертвымъ, спящимъ улицамъ, я уже не замѣтилъ ея на небѣ. Вѣрно — закатилась.

И цѣлая зима прошла.

Весной мы переѣхали во Флоренцію.

Люблю эти города, какъ можно любить живыя души, а между тѣмъ я радъ, что жизнь больше не привела меня туда—и не приведетъ, вѣдь жизни ужъ почти не осталось, я старъ. Слишкомъ много я тамъ покинулъ, весь мой юный романтизмъ, всякую, мою собственную, личную радость. Хотя, можетъ быть, это все и пустыя вещи, какъ всякая наивность,—но ихъ любишь. Вѣдь любишь глупое дѣтство.

Небо недаромъ меня жалѣло. Всѣ эти мѣсяцы были однимъ слѣпымъ страданіемъ, отъ лжи, которая то казалась правдой, то ложью, точно фонарикъ крутился на виллѣ мистера Миддля, отъ ненужныхъ отдаваній своей души, отъ сознанія безсилія.

Мое дѣло, мои мысли—все я бросилъ къ чорту. И почти не понималъ, какой грѣхъ творю. Она, женщина, которую я любилъ, была просто хитрый звѣрекъ со своей конченной душой, а я вокругъ нея старался и вѣрилъ—потому что хотѣлъ,—что мы другъ друга слы-

шимъ, и слова у насъ съ нею— одинаковыя. Она меня тащила въ яму, а я былъ убѣжденъ, что мы вмѣстѣ взбираемся наверхъ. Фу, даже писать непріятно. Я радъ, что такъ кончилось; я даже и зла, невольнаго, не смогъ ей сдѣлать.

А кончилось это—и странно—въ одинъ жаркій, безоблачно-ясный, майскій день.

Мы поѣхали съ ней въ окрестности Флоренціи, въ довольно отдаленный поселокъ, на электрическомъ трамваѣ—гулять. Я былъ раньше тамъ одинъ и зналъ, что оттуда тропа ведетъ на гору, въ сосновый лѣсъ.

Было ярко, жарко. Дорога, гдѣ проложены рельсы, узкая, все подымалась между низкими, бѣлыми стѣнами, за которыми тянулись безконечные, сплошные сады, зеленые, блестящіе.

Вагонъ былъ пустъ. Я вышелъ на заднюю площадку и смотрѣлъ на чистое, безъ единаго облачка, небо и зелень. Скоро и конецъ пути. Вагонъ все подымается, съ высоты видно кругомъ далеко. Я смотрѣлъ, безъ мыслей о томъ, что вижу, — и вдругъ почувствовалъ какую то легкую дурноту.

Это была даже не дурнота. Просто я подумалъ: не знаю, что это, но должно быть я нездоровъ.

Я вошелъ въ вагонъ, посидѣлъ немного — и опять вышелъ. И опять то же—дурнота или нездоровье. Весь чистый, ярко-синій куполъ неба казался мнѣ—и вотъ опять не казался—покрытымъ тончайшей паутиной копоти. Мѣсто, на которое я глядѣлъ прямо—ничего, но рядомъ, что глазъ захватывалъ сбоку, было съ чернымъ налетомъ. Я перевелъ взоръ на зелень садовъ, —и вотъ, то же самое: зелень почернѣла, хотя оставалась зеленой; но и небо, почернѣвъ, тоже оставалось синимъ.

Мнѣ стало худо. Не знаю, страхъ ли или боль, но

что то заставило меня закрыть глаза, войти въ вагонъ и сѣсть тамъ молча.

Моя спутница спросила:

— Что съ тобою?

— Ничего. Жарко. Отчего ты не выйдешь на площадку?

Она вышла, постояла и вернулась. Я взглянулъ на нее съ жадностью,—но она ничего не сказала. Значитъ, ничего нѣтъ. Значитъ, эта земля, эта копоть затягиваетъ мои глаза, а не небо.

Я опять вышелъ. Небо мнѣ показалось ужасно близкимъ и съ отсвѣтами чугуна. Листья, недвижные, точно пленкой пепла подернулись. И опять было это—точно не было.

Въ это время мы подъѣхали. Я ожидалъ, что я не смогу итти, что я упаду навзничь, и небо станетъ сразу землянымъ надо мною; но я не упалъ, даже голова не кружилась, и небо чернѣло медленно, неуловимо, такъ, что на одно мгновенье у меня была надежда, что все уже прошло. Но когда мы очутились на широкой площади селенія, я увидалъ, что не прошло.

И сразу стукнула, ударила мысль:

— Да это съ солнцемъ что нибудь!

Я остановился и поднялъ глаза.

— Ты ничего не замѣчаешь? Тебѣ не кажется, что съ солнцемъ...

— Да,—сказала она нерѣшительно.—Пожалуй, дѣйствительно.

Солнце, однако, стояло чистое на безоблачной лазури. Только лучей какъ будто стало меньше, они укоротились и поблѣднѣли.

Въ открытыхъ дверяхъ лавочки я увидѣлъ толстую итальянку. Она тоже глядѣла вверхъ. Двое парней по-

дошли къ намъ. Я спросилъ ихъ о солнцѣ и они мнѣ объяснили, что должно было быть затменіе, не полное, но почти полное, и оно уже началось. Я удивился, что не зналъ этого. Впрочемъ, я жилъ уединенно и газетъ не читалъ; не пришлось слышать.

Мы постояли, постояли и пошли по уличкѣ, потомъ на гору, по дорогѣ къ лѣсу.

Молчаніе, не полное, полумолчаніе, притиханье стояло вокругъ насъ. Сѣрыя, мертвенно-синія, и все мертвѣющія деревья не шевельнули ни разу ни однимъ листомъ. И пепельные листы казались вдругъ свернувшимися и поникшими. Только сосны стояли такъ же прямо, окаменѣвъ, и всѣ густо-темныя. Изрѣдка птица вскрикивала оборваннымъ крикомъ, похожимъ на всхлипыванье—и опять все притихало въ чернѣющемъ и какъ будто медленно холодѣющемъ воздухѣ, слишкомъ неподвижномъ.

Я молчалъ. Я видѣлъ то, чего никогда не видѣлъ — умирающее небо. Оно, дѣйствительно, умирало, уходило, отступало, медленно обнажая пустоту, черное пространство, о которомъ мы знаемъ, что оно есть, но не видѣли его, потому что насъ покрываетъ синева неба. Пустота, какъ темная пасть, раскрывалась надо мною. Небо умирало, а съ нимъ умирала и земля, неотрывная отъ него, покрывалась трупными тѣнями и пятнами. А съ ними, съ небомъ и землей, угасала и моя жизнь, трепетъ моего сердца. Жизнь связана съ ними, какъ они связаны съ нею.

Я зналъ, конечно, что это не смерть, а лишь прообразъ, призракъ, угроза смерти; затменіе пройдетъ; но я не думалъ объ этомъ; не все ли равно, *такое* пониманіе о смерти или сама *такая* смерть? Умираемъ—земля, небо

и я—вмѣстѣ. Чтобъ былъ я — надо, чтобъ были земля и небо. А чтобъ были они—надо, чтобъ былъ я.

Но спокойный ужасъ этого мгновенья, этого умиранья всей твари — ибо и небо и земля — тварь,—не былъ для меня новымъ чувствомъ: это я сейчасъ же понялъ. Какъ будто давнишняя, тупая боль, жившая ранѣе лишь внѣ сознанія, вдругъ вынырнула, собралась въ одно остріе, прорвала преграду между сердцемъ и мыслью, нашла мѣсто, нашла форму, проявленіе, слово. Мои слѣпыя муки, томленье духа и тѣла,—да вѣдь это умиранье души моей, убійство, черезъ меня, земли и неба, это—затменіе, затменіе, затменіе!

Небо говорило мнѣ: ты боленъ,—посмотри на нашу болѣзнь. Ты смертью умираешь,—посмотри, какъ съ тобой умру и я. Кто слѣпъ—на томъ нѣтъ грѣха. А кто видитъ и не принимаетъ—тому нѣтъ прощенья.

И вся моя уходящая, истребляемая мною въ безцѣльныхъ мукахъ ненужной любви—жизнь, стала для меня драгоцѣнностью, какъ драгоцѣнность — всякая жизнь, единственная, всякой единственной твари. Смертныя тѣни, синіе лучи ходили вокругъ меня; а мѣра силъ жизни была еще не исполнена, конца еще не было, и оттого такая дрожь, такой трепетъ обняли тварь. Нѣтъ, жить, жить надо, — видѣть, если есть глаза; это еще не ангелъ—это демонъ смерти, не успеніе, а убійство; это—затменіе.

Два часа мертвый, сѣрый мракъ сжималъ воздухъ. Воскресеніе было медленное, едва уловимое: только дышать становилось легче, сердце стукнуло громче, да птицы, еще робко, но кое-гдѣ перекликнулись съ радостнымъ недоумѣніемъ. Небо выходило изъ пустоты, возвращалось ко мнѣ.

Моя спутница притихла, какъ птица, но она была не

птица, которая воскресла безотчетно лишь съ воскресеньемъ; и не я, понимающій жизнь, небо и землю, какъ это было мнѣ дано, и который воскресъ тоже лишь съ воскресеньемъ; она была — между нами, на половинѣ пути; со своимъ получувствомъ твари и полумыслью человѣка, она скоро оправилась, зная, что это—„астрономическое явленіе, которое обычно, и оно пройдетъ: непріятно въ первую минуту, а потомъ очень интересно“.

Она стала говорить, я молчалъ. Она разсердилась— у насъ каждая мелочь вела къ ссорѣ—и надулась, кажется. Мы вошли на гору, недалеко, сѣли. Стало уже свѣтать тогда, и сердце мое ожило немного. Нельзя было терять времени. Сказать ей все, что я думалъ и чувствовалъ, прямо, я могъ бы только въ одномъ случаѣ, еслибы затменіе духа моего еще продолжалось. Вѣдь она бы ничего не услышала. И я сказалъ:

— За что ты сердишься? Я молчаливъ, я думаю о томъ, что намъ надо разстаться.

Она изумленно взглянула на меня. Но я уже понималъ ея взгляды. И продолжалъ:

— Вѣдь ты говорила, что хочешь, по нѣкоторымъ соображеніямъ, остаться ненадолго во Флоренціи. А мнѣ надо ѣхать теперь.

Объ этомъ, дѣйствительно, была рѣчь. Въ своихъ „соображеніяхъ“ она путалась, я вникать не хотѣлъ, боялся, но требовалъ, чтобы она ѣхала со мною. А она кричала, что „должна быть свободна“, и я уже ничего не понималъ, ибо все судилъ отъ „любви“, гдѣ „свободы“ никакой не нужно.

— Ты, значитъ, теперь согласенъ? Ты понимаешь, что я должна чувствовать себя свободной?

Долго мы говорили. Господь съ ней! Только бы не обидѣть ребенка. Нѣжность у меня осталась, одинокая,

большая, ненужная. Любви—не было. Она, эта женщина, была моимъ затменіемъ.

Она почему то плакала, много, жалобно, но дѣтскими, какими то не горькими слезами. Она сама не понимала, о чемъ плачетъ. „Вѣдь эта разлука всего на нѣсколько недѣль!“

Нѣжность-жалость точно солью разъѣдала мое сердце. Еслибъ я плакалъ, можетъ быть не такъ было бы больно. Но слезы не пришли. Я только тѣло мое все время чувствовалъ, и оно такое было тяжелое.

Мы вернулись въ гостиницу задолго до обѣда. Она измученная, наплаканная, прилегла на высокую кровать противъ окна, у котораго стоялъ диванчикъ. Прилегла, отвернулась къ стѣнѣ и тотчасъ же заснула, крѣпко, вдругъ, точно огорченный ребенокъ. А я, не зная, зачѣмъ, почему, двигаясь безотчетно, взялъ листъ сѣроватой бумаги, карандашъ, сѣлъ на диванчикъ у окна, и сталъ рисовать подушки, золотой узелъ ея волосъ, все ея безпомощное, худенькое, маленькое тѣло, складки бѣлаго пикейнаго платья, чуть свисающія внизъ, кончикъ ноги на одѣялѣ.

Я плохо рисую. Я не зналъ, зачѣмъ я это дѣлаю. Но каждую складку, тѣнь на подушкѣ я рисовалъ старательно, точно это было необходимо, точно мнѣ хотѣлось приложить свою руку къ смертной тѣни любви, прошедшей по моей жизни.

Я кончилъ рисунокъ, неумѣлый, но милый и страшный. Мы чаще говорили съ нею по французски; и я безотчетно подписалъ по французски:

„Voici mon enfant morte“.

Наша разлука изъ двухнедѣльной перешла въ постоянную просто, легко, почти безъ словъ, сама собою. Она даже и не замѣтила, вѣроятно, какъ это случи-

лось. Я все сдѣлалъ, чтобы мой ребенокъ этого не замѣтилъ. Жестокость—слабость. Надо миловать всякую тварь. Я вернулся въ Россію, странный, будто послѣ тяжелой болѣзни. Обращая взоръ назадъ, я понялъ теперь и многіе факты яснѣе, вѣрнѣе, иначе. Нѣжность окончательно превратилась въ жалость, такую же ненужную ей, какъ и нѣжность.

Затменіе мое прошло. Надо жить. Надо жить.

VIII.

БАРАШКИ.

Предвечернія облака все дробились, высокія, почти неподвижныя и точно локонами, ровными и мягкими, затягивали зеленѣющее небо. Былъ май. Я ѣхалъ въ тряской извозчичьей пролеткѣ по Воздвиженкѣ, въ Москвѣ.

Все было дурно, все не удавалось. Мелочи разныя,— но онѣ оплели меня кругомъ, исподволь, и теперь казалось, что не вырваться изъ паутины. Тупое утомленье жизнью, точно ноги затекли въ неудобныхъ сапогахъ.

Можетъ быть, казалось такъ дурно оттого, что со мною ѣхалъ мой товарищъ Володя, котораго я рѣдко видалъ съ университета, но любилъ, и ѣхали мы съ нимъ отъ отца Геронтія, гдѣ я слушалъ опять Володины мысли. Володя говорилъ съ нимъ, и теперь, не переставая, говорилъ со мной, глядя не на меня, а внизъ, на трясущіяся крылья пролетки. У Володи былъ блѣдный, длинноватый носъ, худыя щеки, неровно заросшія черной бородой, губы у него шевелились, и хотя словъ я всѣхъ не могъ разслышать изъ-за треска и звяканья пролетки, и нашей и другихъ, я догадывался, что онъ говоритъ все о томъ же.

Я уже понялъ, уже достаточно мнѣ дурно, и паутина

кругомъ, и подъ ложечкой тошнота, и жить надоѣло,— а онъ все говоритъ, да говоритъ... За что? Онъ нашелъ себѣ выходъ—онъ идетъ въ монахи, а вѣдь я не могу итти въ монахи, зачѣмъ же онъ отравляетъ меня? Вѣдь такія минуты не забудутся — уже потому, что я сердцемъ любилъ Володю, всегда вѣрилъ въ него и, потерявъ, все-таки не оторву его отъ души.

Въ это наше свиданіе—вотъ уже недѣлю я жилъ съ нимъ въ Москвѣ — онъ совсѣмъ измучилъ меня. Мы ѣздили по священникамъ, старцамъ, говорили съ ними, говорили между собою, Володя читалъ мнѣ какія то страшныя книги, и я вѣчно видѣлъ передъ собою его худое, бѣлое лицо съ шевелящимися губами и опущенные глаза. Онъ вызвалъ меня, чтобы „посовѣтоваться" со мною вотъ именно насчетъ этого своего шага, поступленія въ монастырь, — но съ перваго слова сталъ такъ себя вести, какъ будто рѣшилъ безповоротно и только все объяснялъ мнѣ, почему нельзя иначе. И я уже вѣрилъ, что нельзя иначе. Во мнѣ сердце тяжелѣло, и утомленье жизнью росло. И любовь моя къ Володѣ какъ то гасла, замѣняясь въ иныя минуты тупымъ недружелюбіемъ.

— Бѣжать, бѣжать... повторялъ Володя подъ лязгъ и грохотъ колесъ. — Гниль это, мерзость... Животныя кругомъ—не люди... О мерзость, мерзость!

Зачѣмъ онъ это повторяетъ? Развѣ онъ не видитъ, что убѣдилъ меня? И все съ большей настойчивостью, странно растущей горячностью,—зачѣмъ?

— Нельзя, нельзя иначе,—продолжалъ Володя. — Мракъ вездѣ, задохнусь въ этомъ смрадѣ. Да, вездѣ мракъ. Ты понимаешь, что нельзя мнѣ иначе?

Я не отвѣтилъ. По узкой, свѣтлой улицѣ шли люди, спѣшили, мелькали. На домахъ золотились вывѣски.

Мальчишка проюркнулъ подъ лошадиной мордой и захохоталъ, подпрыгнувъ. Володя опять говорилъ, но я уже не слушалъ. Меня заняла одна мысль: а если Володя именно потому такъ настойчиво, съ такой возрастающей горячностью убѣждаетъ меня въ своей правотѣ — что самъ не вполнѣ въ нее вѣритъ? Если онъ хочетъ не поощренія моего—а поддержки этому чуточному сомнѣнію? Если онъ не знаетъ, дѣйствительно ли вездѣ, все—мракъ и отчаяніе?

— Ты слышишь меня, Ваня?—говорилъ онъ.—Ты понимаешь?

— Володя... началъ я—и остановился.

Господи, какое счастіе, если онъ сомнѣвается! Я вѣрилъ въ радость — и вѣрилъ въ Володю. Которую нибудь вѣру я долженъ потерять. Но если онъ сомнѣвается...

— Володя... сказалъ я снова.

Онъ разсердился.

— Ну, что? Что ты все начинаешь? Ты слышалъ? Вѣдь ты вѣришь въ Бога? Или хоть понимаешь, какъ я вѣрю въ Него? А ради Него нельзя жить здѣсь, надо уйти, бѣжать, запереться, во тьмѣ плакать о своей душѣ, проклясть всякую радость, ибо радость сотворилъ дьяволъ, а не Господь...

— Володя, Володя, а это... — я указалъ вверхъ, и помню, у меня слезы вдругъ закипѣли въ сердцѣ и прожгли паутину, оплетавшую меня. — Вотъ это... тоже дьяволъ сотворилъ?

Никогда не видѣлъ я такого торжества радости въ небесахъ, какъ въ тотъ вечеръ, надъ грязной, узкой улицей. Серебристое руно раскинулось по зеленовато-голубому полю, прозрачному, какъ тихая земная вода, какъ горный камень. Не улыбка даже была въ небесахъ, а

только сіяющая, радостная ласка землѣ, не торжественное безстрастіе—а любовь близкаго материнскаго взора.

„Все даю вамъ, все ваше,—говорило небо,—какъ и вы мои“.

Володя, за мною, въ первый разъ поднялъ глаза на небо.

То, съ чѣмъ боролась и что уже надломила его душа — было сломлено взоромъ небесъ, силой ихъ радостной любви.

Помню, мы такъ и пріѣхали въ гостиницу молча и потомъ цѣлый вечеръ плакали вдвоемъ. И о чемъ плакали—не знаю. Такъ, отъ радости.

IX

ТИГРОЙ ИГРАЕТЪ.

Я только что узналъ, что изъ-за Остапа опять все пошло къ чорту.

Это былъ самый зловредный мужикъ, какого я встрѣчалъ. Упрямъ, золъ, трусливъ и тупъ. И на грѣхъ онъ былъ еще старостой и имѣлъ вліяніе.

Задумавъ одно очень серьезное дѣло, которое впослѣдствіи стало дѣломъ моей жизни, я рѣшилъ, прежде чѣмъ отдаться ему совершенно, съѣздить къ себѣ въ имѣніе и устроить тамъ дѣла съ землей и съ мужиками.

Я не хотѣлъ имъ благотворить, а устроиться съ ними по хорошему, по справедливому, не теряя своего, не пріобрѣтая чужого, какъ равный съ равными. И я натолкнулся на непреодолимыя трудности и невольно вспоминалъ Нехлюдова въ Толстовскомъ романѣ прошлаго столѣтія—„Воскресенье“. Очень было похоже, хотя, повторяю, подозрительнаго, барскаго великодушія во мнѣ не было, да и народъ въ Малороссіи, какъ я думалъ,

подѣльнѣе, посвободнѣе, посообразительнѣе, наконецъ и времена не тѣ.

Однако, дѣло тормозилось, и я частенько выходилъ изъ себя, особенно когда понялъ, что мутитъ Остапъ: растолкуешь, изъ силъ выбьешься, сговорились, кажется, поняли,—глядь, Остапъ имъ тамъ опять все по своему, и опять все надо снова. Я до сихъ поръ не понимаю, ради чего онъ старался, должно быть искренно думалъ, что я его какъ нибудь обмишуриваю.

То, что онъ былъ трусъ и передо мною тупо трусилъ и подличалъ, меня и бѣсило, а между тѣмъ запугивать его было необходимо. Я невольно впадалъ въ преувеличеніе и порою былъ несдержанъ съ нимъ, что мнѣ самому казалось противно.

Стоялъ октябрь, но погода еще держалась.

Я шелъ по двору, къ дворнику Матвѣю, старику, который у сарая рубилъ дрова. Наканунѣ, казалось, все совершенно у меня съ мужиками сладилось, а сейчасъ я узналъ, что они опять на попятный.

Не было сомнѣнія, что это Остапъ.

Дворъ—широкій, пустой, трава пожелтѣла и стерлась. Я подошелъ къ Матвѣю, который пересталъ рубить. Короткій день кончался.

— Матвѣй — сказалъ я, не узнавая своего голоса, такой онъ былъ тихій отъ бѣшенства и сдавленный,— сходи пожалуйста... на деревню... чтобы Остапъ пришелъ ко мнѣ. Чтобъ сейчасъ пришелъ, слышишь?

Матвѣй поглядѣлъ на меня сочувственно.

— Ужъ и хохлы эти! (Онъ самъ былъ русскій). Упрямѣй чорта, прости Господи, а глупѣй свиньи. Остапъ этотъ—чего баломутитъ? Не понимаетъ? Поучить бы его, такъ понялъ бы, небось! Душа то хамская. Вся понятливость въ мордѣ сидитъ.

— Сходи за нимъ, пожалуйста—повторилъ я тихо, сквозь зубы.

Матвѣй опять взглянулъ на меня.

— Пойду, пойду,—сказалъ онъ, и мы двинулись съ нимъ вмѣстѣ, я—къ дому, онъ—въ людскую, должно быть, за армякомъ.

Противъ насъ были деревья сада и западъ. Я глядѣлъ внизъ и все сжималъ зубы отъ боли бѣшенства, но, случайно взглянувъ на лицо Матвѣя, увидѣлъ, что оно какое то красное, багровое. Невольно я перевелъ взоръ выше, на западное небо за садомъ и остановился.

Остановился и Матвѣй.

Послѣ мгновеннаго молчанія онъ произнесъ:

— Ишь ты, небо то! Тигрой пошло! Тигрой, какъ есть, играетъ!

Но это былъ даже не тигръ, а пятнистая кожа пантеры или какой нибудь скверной змѣи. Пятна не то пламени, не то крови пачкали небо. И они ширились, выступали на чистыхъ мѣстахъ, горѣли, кидались въ глаза, противныя, густыя, тяжелыя, злобныя, звѣриныя.

Я отвелъ глаза — и по землѣ запрыгали „кровавые мальчики", а душѣ стало стыдно, страшно и гадко. Я точно увидѣлъ цвѣтъ, лицо моей собственной души.

— Вотъ что, Матвѣй... произнесъ я.—Ты, пожалуй, не ходи нынче за Остапомъ. Завтра утречкомъ сходишь. Тогда я съ нимъ, утречкомъ, и поговорю. Ну его.

Матвѣй, кажется, не одобрилъ моего рѣшенія, но за Остапомъ не пошелъ.

А пятна на западѣ скоро стали гаснуть, блѣднѣть, кожа пантеры посѣрѣла и стерлась, змѣя уползла, небо успокоилось. Успокоился и я.

X

СТЫДЪ.

Вотъ еще одинъ, какъ будто неважный и очень „психологическій“ случай изъ моей жизни, который вспоминать мнѣ не очень пріятно, хотя я тутъ, собственно, не совершилъ никакого проступка, никакого грѣха. Но самыя большія преступленія вспоминаются не такъ тяжело, какъ порою пустая, мелкая неловкость, недоразумѣніе, ошибка самая невинная, другими даже незамѣченная; или замѣченная—но такая, которую и выяснить нельзя отъ ея ничтожности. И такъ она слеживается маленькимъ комочкомъ въ душѣ, и порой, когда начнешь тамъ ворошить—давитъ не больно, а тошнотно.

У каждаго, самаго почтеннаго, самаго серьезнаго человѣка, повѣрьте, есть такіе комочки; но они ничуть не мѣшаютъ ему быть и серьезнымъ, и почтеннымъ.

Я не могу сказать, по всей справедливости, что въ тридцать слишкомъ лѣтъ я былъ не серьезенъ, или глупъ, или празденъ. Но была во мнѣ одна точка, гдѣ я словно самъ отъ себя отсталъ, и когда ея касалось дѣло,—я и разсуждалъ, и чувствовалъ иначе, то-есть довольно странно чувствовалъ и очень мало разсуждалъ.

Какъ уже сказано—я любилъ только одну женщину, серьезно пошелъ въ любовь только разъ, и съ тѣхъ поръ всѣмъ существомъ сторонился любви, своей и чужой, храня свои силы для иного. Но такъ какъ я былъ красивъ (хотя мнѣ самому лицо мое часто казалось непріятнымъ) и такъ какъ я никогда за женщинами не ухаживалъ,—я имъ нравился, онѣ сами ухаживали за мною, и сторониться ихъ нужно было съ умѣньемъ, съ настойчивымъ вниманьемъ. Клянусь, мнѣ это не каждый разъ льстило; я знаю, что я не исключеніе; я—какъ всѣ,

я, только уходя, отъ нихъ, дѣлалъ не какъ всѣ. Но, однако, я испортился, избаловался, всякая женщина мнѣ стала подозрительна; а вдругъ она въ меня влюбится? И во мнѣ являлась брезгливость, самоувѣренность и раздраженіе.

Послѣ пятилѣтней разлуки я встрѣтилъ Владимира, того самаго, который хотѣлъ итти въ монастырь. Свидѣвшись, едва поговоривъ, мы поняли, что ближе другъ другу, чѣмъ думали сами. У насъ мысли шли къ одному и мечтанья были почти одни, и дѣло почти одно, а вскорѣ стало и совсѣмъ одно. И такъ это было чудесно и радостно, что я увидѣлъ, для чего небо тогда пригрѣло насъ своей лаской: для спасенія не насъ однихъ, а и Божьяго дѣла, ставшаго дѣломъ нашей жизни.

У Владимира была жена. Онъ сказалъ мнѣ просто, что она—бѣдная дѣвушка, которую онъ встрѣтилъ случайно, что она ему помогла, когда онъ нуждался въ помощи, и они женились. Я его не разспрашивалъ. Я видѣлъ, что ихъ связываетъ прочная, нѣжная дружба и довѣріе; черезъ Владимира и я къ Наталіи Сергѣевнѣ отнеся какъ будто хорошо.

Она была худощава; не особенно красива; блѣдное лицо съ немного острымъ подбородкомъ, темныя косы, которыя она носила заплетенными и уложенными вокругъ головы, взглядъ твердый и зоркій. Эта твердость мнѣ даже показалась непріятной. Взоръ ея точно искалъ чего то не должнаго въ чужой душѣ, обличалъ и судилъ.

Впрочемъ, это я чувствовалъ лишь первое время, а потомъ, когда она стала обращаться со мною съ добротой, расположеніемъ и дружествомъ,—я уже не ощущалъ холода. Но зато я началъ бояться, что мы съ Владимиромъ незамѣтно утратимъ нашу самостоятельность, потому что—кто ее знаетъ? А вдругъ она энергичнѣе, властнѣе и тверже насъ?

Это уже было мелковато съ моей стороны. Но вскорѣ и эта фаза прошла, и я—просто соскользнулъ въ привычную мысль, что Наталія Сергѣевна „въ меня влюблена“,—и на этомъ остановился.

Дѣло наше понемногу шло, то неудачно, то опять возникая, требовало вниманія, силъ и любви, съ Володей мы сходились все ближе и, по внѣшности, и съ Наталіей Сергѣевной, которая не уменьшала ко мнѣ своего расположенія и нисколько не скрывала его; я же съ тѣхъ поръ, какъ увѣрился, что она въ меня влюблена, сталъ смотрѣть на нее, какъ на всякую влюбленную женщину, вынужденная близость съ нею раздражала меня, добрыя слова не трогали, и знакомое, полупрезрительное, полупольщенное чувство все чаще охватывало меня въ ея присутствіи. Уйти я не могъ, вѣдь пришлось бы уйти отъ Владимира, а онъ былъ моимъ вторымъ я, такъ же, какъ и я для него.

За себя я, однако, не боялся. Человѣческая власть Наталіи Сергѣевны не была для меня опасна съ тѣхъ поръ, какъ Наталія Сергѣевна оказалась слабой, влюбленной женщиной; а ея женская власть не угрожала мнѣ потому, что эта женщина нисколько мнѣ не нравилась.

Такъ я и жилъ на-двое, то увлекаясь дѣломъ, радуясь, мучась и размышляя, работая и уставая, то, вспомнивъ, что эта умная женщина въ меня влюблена,—раздражаясь, сожалѣя, полупольщенный, думая только о томъ, какъ бы не сказать ей лишняго слова, чтобы не дать напрасныхъ надеждъ.

И вотъ, одинъ разъ, уже въ маѣ, когда начались длинныя бѣлыя ночи, я пришелъ къ нимъ вечеромъ и засидѣлся. Владимиру нездоровилось. Въ первомъ часу онъ сказалъ, что ляжетъ.

— А ты, Ваня, кончи этотъ разговоръ съ Наташей.

Она тебѣ покажетъ письма, о которыхъ я тебѣ говорилъ.

Я остался. Въ комнатѣ, гдѣ мы сидѣли, портьеры были откинуты, потому что не смеркалось, и въ бѣловато-синемъ свѣтѣ я видѣлъ лицо Наталіи Сергѣевны, казавшееся еще блѣднѣе. Она, неторопливо двигаясь (у нея всѣ движенія были спокойны), подошла къ столу, вынула и подала мнѣ дѣловыя письма, которыя я и прочелъ у окна.

Потомъ мы стали говорить о дѣлѣ, потомъ о Владимирѣ. Она говорила не громко, но быстро, съ оживленіемъ. Я все время помнилъ, что она въ меня влюблена, а потому не могъ съ искреннимъ увлеченіемъ говорить ни о нашемъ дѣлѣ, ни о Владимирѣ. Но я слушалъ ее, находилъ опять, что она очень неглупа и дѣльна, и въ душѣ рождалось сложное чувство волненія, фатовства и злости, чуть чуть презрительной.

Не помню хорошенько, о чемъ мы говорили. Кажется, въ концѣ концовъ, обо мнѣ. Она вспомнила, что еще въ началѣ нашего знакомства предсказывала, какъ мы сойдемся и какъ я увлекусь дѣломъ.

Я прохаживался по комнатѣ.

— Да, потому что вы хотѣли сближенія со мною...

— Конечно, хотѣла,—сказала она.

Такая откровенность даже удивила меня. Я испугался, не сказалъ ли чего лишняго. И опять свелъ разговоръ какъ будто на дѣла, въ сущности нисколько о нихъ не думая; и всѣ слова мои и тонъ ихъ, — все шло отъ одной мысли, что, вотъ, ты въ меня влюблена, а я въ тебя не влюбленъ, но такъ какъ я сношеній съ тобой порвать не могу, то я буду очень-очень деликатенъ, а ты это пойми, вѣдь ты умница.

Тутъ я даже великодушно польстить ей былъ готовъ.

Такъ мы говорили долго, потому что это свиданіе ничуть не казалось мнѣ непріятнымъ.

Но совсѣмъ посвѣтлѣло, пора было разстаться. Высокое окно и балконная дверь выходили на площадь и на восточную сторону неба. И неба очень было много, потому что за площадью начинались какіе то пустыри.

Наталія Сергѣевна встала и пошла впереди меня къ выходу. Я шелъ за ней, тихонько ступая. Хотя мы не могли потревожить Владимира, — спальня его была далеко,— но отъ разсвѣтной, глухой ночи, отъ тишины кругомъ,— мы все время говорили вполголоса, и это придало таинственную значительность нашей, въ сущности простой, бесѣдѣ. Вѣдь я и раньше зналъ, что она въ меня влюблена. Но никогда мои слова не дышали такимъ откровеннымъ признаніемъ ея влюбленности.

Полупечальный, полудовольный я шелъ за нею. Помню ея узкій станъ, свѣтлое суконное платье, черныя косы, гладкія, сложенныя вокругъ головы, и голову, немножко наклоненную впередъ.

У самой двери она пріостановилась, обернулась къ окнамъ и сказала очень просто:

— А солнца нѣтъ.

— Какъ нѣтъ? Должно быть. Теперь ужъ поздно.

— Нѣтъ. Когда оно есть — оно здѣсь. Сегодня его нѣтъ.

Она смотрѣла на небо прямо, повернувъ къ нему лицо.

Посмотрѣлъ и я.

Небеса были чистыя, зеленыя, тѣневыя. Но на востокѣ, внизу, лежала полоса облаковъ, бѣлыхъ, покойныхъ, тяжелыхъ, твердыхъ, точно каменныхъ и срѣзаны они были ровно, ровно. Ни малѣйшаго солнца не было, да и не могло быть. Поверхъ этой ограды небо горѣло нѣжнымъ, розоватымъ огнемъ.

Мнѣ ли не знать моего родного неба? Мнѣ ли не понимать, что говорятъ его черты? Я съ ними жилъ, я къ нимъ привыкъ.

Лицо небесъ горѣло отъ стыда.

Огонь перешелъ и на мое лицо. Можетъ быть, это только отблескъ. Но нѣтъ, Наталія Сергѣевна была попрежнему блѣдна. А взоръ ея—спокоенъ и твердъ.

Хотя онъ былъ обращенъ на небо, а не на меня, я понялъ, что и меня онъ нижетъ и судитъ и, можетъ быть, прощаетъ, а это самое невыносимое. Я понялъ съ проклятой ясностью, что держалъ себя постыдно, говорилъ, какъ дуракъ (я уже тутъ не скупился на слова), какъ фатъ, какъ мальчишка, какъ гимназистъ, какъ офицеръ... Какъ кто еще? потому что она въ меня—ни капельки не влюблена. А видѣла прекрасно, что я въ этомъ увѣренъ. Да откуда у меня эта увѣренность? Только потому, что другія влюблялись въ меня. Она была добра, она горячо относилась ко мнѣ... И вотъ, я...

Но почему, если видѣла, что я держу себя шутомъ, почему не сказала, что это не такъ?

Здравый смыслъ шепнулъ мнѣ, что ея словамъ я все равно бы тогда не повѣрилъ. Да и, наконецъ, можетъ быть, она жалѣла меня. Или, можетъ быть, у нея были свои цѣли. Молчаніе было ея право.

Я не могъ дальше выносить этого. Я рѣшилъ все ей сказать, сейчасъ же объяснить, казнить себя, просить прощенья. Въ неосвѣщенной передней я протянулъ ей руку...

Но она не замѣтила въ темнотѣ моей руки, да и я не выговорилъ никакихъ словъ, не нашелъ. Какъ бы я ихъ могъ найти, когда ихъ нѣтъ для такихъ объясненій? Всякое слово только усилило бы ужасъ стыда между нами. Все происшедшее таково, что какъ будто оно есть,

и даже перевертываетъ человѣка, а между тѣмъ какъ будто его и нѣтъ. Формы для него нѣтъ, способовъ для выраженія его между двумя—нѣтъ. И такъ я и ушелъ, въ свѣтѣ, сдѣлавшемся желтымъ, въ полной безпомощности.

Объясниться было нельзя. Пережить въ молчаніи,—казалось, тоже нельзя, а это бы и слѣдовало сдѣлать. Но слишкомъ стыдъ меня заѣлъ, я почти возненавидѣлъ Наталію Сергѣевну, и одна была надежда успокоиться, думалось мнѣ, это — чтобы она все-таки сказала мнѣ наконецъ:

„Да я вовсе въ васъ не влюблена!"

Мнѣ думалось, что если я ее доведу до этихъ словъ, то какъ то унижу, и потому самъ немножко оправлюсь. А то задохнусь.

Вотъ какая въ наше время сложная была психологія, пожалуй, безцѣльная сама по себѣ; однако, насъ она воспитывала.

И я сталъ почти грубъ съ Наталіей Сергѣевной. Чѣмъ она была кротче и спокойнѣе, тѣмъ я грубѣе. Она пыталась уговаривать меня—я бѣсился еще пуще. Я, уже почти неправдоподобно, показывалъ ей, что знаю, какъ она въ меня влюблена, а во мнѣ никакой любви нѣтъ, и охоты къ сближенію нѣтъ. До того зарвался, что даже—прости меня, Господи!—сказалъ, что и вѣры въ успѣхъ общаго дѣла нѣтъ, благодаря недовѣрію къ ней.

Она какъ будто опечалилась.

— Зато Володю вы любите и вѣрите ему.

— Да онъ то меня не любитъ!

Просто самъ не знаю, что говорилъ.

— Ну вотъ, мы васъ оба любимъ, — говорила она, будто утѣшая.—Это у васъ пройдетъ.

И такъ я и не добился своего. Ни на іоту не измѣнилась она ко мнѣ, ни разу не оборвала, даже взоръ опускала. Неуязвимая какая то. Думаю, много она понимала, а вотъ этого, послѣдняго, что со мною было—не поняла. Рѣшила, что я неизмѣненъ въ своей увѣренности. И зачѣмъ она позволяла, чтобъ я считалъ ее влюбленной? Жалѣла ли она меня? Или у нея были свои цѣли?

Шелъ отъ нихъ передъ вечеромъ, такія были длинныя, спокойныя тучи на небѣ и тянулись онѣ тихо къ югу, къ дальнему морю, должно быть. Захотѣлось и мнѣ успокоиться, отдохнуть, пережить эти пустяки, да такъ, чтобы ужъ ни къ чему такому не возращаться.

Я уѣхалъ на три мѣсяца. Съ Владимиромъ встрѣтился осенью радостно, съ Наталіей Сергѣевной благодарно. Подозрительное, презрительное и раздраженное чувство къ женщинамъ у меня съ тѣхъ поръ почти исчезло.

Жили мы съ Владимиромъ и его женою почти одною жизнью, одной работой; они были моими единственными помощниками; ближе, кажется, и нельзя быть: а все-таки всю жизнь между мной и Наталіей Сергѣевной чувствовалось что-то невыясненное, закиданное сверху годами, событіями, ничтожное само по себѣ, но мучительное тѣмъ, что ни съ какимъ словомъ къ нему не подступишься и вообще ничего съ нимъ сдѣлать нельзя.

XI

УЩЕРБЪ.

Я старъ. Я даже не помню хорошенько, сколько мнѣ лѣтъ: девяносто ли два, или три, а то, пожалуй, и меньше.

Я одинокъ. Володя и Наталія Сергѣевна умерли.

Дѣло мое и кое-кто изъ помощниковъ, учениковъ нашихъ—живы; но я самъ отошелъ отъ него и отъ нихъ, когда далъ все, что имѣлъ и силы упали. Оно живо, оно растетъ уже безъ меня, а я исполнилъ мѣру моихъ силъ и кончилъ все свое.

Я не хочу писать объ этомъ дѣлѣ моей жизни здѣсь, теперь, хотя оно, какъ и все, рождено отъ неба. Но рождено ни однимъ какимъ-нибудь моментомъ, не мгновенно мелькнувшимъ выраженіемъ небеснаго лица,—а всей моей жизнью на землѣ подъ небесами. Небесами, непонятно переходящими въ землю, землею, такъ же неуловимо и непонятно переходящею опять въ небеса, и чувствомъ моей жизни въ нихъ, между ними, ими,—страннымъ чувствомъ—со знаніемъ. И чтобы говорить о томъ, что я дѣлалъ и сдѣлалъ въ эти лучшіе тридцать-сорокъ лѣтъ моего житья—мало отрывочныхъ небесныхъ словъ, нужны къ нимъ и слова земли, и слова жизни.

Я не найду ихъ, я ужъ старъ. Кто-нибудь найдетъ, скажетъ, напишетъ; не обо мнѣ, что я? меня никто не знаетъ,—а о дѣлѣ: оно живо, ему слава и радость.

Радость и во мнѣ, постоянная и неподвижная, какъ безсолнечный, безтѣнный свѣтъ. Я совсѣмъ одинъ, но это я невѣрно сказалъ, что одинокъ. Никогда не бываю я одинокъ. У меня большія, большія окна, которыя я не завѣшиваю, на площадь. На площади церковь, а за церковью—восходъ. Я сижу въ креслѣ у камина долго, поздно; огонь чуть дышитъ, ноги у меня подъ толстымъ пледомъ, я сталъ зябокъ, а спать хоть и не ложиться—все равно безсонница. Сижу такъ, а передъ утромъ, ужъ небо посвѣтлѣетъ, встанетъ изъ-за моей церкви мѣсяцъ, повиснетъ совсѣмъ надъ крестомъ, а я смотрю на него, люблю его. Какой онъ слабый, тощій, и посвѣ-

тить то, какъ надо, уже не хватаетъ его, весь исхудалъ и согнулся. Станетъ низко и виситъ, наверхъ ползти бодрости нѣту. Къ смерти у насъ съ нимъ дѣло идетъ, и показывается то онъ такимъ старенькимъ поздно, я одинъ его вижу, а молодые спятъ, имъ силы нужны.

Небо любитъ свой старенькій мѣсяцъ, небо понимаетъ, какая у мѣсяца смерть. Небо и меня любитъ, оно и мою смерть понимаетъ. Что я, что мѣсяцъ—оба мы одинаковыя дѣти неба и земли.

И даже странно думать, что есть еще гдѣ-нибудь люди, которые до сихъ поръ вѣрятъ, будто жили они съ землей подъ ногами и съ небомъ надъ головой, а потомъ такъ все перемѣнится, что и подъ ними и надъ ними будетъ только одна земля, а неба уже не будетъ. Они, я думаю, просто никогда внимательно не размышляли о непреложности законовъ жизни, а поразмыслятъ и поймутъ, что законы и для нихъ не измѣнятся.

Земля не отниметъ жизнь, не отниметъ человѣка у неба. Да и какъ отнять, когда они всѣ трое, небо, земля и тварь, живы лишь другъ другомъ и всѣ *трое—одно*?

Что есть—то будетъ. То,—но, можетъ быть, иное, потому что есть измѣняющее все движеніе.

И когда у меня будетъ иная, новая жизнь—будетъ новая земля и будетъ новое небо.

Слава имъ! 01.

ЗАКОНЪ.

I.

По неровной дорогѣ, мимо сжатыхъ полей, шли два студента и вяло разговаривали. Одинъ былъ повыше и поплотнѣе, въ короткой сѣрой тужуркѣ, другой—маленькій, немного кривобокій, чернокожій и въ пальто.

Черненькаго звали Лебедевъ. Онъ пріѣхалъ на дачу въ гости къ товарищу Зернову, на два дня. Было только половина августа, но погода стояла сѣрая, осенняя. Семья дальнихъ родственниковъ, съ которыми Иванъ Ивановичъ Зерновъ прожилъ лѣто, уже съѣхала, потому что дѣтямъ надо было въ гимназію. Младшій братъ, Митя, реалистъ третьяго класса, котораго Иванъ Ивановичъ самъ воспитывалъ послѣ смерти отца, тоже уѣхалъ къ началу занятій,—онъ шелъ первымъ.

— Не тоскливо тебѣ одному-то на дачѣ? спрашивалъ Лебедевъ.—Сырость, вечера темные. Въ меланхолію впадешь.

— Не впаду. Тетя мнѣ Натальюшку оставила. Я люблю осенью въ деревнѣ. А въ Петербургѣ что теперь дѣлать? Здѣсь и работается лучше.

— Тебѣ-бы отдохнуть надо. Зимой съ этими лекціями, уроками — совсѣмъ заработался. До сихъ поръ какой-то кислый, скучный. Изъ-за этого Мити ты когда-нибудь заболѣешь. Я-бы не вынесъ.

Иванъ Ивановичъ усмѣхнулся.

— Что-жъ, бросить мнѣ его, что-ли? Въ сапожники отдать? А что ты-бы не вынесъ—вѣрю. Ты и такъ все на здоровье жалуешься. Пойдемъ-ка пошибче—холодно. И не ной, сдѣлай милость, надо мной. Я отлично себя чувствую—это разъ, и на дачѣ прекрасно—два. Хочешь общества—на селѣ сколько угодно. Ѳедорова семья, напримѣръ. Я часто бываю. И превесело.

Лебедевъ пожалъ плечами.

— Можетъ быть. А мнѣ кажется, что здѣсь, подъ Петербургомъ, народъ не интересенъ. Да и народъ-ли? Здѣсь фабрики, здѣсь дачники, здѣсь, если хочешь, прислуга,—а народа нѣтъ.

— Да я вовсе и не для изученія народа хожу на село, сказалъ Иванъ Ивановичъ.—Мнѣ просто веселѣе. Съ Ѳедоромъ я очень люблю говорить. Хочешь, зайдемъ къ нимъ?

— Зайдемъ, пожалуй, сказалъ Лебедевъ.—Отогрѣемся.

Иванъ Ивановичъ повернулъ назадъ, снялъ на минуту фуражку и провелъ рукой по бѣлокурымъ, щеточкой остриженнымъ волосамъ. Лицо его, несмотря на двадцать-два года, было еще немного дѣтское, полное, бѣлое, довольно пріятное. Обыкновенно оно имѣло спокойное, доброе, даже веселое выраженіе. Но Лебедевъ зналъ, что товарищъ любитъ спорить, и что тогда лицо его дѣлается престраннымъ: не то свирѣпымъ, не то испуганнымъ и свирѣпымъ вмѣстѣ. Товарищи-студенты это выраженіе лица у Зернова даже любили, онъ тогда дѣлался интереснымъ, не останавливался ни передъ какими парадоксами и вообще былъ очень смѣлъ въ словахъ.

— Наше село большое,—сказалъ Иванъ Ивановичъ.—Видишь, какая куча домовъ надъ озеромъ. Улица пре-

длинная. Церковь около парка, на горѣ. Паркъ-то дрянной, хоть и княжескій. И домъ развалился. Какому князю нужда сюда ѣхать. Лѣса повырубили. Фабрика недалеко. Было имѣніе, стало село.

Тихій, мокрый вѣтеръ ровно дулъ съ полей. На горизонтѣ, направо, виднѣлось мелколѣсье, кругомъ одни поля, далеко, повсюду сѣроватая земля подъ сѣрымъ небомъ. И земля такая плоская и голая, что, кромѣ села, были видны, какъ на ладони, и другія дальнія деревни, поменьше,—сѣрое пятно темнѣе земли и неба. Чернѣлись узкія дороги.

— Въ вашемъ селѣ, небось, въ каждой избѣ дачники?—спросилъ Лебедевъ.

— Съѣхало теперь много. Пойдемъ, что стоять.

II

Мимо старой, сумрачной, желтѣющей березы у колодца, студенты прошли въ село. Тянулась улица, пустынная, черная отъ грязи. Около избъ кое-гдѣ были положены мостки, угрузающіе въ гущу. Коровьи и лошадиные слѣды оставили на этой гущѣ глубокія, круглыя дыры, наполненныя темной водой. Сѣрыя, старыя избы чередовались съ домиками поновѣе, желтенькими „дачками“, небольшими и какими-то несерьезными. Особенно несерьезно смотрѣлъ кукольный балкончикъ наверху, мезонинъ, въ которомъ, конечно, трудно былобы помѣститься человѣку.

Дальше въ улицу этихъ домиковъ было мало, сѣрыя избы, съ огородами позади, тѣснились въ рядъ.

Закутанная спозаранку баба молчаливо посмотрѣла на проходящихъ и пошла въ калитку, пихнувъ ногой тихую собаку. Мальчикъ въ грязной розовой рубашкѣ, вздувавшейся пузыремъ, ходилъ по грязи на высокихъ

ходуляхъ. Его маленькія корявыя ноги цѣпко охватывали деревянныя перекладины, а конецъ каждой ходули, выходя изъ грязи, громко чмокалъ и оставлялъ узкую дыру, которая тотчасъ-же наполнялась водой.

— Здравствуй, Лелька,—сказалъ Зерновъ—Что, дома есть кто?

— Это Тимошки Василь Трофимовича ходули, прокричалъ Лелька въ упоеніи.—Далъ походить!

Зерновъ улыбнулся, хмурясь.

— Тебѣ только баловаться. Дома-то у васъ кто?

— Степанка на фабрикѣ. Кто дома? Батя дома.

— Свались, свались. Вотъ я тебѣ задамъ!

— А ты нешто учитель? Тебя мы не боимся!—прокричалъ Лелька уже издали, долговязо шагая на своихъ палкахъ.

— Учителя боятся?—спросилъ Лебедевъ.

— Страхъ какъ боятся. Только скажи ребятишкамъ: учитель идетъ—всѣ разсыпятся. Здѣсь школы нѣтъ—на фабрикѣ. Входи, вотъ Ѳедорова изба.

Минувъ темныя сѣни, гдѣ Лебедевъ ударился о двѣ притолки, Иванъ Ивановичъ отворилъ дверь. Волна теплой, почти горячей затхлости встрѣтила ихъ. Пахло свѣжимъ хлѣбомъ, холстомъ, лампадкой и мытыми полами. Крошечныя окошки не выпускали тепла, а печь вѣрно была топлена недавно.

Дощатая перегородка раздѣляла избу на двѣ половины, обѣ свѣтлыя. Въ первой, побольше, на лавкѣ, у стола, накрытаго скатертью, сидѣлъ нестарый мужикъ въ красной рубахѣ. Темные, плоскіе волосы его были гладко-прегладко расчесаны на прямой рядъ.

Больше никого въ избѣ не было.

— Здравствуй, Ѳедоръ,—сказалъ Иванъ Ивановичъ.—Что, одинъ сидишь?

Ѳедоръ улыбнулся.

— Здравствуй, баринъ милый. Милости просимъ. Разбрелись мои всѣ. Хозяйка за соломой пошла. Татьяна, никакъ, корову доитъ, Нюшку посѣкла да и уложила. Спитъ тамъ на кровати, да вотъ я сижу. Двое насъ и есть. А это кто-же съ тобой? Товарищъ, что-ли?

Ѳедоръ говорилъ охотно. Голосъ у него былъ тихій, говоръ немного тягучій, можетъ быть излишне ласковый, какъ у больныхъ, всегда нуждающихся въ посторонней помощи. Отъ темной бороды, недлинной, лицо его казалось еще страшнѣе, точно вылѣпленное изъ желтаго воска. Съ обѣихъ сторонъ лица висѣли гладкія пряди волосъ. По щекамъ, когда онъ улыбался, собирались длинныя, крупныя складки. Глаза, каріе и живые, смотрѣли почти весело, безъ приниженности. Онъ обдернулъ рубаху и сказалъ опять:

— Милости просимъ садиться. Хозяйка придетъ— самоварчикъ поставитъ. Чайку съ нами выкушайте.

Студенты сѣли. Лебедевъ спросилъ:

— Ты видно боленъ?

— А то какъ-же!—произнесъ Ѳедоръ даже съ нѣкоторымъ удовольствіемъ.—Пятый годъ сижу. Высохли ноженьки.

Подъ лавкой, какъ двѣ плети, висѣли ноги Ѳедора, обутыя въ широкія валенки.

— Его на рукахъ носятъ съ лавки на кровать, да съ кровати на лавку,—замѣтилъ Иванъ Ивановичъ.

— А лечился?—спросилъ опять Лебедевъ.

— Много я лечился. Фельдшеръ нашъ намучился со мной. А то изъ Питера докторъ, важный такой, въ прошломъ годѣ пріѣзжалъ. Показывался ему. Ревматизмъ, говоритъ, что-ли. И если, говоритъ, твою болѣзнь начать какъ слѣдуетъ лечить, такъ, говоритъ, ни избы,

ни коровы, ни всего твоего достоянія не хватитъ, а еще будетъ ли толкъ—неизвѣстно. Простудился я очень.

— И такъ и сидишь?—удивился Лебедевъ.

— Такъ и сижу. Да я ничего, я слава Богу. Мы вотъ, съ моимъ бариномъ милымъ часто толкуемъ. Оно, конечно, для семьи тяга, однѣ бабы, старшій-то сынишка на фабрикѣ, еще какой онъ по дому работникъ! Ну, а для души хорошо. Грѣха меньше.

— Съ кѣмъ тебѣ и грѣшить, ты все одинъ,—сказалъ Иванъ Ивановичъ.

— Работу работаютъ,—произнесъ Ѳедоръ и въ первый разъ вздохнулъ.

Они помолчали. Изъ-за перегородки слышалось дыханье спящаго ребенка.

— Теперь бьются, чтобъ земли не отняли,—продолжалъ Ѳедоръ тихо,—земля за нами считается, а мужика нѣту. Всякій разъ принанять надо. Парнишко-то выростетъ—справимся. А коли землю отнимутъ, тогда плохо Степанка много-ль на фабрикѣ выработаетъ, а вотъ Татьяна нынче съ почтой ладно устроилась.

— Она письма со станціи носитъ,—пояснилъ Иванъ Ивановичъ Лебедеву.—Старшая дочь Ѳедора, Таня.

— Я ее видалъ; это она нынче утромъ съ Натальюшкой на крыльцѣ говорила? Статная такая. Неужели она каждый день за десять-то верстъ пѣшкомъ?

— Каждый день,—сказалъ Ѳедоръ весело.—Попъ каждый день газету получаетъ. Лавочникъ Василій Трофимовичъ два рубля, попъ два рубля, лѣтомъ дачники это, ну и ладно выходитъ. Зимой доходу поменьше, да и темно. Пурга иной разъ. Много на ея мѣсто просилось, однако попъ, дай ему Богъ здоровья, на Танюшку сразу показалъ. У насъ мужика въ домѣ нѣту.

Дверь отворилась. Вошла сухонькая, вертлявая баба

въ сапогахъ, въ подоткнутомъ со всѣхъ сторонъ платьѣ, обвязанная сѣрой шалью.

— Батюшки, гости у насъ дорогіе, а я-то и не знала!— затараторила она.—Что-же Танька самоваръ не поставила? Нашъ-то баринъ частенько къ намъ жалуетъ, а этого-то черноватенькаго я и не видала..

— Раскутывайся-ка, молодуха,—шутливо сказалъ Ѳедоръ.—И взаправду пора чай пить.

Баба казалась очень старой, съ коричневымъ лицомъ, съ рѣдкими волосами. Но они съ Ѳедоромъ были ровесники, ей и ему подъ-сорокъ.

Пришла Татьяна, стройная дѣвушка, худощавая, одѣтая по-городски, развязная и веселая. Продолговатое лицо ея, нѣжное, очень загорѣло. Маленькій, красивый ротъ и каріе глаза, совсѣмъ какъ у отца. Что-то въ ней было рѣшительное и безпечное.

Она и вошла рѣшительно, безъ смущенія поздоровалась, вынула чайную посуду, въ минуту раздула самоваръ, потомъ заглянула за перегородку.

— Что, проснулась? — сказала она громко. — Иди-ка, иди къ батѣ.

Она, вѣрно, сняла ребенка съ постели. Зашлепали босыя ноги и въ избу вошла дѣвочка лѣтъ пяти. Она только недавно стала ходить и ходила нетвердо, переваливаясь и ковыляя.

— Здравствуй, Нюша,—сказалъ Зерновъ.

— Здравствуйте,– произнесла Нюша безъ застѣнчивости и очень небрежно.

— Тебя сѣкли сегодня?

— Когда это?—фыркнула Нюша.—Мы сегодня въ Питимбургъ ѣздили.

Нюша отроду не бывала въ Петербургѣ, но была очень самостоятельна, находчива и врала на каждомъ

шагу. Смѣлость ея была безпредѣльна, она даже учителя не боялась. Она стояла посреди избы; до смѣшного маленькая, вся широкая, четыреугольная, въ длинномъ, затрепанномъ платьицѣ, грязная, съ лягушачьимъ лукавымъ лицомъ. У нея былъ громадный ротъ, носъ пуговкой и длинныя черныя рѣсницы.

— Что это, Господи милостивый, сколько народу въ избу набилось!—сказала Нюша презрительно, очевидно намекая на гостей.

Ѳедоръ поманилъ ее.

— Иди-ка, Нюша, сюда. Иди, милая. Не то тебя Таня опять посѣчетъ.

— Анъ дудки!—рѣшила Нюша.—Ее вечоръ маменька саму какъ въ ухо двинетъ!

Таня вдругъ сердито покраснѣла.

— Дождешься ты, Анютка, у меня. Дай срокъ.

— А ты съ парнями не сиди! Не сиди!—поддразнила Нюша и, спѣша и ковыляя, направилась къ Ѳедору. Таня еще больше покраснѣла, нахмурилась и вышла изъ избы. Зерновъ тоже немного покраснѣлъ, но ничего не сказалъ.

Болтливая Петровна, жена Ѳедора, говорила теперь за всѣхъ. Разливая чай, она успѣла пожаловаться и на Ѳедорову болѣзнь, и на то, какъ имъ теперь съ землей трудно, на Нюшу, и на Таню, которая, словъ нѣтъ, дѣвка работящая, а только стала такая халда, что ее бей—не бей, все одно.

— Да и какъ ее бить? Выше меня выросла. Отецъ былъ-бы здоровъ, онъ-бы ее поучилъ.

— Ну, чего,—прервалъ ее Ѳедоръ недовольно.—Чего на Таньку взъѣлась? Танькой держимся. А дѣвка молодая. Ей-бы замужъ,—да нельзя, пропадемъ безъ нея. Ну, и не тронь дѣвку.

Всѣ молчали. Нюша возилась на лавкѣ. Ѳедоръ степенно пилъ чай съ блюдечка, дуя передъ каждымъ глоткомъ. Потомъ Лебедевъ заговорилъ съ Ѳедоромъ опять о его болѣзни, о фабрикѣ, о больничномъ фельдшерѣ. Таня вернулась, налила себѣ чашку и молча сѣла у окна.

Пора было уходить.

Лебедеву, видимо, Ѳедоръ понравился, или удивлялъ его. Ѳедоръ тоже улыбался.

— Прощай, баринъ. Счастливо тебѣ. Завтра уѣзжаешь-то? Коль не уѣдешь—заходи еще.

И, обращаясь къ Зернову, прибавилъ:

— Славный баринъ. Ясный такой. Утѣшилъ меня.

— Ясный?—удивился Зерновъ.—Слышишь, Лебедевъ, Ѳедоръ тебя яснымъ называетъ. А я что-же, не ясный?

— Ты? Нѣтъ, ты милый баринъ, и часто мы разговариваемъ, и полюбилъ я тебя душевно, а только ясности въ тебѣ той нѣтъ. Ты самъ не знаешь, о чемъ сейчасъ подумаешь, а онъ знаетъ.

Зерновъ разсмѣялся, а Лебедевъ почему-то обидѣлся и вышелъ изъ избы точно ущемленный. Таня вышла съ ними и осталась на порогѣ, провожая ихъ глазами и улыбаясь. Зерновъ, дойдя до поворота, обернулся, посмотрѣлъ пристально и, тоже улыбнувшись, снялъ фуражку.

Когда уже дача была видна, Лебедевъ, все время молчавшій, вдругъ произнесъ:

— Въ сущности этотъ Ѳедоръ—довольно извѣстный типъ деревенскихъ старцевъ, калѣкъ, поучителей. Претензія на мудрость, изрекаютъ неправдоподобныя вещи и всегда ханжи.

Зерновъ взглянулъ на товарища съ нѣкоторымъ удивленіемъ и промолчалъ.

III.

Натальюшка была въ благодушномъ настроеніи и къ вечернему чаю подала друзьямъ рому. Тетка оставила почти цѣлую бутылку. Зерновъ выпилъ не много, а Лебедевъ приналегъ и очень развеселился. Натальюшка глядѣла на него съ нѣжностью и отвѣчала на его шутки. Ивана Ивановича она не очень любила, держала себя съ нимъ со строгой покровительственностью, хотя и считала его своимъ: она у тетки жила лѣтъ двадцать, всѣхъ дѣтей вынянчила, осталась въ дѣвицахъ и характеръ у нея очень испортился. Она еще молодилась, но когда крѣпко сжимала тонкія губы, видъ у нея былъ надменный и злой. Но нѣкоторыхъ она отличала „за простой характеръ", имѣла слабость и къ Лебедеву.

— Нѣтъ, какъ хочешь, а въ тебѣ что-то другое,—говорилъ Лебедевъ поздно вечеромъ, укладываясь на диванъ въ комнатѣ Зернова, гдѣ ему была приготовлена постель. Зерновъ уже лежалъ, на столикѣ горѣла свѣчка.

— Другое, перемѣна въ тебѣ,—твердилъ Лебедевъ.— Молчишь, или такъ еле-еле отвѣчаешь, словно тебѣ лѣнь или скучно. Одичалъ ты, что-ли? А помнишь, бывало, споры-то какіе у насъ случались? Вѣдь до зари! И ты первый. Съ кѣмъ ни спорить,—лишь-бы спорить. И не споръ даже, а просто ты говорилъ, а мы слушали.

— Много пустяковъ говорилъ,—ровно произнесъ Зерновъ.

— Ого! Вотъ какъ! Каешься? Убѣжденія мѣняешь?

— Ничего я не каюсь, а просто ничего не знаю. И оставь ты меня, пожалуйста, въ покоѣ.

Лебедевъ такъ и подскочилъ.

— Это послѣ столь горячихъ-то проповѣдей? Ни-

чего не знаешь? Ну, не говорилъ ли я, что въ тебѣ перемѣна? Не даромъ эти твои парадоксы никого не убѣждали, только слушали тебя, потому что интересно. Не убѣждали,—однако, я потомъ часто обо всемъ этомъ думалъ. И мнѣ нравилось, ей Богу; помнишь у Мамонтова ты разъ говорилъ, что всякія тамъ моральныя и нравственныя правила и законы надо бросить къ чорту, забыть, потому что они не для людей выдуманы, что люди только потому и преступаютъ ихъ, что они есть, а что иначе никому и въ голову-бы не пришло? Помнишь?

— Помню,—неохотно отозвался Зерновъ.

— А Семененко еще тогда возразилъ тебѣ, со смѣшкомъ эдакимъ, „вы забываете, что люди подлецы". Какъ сейчасъ вижу твое свирѣпое лицо: не подлецы, а всѣ честные, глубокіе, прекрасные, потому что человѣческая природа сама по себѣ прекрасна! Скажите сейчасъ людямъ, что они свободны, что все позволено, снимите съ нихъ принужденіе законовъ—вы думаете, они подлости начнутъ дѣлать? Никогда. Да вы мальчику двѣнадцатилѣтнему окажите довѣріе, отпустите на слово, онъ въ срокъ придетъ. А безъ довѣрія, можетъ, и не придетъ. Какъ-же человѣку никто довѣрія не хочетъ оказать? Что, Ваня, вѣдь такъ ты говорилъ?

— Такъ. Помнишь, братъ.

— Я все помню. Думалъ сколько разъ. И ты еще прибавилъ: можетъ и останется какой-нибудь дрянной человѣкъ (не дурной, дурныхъ нѣтъ), самый дрянной, самый слабый, въ которомъ вся натура ужь переродилась, ничего ужь не осталось, все эти законы выѣли. Ему нельзя безъ закона. Онъ и не отойдетъ отъ закона, самъ не отойдетъ. Будетъ чувствовать, что погибнетъ, если отойдетъ. Но это одинъ какой-нибудь, ну, два, это

исключеніе, послѣдствія ошибки, болѣзни. Заразы законовъ не будетъ, и болѣзнь погаснетъ.

— Да, я все это говорилъ, или вродѣ этого,—задумчиво произнесъ Зерновъ.—Я хорошо помню. Вотъ и ты запомнилъ. А вѣдь не убѣдился же ты...

— Ну, что я,—замялся Лебедевъ.—Мы люди маленькіе, прибавилъ онъ, усмѣхаясь.—Да и парадоксы это все жесточайшіе... Но, конечно, иногда и подумаешь...

— Видишь-ли, Сережа,—сказалъ вдругъ Зерновъ другимъ тономъ, приподнимаясь и садясь на постели.—Я не хотѣлъ, да ужь пожалуй, скажу. Ты и не могъ убѣдиться, да и нельзя, потому что если это все принять, какъ я говорилъ, что сейчасъ и увидишь, что все это вздоръ.

— Вотъ тебѣ на! Почему вздоръ?

— А вотъ слушай. Я тамъ сказалъ, что останется непремѣнно какой-нибудь дрянной человѣкъ, который законами этими добра и зла въ конецъ ужь будетъ испорченъ, и самъ себѣ довѣрія не посмѣетъ оказать и не отойдетъ отъ закона, потому что погибнетъ. Такъ вотъ тогда я, и ты, и другой, и всякій—непремѣнно хотя изъ добросовѣстности сначала подумаетъ: ужь не я-ли этотъ дрянной и слабый человѣкъ и есть? Непремѣнно подумаетъ, почти всѣ подумаютъ. Слишкомъ трудно не подумать. А разъ подумалъ—ну, и кончено. Тогда онъ этимъ дряннымъ и будетъ, и есть.

Лебедевъ помолчалъ.

— Да я ничего,—сказалъ онъ наконецъ.—Все это у тебя конечно парадоксъ. Только хорошо выходило, право, даже почти убѣдительно. А ужь теперь, конечно, если ты самъ отрекаешься...

— Да я не отрекаюсь, пойми ты!—почти крикнулъ Зерновъ.—Я только думаю, я ничего не знаю; я и про

себя не знаю... И скучно мнѣ,—прибавилъ онъ вдругъ совсѣмъ другимъ голосомъ и опустился на подушки.

— Ты просто переутомился, заработался. Право. Постой, вотъ что я хотѣлъ тебя спросить, коли такъ: , ты по урокамъ бѣгаешь, мучаешься, а вѣдь знаю, чего тебѣ иногда стоитъ, брата содержишь, въ реальное за него платишь, ну, конечно, ты Митю любишь, это такъ... А все-таки дѣлалъ-ли-бы ты для него столько, ровно столько-же, съ такими-же, урываніями отъ себя, если-бы не было тутъ чуточку чувства долга, что вотъ братъ, что тебѣ нельзя его не поддержать... Вѣдь ты и не зналъ его вовсе, когда изъ Казани выписывалъ. Да и тетка хотѣла его взять, она мнѣ говорила, а ей это было-бы легче, нежели тебѣ. А ты не захотѣлъ. Подумалъ, что ты долженъ, что...

— Не ври глупостей! — зло крикнулъ Иванъ Ивановичъ.—Не потому, что долженъ, а потому что такъ хотѣлось...

— А хотѣлось-то почему?

Но Зерновъ ничего не отвѣтилъ.

— Ты сердишься? — спросилъ Лебедевъ послѣ молчанія.

— Нѣтъ. Ничего. Все это пустяки, Сережа. Будемъ спать. Право, скука одна.

Онъ погасилъ свѣчу, и больше они не разговаривали.

IV.

Лебедевъ еще спалъ, зарывшись въ подушки, когда Иванъ Ивановичъ, тихонько одѣвшись, вышелъ изъ темной и душной комнаты въ столовую, оттуда на балконъ и въ садикъ. Былъ часъ восьмой утра. Небо голубѣло чистое и влажное, словно вымытое, солнце сто-

яло еще не высоко и было такое нѣжное, неяркое, золотое. Въ тѣни на травѣ, далеко, лежала сѣдая роса. Вѣяло холодомъ, но не вчерашнимъ, сѣрымъ и тупымъ, а бодрящимъ, острымъ. Было вдругъ такъ неожиданно хорошо, что Зерновъ отворилъ калитку, вышелъ на дорогу и медленно пошелъ впередъ, къ парку, но потомъ остановился и присѣлъ на стволъ срубленнаго дерева, у забора, на солнцѣ. Дорога была пустынна. Деревья парка скрывали село. Тѣнь бѣжала по полю, за канавой, полоса росы становилась все уже. Откуда-то потянуло дымкомъ, осенней утренней гарью, свѣжей и душистой, какъ ласка ребенка.

Зерновъ хотѣлъ встать и идти домой, но въ эту минуту увидалъ на поворотѣ дороги женщину. Онъ сейчасъ-же узналъ Таню, но все-таки хотѣлъ встать и уже всталъ, но уйти не успѣлъ, потому что она была совсѣмъ близко.

— Здравствуйте, Иванъ Ивановичъ! — крикнула она весело и развязно.—Рано встали.

— А ты на станцію идешь, Таня?—спросилъ онъ ласково.

— На станцію. Я каждый день мимо вашей дачи иду. Хотѣла нынче попросить, не подвезетъ-ли меня баринъ, что у васъ гоститъ, да вѣдь они, чай, поздно поѣдутъ.

— Онъ спитъ. Рано. Не торопись, Таня, посиди со мной.

Таня пожеманилась, но сѣла. Лицо ея на солнцѣ стало все нѣжное, съ золотыми и розовыми тѣнями. Вязаная косынка на темныхъ волосахъ, драповая черная кофточка, синяя юбка—все на ней казалось и милымъ, и кокетливымъ, и, несмотря на городской нарядъ, на развязаность, въ ней что-то было деревенское, молодое и свѣжее.

Иванъ Ивановичъ тоже, подъ лучами веселаго солнца, казался совсѣмъ мальчикомъ.

Таня сѣла близко. Зерновъ вдругъ охватилъ ее одной рукой за плечи, притянулъ къ себѣ и поцѣловалъ въ щеку. Таня ошатнулась.

— Что вы, здѣсь-то!—сказала она быстрымъ шопотомъ и сейчасъ-же прибавила громко:

— Опять балуетесь! Коли такъ, я уйду. Что право.

Она было встала, но Зерновъ удержалъ ее за платье и опять посадилъ около себя.

— Ты хорошенькая, Таня,—сказалъ онъ тихо, наклоняясь къ ней.—Ты вѣдь знаешь, что ты мнѣ нравишься. Развѣ я тебѣ не говорилъ? Ты мнѣ ужасно нравишься. Я о тебѣ цѣлый день думаю, ей-Богу. Съ тобой нигдѣ и не поговоришь. Хоть-бы въ праздникъ посидѣла со мной. Ты слышишь, Таня?

Она молчала и смотрѣла внизъ, только щеки ея чуть порозовѣли и губы дрожали, какъ-будто стараясь сдержать улыбку.

— Ты мнѣ ничего не скажешь?—продолжалъ Иванъ Ивановичъ, волнуясь.—Я тебѣ противенъ? Не нравлюсь?

Таня вдругъ подняла глаза, каріе и веселые, взглянула прямо въ лицо Зернова и сказала смѣло:

— Очень даже нравитесь!

Но сейчасъ-же покраснѣла сильнѣе и не вырывалась, когда онъ опять крѣпко обнялъ ее и поцѣловалъ ея улыбку.

— Мнѣ пора,—сказала она шопотомъ, поправляя косынку.—Пустите. Да и нехорошо. День бѣлый, люди ходятъ. Лучше ужо къ намъ придете. Тогда и свидимся.

— Я тебя одну хочу видѣть.

Таня засмѣялась.

— Ишь вы какой прыткій! А помните, корову разъ мнѣ помогали доить? Закута у насъ, сейчасъ изъ сѣней. Вотъ приходите нынче.

— А ко мнѣ ты ужь никогда не придешь?

— Къ вамъ? Въ дачу-то? Не приду.

— Таня, слушай, я тебя люблю. И это хорошо, это отлично. Если ты меня любишь—такъ и не думай ни о чемъ, а только люби. Ты вѣдь мнѣ вѣришь? Любишь меня?

Таня поглядѣла на него съ удивленіемъ.

— Вѣдь сказала—люблю. Чего-же еще? Я не какъ другія,—похвасталась она,—ужь коли люблю, такъ люблю.

Опять онъ хотѣлъ обнять ее, но она рѣшительно вырвалась.

— Баловаться будетъ не ко времени — только меня и видѣли! Никакъ ужъ часъ девятый есть. Опоздала совсѣмъ. Вонъ телѣга ѣдетъ, попрошусь подвезти. Да пустите, ей Богу! А ужо стану ждать.

Она быстро пошла вправо, обернулась нѣсколько разъ, улыбаясь. Зерновъ помедлилъ и направился къ дому. Солнце стало ярче и грѣло. Веселый, смутный шумъ со стороны села, скрипъ далекой телѣги, запахъ далекаго дыма,—все, соединяясь, было для сердца человѣческаго счастьемъ, такимъ безпредѣльнымъ счастьемъ, что оно почти походило на грусть.

V.

Лебедевъ уѣхалъ въ два часа. Друзья простились довольно холодно. Натальюшка всучила отъѣзжающему банку варенья. Онъ очень благодарилъ, и вообще съ Натальюшкой разговаривалъ, а на Зернова поглядывалъ не то съ недовѣріемъ, не то съ опаской.

Иванъ Ивановичъ прошелся въ лѣсъ, потомъ вернулся на село. День былъ тихій и солнечный. У Ѳедоровой избы Зерновъ остановился, постоялъ немного и вошелъ въ сѣни. Темно, ничего не слышно. Онъ пріотворилъ дверь въ избу. Муха на запертомъ оконцѣ ровно и громко жужжала. Ѳедоръ дремалъ на лавкѣ, одинъ, и не поднялъ головы, вѣрно не слыхалъ. Иванъ Ивановичъ не вошелъ, приперъ тихонько дверь и хотѣлъ уже идти прочь. Но крыльцо скрыпнуло, завизжалъ блокъ, и черезъ секунду Зерновъ съ кѣмъ-то столкнулся въ темнотѣ.

— Это я,—сказала Таня негромко.—Къ батѣ ходили? Онъ небось дремлетъ?

— Да. Я и ушелъ.

— Потомъ проснется, чаю запроситъ. Маменька на полѣ. А мнѣ корову подоить надо. Мы ее въ стадо не выгоняемъ. Нервная она у насъ. Такъ когда на лужокъ пустимъ. Погодите тутъ, я подойникъ возьму.

Зерновъ уже привыкъ къ темнотѣ. Да и было не очень темно. Сейчасъ изъ сѣней, влѣво, вела широкая дверь въ закуту. Къ избѣ горницу стали было пристраивать, да не пристроили, накрыли срубъ безъ оконъ соломой, да лѣсенку внизъ, изъ сѣней, поставили, потому что пола не было, была земля.

Таня вернулась съ подойникомъ. Иванъ Ивановичъ прошелъ за ней, спустился съ лѣсенки и присѣлъ на ступеньку. Въ щели, между сухими, не вездѣ законопаченными бревнами проходили внутрь длинные, желтые, пыльные лучи солнца. Отъ нихъ точно полусумрачный, веселый дымокъ стоялъ въ тепломъ воздухѣ. Было просторно. Въ дальнемъ углу соломы накидали до-верху. Таня возилась съ коровой, уговаривала ее, тихо и ласково. Зерновъ различалъ теперь и корову, большую,

темную, нетерпѣливую. Она переступала ногами, шелестя соломой, и шумно вздыхала. Иванъ Ивановичъ даже чувствовалъ иногда тепло и вѣтеръ этого дыханія.

— Таня, поди сюда,—сказалъ онъ вдругъ почти сурово.

Таня отозвалась не сразу.

— Сейчасъ,—произнесла она тихонько.—Вотъ сейчасъ.

Она поднялась, сдѣлала нѣсколько шаговъ по шуршавшей соломѣ, осторожно поставила подойникъ въ сторонѣ, подошла и сама сѣла рядомъ съ Иваномъ Ивановичемъ. Онъ взялъ ее за руку, у локтя, и сказалъ:

— Ты вѣдь не боишься меня, Таня?

— Я? Чего-жь бояться? Вы, чай, не кусаетесь.

Она хотѣла пошутить, но шутки не вышло. И голосъ у нея былъ не задорный, какъ всегда, а почти грустный.

— Видишь-ли, Таня, я тебѣ хотѣлъ сказать... Ты, можетъ, ее поймешь. Ты, можетъ, меня подлецомъ считаешь...

— Я-то?—вскрикнула Таня съ искренностью.—Что это, право, да съ какой-же это стати... Напрасно вы такъ предполагаете, очень даже напрасно. И развѣ я...

— Ну, все равно,—перебилъ Зерновъ.—Тѣмъ лучше. Я хотѣлъ только сказать, что если ты меня любишь, если я тебѣ нравлюсь, и если я тебя люблю, вотъ сейчасъ, сегодня—такъ ничего въ этомъ дурного нѣтъ, и никому ты не вѣрь, не слушай, что-бы тебѣ ни говорили. Я тебя смѣю любить, и буду любить, потому что такъ хочу.

— Да что-жь будутъ говорить?—промолвила Таня робко.—Ничего не будутъ. Кто-жь узнаетъ?

Зерновъ помолчалъ, подумалъ. Потомъ прибавилъ ласково:

— Я тебя не покину, ты не думай. Я еще долго здѣсь проживу. И зимой можетъ къ тебѣ навѣдаюсь.

Таня вдругъ сама обняла и прижалась головой къ его плечу.

— Хоть-бы вы на будущее лѣто пріѣхали!—сказала она съ робкими слезами въ голосѣ.—Что ужь зимой! Хоть-бы на то лѣто! Чего тамъ люди будутъ говорить? Кабы я замужъ шла, отъ работы-бы отказывалась, а то что. Кому какое дѣло? День деньской-то намучаешься, наплачешься, свѣту Божьяго и такъ не видишь, а тутъ ужъ и съ тобой не посидѣть? На станціи-то, сколько этихъ пристаетъ, рады, да всѣ такіе... ну ихъ. Такіе всѣ обидчики, только-бы изобидѣть, да насмѣяться, а ты вонъ какой ласковый.—Что-жь, и скажу, и не стыдно: сразу ты мнѣ полюбился, понравился...

Она говорила спѣша, и все прижималась къ нему. Иванъ Ивановичъ гладилъ ее по волосамъ. Она стала тихая и покорная.

— Ты, вотъ, не вѣрь людямъ про меня,—продолжала Таня.—Они рады сказать, потому что мнѣ замужъ не идти. Развѣ я-бы не пошла? Да мнѣ батю жаль. Пропадутъ они безъ меня. У маменьки тоже эти ревматизмы пошли. Степанка-то еще куда? Отнимутъ землю. Въ домъ тоже къ намъ хорошій мужикъ не пойдетъ. Ну, и нельзя. А мало ли ихъ пристаетъ? Да мнѣ наплевать на нихъ, ты одинъ хорошій. Мнѣ теперь все-равно. Мнѣ лишь-бы ты... Уѣдешь—не забывай. А хоть часъ—да мой!

— Ты сама хорошая, Таня, ты сама лучше всѣхъ,—проговорилъ Иванъ Ивановичъ, прижимая ее къ себѣ.—Ты хорошо разсудила. Мы знаемъ, что не дурно дѣлаемъ, а хорошо. Вѣдь не дурно я дѣлаю, что цѣлую тебя, потому что ты мнѣ нравишься? А, Таня?

Но Таня не отвѣчала. Она вѣроятно сказала уже все, что у нея было на душѣ, и больше ей говорить было нечего.

— Пустите,—прошептала она вдругъ.—Здѣсь нельзя... Покличутъ меня, пожалуй. Дверь-то въ избу точно скрипнула. Батя не проснулся-ли. Онъ, какъ не спитъ, страхъ какой чуткій. Что на дворѣ говорятъ, и то все слышитъ.

— Нѣтъ, никого нѣтъ. Скажи, Таня... Ты придешь ко мнѣ? Вечеромъ въ садикъ... Я калитку отворю... Посидимъ, поговоримъ. Слышишь, приходи.

— Нынче нельзя...

— Ну, завтра.

— Я Натальюшки вашей боюсь. Завтра суббота, полы будемъ мыть, маменька баню истопитъ... Не урвешься вечеромъ-то. Увидятъ, коль пойду. Вотъ въ воскресенье, развѣ.

— Ну, въ воскресенье. Слышишь, непремѣнно приходи. И ничего не бойся. Натальюшку я спать отправлю. И меня не бойся. Ужь коли я самъ тебя зову, значитъ нѣтъ худого.

— Да васъ я не боюсь,—разсмѣялась Таня.—Ну, такъ. Приду.

Солнечный лучъ, узкій, острый, упалъ ей прямо на лицо. Она сощурила глаза, все еще улыбаясь. Лицо ея было немного растерянное, но не печальное; Зернову она казалась красивой, красивѣе чѣмъ утромъ, на дорогѣ. Корова тепло, тяжело и ласково дышала, переступая ногами по шуршащей соломѣ.

Иванъ Ивановичъ еще что-то хотѣлъ сказать, можетъ быть еще разъ повторить громко, съ настоятельностью, что ничего худого нѣтъ, если Таня придетъ, и чтобъ она не думала... но въ эту минуту подлѣ нихъ,

и такъ близко, что они оба вздрогнули, дѣтскій голосъ прокричалъ:

— У-ухъ!

Таня вскочила первая.

— Это ты, Анютка?

— А что? Испугались?—торжествующе проговорила Нюша.—Вотъ испугались-то!

— Что ты тутъ дѣлаешь?—сердито сказалъ Зерновъ Откуда ты взялась? Ступай-ка, ступай.Тебя вонъ кличутъ.

— Это батя Таньку кликалъ. Все кликалъ. А не меня. Меня нынче барышня рисовала, прибавила она вдругъ ни къ селу, ни къ городу.—Куклу мнѣ подарила, да я потеряла.

— Ну, иди. Таня придетъ. Иди.

— А тебѣ что?—Ты самъ иди. Батя и тебя кликалъ.

Таня быстро взглянула на Зернова.

— Подите, Иванъ Ивановичъ, съ Нюшей въ избу. Я сейчасъ, вотъ только молоко. Чай станемъ пить.

Зерновъ взялъ Нюшу на руки и пошелъ въ избу. За дверью онъ спустилъ ее на полъ. Она тотчасъ-же бросилась къ отцу и залепетала:

— А я ихъ вотъ какъ испугала, батя! Страсть! Они сидятъ это, темно, а я какъ сзаду подкрадусь, да какъ ухну! Какъ они всполохнутся!

— А Таня гдѣ-же?—ласково спросилъ Ѳедоръ, поглаживая дѣвочку по бѣлымъ волосамъ.

— Она сейчасъ молоко принесетъ,—сказалъ Иванъ Ивановичъ.—Я заходилъ къ тебѣ, Ѳедоръ, да ты спалъ.

— Такъ, подремалъ маненько. Читалъ, это, книгу, читалъ, книга тяжелая, усталъ да и вздремнулось.

— А что за книга у тебя?

— Какія у насъ книги? Все одну читаемъ. Священная исторія. Ничего книга.

— А другихъ не читаешь?

— Нѣтъ, что-жь. И въ этой много сказано.

Они помолчали. Ѳедоръ смотрѣлъ съ тихой ласковостью на Зернова, прямо въ лицо, свѣтло-карими глазами, похожими на Танины.

— Гость-то уѣхалъ?

— Уѣхалъ.

— Ну, дай ему Богъ. Такой мнѣ показался ясный человѣкъ. Счастливъ будетъ. Счастливѣй тебя. А на тебя все смотрю я, баринъ мой милый, и все думается мнѣ, какъ я тебя полюбилъ. Много мы съ тобой за лѣто разговоровъ разговаривали. И такъ я тебя обдумалъ, что иной разъ самъ своихъ мыслей ты не знаешь, а я знаю. Я тебя ровно сына жалѣю, ты не обижайся.

Зерновъ улыбнулся.

— Сидишь все одинъ, вотъ и думаешь,—сказалъ онъ.

— Сижу. Мнѣ хорошо, я съ ноженьками моими какъ за каменной стѣной. Въ мысляхъ ясно, искушеній тоже нѣтъ. Тебѣ, вотъ, сколько хочешь дорогъ: хочешь—направо пошелъ, хочешь—налѣво. Тебѣ обдумать надо, направо, аль налѣво, аль куда. А мнѣ дороженька одна, съ лавки да на кровать. Оно спокойнѣе. Хорошо. При моемъ характерѣ очень хорошо. А ты много на меня схожъ.

— Почему при твоемъ характерѣ?

— А я тебѣ, баринъ милый, опосля скажу. Я еще тебя обдумаю, и скажу, коль захочешь послушать. Я уже давно тебѣ хотѣлъ про болѣзнь про мою разсказать.

Пришла Таня, веселая и рѣшительная, какъ всегда. Потомъ вернулась и Петровна съ поля. Зерновъ посидѣлъ еще немного. Ѳедоръ все время говорилъ съ нимъ тихо и ласково, все точно присматриваясь къ нему. Послѣ чая онъ усталъ, опять началъ дремать.

Иванъ Ивановичъ до темноты ходилъ въ дальнемъ лѣсу. Обѣдать сѣлъ ужь при лампѣ. Ему показалось, что лицо Натальюшки еще ядовитѣе, чѣмъ всегда. Подавая кофе, она вдругъ неожиданно произнесла:

— И охота вамъ, Иванъ Ивановичъ, съ этой Танькой Ѳедоровой возиться. Дѣвочка вертихвостая, ее довольно хорошо на селѣ знаютъ. Да и хитрая. Ихняя вся семья хитрая. Вы такъ слово какое-нибудь скажете, а они ужь Богъ знаетъ, что себѣ вообразятъ. На шею вамъ насядутъ. Какихъ небылицъ про васъ наскажутъ. До тетеньки дойдетъ. Нехорошо-съ.

Зерновъ въ удивленіи поднялъ глаза.

— Вы-бы, Натальюшка, не въ свои дѣла не мѣшались,—проговорилъ онъ.

Натальюшка сжала губы.

— Какъ угодно-съ. А только хорошаго нѣтъ, коли росказни эти пойдутъ. Имъ что, а для васъ нехорошо. Студентъ, молъ, деревенскихъ дѣвушекъ портитъ. Вонъ и господинъ Лебедевъ замѣтили, смѣялись сначала со мною, а потомъ говорятъ: неужели онъ на такое дѣло пошелъ? Это, говорятъ, безнравственно.

Натальюшка любила высокія слова. Зерновъ всталъ, хотѣлъ крикнуть, чтобъ она убиралась прочь, но вдругъ опомнился и произнесъ тихо, съ улыбкой:

— Все это неправда, Натальюшка. И Лебедевъ съ вами объ этомъ не говорилъ. Вы ужь меня оставьте, пожалуйста. Я самъ подумаю, какъ мнѣ быть.

Онъ ушелъ къ себѣ и чаю вечеромъ не пилъ.

Августовская ночь была черная, свѣжая, съ яркими, несвѣтящими звѣздами. Иванъ Ивановичъ вышелъ на темный балконъ, сѣлъ и задумался. Ему совсѣмъ не хотѣлось спать, но онъ желалъ-бы захотѣть спать, и лечь, и такъ спать, мирно, долго, покойно, чтобъ ничего

не надо было ни думать, ни дѣлать, чтобы кровать поддерживала ослабѣвшіе члены. Было не грустно, но тошно, и скучно, и очень страшно. И оттого, что это все было, и что онъ въ себѣ это видѣлъ,—ему становилось еще тошнѣе, скучнѣе и страшнѣе. Близко, совсѣмъ у балкона, вдругъ вскрикнула сова, пронзительно, рѣшительно, весело. Зашлепала, захлопала тяжелыми крыльями и полетѣла, все вскрикивая. Визги удалялись и слабѣли. Зерновъ всталъ, ушелъ съ балкона и заперъ дверь.

VI.

Пахнетъ свѣжимъ хлѣбомъ, холстами, теплой затхлостью, муха бьется въ запертое тусклое оконце и ровно и громко жужжитъ. Дополуденные лучи ударяютъ въ стекла и ложатся пятнами на полъ. Ѳедоръ сидитъ на своемъ мѣстѣ на лавкѣ у стола, держитъ костлявыми руками книгу въ тяжеломъ переплетѣ и внимательно читаетъ.

Когда скрипнула дверь и вошелъ Зерновъ, Ѳедоръ ему ужасно обрадовался.

Иванъ Ивановичъ и самъ не зналъ, зачѣмъ онъ пришелъ. Такъ, бродилъ съ самаго утра, на фабрикѣ былъ, потомъ очутился у Ѳедоровой избы и зашелъ.

— А вѣдь я, баринъ милый, тебя нынче ждалъ,—говорилъ Ѳедоровъ, радостно улыбаясь, и длинныя складки собирались у него по щекамъ.—Вотъ я тебя ждалъ. И словно чуялось, что придешь. Очень поговорить захотѣлось. Никого какъ есть нѣту, Нюшка и та съ ребятами убѣжала. Садись, гость будешь. Да что ты, словно нездоровъ? Лицо какое-то у тебя эдакое.

— Нѣтъ, ничего. Я вѣдь такъ зашелъ, Ѳедоръ, на минутку.

— Ну, чего на минутку. Садись. Я тебѣ скажу, что я насчетъ тебя нынче обдумалъ.

Иванъ Ивановичъ улыбнулся и сѣлъ.

— Что-жъ такое? Скажи.

— А вотъ. Я ужь прямо стану говорить. Ты только слушай. Ты съ Танюшкой моей балуешься, я давно вижу. И Христомъ Богомъ тебя прошу, брось ты это дѣло. Для тебя прошу.

Зерновъ поднялъ глаза и нахмурился. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но Ѳедоръ перебилъ его.

— Постой, постой! Дай договорить. Ты меня знаешь, я врать не стану. Ты думаешь, Танюшку я жалѣю? Что Танюшка? Ея дѣло такое—ей замужъ не идти; потому коли замужъ идти—семью разорить. На ней крестъ-то есть. А дѣвка молодая, жизнь-то своя, небось. Да ее и не запрешь. Танюшка завтра съ кондукторомъ, али съ кѣмъ тамъ спутается. Да еще какой попадется. А ты ей, я давно вижу, полюбился. Такъ чего мнѣ Танюшку жалѣть? Я тебя жалѣю, баринъ ты мой милый, потому я тебя какъ сына полюбилъ, ужъ ты не обижайся.

— Ѳедоръ,—сказалъ Зерновъ громко и какъ-будто твердо,—если я Таню полюбилъ и сказалъ ей это, значитъ я все про себя обдумалъ и худого въ томъ не нашелъ. Рѣшилъ окончательно. Ты вѣдь не въ первый разъ меня видишь. Что-жъ, пойду я развѣ на худое дѣло, про которое навѣрно буду знать, что оно худо?

— А про это-то... про Танюшку... ты навѣрно знаешь, что оно не худое... Рѣшилъ окончательно?

Зерновъ не отвѣтилъ ни слова. Хотѣлъ сказать что-то и не могъ. Ѳедоръ подождалъ, вздохнулъ и промолвилъ:

— Вотъ то-то и оно-то. Худое-ли оно, хорошее-ли—не намъ знать. Да и что въ томъ? Бѣда одна: разсу-

дилъ ты для себя разумомъ, рѣшилъ будто, пошелъ— анъ не пускаетъ; а потому не пускаетъ, что не окончательно рѣшилъ, а усумнился. И вотъ, какъ ежели ты усумнился,—ты туда и не иди. Значитъ, уже тебѣ туда идти не дано, тебѣ сомнѣніе-то твое и показываетъ. Пойдешь ему напротивъ—хуже будетъ.

— Я не понимаю тебя, Ѳедоръ,—произнесъ Иванъ Ивановичъ нетерпѣливо.— Еслибъ я увидѣлъ, что худо поступилъ, я-бы все сдѣлалъ... Я-бъ твою дочь не оставилъ. Но все равно, не о томъ рѣчь.

— Отъ одного къ другому-бы и пошло,—сказалъ Ѳедоръ грустно.—Развѣ теперь не мучаешься? Смѣюли я, молъ, дѣвушку смутить? Да кто, молъ. я таковъ, чтобъ эдакія дѣла смѣть дѣлать? Да. Помнишь, мы съ тобой о законахъ божескихъ да человѣческихъ говорили? Ты еще мнѣ тогда такое слово сказалъ: законъ, молъ, въ сердцѣ человѣческомъ, а о другихъ я не думаю. А вотъ, какъ кому дано, иной разъ и подумаешь. А ужь подумаешь—тогда покориться надо. Не то хуже задушитъ. Смутилъ-бы Танюшку-то, а потомъ-бы все равно не вынесъ. Оно дальше-то хуже. Жениться-бы на ней захотѣлъ. Какая она тебѣ жена? Не ладно было-бы. А ужъ муки-то сколько отъ сомнѣнья-бы своего претерпѣлъ! Жалѣю тебя вотъ до слезъ, хочешь вѣрь, хочешь не вѣрь. Я потому говорю, что я знаю это все.

Иванъ Ивановичъ молчалъ. Можетъ быть, ему не хотѣлось перечить больному.

— Такъ не вѣришь мнѣ?—продолжалъ Ѳедоръ.—Ну, что-жъ. Я вотъ лучше тебѣ разскажу, какъ это со мной болѣзнь приключилась. Я, можетъ, тебѣ одному во всемъ свѣтѣ разскажу истинную правду. Попу на духу разсказывалъ, да вотъ тебѣ.

Онъ торопился, точно боялся, что Зерновъ его перебьетъ, не захочетъ слушать, но Зерновъ молчалъ.

— Было это—вотъ пять годовъ къ Срѣтенію дню исполнится. Нюшка только родилась. Непогодь стояла, снѣгъ-то не весь сошелъ, да какъ заморосило, заморосило, такъ все два дня, летитъ тебѣ дождь, и на; студеный. На станцію дороги нѣтъ, Василій Трофимычъ въ ту пору шарабанъ въ грязи сломалъ. Праздникъ на дворѣ—у насъ, самъ знаешь, Срѣтеніе — престолъ, — а въ домѣ такъ случилось, скажу тебѣ, что ну ни чертсвой корки. и печь вытопить нечѣмъ. Дрова-то за зиму пожгли, солому даже пожгли, валежникъ бабы собирали—да въ лѣсу воды по колѣно, и хозяйка моя больная лежитъ. Охъ ты, думаю, дѣло-то какое. И вспомнилось мнѣ въ тотъ часъ, что на фабрикѣ, такъ, не доѣзжая, отъ дома отъ управляющева недалече, лежатъ бревна свалены. Управляющевы бревна. Давно ужъ лежатъ, и порядочно ихъ, такъ, не очень, чтобы бревна, не строевыя. И помнилось мнѣ, что-бы, молъ, запречь это сейчасъ лошадку, время къ вечеру, да по цѣлинѣ прямо къ этому мѣсту, и одно-бы бревно и увезти. По цѣлинѣ-то, думалось, на дровняхъ еще за милую душу проѣдешь. Неладно эти бревна лежали: изъ нашихъ-же мужиковъ, который-нибудь глядишь—и привезетъ бревнышко. Управляющій тогда и грозился, и усовѣщевалъ; да вѣдь не докажешь. Ну, и я: ѣздятъ-же другіе? И что ему, управляющему-то? У него, чай, къ празднику дрова есть. Запрегъ я тогда лошадку, да у кладбища ее съ дороги и свернулъ. По краюшку, думаю, по лугу ближе проѣду, и показалось мнѣ даже, будто подмораживаетъ. Вязко оно, дождь въ лицо такъ и бьетъ, однако ничего, подъѣзжаю. Совсѣмъ свечерѣло. Бревна тутъ, а кругомъ ни души. И на фабрикѣ, вѣрно, забастовали

передъ праздникомъ. Перекрестился, я, выбралъ бревнышко не такъ, чтобъ очень длинное, уложилъ на дровни, веревкой прикрутилъ. Кручу это веревкой, а у самого руки чего-то трясутся. Ну, поѣхали. Какъ съѣхали съ дороги,—тяжело моей кобыленкѣ, просто изъ силъ выбивается. Бревно концомъ по водѣ хлопаетъ. Иду я рядомъ, ужъ ногъ и не чувствую: полны сапоги воды, и дождь не унимается. Иду, гляжу на бревно, и все оно мнѣ противнѣе. Чѣмъ гляжу больше, тѣмъ все больше сомнѣваюсь. Да какъ это, молъ, такъ? А если, молъ, это грѣхъ? А на это сейчасъ думаю: я малыхъ дѣтокъ согрѣю. Пройду шага три, да опять: а всетаки ты, Ѳедоръ, воръ. Разсудилъ, молъ, хорошо—согрѣю; а кто тебѣ далъ такое полное право разсуждать? Сказано—нельзя, грѣхъ, ну, значитъ, и нельзя. И стало меня это бревно душить. Однако, доѣхалъ. Лошаденку не распрегъ, на дворѣ съ бревномъ покинулъ, ввалился въ избу. Танька увидала меня—батя, говоритъ, переобуйся, вода течетъ. А я сѣлъ, какъ былъ на лавку — сижу, молчу. Душитъ меня бревно, совсѣмъ задушило. Усумнился очень. Посидѣлъ я малое время, да ни слова не говоря—опять на дворъ, да кляченку кнутомъ, да тѣмъже порядкомъ опять на фабрику, и свалилъ бревно, какъ дуракъ. Потомъ сколько времени назадъ шелъ и не помню. Только не ѣхалъ, а все около дровнишекъ шелъ. Дома ужъ полегли. Пока-то я дошелъ да лошадь убралъ,—въ домѣ ужъ переобулся. Сапоги не стащить было. Съ того дня, отъ простуды-то, и стали сохнуть ноженьки. А дровъ поутру добыли маленько. Однако, очень я радовался, что отвезъ-то бревно. Какъ ужъ усумнился—пропало дѣло. Надо было везти.

Долгій разсказъ утомилъ Ѳедора. Голосъ его сталъ глуше и тише. Иванъ Ивановичъ слушалъ молча, опу-

стивъ голову. Когда Ѳедоръ кончилъ, онъ взглянулъ ему въ глаза.

— А какъ-же другіе-то, Ѳедоръ? Ты говорилъ — другіе мужики возили эти самыя бревна?

— Другой что? Другой не усумнился. Ему, можетъ, и въ голову не пришло подумать: грѣхъ, аль не грѣхъ? Кто не знаетъ, что законъ преступаетъ, тотъ правъ.

— А кто знаетъ, что преступаетъ... и вѣритъ, что смѣетъ преступить?

— Всякъ правъ съ вѣрой. А усумнился — значитъ тому все равно не преступить.

Прошла минута молчанія.

— Я вотъ тоже въ книгѣ читалъ,—проговорилъ Ѳедоръ прерывистымъ голосомъ—онъ утомился.—Небось, помнишь, ѣхали апостолы въ лодкѣ. Глядятъ, идетъ къ нимъ Спаситель по волнамъ. Удивились, а пуще всѣхъ Петръ. И завидно ему стало. Не то, что завидно, а манить его стало, потому по морю-то ходить нельзя, потонешь. А тутъ такой случай. И закричалъ Спасителю: повели мнѣ къ тебѣ по морю идти. Спаситель говоритъ: иди. Тотъ вылѣзъ изъ лодки, пошелъ. Пошелъ—да и усумнился: а ну-ка потону? А какъ усумнился—сейчасъ и сталъ тонуть. Спаситель-Батюшка ему руку подалъ и прямо такъ и сказалъ: „Маловѣрный ты. Зачѣмъ усумнился“. Значитъ, кабы не взяло его сомнѣніе, онъ-бы по морю-то прошелъ. А силы такой не было, пошелъ—да и не вынесъ. Тоже думаю: не знай онъ, что по морю идетъ—вѣдь не усумнился-бы? А не усумнился—такъ опять-же по морю-то бы и прошелъ.

— Что-жъ, Ѳедоръ,—спросилъ Иванъ Ивановичъ, слабо усмѣхаясь,—ты свою болѣзнь считаешь какъ-бы наказаніемъ за то, за бревно-то?

— Наказаніе? Не наказаніе, а знакъ это, помощь

мнѣ, слабому, послана. Ходилъ-бы я, былъ-бы человѣкомъ,— опять-бы, можетъ, случилось, подумалъ-бы: согрѣю ребятишекъ, али тамъ что,—преступлю законъ. Смѣю, молъ. Могу. Пошелъ-бы—и опять усумнился-бы, потому полной вѣры не дано. Ну, а теперь лучше. Теперь пути заказаны, духу немощному дана плоть немощна. Оно и ладно. Великая помощь это, а не наказаніе.

— Вотъ ты какой, Ѳедоръ,—сказалъ Иванъ Ивановичъ слегка дрожащимъ голосомъ.—Я и не зналъ. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что ты обо мнѣ думалъ. Подумалъ, что я какъ ты... усумнился, вотъ съ Танюшей-то, и что нельзя мнѣ преступить законъ—или что тамъ закономъ называется—потому что усумнился. Такъ подумалъ?

— Полюбилъ я тебя очень,—сказалъ Ѳедоръ безпокойно и тихо.—Такъ полюбилъ, такъ жалѣю тебя, что и словъ такихъ нѣту. Страшно мнѣ стало, что на муку идешь, а не знаешь. Остеречь тебя хотѣлъ. Очень мы съ тобой схожи. Только что вотъ больной я, а ты здоровый.

Зерновъ всталъ съ лавки. Лицо его было злобно и взволнованно.

— За любовь твою и за милость—спасибо. Схожи мы, говоришь? Были несхожи, а теперь будто и вправду схожи. Знаешь? Ты думаешь—ты больной, а я здоровый? А если ты меня болѣзнью своей заразилъ? Ты, можетъ, мнѣ всѣ кости сломалъ, вотъ сейчасъ, такъ-что я и пальчикомъ двинуть не могу? Сказать тебѣ, что ты со мной сдѣлалъ?

Ѳедоръ глядѣлъ на него, въ страхѣ, и лепеталъ:

— Скажи, голубчикъ ты мой... Скажи... Да развѣ я что такое? Я отъ любви моей...

— Отъ любви. Боялся, что я мучиться, можетъ, буду! Схожи мы съ тобою! Что-жь, ты мнѣ своей судьбы пожелалъ? Ты меня отъ жалости, какъ собаку убилъ, вѣдь убиваютъ-же собакъ отъ жалости, чтобъ не видѣть, какъ онѣ мучаются. А какъ кто смѣетъ знать? Можетъ эти мученія-то святыя, святѣе покоя? Ты, что-ли, мученія-то посылаешь, чтобы смѣть ихъ ради любви отнимать? Мнѣ Танюша... она мнѣ какъ спасеніе была. Все мое тутъ было. Ты говоришь—усумнился я. Можетъ и усумнился. А только я еще и самъ не зналъ, усумнился-ли, на самую, можетъ, капельку не зналъ, а все-же не зналъ. По самой тоненькой жердочкѣ шелъ, не хотѣлъ думать, что упаду—и не думалъ. Тогда не думалъ. А ты крикнулъ, отъ жалости: ой, упадешь. Оглянулся я, увидѣлъ, подумалъ—и упалъ. Какъ толкнулъ ты меня—такъ и упалъ. Я, можетъ, и самъ-бы упалъ—а можетъ и не упалъ. Ты говоришь—схожіе мы. Обдумалъ ты меня, Ѳедоръ, да не до конца. Ты вотъ, закона человѣческаго не посмѣлъ преступить и отказался отъ себя, и отошелъ, и такъ живешь. А мнѣ надо смѣть! Понимаешь? Какъ-же ты меня отъ своихъ мученій остерегъ, когда я на нихъ шелъ,—а отъ моихъ, отъ послѣднихъ, не остерегъ? Убилъ меня, какъ собаку, какъ себя! Вотъ что ты со мной сдѣлалъ.

Ѳедоръ все глядѣлъ на Зернова испуганными, измученными глазами, стараясь понять, и, можетъ быть, понимая. Лицо его стало еще желтѣе, онъ улыбался жалкой, усталой улыбкой, которая собирала длинныя складки по щекамъ, сложилъ костлявыя руки.

— Прости ты меня, глупаго,—лепеталъ онъ.—Прости, голубчикъ, милый. Не понять мнѣ всего, что говоришь, а чую, обидѣлъ я твою душу. Грѣхъ на мнѣ. Такъ я тебѣ болталъ, сдуру, о себѣ болталъ. Прости больному

человѣку. Иди съ Богомъ своимъ путемъ. Не хотѣлъ я смущать тебя.

Зерновъ сѣлъ опять къ столу и опустилъ голову на руки.

— Нѣтъ, сказалъ онъ,—куда теперь пойду, когда ноги не ходятъ? Ты правъ былъ. Твоя болѣзнь и во мнѣ. Вотъ теперь еслибъ до конца увѣриться, что все равно-бы упалъ, даже еслибъ ты и не толкнулъ меня... А то все мысли, что не пустилъ ты меня муку принять— и не посмѣлъ я, не преступилъ человѣческаго закона, не исполнилъ божескаго... За муку много дается. И мнѣ, можетъ быть, было-бы тогда дано...

Ѳедоръ тронулъ его за руку своей трясущейся рукой:

— Послушай, послушай; милый ты мой, голубчикъ ты мой!—шепталъ онъ.—Мы Богу помолимся. Онъ и проститъ. Можетъ, проститъ мнѣ мое смиреніе. И передъ тобой мой грѣхъ отпуститъ. Что я зналъ? Я любовью моей послужить хотѣлъ.

Зерновъ поднялся съ лавки.

— Прощай, Ѳедоръ,—тихо произнесъ онъ и низко, въ поясъ, поклонился, съ простотой.—Коли я понапрасну—не взыщи. Минута подошла такая. Ты знать не могъ, у меня, можетъ вся жизнь рѣшалась, самъ для себя я рѣшалъ, кто я таковъ? Жизни стою—или одного смиренія? Тутъ соломинки было достаточно, чтобъ все кончить. Вотъ и кончилось. Я тебя корилъ, ты прости.

Онъ постоялъ еще мгновенье и вышелъ. Ѳедоръ глядѣлъ ему вслѣдъ, руки протянулъ, хотѣлъ что-то сказать,—но Зернова уже не было.

VII

Утромъ въ десять часовъ Иванъ Ивановичъ отправился на станцію. Онъ не сказалъ Натальюшкѣ, на-

сколько времени уѣзжаетъ, а просто велѣлъ привести въ село извозчика и уѣхалъ.

День былъ облачный, непріятный, вѣтренный. Бѣлыя тучи неслись по небу, разрывались, сталкивались. Трясясь по скверной дорогѣ, перелѣсками, въ телѣжкѣ безъ рессоръ, тупо глядя на спину мальчишки, который его везъ, Иванъ Ивановичъ былъ занятъ, главнымъ образомъ, мыслью, какъ-бы ему на станціи не повстрѣчаться съ Танюшей. Онъ зналъ, что уѣзжаетъ совсѣмъ, но объ этомъ не думалъ, а только вотъ это послѣдняя упрямая забота его не оставляла, на ней онъ сосредоточился, схватился за нее, какъ-будто теперь это было самое главное, самое важное: какъ-бы не увидать Таню на станціи.

Мальчишка везъ его долго, и все накренивалъ телѣжку на бокъ. Вѣтеръ шумѣлъ въ перелѣскѣ и морщилъ воду въ канавкахъ у дороги. Когда подъѣхали къ станціи, поѣздъ уже стоялъ. Зерновъ ужасно ему обрадовался. Не глядя по сторонамъ, онъ скоро-скоро подошелъ къ окошечку, взялъ билетъ и на платформѣ, увидѣвъ пустой, старенькій вагонъ второго класса, поспѣшно поднялся на площадку. Онъ закрывалъ желѣзный затворъ, когда вдругъ услышалъ знакомый голосъ:

— Баринъ, откуда вы?

Въ голосѣ было и удивленіе, и радость, и чуточку безпокойства.

Таня стояла на платформѣ у вагона, въ той-же драповой кофточкѣ и гарусной косынкѣ, какъ и третьяго дня, и глядѣла на Зернова снизу вверхъ, знакомыми карими глазами. Въ ту-же минуту Ивану Ивановичу показалось, что онъ не только не боялся встрѣтиться съ нею, а именно этого и хотѣлъ, и странно было, что онъ уѣзжаетъ. Однако онъ выговорилъ:

— Въ Петербургъ ѣду, Таня.

— Въ Питеръ? А на долго-ль?

Тучи разорвались на мгновенье, и на платформу, и прямо на Танино лицо упало веселое, желтое солнце. Она сощурила глаза, какъ тогда, когда они сидѣли на лѣсенкѣ, въ сѣняхъ, и лучъ упалъ на нее сквозь щели. Зерновъ видѣлъ ея лицо, ея улыбку, и не вспомнилъ въ это минуту ни о законахъ, ни о себѣ самомъ, ни о Ѳедорѣ.

Онъ наклонился къ Танѣ съ площадки и проговорилъ.

— Надолго-ль? Какъ надолго? А развѣ забыла, что обѣщала придти ко мнѣ нынче вечеромъ? Я сегодня-же вернусь. Придешь, Таня милая? Не обманешь?

Подъ солнцемъ лицо ея стало нѣжнѣе, съ розовыми и золотыми тѣнями. Она улыбалась, и онъ вспомнилъ, какъ цѣловалъ ея улыбку.

— Я не обману,—сказала она тихонько. — Вы ужъ пріѣзжайте.

Звонили, свистали, поѣздъ медленно поплылъ въ сторону.

— Ну, счастливо вамъ,—произнесла Таня съ неожиданной, недоумѣлой грустью въ голосѣ.

И на ходу, черезъ желѣзную палку, она подала ему руку. Раньше она никогда этого не дѣлала. Зерновъ взялъ руку, большую, неловкую, въ черной нитяной перчаткѣ, хотѣлъ поцѣловать, да не поцѣловалъ, пожалъ и выпустилъ. Онъ чувствовалъ, что еще улыбается, но что-то толкнуло въ сердце, и сердце остановилось на мгновенье.

Поѣздъ обогналъ Таню. Иванъ Ивановичъ видѣлъ ее на краю платформы, но уже пересталъ различать ея черты. Вмѣсто Танинаго лица, вдругъ вспомнилъ

онъ желтое, въ складкахъ лицо Ѳедора, его улыбку и голосъ.

„— Много мы съ тобой, баринъ милый, схожи. Усумнился—значитъ все равно закона человѣческаго не преступить. И отойди. Кому дано, а намъ съ тобой не дано. И хочешь идти—анъ не пускаетъ“.

Иванъ Ивановичъ до боли стиснулъ въ рукахъ желѣзную перекладину вагона. Колеса стучали, упрямо повторяя какое-то неизвѣстное, безнадежное, все одно и то-же слово. Бѣлыя тучи накатились, солнце погасло. Мелькали поля, перелѣски въ сѣромъ воздухѣ. Телеграфныя проволоки тянулись за поѣздомъ, мѣрно опускаясь и подымаясь, и опять опускаясь, чтобы опять начать подыматься, ближе къ столбу.

Зерновъ стоялъ на площадкѣ вагона и плакалъ.

99.

СУМАСШЕДШАЯ

I

Иванъ Васильевичъ по дорогѣ разговорился.

Это было мнѣ удивительно, потому что въ тѣ два-три раза, когда я его видѣлъ,—кажется, у священника и у головы,—онъ молчалъ, мало двигался и показался мнѣ человѣкомъ угрюмымъ и несообщительнымъ. Въ захолустномъ уѣздномъ городкѣ, гдѣ мнѣ пришлось прожить съ мѣсяцъ, онъ служилъ исправникомъ что-то около десяти лѣтъ. Помню, когда я это узналъ, тотчасъ же подумалъ, что угрюмость его вполнѣ естественна: городокъ былъ хуже любой деревни: пустыя, пыльныя улицы, косые ряды на базарной площади, поросшей мелкой травой, угрюмыя избы, кругомъ—полупесчаныя, полуболотистыя поля, ни сада, ни лѣса... Городишко мнѣ сразу показался ужаснымъ, а мы, обыкновенно, все судимъ отъ себя и не вѣримъ, чтобы то, что намъ кажется ужаснымъ, могло быть инымъ на самомъ дѣлѣ, или, по крайней мѣрѣ, для другихъ.

Мы ѣхали на почтовыхъ. Я—въ дальнее имѣніе, къ пріятелю, Иванъ Васильевичъ—по дѣламъ въ уѣздъ. Выѣхали одновременно, а такъ какъ до первой станціи намъ было по дорогѣ, то Иванъ Васильевичъ и предложилъ мнѣ мѣсто въ своемъ тарантасѣ.

— Съ Макарихи шибко поѣдете, дорога тамъ по-

лучше,—говорилъ Иванъ Васильевичъ.—А вотъ до Макарихи, пожалуй, поскучаете. И перегонъ большой—двадцать шесть верстъ, и дорога лѣсомъ. А ужъ знаете, какія у насъ лѣсныя дороги.

Дорога, точно, черезъ нѣсколько верстъ пошла лѣсомъ. Выбоины, лужи отъ перепадавшихъ дождей, толстыя переплетенныя корневища, какіе-то не то пни, не то гнилыя колья—очень хороша была лѣсная дорога. Какъ поѣхали шагомъ—такъ и ѣхали все время. Отъ наступавшаго на насъ съ обѣихъ сторонъ лѣса, тѣснаго и темнаго, вѣяло свѣжестью, сыростью, крѣпкимъ и рѣзкимъ еловымъ запахомъ. Точно яблоками пахло. Небо, съ еще незакатившимся, но не виднымъ іюньскимъ солнцемъ, уже тихонько изъ голубого дѣлалось золотымъ. Тройка, тупо позвякивая бубенцами, шла сама, осторожная,—ямщикъ не то задумался, не то задремалъ.

Я смотрѣлъ сбоку, близко, на Ивана Васильевича, на его бѣлую фуражку—и теперь лицо его вовсе не казалось мнѣ угрюмымъ, а только очень серьезнымъ—бываетъ такая серьезность, съ простотой. Отъ фуражки широкое лицо казалось темнѣе. Ему могло быть лѣтъ около пятидесяти, а то и меньше.

Весь онъ былъ крѣпкій, коренастый, немного неподвижный. Въ карихъ глазахъ его, когда онъ на меня смотрѣлъ, я видѣлъ ту же серьезную, неподвижную простоту. Странная морщина была у него на щекѣ: длинная, глубокая борозда, отъ глаза внизъ по самой серединѣ. И такая рѣзкая, точно кто-нибудь нарочно провелъ ему эту черту. Я замѣтилъ, что онъ вовсе не улыбался, даже когда говорилъ весело. Какъ будто эти морщины не позволяли ему улыбаться. Однако въ общемъ лицо Ивана Васильевича было очень обыкно-

венно. Я съ трудомъ могу его припомнить, потому что слишкомъ много разъ видѣлъ его — или похожее на него.

Онъ разговорился не сразу. На мои вопросы, впрочемъ, отвѣчалъ охотно и просто. И вдругъ самъ спросилъ меня:

— А вы слышали о моемъ несчастьи?

— У васъ... жена больна?

— Да-съ... Въ лечебницѣ. Второй годъ пошелъ. Въ губернскомъ городѣ.

— Второй годъ? Что жъ доктора говорятъ? Надѣются?

— Какъ вамъ сказать? Душевныя болѣзни—область такая... мало, говорятъ, въ наукѣ разработанная. Опредѣленнаго отвѣта не добьешься. Ничего мнѣ неизвѣстно.

Эти послѣднія слова онъ сказалъ съ такимъ страннымъ выраженіемъ, что я поднялъ голову.

— То-есть, какъ неизвѣстно? Родъ болѣзни-то вѣдь извѣстенъ?

— Нѣтъ-съ... Ни рода, ни причинъ не знаю. Даже... Конечно, это я вамъ въ слабости минутной признаюсь— но не утаю, случаются минуты... Кажется мнѣ, что никакой у нея душевной болѣзни нѣтъ, и не бывало.

— Что вы! Зачѣмъ же вы ее въ сумасшедшій домъ отдали?

— Я ее не отдавалъ... Да вы извините, я вѣдь оговорку сдѣлалъ: минутныя эти мысли. Она мнѣ не чужая. Въ медицинѣ же я профанъ. Доктора лучше знаютъ.

Хотя я видѣлъ, что Иванъ Васильевичъ самъ хочетъ поговорить со мной, но спрашивать дальше всетаки было неловко, и я молчалъ, ожидая, что онъ скажетъ.

Онъ снялъ фуражку, провелъ рукой по короткимъ волосамъ и поглядѣлъ на меня и вокругъ, приподнявъ немного тяжелыя вѣки. Дорога попрежнему шла лѣсомъ. Вечерѣло. И заря сходила такая тихая, душистая, золотая.

— Съ горемъ моимъ теперь ужъ свыкся я,—проговорилъ Иванъ Васильевичъ.—Со всѣмъ понемногу свыкаешься. Прежде, бывало, словечко о немъ трудно другому сказать. Да и какъ другому тутъ разсудить, когда и самъ по совѣсти не все понимаешь? Оно бы и просто—да не просто. Впрочемъ,—прибавилъ онъ со своей серьезной, почти равнодушной простотой,—вѣрнѣе всего, что это я такъ... потому что не чужая она мнѣ...

Я посмотрѣлъ на него, на его странныя морщины на щекахъ, добрые глаза—и попросилъ разсказать мнѣ все по порядку, какъ случилось „несчастье". Вотъ что онъ мнѣ разсказалъ.

II.

— Теперь женѣ моей, Вѣрѣ Ивановнѣ, лѣтъ за тридцать, на видъ же куда больше: худая, блѣдная, на лицѣ только брови чернѣются. Вышла она за меня шестнадцати съ половиной; видѣли бы, какая цвѣтущая была! Просто красавица. Она, надо вамъ сказать, княжескаго рода; то-есть, мать ея княжной была, изъ захудалыхъ, сирота. Да за мелкаго чиновника, въ губернскомъ нашемъ городѣ, вышла. Я ея не знавалъ. Въ ту пору, какъ я съ Вѣрой Ивановной познакомился, отецъ ея уже давнымъ давно на второй былъ женатъ, изъ простенькихъ; дѣтей куча, Вѣра за ними смотрѣла. Гимназію она, впрочемъ, кончила. Домъ бѣдный, Вѣрочка безприданница, да мнѣ все равно; я ужъ тогда служилъ, въ другомъ уѣздѣ помощникомъ. Какъ ни

какъ, думаю, проживемъ. Вѣрочка мнѣ понравилась очень.

Я, видите ли,—вы, можетъ быть, не знаете,—я высшее образованіе получилъ, въ Казанскомъ университетѣ, о другой дорогѣ мечталъ—да не кончилъ. Исторія тамъ одна вышла. Въ молодые годы человѣкъ горячъ, неразсудителенъ, и время наше было такое особенное... Въ серьезной исторіи я замѣшанъ не былъ, однако, изъ университета уволился. Могу съ твердостью сказать (тутъ Иванъ Васильевичъ взглянулъ на меня почти сурово), кореннымъ моимъ убѣжденіямъ я и посейчасъ не измѣнилъ, каковъ былъ — таковъ и остался. Только разсудительности, да выдержки, да опыта прибавилось. Единой моей вѣрой было—гуманность, человѣколюбіе, посильная жизненная помощь тому, кто нуждается въ свѣтѣ и въ хлѣбѣ. Не сочтите меня хвастуномъ, да я и не говорю о томъ, что сдѣлалъ, а только о томъ, во что всегда вѣрилъ. Мы съ сестрой тоже изъ мелкой чиновничьей семьи, въ Казани же; родители умерли, сестра въ сельскія учительницы пошла, а я на службу, въ уѣздъ. Долго я мучился передъ поступленіемъ на мѣсто, пока понялъ, сколько я тутъ могу посильнаго добра сдѣлать. Сестра три года со мною не зналась, а послѣ и она поняла. Трудновато сначала было, да и теперь подчасъ не легко; однако, какое же сравненіе! Времена годъ отъ году мѣняются. Лѣтъ тридцать-сорокъ тому назадъ такого человѣка, какъ я, съ моими убѣжденіями,—дня бы не стали держать. А теперь я у губернатора на лучшемъ счету. Теперь принципъ гуманности и просвѣщенія торжествовать начинаетъ. Все теперь въ эту сторону пошло.

— Неужели?—возразилъ я невольно.

— Да-съ. Развѣ не изволили сами замѣчать? Слу-

чится съ кѣмъ изъ высшихъ поговорить—увидите. Вѣтеръ въ эту сторону повернулъ. Человѣчество развивается. Культура, наука, знаніе—хоть медленно, а дѣлаютъ свое дѣло.

— Значитъ, вы вѣрите, что люди стоятъ на прямомъ пути къ всеобщему счастью?—опять не удержался я и перебилъ его.

Онъ изумленно приподнялъ брови.

— А то какъ же? На прямомъ,—хотя, можетъ быть, и не на торномъ. Еще придется потерпѣть... да все само собой образуется, силою вещей. Замѣтьте: просвѣщеніе ширится, угасаютъ суевѣрія, одно за другимъ; развивается разумъ, а съ нимъ разумное удовлетвореніе потребностей, уваженіе къ чужой личности во имя идеала человѣчности.

Я видѣлъ, что этотъ разговоръ можетъ завести насъ далеко, а потому больше не возражалъ. Иванъ Васильевичъ вернулся къ прерванному разсказу.

— Такъ вотъ, женился я на Вѣрочкѣ. Вспоминая теперь это время, вижу, что и тогда въ ней было что-то не вполнѣ нормальное. Ни истерикъ, ничего этого, а такъ, какъ доктора говорятъ,—усиленная чувствительность. Думаю, что было. Я ее любилъ, искренно вамъ говорю, всей душою. А она—просто и сказать нельзя что съ ней дѣлалось. Говоритъ, говоритъ, какъ любитъ—а потомъ даже разсердится.

— Не могу я выразить моей любви. Хочу—и не могу. Помоги мнѣ, если тебѣ меня жалко.

Я ее успокаиваю.

— Это, говорю, у тебя, Вѣруша, романтизмъ. Я знаю, что ты меня любишь, и счастливъ. Чего же тебѣ еще?

Удивляться романтизму было нечего: вѣдь ей еще

семнадцати лѣтъ не исполнилось; а я ужъ былъ не юноша.

Однако, она все чаще на меня сердилась. Потомъ вдругъ какъ-то говоритъ:

— Ты со мной, какъ съ куклой забавляешься. Ничего я про тебя не знаю. Скажи, что ты думаешь.

Меня этотъ упрекъ обидѣлъ, потому что былъ, коли хотите, справедливъ. Но что же дѣлать? Такая молоденькая да хорошенькая, я же влюбленъ въ нее былъ; первое время послѣ свадьбы... Конечно, я опомнился, прощенья у нея попросилъ.

— Подожди, говорю, все въ свое время придетъ.

А она:

— Дай мнѣ работу какую-нибудь. Мнѣ скучно.

Я и этому обрадовался. Вижу, настоящая будетъ женщина, человѣкъ-женщина. Но пока-то—вѣдь ребенокъ сущій. И опять говорю:

— Подожди, все придетъ. Хозяйствомъ займись, квартирой. Съ хорошими людьми говори, старайся ихъ понимать. Я тебѣ книжекъ изъ Петербурга выпишу новыхъ, да и старыя посмотри, какія у меня есть, почитай.

Она ничего, согласна. Я въ разъѣздахъ—она домовничаетъ. Городокъ, гдѣ мы тогда жили, похуже былъ теперешняго моего; застоя больше. Мѣстоположеніе, однако, наряднѣе: рѣчка, лѣса кругомъ. Квартирку мнѣ удалось сыскать хорошенькую: новый домикъ, три комнатки—какъ игрушки. Съ матушкой протоіерейшей познакомилъ, съ женой члена суда, ну знаете, обыкновенное уѣздное общество. Милые очень люди есть. Въ тѣ времена похуже были, посѣрѣе, а, теперь, вотъ, скажемъ, хоть у насъ въ городѣ,—прекрасное общество, образованные все, и не скучаютъ.

Такъ вотъ-съ и зажили мы. И годъ живемъ, и другой, и третій. Вѣра совсѣмъ обошлась, читаетъ много, книги, газеты мы выписываемъ, я ужъ, съ нею, знаете, какъ съ товарищемъ дорогимъ, обо всемъ, что на душѣ лежитъ, разговариваю, по службѣ тамъ что-нибудь, или сомнѣніе—всѣмъ съ нею дѣлюсь. Она, бывало, все разсудитъ какъ слѣдуетъ. И съ обществомъ нашимъ сошлась,—и такъ, между городскими мѣщанами у нея были пріятели. А то и по селамъ окрестнымъ завела знакомства. Приходитъ, знаете, народъ, она со многими говаривала. Я не мѣшалъ. Хорошее дѣло. До барства-то я, можете судить, не охотникъ. По селамъ у насъ темнота; если Вѣра поговоритъ съ ними—такъ вѣдь кромѣ добра имъ ничего отъ этого не будетъ.

Пріѣзжалъ къ намъ чиновникъ изъ Петербурга. Прелестный такой человѣкъ, знаете, изъ молодыхъ. Мы съ нимъ очень сошлись, у насъ онъ два раза обѣдалъ. Вѣрочка ему разсказываетъ, какъ она по деревнямъ ѣздитъ, то, другое... Онъ ее хвалитъ, тоже о свѣтѣ и о темнотѣ народной говоритъ. Я слушалъ, да радовался. Но тутъ-то въ самую мою отрадную минуту, и случилось мнѣ въ первый разъ замѣтить, что съ Вѣрой что-то не такъ. Говорила оживленно—вдругъ сразу молчитъ и задумалась.

— Что ты?—спрашиваю.

И гость смотритъ.

А она глаза на него подняла и жестко такъ проговорила:

— Хороши мы, да не очень. Подло живемъ, подлыя дѣла дѣлаемъ.

Можете себѣ представить, какъ это насъ поразило! Я просто не опомнился. И даже понять не могу, о чемъ она. Чиновникъ этотъ—честнѣйшій человѣкъ. А ужъ меня-то она, кажется, знала.

Я не нашелся, что и отвѣтить, а чиновникъ покраснѣлъ, однако, сдержался, улыбнулся, и любезно спрашиваетъ:

— Что это вы такъ строги, Вѣра Ивановна? Что вамъ не нравится?

Мы за чаемъ сидѣли, лѣтомъ это было. Она изъ-за стола встала, къ окошку подошла, смотритъ на улицу, вздохнула и говоритъ, равнодушно такъ:

— Нѣтъ, ничего, извините... Это я вообще. Не подло то, что мы дѣлаемъ, а скучно.

— Вамъ скучно? Но...

— Нѣтъ, не мнѣ скучно, а дѣла эти, и мои, и ваши, скучныя. Вы, вотъ, о благѣ человѣческомъ думаете; о чтеніи книжекъ по физикѣ, положимъ Ну вообразите, что уже все сдѣлалось, и всѣ,—даже Митька-пьяница изъ Ухабнаго,—живутъ какъ мы. И знаютъ все, что мы знаемъ. Ну?

Я даже вскочилъ.

— Вѣра. Да о чемъ ты?

А она продолжаетъ:

— Ну и счастье. Только скучное. Согласитесь, что скучное.

Чиновникъ ей много кое-чего дѣльнаго говорилъ, широкія мысли развивалъ,—прелестный, краснорѣчивый человѣкъ! Она уже не отвѣчала, будто соглашалась.

Послѣ я ее крѣпко пожурилъ. Она и мнѣ ни одного слова, точно не ей говоришь. Вспомнилъ старое, романтизмомъ ее попрекнулъ. Усмѣхнулась и прочь пошла. Дня три я на нее сердился—потомъ обошлось. Зажили мы по старому.

Иванъ Васильевичъ вздохнулъ, помолчалъ немного, точно вспоминая, и опять заговорилъ.

III.

— По старому—да не по старому. Заскучала у меня Вѣрочка. Молчитъ. А если я, бывало, какъ прежде, начну ей что-нибудь разсказывать, изъ поѣздки вернувшись,—(мало ли что случается у насъ; преинтересныя вещи) она ничего, я хожу по комнатѣ,—она молчитъ, слѣдитъ за мною глазами исподлобья. Непріятный такой взглядъ.

— Что ты, Вѣра?

— Ничего. Говори. Я смотрю на тебя. Очень вы всѣ интересные.

Фу ты, наказанье! И хоть бы объяснила, что съ ней. Нѣтъ, сидитъ, и замѣчаю я постоянно—эдакъ исподлобья откуда-нибудь за мной слѣдитъ. Иногда выводила меня изъ себя:

— Что ты меня наблюдаешь? Романъ, что ли, хочешь писать? Пиши. Все-таки занятіе.

— Почему же не понаблюдать? Ты интересный типъ.

Скажетъ, усмѣхнется и уйдетъ.

Однако я ее и жалѣлъ. Можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ ей скучно? Молоденькая, дѣтей нѣтъ, я постоянно въ разъѣздахъ, съ протоіерейшей да съ членшей какое же особенное веселье. Конечно, я въ Вѣрѣ мечталъ видѣть истинную женщину, человѣка, работающаго, какъ я же, посильно для ближняго, для младшаго, темнаго брата; я думалъ о помощницѣ... Но она молода. Пройдутъ ребяческіе годы — она свободно примется за дѣло. А мало ли у насъ въ глуши истинно-святого дѣла для женщины? Учи да лечи—эти два слова всего стоятъ.

Однако, вижу, Вѣра у меня скучаетъ. Не звѣрь я какой-нибудь, не по Домострою живемъ. Чего человѣкъ

желаетъ для себя—на то онъ и имѣетъ право. И поговорилъ я съ Вѣрочкой. Она, будто, обрадовалась. Ну и отлично, думаю.

Отпустилъ я ее къ роднымъ, въ губернскій городъ. Оттуда пишетъ—ѣду, молъ, на мѣсяцъ съ теткой въ Москву. Пусть ѣдетъ, въ театрахъ, думаю, побываетъ. Три мѣсяца, съ Москвой, она проѣздила, въ февралѣ вернулась. А тутъ, знаете, какъ нарочно полкъ къ намъ перевели, веселье такое пошло—страхъ! Весной пикники, верхомъ, въ шарабанахъ, воинскій начальникъ вечера задаетъ, попадейки даже молоденькія заплясали—двѣ ихъ тогда было у насъ.

Вѣра моя такъ и летаетъ. Про Москву мнѣ едва разсказала.

— Весело ли было?

— Весело.

— Ну что жъ, ты теперь довольна?

— Я? Чѣмъ?

Я затруднился.

— Какъ чѣмъ? Вообще... жизнью, что ли...

— Чьей жизнью? Своей?

Просто какъ-то некстати отвѣчаетъ. Говорю, однако:

— Не хочешь меня понимать—не надо.

Но она обняла меня, ласково:

— Не сердись, мнѣ весело. А больше ни о чемъ не спрашивай.

Признаюсь, эти слова мнѣ показались и обидными, и оскорбительными. Не спрашивай! Кто же заботится о ней, устраиваетъ ей жизнь свободную, веселую, праздную,—устраиваетъ, быть можетъ, даже не одобряя ее, лишь въ надеждѣ на будущее? И вдругъ—не спрашивай! Какія у нея тайны завелись?

Вѣра точно никогда ни одной книжки не читала.

Барынька, ну какъ всякая, только побойчѣе. Смѣлая, на лошадяхъ скачетъ безъ устали, до свѣту танцуетъ въ клубѣ. Одинъ офицеръ, хорошей фамиліи былъ и красивый, очень за ней ухаживалъ. Она хохочетъ, бывало, съ нимъ, отъ другихъ отстанутъ или впередъ уѣдутъ,—ну, и начали на нихъ поглядывать. Знаете, подавать поводъ къ сплетнѣ—людей въ грѣхъ вводить. Пойдутъ этимъ заниматься.

Какъ-то, вернулись мы домой—я Вѣрѣ намекнулъ. Что такое? Вся вспыхнула, глаза злые.

— А ты ревнуешь, что ли?

И, не дождавшись моего отвѣта, взяла свѣчу и ушла.

Я подумалъ: что-то будетъ? На душѣ, знаете, скверно,—мутно какъ-то. Въ первый разъ ночь не спалъ. Однако, преодолѣлъ эти глупости, ничего.

А Вѣра со Столѣтовымъ, офицеромъ этимъ, сразу стала сдержаннѣе, сама—мрачнѣе тучи. Я, впрочемъ, успокоился, все, думаю, обойдется. Жизнь свое возьметъ.

Одинъ разъ, знаете, возвращаемся мы съ Вѣрой отъ члена суда—вечеринка у него была небольшая,—возвращаемся домой, поздно, улицы пустынныя, подъ осень ужъ дѣло, однако, тепло. Тучи такія черныя громоздятся, луну то прикроютъ, то опять свѣтлѣе. Я, признаться, усталъ, въ этотъ день только изъ уѣзда пріѣхалъ, дѣло было, а тутъ эта вечеринка. Въ карты я не играю, такъ, дремалъ больше. Иду домой и молчу. И Вѣра молчитъ. Ужъ совсѣмъ передъ домомъ говорю ей:

— А вѣдь переводъ-то мой, Вѣрочка, должно быть состоится. Городокъ лучше нашего, къ губернскому ближе...

Не успѣлъ я договорить—какъ она вдругъ мою руку бросила и зарыдала. Я просто перепугался. На улицѣ,

знаете, да и плакала она рѣдко, я не привыкъ. О назначеніи моемъ новомъ давно говорилось, ничего тутъ неожиданнаго для нея не было. Я, признаться, давно его желалъ. Должность та же почти—только отвѣтственнѣе, значитъ и добра можно больше сдѣлать. Я ужъ къ службѣ моей очень привыкъ и полюбилъ ее.

Вѣра такъ и разливается—плачетъ.

— Да что съ тобой?—пристаю я и даже сержусь.— Скажи, сдѣлай милость.

Сквозь рыданья вдругъ слышу:

— Если бъ ты зналъ, какъ я несчастна! Не могу я тебѣ ничего сказать! О, какъ я несчастна!

Тутъ, знаете, меня какъ обухомъ по головѣ! Кончено, думаю. Влюбилась въ Столѣтова! Вотъ тебѣ и веселье! Заботился я о сплетняхъ, а что посерьезнѣе— о томъ не подумалъ.

Вы знаете, что любилъ я ее душевно. А любящій мужъ, какихъ бы онъ ни былъ убѣжденій, въ первую минуту послѣ такого открытія, ничего кромѣ боли и гнѣва не почувствуетъ. Надо только переждать эту первую минуту. У меня, къ счастью, хватило силы помолчать, а потомъ ужъ и разумъ, и воля, и уваженіе къ чужой личности проснулись.

Идемъ мы потихоньку впередъ, отдѣльно, луна тутъ проглянула; Вѣра ужъ не рыдаетъ, а чуть слышно всхлипываетъ. Тяжело мнѣ было; однако, подумалъ я и говорю:

— Вѣра! Я человѣкъ и ты человѣкъ. Будемъ же говорить по-человѣчески. Ты не раба моя, вспомни. Если ты кого-нибудь серьезно полюбила — скажи. Развѣ ты меня не знаешь? Я тебя люблю—но я прежде всего цѣню свободу человѣческой личности. Я дамъ тебѣ разводъ.

Мы уже всходили на наше крыльцо. Вѣра взошла первая. Стукнула въ дверь, потомъ обернулась ко мнѣ,—

я видѣлъ, какъ глаза изъ-подъ черной кружевной косынки блеснули удивленно. Отвѣтить она не успѣла, намъ тотчасъ же отворили, со свѣчей. Молча взошли мы на лѣстницу. Мнѣ была непріятна и эта свѣча, и то, что Вѣра ничего не отвѣтила. Она молча раздѣлась и прошла въ спальню. Когда я туда вошелъ—она сидѣла въ бѣлой кофточкѣ у туалетнаго стола, пригорюнившись, спокойная.

Какъ ни тяжело—я хотѣлъ опять начать разговоръ, но она меня предупредила:

— Вотъ что я тебѣ скажу, милый другъ Иванъ Васильевичъ (въ первый разъ меня такъ назвала). Ты меня глупѣе считаешь, чѣмъ я есть. Я тебя хорошо знаю, и твои убѣжденія знаю; подумай, если бъ я полюбила Столѣтова—что же мнѣ за несчастіе? Ты бы далъ разводъ, ну погоревалъ бы немножко, но скоро бы утѣшился, потому что поступилъ бы по своимъ убѣжденіямъ. Но дѣло въ томъ, что никого я не полюбила, никуда отъ тебя не уйду, да и некуда идти.

Сказала, а сама не смотритъ. Я страшно обрадовался, руки даже къ ней протянулъ.

— Вѣра!—зову ее.—Вѣра, милая! Ну, прости меня! Чего жъ ты плакала-то? Чѣмъ ты несчастна?

Она не глядитъ и не двигается.

— Ты этого не поймешь, Иванъ Васильевичъ. Душно мнѣ, противно.

— Не весело? Вотъ ты въ Москву ѣздила...

Она вскочила, смотрю—опять у нея слезы на глазахъ.

— Не весело! Да ты думаешь, мнѣ нужно это веселье? Это какъ мерзкая, грязная водка для меня! Да и не водка, а вода грязная, водка-то все же пьянитъ. Еще душнѣе, чѣмъ съ тобой... Нѣтъ, и съ тобой душно. Вездѣ духота и грязь.

Я принахмурился.

— Чего же ты собственно хочешь, Вѣра? Что тебѣ не нравится? Что это, романтизмъ, философія? Смысла жизни, что ли, не видишь?

Я приготовился съ ней серьезно разсуждать. Она моя жена, я обязанъ поддержать ее въ минуту сомнѣнія. Въ былое время мнѣ приходилось встрѣчаться съ такими мятущимися умами. Многіе это переживаютъ.

Но то, что она мнѣ стала говорить, я никакъ не могъ взять въ толкъ. Душно да душно. Подъ конецъ она озлобилась:

— Почему тебя никто не любитъ? Почему? Вотъ ты и хорошъ, и добръ съ народомъ, а какъ только настоящій человѣкъ—онъ тебя не любитъ. И никого не любятъ изъ васъ, „гуманныхъ" людей, думающихъ объ одной „пользѣ", да о собственномъ благородствѣ. Чувствуютъ, что вы въ яму ведете. Если всѣ будутъ, какъ ты—всѣ провалитесь!

— Вѣра, опомнись! За что ты такъ несправедлива? Развѣ я думалъ когда-нибудь о себѣ? Моя вѣра въ человѣчество...

— Въ калошу пустую.

Я просто съ ужасомъ на нее поглядѣлъ.

— И вотъ, ты правду сказалъ, все въ твою сторону поворачивается. Торжествуй! Или такіе, какъ ты, съ вѣрой въ разумную пользу, въ просвѣщеніе учебниками физики,—и все плодятся такіе, съ гордостью плодятся,—или ужъ безсловесные, офицеры съ московскимъ весельемъ... Что жъ, подгоняй, подгоняй всѣхъ подъ свое благородство! Зашивай Божью землю въ мертвую баранью шкуру! И зашьются, да долго еще проклинать всѣхъ васъ будутъ!

Никогда я не видалъ ее въ такомъ изступленьи. Я

ужъ не спорилъ, только успокаивалъ ее. Даже прощенья просилъ, увѣрялъ, что понимаю ее, хотя рѣшительно не понималъ, что съ нею и откуда у нея эти дикія слова. Цѣлую ночь мы проговорили. Я ужъ почти и не слушалъ ее. Да она все свое повторяла, что, я молъ, думаю, что все къ лучшему идетъ, а она видитъ, что все къ худшему. Словомъ, что ни скажу—все наоборотъ...

— Вы, говоритъ, гуманники (слово такое выдумала!), душу человѣческую потихоньку задавливаете, наваливаетесь на нее своимъ тѣломъ. А тѣло-то душой живо. Маленькую вещь позабыли!

Только что хотѣлъ ей возразить, а она прибавляетъ:

— А душа не одними чтеніями по физикѣ жива.

Такъ и махнулъ рукой. Чудитъ, или нездорова. Я ей не противорѣчилъ, она успокоилась какъ будто. И даже нѣжна ко мнѣ стала. Совсѣмъ мы, было, помирились.

А тутъ дѣла такія подошли. Простудилась она сильно вскорѣ послѣ того. Стала у нея нога болѣть. Дальше—больше. Возилъ я ее по докторамъ. Пользы не было. Я назначеніе сюда, въ этотъ городъ, получилъ. Больную ее и перевезъ. Тихая такая стала, покорная. Лѣтомъ на кумысъ ее со знакомыми отправилъ. Болѣла она у меня года два, если не больше. Сильно страдала. Ногу свело, ходить совсѣмъ не могла. На третій годъ я ее повезъ въ Москву. Тамъ ей прижиганья стали дѣлать. Что она вытерпѣла! Однако жъ послѣ того начала поправляться и ходить, прихрамывала только немножко.

IV.

— Я знаю,—продолжалъ Иванъ Васильевичъ, помолчавъ,—вы меня спросите, не была ли Вѣрочка религіозна? Такъ нѣтъ; ничего въ ней этого не замѣчалось. Особенной религіозностью ее упрекнуть было нельзя. Въ церковь, конечно, ходила иногда, службы большія бываютъ, говѣла, какъ полагается—у насъ вѣдь все на виду,—ну а такъ, чтобы поститься, молиться, ханжество какое-нибудь—ни-ни! Ничего этого не было.

Да у насъ, знаете, и трудно клерикальностью особенно увлечься. Со священниками мы живемъ въ эдакой житейской дружбѣ, семейно знакомы, всячески привыкаемъ къ нимъ; съ другой стороны, сказать вамъ правду, священники наши съ женами — наименѣе культурная часть городского общества. Какъ бы, что ли, неровня намъ немножко, и всѣ это чувствуютъ, и они сами прежде всего, что имъ, конечно, дѣлаетъ честь. Я, вы понимаете, не о барствѣ говорю, сами можете судить, а объ общемъ, что ли, уровнѣ умственнаго развитія. Оно и естественно: академисты тамъ и другіе, если по чисто ученой части—въ монахи идутъ, или, если умный даже и священникъ, понявшій моральное, нравственное значеніе религіи, ея истинный историческій смыслъ—онъ сейчасъ въ деревню не пойдетъ, его мѣсто гдѣ-нибудь въ Петербургѣ; деревня еще до него не доросла, а тамъ онъ полезенъ. Къ намъ идутъ наши же, большей частью изъ за хлѣба; поучится въ городѣ въ семинаріи, свой же братъ мужичокъ,—и готово. Пасетъ стадо понемножку. Въ догматахъ и въ прочемъ выученномъ крѣпокъ, разъяснить, коли нужно, бабѣ, которая икона, Владимірская или Казанская, по воздуху шла, или которой изъ нихъ надо молебенъ служить отъ потери

зрѣнія—можетъ; чего жъ еще? Другъ друга они понимаютъ съ мужикомъ, потому что до семинаріи-то вмѣстѣ парнишками раковъ ловили; такой батюшка не мудрствуетъ, а потому въ православіи крѣпокъ, въ ересь его не свернешь. Вотъ недавно даже у насъ мужичка совсѣмъ простого въ священники поставили,—въ свое же село. Онъ, правда, надѣла не имѣлъ, въ уѣздномъ училищѣ учился—не кончилъ,—такъ, перебивался кой чѣмъ; агентомъ отъ товарищества машинокъ Зингеръ былъ, все разъѣзжалъ по уѣзду; да со священниками нашими и сошелся, понемножку миссіонерить началъ, перенялъ у нихъ; вѣдь нашу сторону знаете, раскольниковъ у насъ—страхъ! Понравился нашимъ батюшкамъ, они и устроили ему какъ-то. Попитъ теперь въ селѣ, ничего.

Въ городѣ, конечно, пообразованнѣе немножко батюшки, да и понатерлись, а все-таки, знаете, вродѣ этого. Оно для ихъ положенія и лучше. Спокойнѣе. Я такъ смотрю, что все это пока нормально и необходимо для будущаго, когда силою вещей дѣло повернется въ разумную сторону.

Вотъ, говорилъ я вамъ о нашей губерніи: у насъ и раскола, и штунды, и молоканъ, и другихъ разныхъ сектъ—видимо-невидимо; однако, теперь уменьшается. Отчего? Думаете, отъ миссіонерства? Ничуть. Кого тамъ миссіонеръ нашъ обратитъ, и куда? Развѣ какого-нибудь, кому не удобно въ сектѣ оставаться, по дѣламъ, что ли. А уменьшаться стало силою вещей. Вѣтеръ съ другой стороны подулъ. Прежде, бывало, имъ всякое выслѣживанье, преслѣдованье, съ серьезностью къ нимъ, съ опаской—они и топорщатся. Повоюемъ, молъ! Знай нашихъ! А нынче—и глядѣть-то на нихъ очень не хотятъ. Ѣду я, напримѣръ, по уѣзду, случится тамъ что-

нибудь; въ вѣру ихнюю я даже и не вникаю, спрашиваю для формы: молоканинъ? старовѣръ? ладно. Штундистъ? и то ладно; подай штрафикъ, тамъ, какой ни на есть, и продолжай, коли охота. Они видятъ, старовѣры особенно, что никто ими даже не интересуется, хвать— и осѣли: духъ-то воинственный поспалъ. Къ работѣ повнимательнѣе, глядишь—ребятъ въ школу къ попу посылаютъ. Мальчишка подростетъ, поосмотрится, видитъ— церковнику-то времени побольше, поспокойнѣе, повыгоднѣе; иной и въ семинарію угодитъ. Такъ тихо-мирно время-то свое и беретъ.

Иные, скажу вамъ, всячески меня заинтересовывали: мы, говорятъ, ни молокане, ни штундисты, ни баптисты. Кто же вы? Духоборы?—Нѣтъ.—Кто же?—Мы, говорятъ, „ищущіе". У насъ, говорятъ, совсѣмъ не то.—Я, однако, не сталъ вникать. Такой, объявляю имъ, секты нѣтъ, я васъ запишу молоканами, мнѣ рѣшительно все равно. А если вамъ по существу угодно говорить—идите къ батюшкѣ, можетъ быть онъ васъ опредѣлитъ. Ужъ не знаю, ходили ли.

Впрочемъ, какъ народъ,—сектанты ничего; даже потише и поначитаннѣе церковныхъ; чтеніе только у нихъ несуразное. Вбокъ все пошло. Духоборы эти да толстовцы—тоже, по моему, ненормальное, потому что преждевременное явленіе.

Однако, я отъ разсказа моего отвлекся, извините. Отступленіе, впрочемъ, небезполезное, потому что Вѣрочка моя, какъ поздоровѣла и переѣхали мы въ нашъ городъ, понемногу стала этими вѣрованіями интересоваться. Какъ-то даже со мной, для прогулки, въ село Безземельное ѣздила. Толковала съ ними, иныхъ звала въ гости. Я—ничего; она и раньше, давно, народомъ интересовалась.

— Ты бы, говорю, Вѣра, чѣмъ слушать ихъ, почитала бы имъ что-нибудь, разсказала бы.

— Что я имъ разскажу? Чему ихъ научу? Я сама ничего не знаю.

— Ну, милая, мужика всегда есть чему поучить.

Она смѣется.

— Ты съ ними не говоришь, такъ и не суди, что они знаютъ и чего не знаютъ. Впрочемъ, пусть они ничего не знаютъ. Мнѣ съ ними не душно. А ты, вотъ, знаешь, что надо жить во имя человѣка, и духота отъ твоей жизни. Не запрячешь жизнь только въ человѣка.

Вижу—раздражена, я молчу. Оставилъ ее. Пусть ищетъ невѣдомо чего съ этими „ищущими". Поздоровѣла—опять стала противъ меня раздражаться.

Давно ужъ у меня мысль одна была. Вѣрочка, думаю, не у дѣлъ, былъ бы ребенокъ—ничего бы этого не случилось. А какъ взять на воспитаніе ни съ того, ни съ сего? Однако, тутъ мнѣ помогъ случай. Сама Вѣра захотѣла.

Умерла у нея сестра сводная въ губернскомъ городѣ. Замужемъ была за писцомъ какимъ-то, мужъ еще молодой, дѣтей штукъ пять, бѣднота. Младшему мальчику, Андрюшѣ, всего десять мѣсяцевъ. Да еще болѣзненный мальчикъ.

Пріѣхала Вѣра изъ города серьезная. Потомъ проситъ меня:

— Иванъ Васильевичъ, возьмемъ къ себѣ Андрюшу. Усыновимъ. Ничего, что онъ больной. Я его выхожу.

Я радъ-радехонекъ, однако нарочно не сразу согласился, чтобъ она не думала, что я ей игрушку хочу дать.

Поѣхала, привезла мальчика. Хорошо у насъ стало, хоть и болѣлъ Андрюша. Вѣрочка точно вѣкъ съ дѣтьми

возилась, любитъ—страхъ. И я къ ребенку сталъ привязываться. Усыновили мы его.

Вѣра Андрюшей хоть и занимается, однако, характеръ у нея мало измѣнился. Чуть разговоръ—она своихъ мыслей не оставляетъ, все противъ меня. (Съ сектантами дружитъ и говоритъ,—однако ничего, въ мѣру).

Тутъ вскорѣ прибавилось еще наше семейство. Сестра моя пріѣхала. Хоть мы много лѣтъ не видались—я ее любилъ и уважалъ, и давно уговаривалъ ко мнѣ переѣхать. Она постарше меня, когда я на службу поступилъ—она ужъ въ селѣ учительствовала. Года три послѣ того не писала мнѣ, а потомъ ничего. Поняли мы другъ друга. Ко мнѣ не ѣхала, пока здоровье было, дѣятельная она такая, живучи по селамъ, фельдшерству подучилась, то, се. Такъ и шло. А въ тотъ годъ заболѣла она, лѣта не молодыя—ну и согласилась отдохнуть, мѣсто бросить, у меня пожить. Силы будутъ—дѣло для такого человѣка всегда найдется.

Думалъ я тоже, что и Вѣрочкѣ Клавдія принесетъ пользу.

И старше, и опытнѣе, и человѣкъ достойный, по самому роду дѣятельности, всяческаго уваженія.

Однако, я сразу замѣтилъ, что онѣ съ Вѣрочкой не понравились другъ другу. Можетъ быть оттого, что ужъ очень онѣ разныя. Клавдинька- пожилая, моего сложенія—ширококостная, хотя не полная, большая, лицо такое энергическое, губы поджатыя. Вѣрочка же, хоть поблѣднѣла и похудѣла, однако, еще очень красива была. Росту небольшого, одѣта не нарядно,—однако, всегда заботливо какъ-то и аккуратно. Во всякомъ пустякѣ, по наружности, у нихъ различіе: напримѣръ у Вѣры брови очень густыя, черныя, въ разлетъ; а сестра моя свѣтлорусая, у нея вовсе бровей не видно.

И въ характерѣ мало сходства. Вѣрочка легко раздражается, кричитъ, а у Клавдіи такой спокойный, сдержанный тонъ, какъ молоткомъ бьетъ. Злобы я, впрочемъ, въ Клавдіи никогда не замѣчалъ; развѣ сварливость нѣкоторая, ну да это надо извинять, у старыхъ дѣвушекъ это бываетъ. А такъ—чудный человѣкъ! Энергія какая, сила дѣятельности, честность! Мнѣ было очень непріятно, что онѣ съ Вѣрочкой какъ будто не сошлись. Ну да ничего, думаю,—обойдется.

Вѣра съ ребенкомъ, Клавдія по хозяйству, да въ больницѣ бывала (съ докторомъ земскимъ познакомилась)—къ Андрюшѣ же не подступалась—малъ.

Однако Вѣра ужъ и тогда противъ насъ обоихъ съ Клавдіей раздражалась. Клавдія видимо жалѣла меня. Вѣру считала истеричной, взбалмошной, неразвитой и однажды сказала мнѣ, что замѣчаетъ въ ней ненормальность. Мнѣ было непріятно, обѣихъ я ихъ любилъ—но что жъ дѣлать?

V.

— Все вокругъ шло, знаете, своимъ чередомъ. Службой моей я былъ доволенъ, мною тоже довольны: сколько могъ—трудился. И маленькое колесо, если оно правильно вертится, необходимо въ гигантскомъ міровомъ механизмѣ. Случаются, конечно, заминки, узелки небольшіе завязываются,—но вѣдь общему направленію они не мѣшаютъ, теченія исторіи не удержатъ.

Была и у меня однажды непріятность. Въ холерное время прислали къ намъ изъ города лишняго фельдшера, новаго. Онъ, знаете, изъ простыхъ, изъ городскихъ мѣщанъ, молодой еще—но удивительно какъ это все теперь скоро усвояется, ежели человѣкъ соприкоснется съ современнымъ просвѣщеніемъ! У этого, поло-

жимъ, еще грубоватости порядочно было, ну да вѣдь только что выбился, понялъ, что такое наука, почувствовалъ, что онъ человѣкъ, а кругомъ такая еще темнота. Мнѣ этотъ Касьянъ Демьянычъ очень понравился своей увѣренностью во всемъ. Я его на время даже у себя поселилъ, въ больницѣ мѣста не было. У насъ въ городкѣ, собственно, холерныхъ заболѣваній не случилось ни одного. Баракъ устроили мы, лежалъ тамъ пріѣзжій изъ губернскаго города, выздоровѣлъ, а дальше и не пошло. Касьянъ Демьянычъ, однако, еще жилъ у насъ, въ баракъ и въ больницу ходилъ, а въ свободное время—такъ, по городу; интересовался. Онъ изъ большого губернскаго центра раньше не выѣзжалъ.

Съ Клавдіей онъ очень сошелся. Она подолгу съ нимъ говаривала, онъ слушаетъ, видно на усъ мотаетъ, Клавдинька очень начитанная. И я иной разъ въ разговоръ вступлю: Обо многомъ тогда разсуждали.

Одна Вѣра, бывало, молчитъ. Молчитъ, а то усмѣхнется. Я ужъ ее и не трогаю, еще нивѣсть чего наговоритъ. Хотя не нравилось мнѣ это: сѣрыми мужиками не гнушается же, а на Касьяна Демьяныча косится. Радоваться надо, что такіе пошли, прощать многое,— а не воротить носъ.

Былъ лѣтній праздникъ, большой,—въ соборѣ протоіерей служилъ. Мы съ Вѣрочкой только что вернулись отъ обѣдни (нельзя же, знаете, у насъ все на виду, это ужъ извѣстный порядокъ). Клавдія ждала насъ съ чаемъ въ столовой. Сѣли. Касьяна Демьяныча нѣтъ. И въ церкви его не было. Клавдія и говоритъ:

— А Касьянъ-то Демьянычъ хотѣлъ сегодня случаемъ воспользоваться, поговорить народу... Знаешь, о противохолерныхъ мѣрахъ. Дѣйствительно, никакого вѣдь у насъ и примитивнаго представленія о гигіенѣ нѣтъ.

Не успѣла она это выговорить—какъ дверь настежь, влетаетъ урядникъ.

— Ваше высокоблагородіе, безпорядки! На площади фершала бьютъ!

Фу ты! Никогда у меня этого не бывало. Я фуражку въ охапку—вонъ. Гдѣ помощникъ? Туда же, говорятъ, побѣжалъ.

Вы слыхали, я думаю, что въ холерное время кое-гдѣ и бараки разбивали, и даже докторовъ колачивали. Что дѣлать? Много еще на Руси невѣжества и тьмы, борется она до поры съ настоящимъ свѣтомъ. Да и за то надо благодарить, что свѣтъ-то возсіялъ, знаемъ его, гдѣ онъ. Однако, у насъ въ городкѣ и народъ не такой, да и холеры не было—пустяки, думаю. Какой бунтъ!

И точно, бунта не оказалось. Живо мы учинили судъ и расправу, усмирили, такъ сказать, страсти—и получаса не прошло, какъ нашъ Касьянъ Демьянычъ сидѣлъ у насъ въ столовой, и Клавдія поила его чаемъ.

Однако, ему успѣли здорово подбить глазъ, и лицо у него, естественно, было злое-презлое, сумрачное, дикое. Ужасно это варварство озлобляетъ человѣка молодого. До ненавистничества можетъ довести, я это понимаю.

Клавдинька участливо разспрашивала:

— Да какъ это вышло? Пьяные они? Что вы имъ говорили?

— Чего говорилъ? Ничего особеннаго не говорилъ. О чистотѣ, да о роли, значитъ, известки въ холерное время. Могли понять.

— Ну а какъ вышло-то?—спросилъ я.—Вѣдь Евтихій Ивановъ васъ первый ударилъ?

— Чортъ его, почемъ я знаю... Ражій такой мужикъ. Видите, я имъ говорю объ известкѣ, потомъ рисую

это имъ картину холернаго заболѣванія, слушаютъ. Только баба какая-то пискнула: „молебенъ бы Владычицѣ“! Я отвѣчаю, что молебны въ холеру опасны, такъ какъ происходитъ зараженіе во время сборищъ. Загудѣли,—однако, ничего. Продолжаю. Опять кто-то: „спаси Господь!“ Это ужъ меня, признаться, раздражило, я и говорю: вы лучше объ известкѣ думайте; поняли?— „Какъ не понять, кричатъ, ты въ известку-то вмѣсто Бога вѣришь“. Я и такъ взбѣсился, а тутъ орутъ: „бей, ребята, какой это фершалъ, это онъ насъ въ известковую вѣру прельщать насланъ“... Я и самъ заоралъ. Ну и стали бить...

Какъ я ни былъ раздосадованъ и возмущенъ, однако, тутъ не вытерпѣлъ, улыбнулся. Известковая вѣра! Выдумаютъ же!

Моя Вѣрочка уже совсѣмъ громко расхохоталась. Клавдія ей замѣтила:

— Удивляюсь вашему смѣху и легкомыслію. Касьянъ Демьянычъ молодъ, прямъ—онъ пострадалъ за свою молодую, честную горячность...

— Да, сказалъ я.—Вы нашего народа не знаете. Такъ съ ними говорить еще нельзя. Не слѣдуетъ прямо оскорблять нѣкоторыхъ суевѣрій. Многое нужно обходить, осторожно ведя ихъ впередъ, не отнимая преждевременно того, что они со временемъ бросятъ сами.

— Ну да, ну да,—вдругъ взволнованно заговорила Вѣра и встала.—Узнаю тебя, Иванъ Васильевичъ. Лгать, притворяться, обходить этихъ людей, которыхъ вы называете темнымъ народомъ. Примите вотъ это, маленькое,—а въ остальномъ мы съ вами! Потомъ вотъ это, и еще, и еще. Такъ кругомъ и надѣются обобрать!

— Вѣра! Вѣра!—пытался я ее урезонить.

— Что такое—„Вѣра!“ Я правду говорю. Гдѣ-то вы-

думали какое-то небольшое человѣческое счастьице, и съ самодовольнымъ спокойствіемъ идутъ правдами и неправдами совать его въ горло всему міру! Рѣшили за себя и за другихъ, что оно всѣмъ нужно, всѣмъ впору. И какъ это случилось, что самымъ узенькимъ душамъ дано урѣзать широкія, и жизнь, имъ покорная, складывается по ниточкѣ... Кто это имъ помогаетъ?

Клавдія не выдержала:

— Это ваши сектанты-то съ широкии душами видно и поколотили Касьяна Демьяныча...

— Нечего злиться,—спокойно отвѣчала Вѣра.—Вы мнѣ всѣ такъ противны вашей самодовольной и удачливой тупостью, что я давно бы ушла отъ васъ, если бъ... къ несчастью, вездѣ не было такихъ, какъ вы и того же, что здѣсь. Человѣкъ для человѣка, человѣкъ во имя человѣка... Вотъ какой просторъ и ширина!

Она захохотала. Клавдія, видно, сдерживалась, однако прошипѣла:

— Вижу, что выхотите выше своей головы прыгнуть.

— Человѣкъ такъ созданъ, Клавдія Васильевна, что можетъ жить лишь пока знаетъ или вѣритъ, что есть нѣчто выше его. Тѣ, кто эту необходимость потеряли— мертвецы. Не только вы съ вашимъ братцемъ, а, можетъ, полсвѣта теперь. Вотъ и такіе уже, какъ Касьянъ Демьянычъ. Молоды опенки, да черви въ нихъ.

Ей никто не возражалъ.

— Я, говоритъ, такихъ людей хочу найти, которые бы въ жизнь, а не въ смерть глядѣли... Не въ свое бы имя, человѣчье, жизнь устраивали, а во имя Того, кто ихъ повыше.

А Клавдія опять, и такъ ласково:

— Зачѣмъ же дѣло стало? Подите, поищите... Четьи-Минеи почитайте. Кстати же васъ съ уголька спрыснутъ.

Вѣра только глазами засверкала и прочь пошла. Въ дверяхъ говоритъ:

— Не пойду я никуда. Все равно, всѣхъ загрызете. Легіонъ васъ надвигается. Я давно пропала, да мнѣ себя не жаль. Вотъ только еще ребенка жаль.

Остались мы втроемъ. Слышу я, говоритъ Клавдія фельдшеру тихонько:

— Знаете, она не нормальна.

Тотъ только головой кивнулъ. А Клавдія опять, погромче:

— Какъ мнѣ жаль брата! Но теперь меня заботитъ будущность несчастнаго мальчика.

Объ Андрюшѣ и я тогда въ первый разъ задумался.

VI.

— Ну-съ, теперь ужъ немного осталось, къ финалу приближаемся. Кстати, изъ лѣсу скоро выѣдемъ. Отъ лѣсу до Макарихи съ полверсты, не больше. Вонъ какъ въ лѣсу-то быстро темнѣетъ! Давно ли солнышко закатилось, а и зари ужъ не видать. Коли не соскучились— такъ я ужъ кончу, а то скоро доѣдемъ.

Я усиленно попросилъ его кончать, и Иванъ Васильевичъ, плотнѣе надвинувъ фуражку, продолжалъ разсказъ.

— Чрезвычайно это было для меня тяжелое время. Съ Вѣрой никакихъ ладовъ нѣтъ, блѣднѣетъ она да сохнетъ, помочь—не знаю чѣмъ. Я ей старался безъ нужды не возражать, но отъ этого ея раздражительность не уменьшалась. Чуть что—вспышка, обличенья эти вѣчныя, просто никому—да и ей самой—въ домѣ житья нѣтъ. Прежде такая скромная была, а теперь стала даже до циничности доходить. Не то, чтобъ грубо очень,

а ужасно непріятно, именно цинично, говорила. Побранилась, напримѣръ, какъ-то съ Клавдіей, я молчалъ, слушалъ. Она ее оставила—и ко мнѣ.

— Ты говоритъ, Ваня, все таки тѣмъ лучше, что въ тебѣ хоть злобы нѣтъ. Ты, говоритъ, знаешь, на что ты похожъ? Вотъ, бываетъ, что подадутъ супъ, не за обѣдомъ—а такъ, отдѣльно, когда ѣсть не хочется. Полную-полную тарелку, подадутъ безъ скатерти, и свѣтлый такой, ярко-желтый бульонъ, съ большими, выпуклыми жировыми кругами, медленными, потому что бульонъ чуть тепленькій. И ни одной капли соли туда не положено, совсѣмъ прѣсный. И надо этотъ бульонъ ѣсть маленькой чайной ложечкой. Вотъ такіе вы всѣ. А у кого еще въ придачу злоба—это какъ если бы въ этотъ бульонъ еще кто-то подошелъ и плюнулъ.

Такъ это было противно слушать, что я даже всталъ и ушелъ.

Единственное въ домѣ отдохновеніе—нашъ Андрюша. И Вѣра, когда съ нимъ (а она съ нимъ все больше да больше сидѣла)—совсѣмъ мѣняется. Добренькая такая, пѣсни ему поетъ. И я ужасно къ ребенку привязался. Совершенно забылъ даже, что онъ не мой сынъ. Мечтаю, какой онъ у меня выростетъ, какъ я его учить буду, какъ въ университетъ онъ поступитъ... Ужасно, знаете, оживаешь въ дѣтяхъ! Какъ ни говорите—естественное безсмертіе!

Ну-съ, подростаетъ онъ, болѣетъ, выздоравливаетъ. За Вѣрой такъ всюду и ходитъ. Клавдія мнѣ нѣсколько разъ намекала, что не вредно ли для впечатлительнаго мальчика постоянное общество нервной Вѣрочки?

— Онъ ужъ понимаетъ. Ты бы слышалъ, что она ему втолковываетъ! Суевѣрія—хуже всякой няньки. А третьяго дня къ тебѣ зачѣмъ-то эти мужики приходили,

Вѣра Ивановна потомъ къ себѣ ихъ зазвала, мистическіе разговоры изъ Четьи-Минеи—и ребенокъ тутъ. Право, братъ, такое воспитаніе нераціонально. Ты непростительно слабъ.

Ну, въ слабости-то я неповиненъ. Я добръ и человѣченъ, это правда; я очень терпимъ, но характеръ, если дѣло касается моихъ убѣжденій, у меня есть. Говорю безъ хвастовства, да вы, я думаю, обо мнѣ ужъ сами составили свое мнѣніе. Клавдія все-таки по-женски упреждала событія, да и Вѣрочку она не любила,—а мнѣ Вѣра была все же дорога. Я молчу, хотя невольно начинаю безпокоиться; къ Андрюшѣ ужасно, говорю вамъ, привязался.

Какъ-то постомъ великимъ сидимъ мы въ гостиной послѣ чая, Клавдія за книжкой; входитъ Вѣра, Андрюшу спать укладывала. Беретъ что-то со стола и говоритъ мнѣ, довольно небрежно:

— Завтра я думаю идти къ обѣднѣ, съ Андрюшей. Буду его причащать.

А у меня, знаете, относительно этого давно уже было свое незыблемое, и весьма обоснованное, рѣшеніе.

— Причащать? Нѣтъ, душа моя. Совершенно лишнее.

Она подошла, спокойно, сѣла возлѣ меня и глаза прищурила.

— Почему? Я, напротивъ, нахожу, что это необходимо для ребенка.

— Напрасно находишь. Помнится, мы даже съ тобой объ этомъ какъ-то разсуждали. Во-первыхъ, Андрюшино здоровье мнѣ дорого; не говоря уже о тѣснотѣ и духотѣ—вспомни, что тутъ приносятъ цѣлую кучу неизвѣстныхъ ребятъ, а ложка одна...

Вѣра еще больше прищурила глаза.

— Великолѣпно! Далѣе?

— А далѣе—я нахожу, что никакихъ обрядовъ надъ нимъ исполнять, ни говорить съ нимъ о подобныхъ вещахъ теперь, пока онъ не можетъ сознательно ихъ принять или отвергнуть—не слѣдуетъ. Это, если хочешь, недобросовѣстное насиліе. Выростетъ онъ—разумъ ему подскажетъ, что дѣлать. Его будетъ воля.

Вѣра—ни слова. Смотритъ на меня въ упоръ, и молчитъ.

— Няньку ты отпустила—и хорошо сдѣлала. И тебя прошу,—прибавилъ я твердо,—ни о чемъ такомъ ребенку не говорить, а довольствоваться, при необходимости, самыми краткими и простыми объясненіями.

Признаюсь, зная ея взбалмошныя мысли и несдержанность, я ожидалъ вспышки. Но она все смотритъ и вдругъ говоритъ спокойно, съ усмѣшкой:

— Я тебя понимаю. Одного не понимаю: какъ же ты самъ ходишь въ церковь и говѣешь? Значитъ, разумъ твой говоритъ, что тебѣ это нужно?

Я ужъ былъ разсерженъ, но сдержался:

— Ты понимаешь, Вѣра, что это дѣло совѣсти. Всякій взрослый человѣкъ, которому приходится стоять въ церкви, можетъ молиться въ душѣ какъ ему угодно. Онъ только не долженъ оскорблять сосѣда требованіемъ принять его вѣрованіе. Наконецъ, надо понимать и принимать во вниманіе, что есть періодъ дѣтства въ жизни человѣчества...

— Прекрасно,—перебила меня Вѣра.—До тебя мнѣ дѣла мало. Но ты сказалъ: дѣтство. Если это—для дѣтей (пусть будетъ по твоему!), то почему же ты мѣшаешь дѣтямъ,—настоящимъ, которымъ нужна эта пища, чтобы расти,—приходить туда? Развѣ это не насиліе? Если мы имѣемъ хоть малое что-нибудь, хоть самое крошечное—почему же мы откажемъ въ этомъ ребенку?

Зарони въ него искру—она, можетъ быть, и разгорится. А насильственная темнота, на которую ты обрекаешь моего мальчика...

— Онъ и мой. Вѣра, не забывай, и не старайся, пожалуйста, меня поймать женскими уловками. Разубѣждать меня въ чемъ-либо тоже напрасно. Ты отлично поняла, что я сказалъ; а затѣмъ—кончимъ, пожалуйста, этотъ тяжелый разговоръ.

Можетъ быть, я былъ жестокъ. Тутъ еще Клавдія вмѣшалась:

— Что вамъ, Вѣра Ивановна? Поступитъ мальчикъ въ гимназію, всему во-время научится. Развивать же его болѣзненную впечатлительность, вліять на его фантазію, при его нервности — это значитъ подготовить ему незавидную будущность. Я увѣрена, что братъ положитъ этому конецъ.

Никогда я не видалъ Вѣру Ивановну въ такомъ состояніи! Она вскочила, вся блѣдная, почти страшная. Хотѣла говорить—и задыхалась.

— Вы... вы... мало вамъ, что вы меня погубили... Вы и ребенка моего хотите обездолить... Все, что въ дѣтствѣ дорого... Отъ чего потомъ и человѣкомъ живымъ можно остаться... Заранѣе ему жилы перегрызаете... О, безбожники, безбожники!

Я взялъ ее за руку, крѣпко.

— Успокойся, Вѣра, опомнись! — сказалъ я почти строго.—Есть всему свои предѣлы.

Она вырвала руку, повернулась ко мнѣ и заговорила быстро, почти умоляя:

— Скажи, Ваня, вѣдь ты пошутилъ? Ну, не понимаешь самъ,—но вѣдь ты мнѣ вѣришь же сколько нибудь? Вѣришь, что я Андрюшѣ худа не пожелаю? Не будешь мнѣ приказывать, о чемъ говорить съ нимъ, о

чемъ нѣтъ? Вѣдь ты знаешь меня, развѣ я была ханжей? Или нечестной, лицемѣрной? Ваня, Ваня, ты прости меня, если я за себя говорила, сердилась на тебя... Что я! Теперь я объ Андрюшѣ, оставь его мнѣ, Ваня!

Не могу вамъ передать, какъ мнѣ ее было жаль. Но и страшно стало за ребенка при видѣ ея изступленности, и я понялъ, что не могу, не имѣю права, ей именно теперь въ чемъ-либо уступить. Я опять взялъ ее за руку, еще крѣпче, и сказалъ, даже безъ дрожи въ голосѣ:

— Убѣжденія мои, Вѣра, неизмѣнны. Помни, что Андрюша и мой сынъ. И я не имѣю никакого человѣческаго права оставить его на волю такой взбалмошной и ненормальной женщины, какъ ты... какъ бы я тебя ни любилъ. Слышишь?

Она даже не вырвала руки. Подняла на меня глаза и затихла. Я уже думалъ—обошлось, опомнилась немного. Нѣтъ, засмѣялась какъ-то жестко и быстро вышла изъ комнаты.

На другой день она Андрюшу въ церковь не повела, но потомъ вскорѣ Клавдія мнѣ сказала, что она всетаки хочетъ поставить на своемъ, и я утромъ долженъ былъ чуть не силой удержать ихъ на порогѣ. Началась у насъ такая жизнь, которой не опишешь, да и долго было бы и тяжело описывать. Подъ конецъ даже при ребенкѣ стали повторяться безобразныя сцены. Я принужденъ былъ ей сказать, что я отдамъ Андрюшу изъ дому, если она не усмирится. Клавдія выхлопотала разрѣшеніе открыть въ нашемъ городкѣ нѣчто вродѣ дѣтскаго сада, школку такую, и ужъ присмотрѣла помѣщеніе. Впослѣдствіи я думалъ, дѣйствительно, отдать туда Андрюшу, но пока хотѣлъ только припугнуть Вѣру. Да и дѣйствительно, такъ жить было нельзя. Всѣ мы извелись, Андрюша каждый день плакалъ.

Вѣра выслушала меня спокойно.

— Да, говоритъ,—пора это кончить. Такъ нельзя. Я устала.

Тихо пошла въ спальню и легла. Съ того дня—ни звука отъ нея, бывало, не добьешься. Зоветъ ее Андрюша—она точно не слышитъ.

— Вѣра, говорю, да поди же къ нему!

— Зачѣмъ? Я сама вижу, я ему вредна.

Шуму не было больше въ домѣ—но отъ этого стало не легче, а точно тяжелѣе. Ребенокъ плачетъ, ходитъ блѣдный, больной.

— Мама умираетъ, маму полечить.

Потомъ стало казаться, по привычкѣ, что все вошло въ колею—но какая ужъ это была колея! Вѣра лежитъ до вечера, точно все думаетъ о чемъ-то. Я, хоть и мало, все-таки надѣялся, что она одумается. А не одумается, тогда... что „тогда"—я и самъ не зналъ. Всѣ мы извелись, Клавдія пожелтѣла. Андрюша каждую ночь метался. И характеръ у него сталъ портиться. Такая, знаете, атмосфера,—точно покойникъ въ домѣ.

Сидимъ мы разъ вечеромъ съ Клавдіей въ гостиной, при одной свѣчѣ, молчимъ. Часами такъ просиживали. Вдругъ дверь скрипнула—Вѣра.

Я удивился. Посмотрѣлъ на нее—опять молчу.

Она сѣла рядомъ со мною, къ столу. Какъ измѣнилась! На десять лѣтъ постарѣла, и взглядъ нехорошій.

— Здорова ли ты, Вѣрочка?—спрашиваю. Невольно спросилъ, увидавъ ее такой.

— Не очень.

Клавдія вмѣшалась:

— Вамъ бы полечиться, Вѣра Ивановна, на кумысъ, что ли, лѣтомъ съѣздить.

И сказала, я убѣжденъ, съ добрымъ сердцемъ. А Вѣра вдругъ на нее попрежнему:

— Молчите, вы!

Клавдія, чтобы не связываться, глаза на работу опустила и только проворчала сквозь зубы:

— Сумасшедшая!

Я надѣялся, что Вѣра не услышитъ—но она услыхала и вдругъ точно обрадовалась, и заговорила скоро, оживленно:

— Да, да, я сумасшедшая... То-есть нѣтъ, не сумасшедшая, а такъ, нервы у меня очень разстроены... Не правда ли, Ваня?

— Вѣрочка, ты успокойся.

— Я спокойна теперь, но я больна. Я чувствую, что я больна. Не могу владѣть собой. Я бы хотѣла полечиться. Затѣмъ и пришла, чтобы сказать тебѣ.

— Что жъ, хочешь, сейчасъ за Ѳедоромъ Ивановичемъ пошлемъ?

— Нѣтъ, что ты! Я бы хотѣла къ спеціалисту, въ губернскій городъ. Вотъ, къ Лазаревскому...

— Къ Лазаревскому? Да развѣ онъ... по нервнымъ болѣзнямъ?

— Ну да, психіатръ. Вѣдь у него клиника своя. Тамъ же и другіе. Я бы хотѣла къ нимъ.

— Да что же съ тобой, Вѣра?

У меня какой-то страхъ къ ней явился.

— Я больна, право. Свези меня завтра, Иванъ Васильевичъ. Мнѣ отдохнуть надо, полечиться.

Я, знаете, засмѣялся, хотя вовсе не хотѣлось смѣяться.

— Что это ты, въ сумасшедшій домъ захотѣла?

Шучу, а она такъ серьезно, такъ просительно на меня посмотрѣла и тихо говоритъ:

— Очень прошу тебя, Ваня свези меня къ докто-

рамъ. Если и придется тамъ пожить—мнѣ спокойнѣе будетъ. Надо же мнѣ куда-нибудь уѣхать, а куда?

И что вы думаете? Тихими рѣчами уговорила-таки меня повезти ее на другой день въ губернскій городъ. Я, конечно, ни секунды тогда не сомнѣвался, что никто ее не оставитъ въ лечебницѣ, потому что она совершенно была здоровая; а думалъ—проѣдемся, доктора режимъ какой-нибудь назначатъ, мало-ли... Даже радъ былъ. Съ Андрюшей она безучастно простилась, точно мертвая. Ненадолго прощалась,—а все-таки это меня изумило. Съ Клавдіей вовсе не простилась, Клавдіи это было даже непріятно.

Всю дорогу молчала, какъ я ни старался ее разговорить. Пріѣхали ужъ ночью, она устала. Остановились въ гостиницѣ. На другой день повезъ я ее. Не одинъ докторъ осматривалъ,—трое. Разспрашиваютъ—она молчитъ. Упорно такъ, я даже удивился. Со мной она все-таки, хоть мало, но еще утромъ разговаривала. Стали меня спрашивать—что я могу сказать? Говорю—жаловалась на нервное разстройство. Стали щупать ее—она закричала, и все-таки ни слова.

Одинъ увелъ меня въ другую комнату, опять спрашиваетъ, были ли припадки? Какіе припадки? Не было, говорю.

— А какъ же вы ее привезли?

— Такъ и привезъ. Сама захотѣла.

Опять принялся меня разспрашивать. Я, знаете, вообще не краснорѣчивъ, а тутъ у меня совсѣмъ языкъ прильнулъ къ гортани. Начну говорить—самъ вижу, что совершенно безъ толку, не могу объяснить ни какого рода болѣзнь, ни причины, ни когда началась и въ чемъ проявилась. Не разсказывать же имъ было день за днемъ всю жизнь, какъ вамъ, вотъ, я разсказалъ!

Да ихъ съ научной точки зрѣнія и это бы, вѣроятно, не удовлетворило.

Опять позвали меня въ первую комнату. Вѣра стоитъ у окна, ко мнѣ спиной, безъ шляпы. Докторъ, который съ ней былъ, говоритъ, чрезвычайно ласково:

— Вотъ Вѣра Ивановна согласилась у насъ пожить, полечиться. Неправда ли?

Вѣра отвѣчаетъ, не оборачиваясь:

— Да, я останусь.

Я было ротъ раскрылъ, но меня тотчасъ же увели прочь.

— Не раздражайте, говорятъ, больную, такъ хорошо все обошлось.

Я, было, къ нимъ съ разспросами—они мнѣ цѣлую кучу вещей наговорили: и то у ней явно, и это опредѣлено, и здѣсь чувствительность, говорятъ о припадкахъ... Я, просто, смѣшался, потерялся. Спрашиваю когда же выздоровѣетъ? Они опять, и зрачки-то у нее расширены, и еще что-то ненормально... Пока молъ, ничего нельзя сказать, увидимъ, улучшеніе можетъ наступить или быстро, или болѣе медленно.

Ужъ не помню, какъ я договорился насчетъ комнаты для нея и всего другого. Признаюсь, ужасной это было мнѣ неожиданностью. Доктора считали, что я просто убитъ горемъ, не могли же они, конечно, догадаться, что я, везя больную въ психіатрическую лечебницу, никакъ не ожидалъ, что ее тамъ примутъ. Говорили много сочувственнаго, слегка обнадежили. Поздравляли, что такъ спокойно обошлось. Очень любезные люди.

Хотѣлъ проститься—не позволили.

Да-съ; такъ вотъ такъ я ее и оставилъ. Ѣхалъ назадъ изъ губернскаго города домой,—дорогой немножко пришелъ въ себя, одумался. Конечно, я не медикъ: къ тому

же Вѣра была у меня все время на глазахъ; мнѣ трудно было услѣдить, какъ зародилась и какъ развилась болѣзнь. Глазъ спеціалиста тотчасъ же видитъ всѣ признаки. Леченіе, наконецъ, даже извѣстный режимъ—кромѣ пользы ничего не принесутъ расшатанному, больному организму...

Иванъ Васильевичъ умолкъ на минуту. Я посмотрѣлъ на него и спросилъ:

— Что же, вы часто ее видаете?

— Я? Какъ вамъ сказать? Ѣзжу-то я туда часто. Иногда дважды въ мѣсяцъ. А видѣлъ ее съ тѣхъ поръ всего одинъ разъ. Вскорѣ послѣ того, какъ свезъ. Вышла ко мнѣ въ отдѣльную пріемную. (Такіе любезные доктора! И больница прекрасная, чисто!) Вышла, худенькая, маленькая, прихрамываетъ по обыкновенію. Въ сѣромъ халатикѣ волосы острижены. На лицѣ только брови чернѣютъ. Взглядъ—тутъ ужъ и я замѣтилъ—ненормальный; глядитъ прямо—а будто не видитъ меня.

Сѣла, руки сложила.

— Вѣра, говорю, хочешь, поѣдемъ домой?

Она отвѣчаетъ, ровно, тихо:

— Нѣтъ, Иванъ Васильевичъ, не поѣду. Мнѣ здѣсь хорошо.

— Да что же здѣсь хорошаго? Вѣдь тебѣ лучше, поѣдемъ!

Самъ думаю: какъ себѣ доктора хотятъ—а я попробую ее взять домой. Что будетъ?

Она опять:

— Нѣтъ, ужъ я не поѣду. Здѣсь спокойнѣе.

Я даже разсердился.

— Съ сумасшедшими-то?

— Не все ли, говоритъ, равно? А мнѣ съ этими спокойнѣе. Вы не тревожьте ни меня, ни себя, Иванъ Ва-

сильевичъ, не ѣздите ко мнѣ. Я не скоро выздоровѣю. Домой меня и не пустятъ,—да и зачѣмъ вамъ? Вотъ, развѣ, платить за меня здѣсь нужно... Да все равно и дома я вамъ что-нибудь стою.

— Вѣра,—возражаю ей,—а про Андрюшу не спросишь?

Она встала.

— Ну, что объ этомъ говорить. Прощайте, Иванъ Васильевичъ. И не тревожьте меня. Право, мнѣ хорошо.

Ушла. Хотѣлъ я къ доктору—его не было. Сидѣлокъ разспрашивалъ—говорятъ одно: „ничего, спокойна".

Съ тѣхъ поръ, повѣрите ли, ни разу, она меня видѣть не пожелала. Черезъ сидѣлку передаетъ мнѣ, чтобъ я ее не тревожилъ, что ей хорошо и покойно. И доктора то же самое: не тревожьте, если не хочетъ. Спрашиваю, есть ли улучшеніе—иногда говорятъ—есть нѣкоторое, иногда утверждаютъ, что было, но теперь временно хуже. Разъ я попросился взглянуть на нее въ дверное стекло,—тамъ есть такія, незамѣтныя. Сидитъ въ креслѣ смирно, руки сложены на колѣняхъ. Обострился очень профиль у нея, желтая, точно умершая. Болѣзнь не краситъ.

Ну, а больше не видѣлъ. Ѣзжу часто, а о свиданьи ужъ и не прошу. Свыкаешься, знаетс, со всякимъ горемъ. И Андрюша у меня ужъ рѣдко ее вспоминаетъ. Болѣзненный, однако, растетъ мальчикъ, задумчивый. Я про Вѣру съ нимъ не говорю; да я и ни съ кѣмъ о ней не говорю, съ вами, вотъ, разболтался... Бываютъ, знаете, такія минуты. Вспомнится все, какъ оно было, раздумаешься...

Онъ вдругъ повернулся ко мнѣ. Я едва видѣлъ въ наступившей тьмѣ его широкое, побѣлѣвшее лицо и мигающіе глаза.

— Раздумаешься—и опять становится многое непонятнымъ. Вотъ, я вамъ разсказалъ все съ самаго начала, Вѣрочку постарался обрисовать вамъ... Ну, и обстоятельства жизни, при которыхъ зародилась болѣзнь. Вамъ, быть можетъ, со стороны легче составить вѣрное мнѣніе... Сужденіе посторонняго человѣка имѣетъ большую цѣнность. Скажите, мнѣ, пожалуйста, какъ вамъ кажется?.. То-есть, что вы скажете? Вѣдь несомнѣнно, есть признаки... То-есть, вѣдь она—сумасшедшая?

Я еще разъ поглядѣлъ въ лицо Ивана Васильевича, растревоженное, жалкое. Я понялъ, что къ нему опять пришли тѣ минуты „слабости и сомнѣнія", о которыхъ онъ упоминалъ въ самомъ началѣ своего разсказа. Онъ ждалъ моихъ словъ. Я подумалъ о томъ, какъ иногда бываютъ нужны человѣческія слова, но какъ, въ сущности, не нужна, вредна ихъ правдивость,—и сказалъ:

— Что-жъ... Доктора—спеціалисты находятъ... Вы и сами замѣчали въ ней много ненормальнаго... Все возможно...

Мы выѣхали изъ лѣсу, копыта лошадей застучали по ровной дорогѣ, бубенчики дрогнули и залились, кругомъ посвѣтлѣло. До станціи оставалось полверсты.

ВЫМЫСЕЛЪ.

Вечерній разсказъ.

I.

Позднимъ вечеромъ, около полуночи, сидѣли у потухающаго камелька пятеро старыхъ друзей и разсказывали другъ другу исторіи.

Многіе думаютъ, что въ теперешнее время этого больше не случается. Бывало изрѣдка въ началѣ прошлаго столѣтія, стало учащаться къ серединѣ, потомъ, во времена Тургенева, казалось—постоянно гдѣ-нибудь да собираются старые друзья у камелька и разсказываютъ исторіи; а теперь, дѣйствительно, объ этомъ совсѣмъ не слышно, ни у насъ, ни за границей,—во Франціи, напримѣръ. По крайней мѣрѣ повѣствователи намъ объ этомъ никогда больше не говорятъ. Боятся ли они удлинить свое повѣствованіе и утомить занятого читателя, хотятъ ли непремѣнно выдать разсказъ пріятеля за свое собственное измышленіе, или, можетъ быть, дѣйствительно нѣтъ больше такихъ, пріятныхъ другъ другу людей, которые засиживались бы вмѣстѣ у камелька и умѣли слушать чужія исторіи—кто знаетъ? Но хоть рѣдко—а это случается и въ наши времена. По крайней мѣрѣ случилось въ тотъ вечеръ, о которомъ я разсказываю.

Они были не только старые друзья, но и старые люди. То-єсть не такъ, что бы очень старые,—между

сорока и пятидесятью всѣ, и всѣ—холостяки. Оттого, можетъ быть, они и засидѣлись вмѣстѣ у камелька, и умѣли слушать другъ друга, покуривая кто папиросу, кто тихую душистую сигару и медленно прихлебывая изъ стакановъ славное, маслянистое вино. Есть какое-то особенное, мягкое достоинство у стараго, спокойнаго холостяка. Онъ не разсѣянъ, онъ весь всегда тутъ, и всегда готовъ къ дружбѣ, и когда слушаетъ—то слушаетъ съ удовольствіемъ и вниманіемъ. Его интересуетъ міръ, и —почти одинаково—чужое и собственное отношеніе къ міру. Тогда какъ не холостяка главнымъ образомъ интересуетъ свое отношеніе къ своему маленькому міру, а если не интересуетъ—то заботитъ, а не заботитъ—то досаждаетъ,—но во всякомъ случаѣ маленькій міръ хоть отчасти да заслоняетъ ему большой.

Собрались въ квартирѣ Лядскаго, статнаго, моложаваго человѣка лѣтъ сорока пяти, съ сѣдыми, волнистыми волосами и доброй улыбкой. Глаза, впрочемъ, смотрѣли не безъ строгости. Онъ былъ директоромъ какого-то департамента, гдѣ его даже любили. Остальные—почти всѣ—не сослуживцы, а старые товарищи по школѣ, по университету, разошедшіеся по разнымъ дорогамъ; но прежнюю близость они умѣли сохранить.

Темные обои. Темныя занавѣси. Темные ковры. Тяжелая темная мебель. Одинокая электрическая лампа ласковая, подъ низкимъ абажуромъ—и ласковые малиновые угли въ каминѣ съ бѣгающими синими огоньками. Говорили—о будущемъ. Просто—о темнотѣ будущей судьбы каждаго человѣка, о желаніи всякаго проникнуть въ эту тьму, о предсказаніяхъ, о предчувствіяхъ, о пророчествахъ. Казалось-бы—чѣмъ можетъ будущее интересовать немолодыхъ людей, у которыхъ почти вся жизнь позади? Но они и говорили не только о себѣ, а

обо всѣхъ людяхъ, молодыхъ и старыхъ, объ ихъ стремленіяхъ и о законахъ судьбы.

— Въ древнія времена,—сказалъ Лядскій,—когда люди вѣрили въ непобѣдимый Рокъ,—они все-таки составляли гороскопы, спрашивали оракуловъ, пророчицъ; казалось бы—зачѣмъ? Эдипъ, зная свою судьбу, не избѣгъ ея. Теперь мы вѣримъ въ свободную волю; вотъ когда нужны бы намъ пророчицы, гороскопы и вѣра въ нихъ. Теперь знаніе будущаго могло бы измѣнить и осмыслить жизнь.

— Ты думаешь?—спросилъ одинъ изъ друзей, худощавый человѣкъ, длинный, очень хорошо одѣтый, съ сѣдѣющими усами. Онъ сидѣлъ въ креслѣ у самаго камина и почти все время молчалъ. По особенной манерѣ держаться, мягкой и скромной, въ немъ можно было узнать дипломата, человѣка чаще слушающаго, но умѣющаго и говорить. Звали его Политовъ.

Лядскій отвѣтилъ ему, не торопясь:

— Да, мнѣ кажется. А ты...

— Я думаю иначе. Ты напомнилъ мнѣ одно странное происшествіе... Одну встрѣчу... Я, впрочемъ, и не забывалъ ея никогда. Это долго разсказывать, но если хотите—я вамъ разскажу. Я никогда никому о ней не говорилъ,—не знаю почему. Просто, можетъ быть, случая не было. А сегодняшній разговоръ такъ близко подходитъ къ моему воспоминанію. И лѣтъ такъ много прошло...

Вотъ что разсказалъ Политовъ.

II.

Въ дни моей молодости, когда я только что начиналъ служить, меня прикомандировали къ посольству

въ Парижѣ. Прожилъ я тамъ годъ, два, обжился, сошелся кое съ кѣмъ, и, странно, сошелся ближе всего съ кружками художниковъ, литераторовъ. Были между ними пренесносные, препошлые люди,—но за то попадались и живые, умные, такіе, съ которыми я говорилъ не скучая. Не смотря на мою молодость—что же, мнѣ было лѣтъ двадцать пять—я не любилъ пустозвоннаго французкаго веселья, которое мнѣ и тогда казалось какимъ-то примитивнымъ, скучноватымъ. Впрочемъ, я общества не избѣгалъ и ни отъ чего, при случаѣ, не отказывался.

Пришлось мнѣ однажды попасть, черезъ моего пріятеля, художника Lebrun, на пышный банкетъ другого художника, маститаго, всѣмъ извѣстнаго, Эльдона, въ его собственномъ отелѣ. Банкетъ давался по случаю... вотъ ужъ не могу припомнить, по какому случаю. Fermeture... ouverture... не знаю, но было торжество, и чествованіе, и былъ, какъ говорили, весь художественный и артистическій міръ. Были и дамы. Помню длинный столъ и его сверканье, какіе-то удушливые цвѣты на скатерти и эту добрую m-me Эльдонъ, хозяйку, толстую, великолѣпную, красную и тоже всю сверкающую. Она даже что-то говорила, за что-то благодарила, улыбалась и чокалась тихимъ, пріятнымъ жестомъ.

Пріятель мой занятъ былъ усиленнымъ разговоромъ со своей лѣвой сосѣдкой, моя сосѣдка справа тоже говорила не со мной; я очутился одинъ въ шумящей толпѣ, которая смѣялась и радовалась безъ меня. Я былъ радъ молчать. Можно было смотрѣть. И я смотрѣлъ на цѣпь лицъ противъ меня. Началъ справа. Одно, другое, третье... Когда быстро переводишь глаза съ одного человѣка на другого, то кажется, что это все одно и то же лицо такъ странно мѣняется, потому что—

хотя лица и разныя—есть между ними всегда непріятное и несомнѣнное сходство...

Четыре, пять, шесть... И вдругъ глаза мои остановились. Я уже почти дошелъ до лѣваго конца стола, и женщина, на лицѣ которой неожиданно остановились мои глаза, сидѣла отъ меня наискосокъ, влѣво, почти около хозяевъ. Букетъ увядающихъ блѣдныхъ розъ чуть-чуть заслонялъ ее отъ меня, но, наклонивъ немного голову, я могъ ее видѣть всю. Не удивляйтесь, что я помню такія подробности: встрѣть я завтра того же Lebrun, и даже не постарѣвшимъ,—я бы его не узналъ, А женщину—я думаю—и вы бы узнали, если бы могли увидѣть послѣ моего разсказа.

Описать ея черты легко, и въ нихъ не было ничего замѣчательнаго. Красива, блѣдна, спокойна. Кажется, молода—вѣроятно, нѣтъ и тридцати. Брови ровныя-ровныя, тонкія, круглыя, какъ на всѣхъ старинныхъ портретахъ. Темные, безъ всякаго блеска, волосы, не очень пышные, мягко приникающіе къ щекамъ. Вотъ и все. Черное платье, со страннымъ, оченъ низкимъ и очень узкимъ вырѣзомъ, полоска бѣлой кожи, идущая внизъ. Глазъ я даже и не видалъ еще, она ихъ опустила. И молчала, какъ я.

Вотъ она заговорила. Улыбнулась. Ротъ очень маленькій, алый; тѣсные зубы. Красива. Молода. Довольно обыкновенно красива, и мнѣ даже не очень нравится. Не восхищеніе, не удовольствіе и не отвращеніе она подняла въ моей душѣ, а ужасъ. Тотъ ужасъ—необъясненный ни кѣмъ, злостный, черный страхъ, который всѣ мы испытали... хотя бы въ дѣтствѣ, ночью, одни, въ темнотѣ. Этотъ страхъ отличенъ отъ всѣхъ другихъ уже тѣмъ, что онъ—половинчатый, и вторая половина его—восторгъ, точно такой же злостный, черный и не-

сравнимый ни съ какимъ восторгомъ, какъ и ужасъ съ другими ужасами.

Но я былъ не ребенокъ и невольно началъ разсуждать: что же въ ней, собственно, ужаснаго? Обыкновенна. Красива. Молода...

Молода! Вотъ оно. Вотъ гдѣ. Несомнѣнно молода. Тридцати нѣтъ. Двадцать семь... двадцать восемь.

Какъ бы не такъ! Двадцать семь—и пятьдесятъ, восемьдесятъ, сто двадцать—нѣтъ, двѣсти, триста,—не знаю—ей тысяча лѣтъ! И все-таки несомнѣнно, что ей не больше двадцати восьми.

Я обернулся къ моему пріятелю:

— Послушайте, на одну минуту: кто эта дама, около Эльдона, влѣво?

Lebrun, оторванный отъ разговора, взглянулъ на меня разсѣянно и поспѣшно:

— Которая? Въ розовомъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, еще лѣвѣе, въ черномъ. Какъ ея имя?

— Ахъ, эта! Ея имя? Ее зовутъ графиня Ивонна де-Сюзоръ.

— А графъ, ея мужъ, онъ здѣсь? Который?

Пріятель, уже опять отвернувшійся было отъ меня, удивленно сказалъ:

— Ея мужъ? Она не замужемъ. Она дочь покойнаго графа де-Сюзоръ, того самаго...

И онъ окончательно меня покинулъ, увѣренный, что удовлетворилъ мое любопытство.

Но я больше не спрашивалъ. Я опять смотрѣлъ на графиню, и въ эту минуту она подняла глаза. Какіе ошеломляющіе, непріятные глаза! Блѣдные-блѣдные, большіе, можетъ быть синеватые, можетъ быть сѣроватые—не знаю, только очень блѣдные, сквозные, точно изъ

цвѣтного хрусталя, и старые. Мертвые. И все-таки это были молодые и живые глаза.

По глазамъ ея я понялъ, что ошибся, впалъ въ невольное, почти поэтическое преувеличеніе, когда говорилъ себѣ, что ей — „триста, пятьсотъ, тысяча лѣтъ“!

Нѣтъ. Тысяча—это почти вѣчность для насъ. Вѣчное—никогда не старо. А графиня, при ея молодости и красотѣ, была именно стара, той старостью, человѣческой дряхлостью, около которой, совсѣмъ близко, рядомъ—стоитъ человѣческая смерть.

Я увидѣлъ, что блѣдные глаза остановились на мнѣ. Взоръ былъ совершенно спокоенъ, но не безразличенъ и какъ будто не случаенъ даже. Она смотрѣла на меня, точно давно меня знала, но не радуется и не удивляется встрѣчѣ. Точно такъ и нужно, чтобы я смотрѣлъ до невѣжливости упорнымъ, неотрывнымъ взоромъ въ ея—безспорно прекрасное, безспорно молодое лицо. Lebrun на этотъ разъ самъ обратился ко мнѣ и заставилъ меня опустить наконецъ глаза.

— Вы спрашивали меня о графинѣ? Неправда-ли, очень интересное лицо? Хотя есть что-то... и отталкивающее. Вы не находите?

Я подумалъ, что онъ ничего не понимаетъ и не пойметъ, а потому сказалъ уклончиво:

— Пожалуй...

— Да, прелестная, дѣвушка и милый товарищъ, хотя долженъ сказать, что я не горячій поклонникъ ея произведеній. Есть манера, есть школа, есть, если хотите, что-то своеобразное, но...

— Позвольте, какія произведенія?

— Да ея картины, parbleu! Развѣ я вамъ не сказалъ, что она—художникъ? Въ послѣднемъ Салонѣ была ея

картина и нѣсколько этюдовъ. Она очень извѣстна. Вы навѣрно замѣтили. Рэ. Рэ!

Рэ! Такъ это она подписываетъ свои холсты двумя нескромными буквами? Такъ это —Рэ? Не могу сказать, чтобы отъ такого открытія что-нибудь для меня стало яснѣе. Напротивъ, спуталось и усложнилось. Какъ незнать Рэ? О Рэ говорили. Говорили, что картины ея „производятъ тяжелое впечатлѣніе"—это всѣ поняли, то есть такъ поняли. А я ничего не понялъ. Отошелъ, помню, съ сумбуромъ—даже не въ головѣ, а во всемъ моемъ существѣ. Я тотчасъ же припомнилъ ея „Костеръ", который видѣлъ въ прошломъ году. Описывать картинъ нельзя, да и не нужно. И то, что въ „Кострѣ" смутило меня—совсѣмъ ужъ не покорно словамъ. Въ словахъ оно слишкомъ обычно. Хорошо написано, кажется. Темнота. Большой огонь посерединѣ. Слѣва полуголая старуха—и справа такая же. Отъ одной какъ-то видна тѣнь, и кажется, что три старухи, при чемъ одна—огромная. Вотъ и все. Въ старухахъ—костяная неподвижность, земляная тяжесть. Третья, тѣневая—огромная, но легкая. Вотъ и все. Смысла никакого—да Богъ ихъ знаетъ, эти картинные смыслы! Но очень помнится и мутитъ душу.

Тянулся, тянулся обѣдъ... Lebrun сталъ болтать со мной, опять перешелъ къ Рэ, видя, что я опять на нее смотрю, и сказалъ:

— Когда этотъ чудакъ, отецъ графини, умеръ...

Я перебилъ его:

— О графѣ я ничего не слыхалъ.

— Неужели? А я думалъ, что слышали. Судьба графини замѣчательна. Сюзоръ, милліонеръ и затворникъ, шестнадцать лѣтъ не считалъ ее своей дочерью. Она жила почти въ нищетѣ, съ полусумасшедшей матерью,

урывками училась, бѣгала въ Лувръ и въ рисовальную школу... И вдругъ все измѣнилось: отецъ взялъ ее къ себѣ, ее и мать, которая, впрочемъ, скоро умерла, окружилъ царской роскошью: лучшіе учителя, путешествія, свобода и его любовь, потому что онъ, говорятъ, умеръ у нея на рукахъ и въ послѣднее время не допускалъ къ себѣ никого, кромѣ дочери.

— А теперь?

— Теперь она живетъ совершенно одна, въ своемъ.. чуть не дворцѣ. Не затворницей, конечно, но около того.

— И не вышла замужъ?

— Que voulez vous? Une artiste!..—съ необычайной легкостью равнодушнаго сужденія отвѣтилъ мой пріятель, и больше мы о графинѣ не говорили.

Но только что кончился этотъ длиннѣйшій обѣдъ, какъ я, безъ всякаго предварительнаго рѣшенія, сталъ пробираться между гостями, направляясь къ этой женщинѣ. Мнѣ даже не пришло почему-то въ голову попросить Lebrun меня представить.

III.

Вблизи она была точно такою же, какъ издали. Только я увидѣлъ, что она — средняго роста и худощава, и платье у нея очень длинное. Она стояла ко мнѣ спиной, у рояля (мы перешли въ гостиную) и разговаривала съ какимъ-то старикомъ. Но едва я приблизился—она обернулась и, къ удивленію моему, подала мнѣ руку, опять какъ старому знакомцу, и сказала:

— Bonjour. M-r Politoff?

Старикъ тотчасъ же отошелъ. Я одного не могъ понять: неужели только я въ ней вижу то, что вижу, а другіе ничего? Впрочемъ, быть можетъ, они привыкли,

примирились съ ней. А вѣдь даже легкій Lebrun сказалъ, говоря о ней: „étrange figure. Въ ней точно нѣтъ жизни“. Глупо, пошло, но съ его точки зрѣнія... пожалуй и такъ.

Я замѣтилъ вблизи, что она очень свѣжа, нѣжной свѣжестью блѣдныхъ женщинъ. Она была моложе, чѣмъ я думалъ. Лѣтъ двадцать пять...

Что сказать ей? Она смотрѣла на меня въ упоръ своими блѣдными, сквозными, точно пустыми глазами, восьмидесятилѣтними и прелестными, чуть-чуть улыбаясь.

Что сказать? Я хотѣлъ выдумать возможное, заговорить объ ея картинахъ, что-ли, — и вдругъ проговорилъ почти невозможное:

— Вы мнѣ кажетесь очень странной.

Она попрежнему глядѣла спокойно.

— Вы, конечно, отдаете себѣ отчетъ, почему я вамъ кажусь странной.

Голосъ у нея былъ тихій, даже глуховатый — и молодой, говоръ медлительный. Она произнесла свои слова отнюдь не въ видѣ вопроса. Въ самомъ голосѣ было что-то тихо утвердительное, точно онъ и не могъ бы подняться выше—для вопроса.

— Немного отдаю отчетъ,—сказалъ я, стараясь невольно быть точнымъ.—Но не вполнѣ. Въ душѣ много смутнаго.

— Да. Вполнѣ и невозможно. Но въ возможномъ вы правы. Вы мнѣ очень нравитесь. Вы глубоки.

— Но вы мнѣ не нравитесь!—воскликнулъ я, точно помимо моей воли. — То-есть и страшно нравитесь, и страшно не нравитесь! И восторгъ—и ужасъ! Это необъяснимо...

— И это мучитъ васъ,—досказала она.—Говорите все, что можете опредѣлить словами.

И я разсказалъ... все, съ непобѣдимой точностью, что думалъ о ней за столомъ. Да, такъ-таки и разсказалъ все, даже не смягчая словъ. Друзья мои, вы меня хорошо знаете. Вы повѣрите, что въ этой женщинѣ было что-то необычайное, безпримѣрное—потому что вѣдь нельзя повѣрить, нельзя представить меня, человѣка съ обычнымъ хорошимъ воспитаніемъ, да еще по натурѣ сдержаннаго, да еще по профессіи дипломата—говорящимъ такъ съ незнакомой француженкой, художницей и т. д. и т. д. Но увѣряю васъ—ей не только лгать, но даже сказать какую-нибудь неточность—было нельзя. По крайней мѣрѣ, для меня—нельзя. Не знаю, какъ другіе. Съ ней, кажется, вообще говорили мало.

Она слушала меня съ неподвижнымъ спокойствіемъ, какъ если бы я передъ ней повторялъ — и разъ десятый—свою роль. Другого сравненія не могу придумать. Когда я кончилъ, она сказала:

— Вы на вѣрной дорогѣ. Это первыя догадки—но вѣрныя. Не будетъ неправдой думать такъ. Мнѣ, дѣйствительно, и двадцать шесть лѣтъ — и восемьдесятъ одинъ. Это такъ.

— Что за загадки! — воскликнулъ я почти со злобой. — Вы хотите воспользоваться моей необъяснимой фантазіей, подчеркнуть ее—неизвѣстно, для чего?

Но она даже не улыбнулась.

— Не надо сердиться, мой милый. Лучше будемъ пока друзьями. Приходите ко мнѣ. Я у себя по вечерамъ. А теперь поговоримъ о другомъ. Къ этому всегда время вернуться.

И она съ удивительной и легкой властностью перевела разговоръ на что-то другое, на простое, но должно быть важное, потому что я не только не замѣтилъ фальши въ переходѣ, а почти не замѣтилъ перехода.

Мы говорили долго,—кажется обо всемъ, и объ ея картинахъ. Въ ея голосѣ, въ словахъ, была все та же тихая утвердительность, неподвижная—и почти бездонная, грустная глубина, молодая, свѣжая... дряхлость, которая была въ ея глазахъ; и тамъ и здѣсь она одинаково восхищала и ужасала меня. Соединялось несоединимое и—больше—не долженствующее соединяться.

Говоря съ ней о чемъ бы то ни было—я говорилъ все о томъ же, объ одномъ,—о ней.

IV.

Сказать вамъ, что я влюбился въ эту женщину—было бы неправдой. Полюбилъ ее — нѣтъ; тоже нѣтъ. Но чѣмъ чаще я ее видѣлъ (а я сталъ бывать у нея каждую недѣлю, потомъ и два раза въ недѣлю), чѣмъ больше говорилъ я съ ней и смотрѣлъ на нее — тѣмъ больше росъ во мнѣ плѣнительный ужасъ, пугающій восторгъ, и я уже не могъ и не хотѣлъ бороться съ его властью надо мной.

Она жила одна. Рѣдко выѣзжала. Много работала. Случалось, ее навѣщали, – но какъ-то неохотно, какъ неохотно она принимала. Я замѣтилъ, что, дѣйствительно, въ ней было нѣчто отталкивающее—для другихъ. Вѣроятно то, что меня держало въ странномъ, нелюбовномъ, плѣну около нея. Уходили, не размышляя: что-то непріятное въ ней—и кончено.

Иногда мнѣ казалось, что не будь въ ней для меня этого загадочнаго, обезволивающаго ужаса—я бы могъ любить ее просто, какъ прекрасную женщину, большой серьезной любовью. Сначала она мнѣ не понравилась; вѣрнѣе, сначала я былъ сраженъ одной непонятностью ея лица, и ни о чемъ больше не могъ думать; но послѣ

я, съ величайшимъ усиліемъ, старался иногда, на мгновенье, представить себѣ это блѣдное лицо *только* жизнерадостно-юнымъ, успѣвалъ—и тотчасъ же на смѣну являлось прежнее чувство ужаса, но еще усиленное болью великой и недоумѣнной потери, точно у гроба любимаго существа.

А потомъ я и вовсе забывалъ—о моей возможной-невозможной любви, и стоялъ передъ страшной женщиной, лишь окованный ея и неженскими, и нечеловѣческими цѣпями.

Мы сидѣли съ нею чаще всего въ маленькой гостиной около мастерской, вѣрнѣе—кабинетѣ; тамъ была почти такая же темная, тяжелая мебель, какъ вотъ здѣсь; и такъ же угли порою рдѣли въ каминѣ. Отель ея, дѣйствительно, былъ похожъ на угрюмый дворецъ; я каждый разъ проходилъ черезъ цѣлый рядъ молчаливыхъ залъ, чтобы добраться до лѣстницы, ведущей наверхъ—въ кабинетъ и мастерскую.

Графиня встрѣчала меня всегда ласково, всегда ровная, всегда красивая, всегда въ длинномъ черномъ платьѣ, точно вѣчный трауръ она носила.

Всегда ровная... да, но я замѣчалъ,—и она не скрывала, что ровно подымалась и усиливалась ея ко мнѣ ласковость и привѣтливость. Я былъ съ ней всегда откровененъ; я не могъ быть инымъ; она знала все, что я самъ зналъ о себѣ по отношенію къ ней; знала всѣ мои муки ужаса и восторга, все возраставшія; и,—казалось,—не только понимала, а могла бы и разрѣшить ихъ; и между тѣмъ не разрѣшала. Случалось такъ, что я говорилъ—она слушала и молчала, или произносила своимъ тихимъ голосомъ нѣсколько тихо-утвердительныхъ словъ, съ тихой и грустной, всегда какой-то далекой, лаской. И я не настаивалъ, не про-

силъ, не разспрашивалъ, не торопилъ: я не могъ. Какъ будто совершался медленно какой-то путь, и укоротить его по волѣ было нельзя.

Оставаясь одинъ — я мучился сильнѣе и острѣе; а въ ней была строгая и покорная тишина, которой, при ней, и я покорялся.

Такъ шла зима. Мы были почти близкими друзьями— и я такъ же не понималъ ни себя, ни ея, какъ въ первый день встрѣчи.

Казалось—я не могу больше жить безъ нея. Но и при ней не было мнѣ жизни. Непонятная, недоумѣнная тяжесть моя все усиливалась. Я попробовалъ не видѣть графини цѣлую недѣлю. Это было уже почти весною. Наконецъ, черезъ недѣлю, рѣшилъ опять идти, но не сейчасъ, еще переждать дня три. И не пришлось. Утромъ я получилъ отъ нея записку—первую—гдѣ она писала:

„Будьте, другъ мой, у меня сегодня вечеромъ. Ивонна де-Сюзоръ".

У меня и мысли не явилось ослушаться. Пришелъ часъ—и я былъ у нея.

V.

Графиня встрѣтила меня внизу. Мы вмѣстѣ прошли цѣпь пустынныхъ залъ и вмѣстѣ поднялись на лѣстницу.

Угли рдѣли въ каминѣ. Потолокъ былъ свѣтелъ, стѣны темны. Она сѣла у огня, въ высокое кресло съ прямой спинкой. Алый отсвѣтъ лежалъ на ея лицѣ, гордомъ, молодомъ и страшномъ. Прозрачные, старые глаза не принимали горячихъ лучей, были все такіе же блѣдные, не живые и прекрасные.

Но, прежде, чѣмъ я взглянулъ въ нихъ, я сказалъ свои прежнія мысли, съ которыми жилъ:

— Вы были удивлены, графиня, что я не шелъ къ вамъ такъ долго...

Она отвѣтила:

— Нѣтъ. Я не была удивлена.

И я тотчасъ же понялъ, что не была удивлена, и не могла быть.

Она продолжала.

— Видите ли. Мнѣ слѣдуетъ сказать вамъ, разсказать вамъ нѣчто о себѣ; раньше этого нельзя было сдѣлать. Не нужно. А теперь нужно. Потому что... вѣроятно—мы скоро разстанемся.

Передъ словомъ „вѣроятно" она остановилась и произнесла его со страннымъ усиліемъ. Я безотчетно вспомнилъ, что въ первый разъ слышу это слово отъ нея. Она никогда не говорила: „вѣроятно", „я надѣюсь", „я предполагаю", „можетъ быть"... Но я едва уловилъ это, обращенный весь къ ея слову „разстанемся".

— Вы уѣзжаете?—почти вскрикнулъ я.—Разстанемся?

— Да. Я не уѣзжаю. Но вы... вѣроятно...

Опять „вѣроятно", и опять съ усиліемъ.

— Я никуда не уѣзжаю! Не думаю и не располагаю уѣзжать! Почему разстанемся?

Она помолчала.

— Все равно,—сказала она наконецъ. — Все равно, думаете ли вы или нѣтъ. Сегодня я должна разсказать вамъ то, чего вы не знаете. Разскажу вамъ потому, что я васъ люблю.

Она произнесла эти слова съ такой простой, повелѣвающей и покорной тишиной, что и во мнѣ они отозвались той же тишиной. Мнѣ и въ мысль не могло придти отвѣтить ей, что я ее люблю или не люблю. То, что я къ ней чувствовалъ, было и больше, и непонятнѣе всякой любви.

— Разскажите мнѣ, если надо,—сказалъ я.—Да, и я чувствую, что теперь надо.

Странное спокойствіе, почти оцѣпененіе, овладѣло мною на время. Такъ я выслушалъ весь ея длинный и тихій разсказъ, и понятный—и устрашающій.

Вотъ что она мнѣ разсказала.

VI.

— Вы знаете, что графъ Сюзоръ, по нѣкоторымъ причинамъ, не считалъ меня своей дочерью и семнадцать лѣтъ я и мать моя жили вдали отъ него. Я его до семнадцати лѣтъ, до того дня, когда все перемѣнилось, и не видала. Мы жили здѣсь, въ Парижѣ, почти нуждаясь, тѣмъ болѣе, что мать была больна. Я поневолѣ привыкла къ самостоятельности, пользовалась свободой, какой рѣдко пользуются молодыя дѣвушки моихъ лѣтъ... моихъ тогдашнихъ лѣтъ. У меня было было много подругъ и друзей по школѣ — я сумѣла попасть въ рисовальную школу, имѣя непреодолимое пристрастіе къ живописи. Я была не по лѣтамъ энергична, чрезвычайно жива, порывиста и горяча. Несправедливость графа къ моей матери вѣчно мучила меня, возмущала, заставляя чуть не сжимать кулаки при одной мысли; я ненавидѣла моего отца. Я обвиняла его и въ моей судьбѣ. Я могла бы учиться,—не такъ, какъ теперь... Могла бы сдѣлаться великой... Я была очень самонадѣяна и вѣрила въ себя. Но если жизнь меня заколотитъ, думала я, могу и пропасть.

Мысли о моей судьбѣ ужасно мучили меня. Иногда я начинала бояться неизвѣстныхъ. неизбѣжныхъ грядущихъ ужасовъ и несчастій, думала о томъ, какъ бороться съ ними, что будетъ со мною и съ моею ма-

терью,—и терялась, не зная, и плакала по ночамъ. Иногда, напротивъ, душа наполнялась живой надеждой на хорошее, широкое счастье, я хотѣла дѣйствовать, скорѣе идти на встрѣчу—но какъ дѣйствовать? Куда идти? Не забудьте, я была одна съ полусумасшедшей матерью, и мнѣ было шестнадцать лѣтъ.

Одинъ разъ подруга въ школѣ, дѣвушка изъ общества, разсказала мнѣ, что весь Парижъ теперь сходитъ съума, увлекаясь какимъ-то новоявленнымъ гадателемъ, предсказателемъ будущаго. О немъ говорили, что это —знатный французъ; много лѣтъ проведшій въ Египтѣ, въ Индіи или еще гдѣ-то, много лѣтъ изучавшій тайныя, древнія науки во всей ихъ почти бездонной мудрости, что онъ чуждъ всякаго новѣйшаго шарлатанства, гипнотизерства и фокусничества, а простъ, какъ древній провидецъ. Онъ богатъ и денегъ не беретъ,— это послѣднее обстоятельство заставляло самыхъ большихъ скептиковъ сомнѣваться въ его шарлатанствѣ,— и принимаетъ всѣхъ. Его наперерывъ приглашали въ свѣтскія гостиныя. Собраній онъ, однако, избѣгалъ.

Спустя нѣсколько времени я почти то же самое прочла о немъ въ газетахъ. Я думала еще нѣсколько дней а потомъ рѣшилась. И вечеромъ (днемъ я была занята), отправилась къ нему.

Мнѣ казалось, что я совершаю какой-то отчаянный поступокъ. Одна, чуть не ночью, къ гадателю... И какой вздоръ! Что за глупое суевѣріе! Навѣрно, шарлатанъ... Да пусть шарлатанъ! Почему не пойти, все-таки любопытно. Воображаю, какая у него обстановка, и чего онъ навезъ изъ Индіи, изъ Тибета...

Уже лѣстница меня разочаровала и укрѣпила въ мысли, что онъ—шарлатанъ. Говорили о богатствѣ— ничуть не бывало. Обыкновенная, даже бѣдная квар-

тирка въ одномъ изъ дешевыхъ кварталовъ. Я позвонила съ бьющимся сердцемъ, ожидая, что найду у него толпу. Это меня даже ободряло.

Вмѣсто какого-нибудь слуги—краснаго или чернаго, изъ Индіи—мнѣ отворила дверь грязноватая femme de ménage и тотчасъ же провела въ маленькую пріемную, ужасно бѣдно меблированную. Не было ни души. Я хотѣла сѣсть,—но въ ту же минуту изъ сосѣдней комнаты вышелъ обыкновенный старичокъ въ сѣромъ халатѣ, маленькій, немного лысый, съ небольшой сѣдой бородкой. Это и былъ прорицатель.

Мнѣ не понравилось его крошечное, все сморщенное личико, ласково и хитро улыбавшееся. Было въ немъ и смѣшное.

Онъ не спросилъ ни моего имени, ни зачѣмъ я пришла—легко было догадаться, зачѣмъ. Сѣлъ за узкій и длинный деревянный столъ, у лампы, посадивъ меня напротивъ. Ласково, почти вкрадчиво, попросилъ мою руку, которую я ему протянула уже безъ смущенія. Какіе все пустяки! Онъ долго смотрѣлъ на мою ладонь, потомъ спросилъ о числахъ моего рожденія,—года и дня. Потомъ нѣсколько разъ взглянулъ мнѣ въ глаза.

Помолчалъ и заговорилъ.

Чѣмъ онъ дольше говорилъ — тѣмъ больше мною овладѣвали досада, чуть не злоба, и смѣхъ. Наконецъ, я вырвала у него руку и разсмѣялась — не безъ презрѣнія—ему въ лицо.

— Это все, неправда ли, что вы можете мнѣ сказать.

— Да, дитя мое... Я вижу это по вашей рукѣ, по вашимъ глазамъ. Васъ ждетъ завидная судьба. Вы будете богаты, будете извѣстны... У васъ есть непріятно-

сти, но они пройдутъ. Долгая жизнь въ довольствѣ и блескѣ, счастливая любовь—и одна... Нѣсколько разъ будете больны, но выздоровѣете,—ибо долгая жизнь...

Словомъ, онъ опять повторилъ все сначала, кое-что прибавилъ, все въ тѣхъ же фразахъ. Эти противныя, ничего не говорящія, ничего и все обѣщающія плоскія фразы, монотонныя—привели меня почти въ неистовство. Какой-то бѣсъ овладѣвалъ мною все больше и больше, овладѣлъ--и я крикнула:

— Подите вы вонъ съ вашимъ пошлымъ шарлатанствомъ! Ни у кого изъ васъ даже фантазіи нѣтъ! Всѣ въ мірѣ гадатели говорятъ всѣмъ въ мірѣ простакамъ однѣ и тѣ же общія фразы, одинаково для всѣхъ годныя! Долгая жизнь... Любовь... Болѣзнь... Непріятности... и пройдутъ.., Каждая кухарка умѣетъ сказать это по картамъ—и угадать! При чемъ же эти мудрости, древнія науки, Индіи—ни при чемъ! Какъ скучно!

— Дитя мое... началъ было старичокъ.

Но я его перебила. Я была слишкомъ взволнована и горько возмущена. Я вскочила со стула и, стоя передъ нимъ, продолжала, неожиданно горячо:

— Нѣтъ, я повѣрила бы только тогда, если бы мнѣ предсказали мое будущее, какимъ оно будетъ,— и мое слышите, мое! Нѣтъ одинаковой судьбы, какъ нѣтъ одинаковой души, и мнѣ нужна моя собственная судьба мое счастье, мое несчастье, мое сердце съ моими будущими чувствами,—все нужно, скажите мнѣ обо всемъ, если можете, разскажите цвѣтъ обой въ комнатѣ, гдѣ меня ждетъ радость! Покажите глаза человѣка, котораго я буду любить! Вотъ, тогда я повѣрю, что есть мудрость, знаніе, предвидѣніе! Но вы не можете. Такъ и молчите. Утѣшайте другихъ вашими „древними науками“!

— Дитя мое... сказалъ опять старичокъ.

Я посмотрѣла на него. Онъ пересталъ улыбаться. Онъ мнѣ показался внезапно испуганнымъ — и пугающимъ. Я замолчала. Молчалъ и онъ. Потомъ произнесъ—и такъ странно:

— Это вы?

И усмѣхнулся, но совсѣмъ не по прежнему. И злая радость—и жалость были въ этой усмѣшкѣ.

Я не знала, что сказать.

— Такъ это вы?—повторилъ онъ.

И продолжалъ, не дожидаясь отвѣта:

— Вы хотите знать вашу судьбу, вашу собственную, всю до конца, до цвѣта глазъ вашего возлюбленнаго? До послѣдняго движенія вашего будущаго сердца? До...

— Вы издѣваетесь надо мной! Повторяете безцѣльно мои же слова! Да, хочу, конечно, хочу! И знаю, что это невозможно, и презираю васъ съ вашими науками, потому что ничего другого мнѣ не нужно. Прощайте.

Я двинулась было къ двери. Онъ не удерживалъ меня,—надо быть справедливой. Но я сама, при взглядѣ на него, остановилась.

Тогда онъ проговорилъ.

— Такъ это вы. Мнѣ было сказано, что одинъ разъ —только одинъ разъ—придетъ ко мнѣ женщина, и будетъ требовать того, чего требуете вы. И мнѣ позволено на этотъ одинъ разъ— только разъ! — исполнить то, что она потребуетъ. Но лишь позволено —а не повелѣно. Я могу не исполнить, если вы откажетесь отъ своего желанія.

Онъ такъ сказалъ это, что я вдругъ повѣрила.

— Никогда не откажусь! Никогда! О, если можете, умоляю васъ! Скорѣе, скорѣе, сейчасъ, если только можете!

— Не нужно умолять,—произнесъ онъ почти строгостью.—Я сдѣлаю, если вы не откажетесь. Сейчасъ, сегодня, я не сдѣлаю. Вы должны подумать о томъ, чего просите. Пойдите домой, подумайте. Если и подумавъ не откажетесь—придите завтра, въ это же время. Не придете завтра...

Я поняла, что съ нимъ нельзя спорить. И произнесла только:

— Хорошо, я приду завтра. Конечно, приду! Тутъ нечего размышлять, не о чемъ думать.

— Нѣтъ, есть о чемъ,—сказалъ онъ настойчиво, и всталъ, провожая меня къ дверямъ.—Подумайте, подумайте, дитя мое. И... — прибавилъ онъ вдругъ тише, запирая дверь,—когда будете думать—помолитесь тамъ... кому знаете... Кому хотите.

VII.

— Я не спала почти всю ночь отъ ожиданія, волненія и радости. Старику, когда онъ говорилъ свои послѣднія рѣчи, не вѣрить было почему-то нельзя, я повѣрила безповоротно и только досадовала, что онъ изъ упрямства отложилъ дѣло на цѣлыя сутки. О чемъ думать! Что тутъ сомнѣваться! Мнѣ дается такое исключительное счастье, такая сила—знать! Открывается сокровенная тайна будущаго! Люди всю душу полагаютъ на то, чтобы угадать хоть часть—а я буду знать все! Какой безумецъ отказался бы отъ этого! Я смѣялась надъ совѣтомъ старика—„подумать“, и думала только о томъ, какъ я это узнаю. Онъ мнѣ разскажетъ? Но слова не даютъ всей полноты представленія. Онъ мнѣ покажетъ? Но глазами нельзя видѣть своихъ собственныхъ чувствъ и мыслей. А онъ обѣщалъ дать мнѣ все, все! Я узнаю

моего отца, узнаю, какъ я ему отомщу. Что я ему отомщу—я не сомнѣвалась.

Ночь прошла, длинно тянется день. Я просидѣла весь день дома. Достаточно я „думала“! О другомъ совѣтѣ старика, помолиться кому-нибудь,—я забыла. Я никогда не была особенно религіозна. Да и о чемъ молить, просить, спрашивать, когда я все буду— знать!

Бѣсъ смѣха, хохота овладѣлъ мной. Я цѣлый день безпричинно хохотала, смѣхомъ отвѣчая на всякій вопросъ домашнихъ. Едва смерклось—я надѣла шляпу и ушла бродить по улицамъ. Накрапывалъ мелкій предосенній дождь. Я едва удерживалась отъ смѣха, глядя, какъ шлепали въ грязи бѣдные сѣрые люди, дрожащіе за каждый свой шагъ, каждымъ шагомъ вступая въ неизвѣстное, въ невѣрное, въ темное. Они не знали, что ждетъ ихъ за первымъ поворотомъ. Бѣдные! Жалкіе!

Время шло. Приближался назначенный часъ. И въ назначенный часъ я была у дверей старика.

Онъ отворилъ мнѣ самъ, тотчасъ же. Никого, даже той женщины, служанки, я не видала. Старикъ держалъ въ рукахъ зажженную свѣчу, хотя въ прихожей и въ пріемной горѣли лампы.

— Это вы, дитя мое,—сказалъ старикъ.—Вы пришли. Я такъ и думалъ.

Онъ былъ въ томъ же сѣромъ халатѣ, весь совершенно такой же, какъ наканунѣ, — и весь совершенно другой: онъ трясся, точно отъ захватывающей тайной радости, смѣшанной со злобнымъ испугомъ, почти ужасомъ. Онъ былъ похожъ на трусливую и гадкую старую птицу, сѣрую; — и по-птичьи втягивалъ лысую голову въ широкій воротъ халата. Птица была трусливая, но большая и сильная. Силу я тотчасъ же въ немъ почувствовала—и опять поняла, что онъ меня не обманетъ.

Въ пріемной старикъ, не выпуская изъ рукъ свѣчи, остановился, точно еще больше струсилъ, и сказалъ:

— Вы подумали, дитя мое, вы сами рѣшили... Я совѣтовалъ вамъ подумать. И вы, послѣ свободнаго размышленія, пришли ко мнѣ, неправда ли, съ тѣмъ же требованіемъ, чтобы я...

— Да, да!—вскрикнула я нетерпѣливо. — Вы не будете повторять мнѣ все снова! Это рѣшено!

Его дрожь заражала меня. Я уже не смѣялась и не радовалась. Безпокойство, нехорошее и невнятное, меня захватывало. Я испугалась, что придетъ страхъ. Очень онъ былъ гдѣ-то близко... а страху, казалось бы, не отъ чего явиться.

— Долго вы будете еще мяться!—почти грубо крикнула я.

Старикъ тотчасъ же повернулся и, промолвивъ съ неожиданнымъ спокойствіемъ и строгостью: „идите за мной",—направился къ двери въ углу, которой я раньше не замѣтила. Отворилъ ее и прошелъ.

Я промедлила на порогѣ мгновенье, только одно мгновенье: словно чья-то тихая, ласковая рука попыталась удержать меня; но она отстранилась, внезапный страхъ скользнулъ по мнѣ и исчезъ, точно холодная мышь пробѣжала по тѣлу—и я вошла за старикомъ.

Очень большая—громадная—комната съ низкимъ потолкомъ, и совершенно пустая. Только потолокъ, полъ и очень гладкія, очень бѣлыя стѣны. Даже оконъ я не замѣтила. Въ одну стѣну, впрочемъ, былъ вдѣланъ каминъ, огромный, черный, какъ раскрытый старческій ротъ. На каминъ мой спутникъ поставилъ свѣчу. Я увидала, что за каминомъ, отставленный почти на середину комнаты, стоитъ стулъ, самый простой, деревянный,—и только одинъ.

Мнѣ теперь казалось, что я опять ждала чего-то особеннаго, мягкихъ свѣтовъ, таинственныхъ ковровъ, одуряющихъ куреній, чего-то волшебно-пугающаго, — а странная пустота и бѣлизна комнаты обманули меня, и страхъ, ползающій близко, былъ не тотъ, котораго я, можетъ быть, хотѣла, но нехорошій, невнятный, тупой— и тоскливо-душный, похожій на тусклый свѣтъ свѣчи въ огромной комнатѣ.

— Сядьте, дитя мое, сядьте на стулъ,—сказалъ старичокъ суетливо, все съ той-же злобно-ласковой трусливостью.—Сядьте. Сейчасъ... Сейчасъ...

Я покорно сѣла, — какъ стоялъ стулъ, — спиной къ камину, лицомъ къ сплошной бѣлой стѣнѣ, безконечной, сливающейся и съ потолкомъ, и съ другими бѣлыми стѣнами. Я уже немного оправилась и даже подумала о томъ, что прежде меня занимало. Разсказывать онъ, очевидно, мнѣ не будетъ. Можетъ быть я увижу себя и все на этой бѣлой стѣнѣ.

Но стѣна бѣлѣла гладкая, мертвая.

Старичокъ пересталъ суетиться.

— Дитя мое,—проговорилъ онъ холодно и твердо.— Я долженъ отвѣчать, если... Въ послѣдній разъ: вы хотите...?

— Да. Да, — сказала я. Но сказала уже не думая, что говорю, самъ языкъ сказалъ.

Старикъ вынулъ бѣлый шелковый платокъ изъ кармана халата.

— Хорошо. Хорошо. Пусть исполнится,—заговорилъ онъ быстро. — Сидите спокойно. Ничего. Я только положу вамъ руки на голову. Но самъ я не долженъ видѣть. Мнѣ нельзя. Я не долженъ. Вотъ, я завяжу себѣ глаза.

И онъ дрожащими пальцами стянулъ узелъ платка

на лысой головѣ. Платокъ былъ большой, и концы смѣшно свѣшивались внизъ. Но тотчасъ же старикъ зашелъ сзади стула, и я только слышала его лепетаніе:

— Сейчасъ. Сейчасъ. Вы здѣсь? я опущу руки вамъ на голову. Я опущу — и подниму. И больше ничего... ничего.

Лепетаніе замолкло. Я почувствовала, какъ онъ медленно опускаетъ, вѣроятно сложенныя, руки на мою голову, еще не касаясь ея. Вотъ, коснулся... О, какія тяжелыя! Коснулся, опустилъ, и . . . . . .

И тотчасъ же поднялъ. Между движеніемъ его рукъ внизъ и движеніемъ вверхъ—не прошло никакого времени. Сколько бы мы не уменьшали время—до тысячной, до милліонной секунды—все же это будетъ нѣкоторое время, а тутъ не было никакого. Но лживѣе всего — сказать, что не было ничего. О, ничего! Нѣтъ, все,—не было только времени.

Я встала. Обернула къ старику лицо. Онъ сорвалъ повязку и поглядѣлъ въ мое новое, теперешнее, лицо, близко,—и помню его глаза: жалкіе, жалобные и ненавистническіе, и полные страха смерти. Такими глазами убійца или насильникъ смотритъ на дѣло своихъ рукъ.

Онъ взглянулъ — и отвернулся. Я пошла вонъ, не оглядываясь. Онъ остался.

VIII.

— Вамъ еще не ясно, что было со мною тогда, въ тотъ... промежутокъ, между двумя движеніями его рукъ, когда не было времени. Трудно понять это обыкновенному, счастливому, живому человѣку. Я постараюсь сказать, но если вы чего-нибудь не поймете — замѣните темное мѣсто вѣрой: вамъ это доступно.

Я хотѣла знать мою будущую судьбу, всю мою грядущую земную жизнь такою, какой я ее проживу. Такою, какой я ее почувствую. Всю, до смерти, всякое будущее мгновенье. Для этого нужно было ее прожить. И я ее прожила. Вы должны повѣрить мнѣ, когда я скажу вамъ, что въ тотъ... кусокъ безвременья или вѣчности, между двумя движеніями рукъ старика, я, сама я, которую я не видѣла, а ощущала изнутри (такъ же, какъ теперь я себя не вижу, а ощущаю изнутри)—прожила всѣ свои мгновенья, часы и годы, мнѣ сужденные, продумала всѣ мысли, которыя уже были и еще будутъ, выплакала всѣ слезы, которыя дано мнѣ пролить, утомилась всей работой, переболѣла всѣми болѣзнями моей жизни, слышала всѣ слова, изъ которыхъ многія только еще услышу, узнала все, что узнаю, видѣла все и всѣхъ, кого увижу; надо мной уже совершилось все,—вплоть до послѣдняго вздрагиванія моего тѣла въ послѣднюю минуту, въ послѣдней агоніи...

Графиня Ивонна остановилась. Она была права: я еще не понималъ, я еще не принималъ.

— Вѣрьте,—сказала она черезъ минуту.—Съ вѣрой въ это можно понять, представить себѣ, что это такое и что я теперь такое. Всѣ знаютъ свое прошлое. Я знаю свое будущее совершенно такъ же, какъ всѣ знаютъ прошлое. Я—*помню* свое будущее

— Но, графиня...—пролепеталъ я.—Прошлое мы забываемъ... И развѣ можно все помнить... И вы можете забыть...

— Забываемъ... да, конечно, нельзя все помнить съ одинаковой, ровной живостью. Но это ничего не мѣняетъ. Чуть вы направляете мысль на что-либо изъ прошлаго, оно встаетъ передъ вами съ извѣданной ясностью. Такъ и я, о чемъ бы ни подумала изъ моей

жизни—оно здѣсь, оно уже было. И даже знаю, когда и какой мыслью подумаю. Каждая мысль, каждое движеніе души и тѣла—приходятъ ко мнѣ во *второй* разъ, и я знаю время ихъ прихода. Я прожила двѣ *вторыхъ* жизни, потому что вѣдь и мое первое переживаніе, тогда, въ провалѣ безвременности, было лишь яркимъ, вѣрнымъ отраженіемъ, образомъ именно этой будущей, *второй* жизни, то-есть, было совершенно такимъ же, совершенно, — какъ и она сама, вторая,—жизнь *со знаніемъ*! Другъ мой, вы, человѣкъ, котораго я люблю, котораго я уже любила, котораго я потеряю и теряла,—если не умомъ—то сердцемъ, всей свободой вашего сердца и его счастьемъ,—вы поймите безпримѣрность и бездонность моего горя: я никогда не любила васъ въ первый разъ: опять люблю васъ—и опять во второй! И опять потеряю—только потому, что никогда у меня не было первой любви...

Я не зналъ, понимаю ли я ее. Среди сѣраго, удушливаго и плоскаго ужаса, у меня въ головѣ толкались какія-то отрывочныя мысли, какіе-то вопросы. И я сказалъ съ усиліемъ:

— Графиня... графиня... Но развѣ намъ не дана свободная воля? Вѣдь это древній Рокъ... Это fatum... Я не могу вѣрить, что мы не властны измѣнить нашей судьбы.

— Да, есть свободная воля. И я взяла ее, и всю истратила, сразу... въ тотъ вечеръ у старика. Я измѣнила свою судьбу, свободно пожелавъ *знать*. Судьба измѣнилась, благодаря этому желанію и его исполненію, по моей волѣ. И я узнала ее уже измѣнившуюся (отъ знанія), а той моей судьбы, которая совершилась бы, если бъ я не захотѣла знать—я не знаю. Вѣдь не она меня ждетъ. Ее предсказалъ мнѣ старикъ, въ первый

вечеръ. Она, извнѣ, похожа на мою. Единственная любовь... Только онъ сказалъ: счастливая. А я пережила, переживу несчастную. Но несчастная она опять потому, что я пожелала знать, узнала—и тѣмъ измѣнила все.

— Но если бъ вы захотѣли, графиня,—снова заговорилъ я.—Если бъ вы захотѣли все-таки измѣнить что-нибудь... Умереть раньше вашего часа? Измѣнить, измѣнить...

— Раньше, чѣмъ я захочу,—я знаю, что захочу и что поэтому сдѣлаю. Я знаю, сколько еще разъ придется пережить мнѣ это мучительное желаніе — пойти противъ неотвратимаго, прервать, кончить раньше конца... И знаю, какія мысли и чувства остановятъ меня. Я скажу вамъ ихъ.

Она встала и оперлась рукой на каминъ, вся черная, вся страшная, сама—какъ судьба. Я уже не смотрѣлъ на нее, какъ на человѣка.

— За то, что вольно преступила благостный законъ невѣдѣнія — я оторвана отъ всего человѣческаго; я— одна. Люди живутъ, то-есть желаютъ, вѣрятъ, сомнѣваются, стремятся, радуются, надѣются, разочаровываются, боятся, молятся... Для меня нѣтъ въ жизни ни страха, ни надежды. Мнѣ нечего ожидать, сомнѣваясь, не о чемъ просить. Времени — во времени — для меня нѣтъ. Ничего нѣтъ. Но... только во времени! Только въ жизни! А тамъ? Когда я опять, во второй и послѣдній разъ, переживу муку агоніи и закрою глаза — что будетъ? Видите, тутъ я спрашиваю, потому что тутъ у меня есть все счастье незнанія, вѣры, ожиданія, надежды! Тутъ я становлюсь равна и близка людямъ. Тутъ, надѣясь, я боюсь, — и потому не хочу и не могу пожелать своевольно прервать мѣру наказанія, а хочу исполнить всю. И, можетъ быть... да, *можетъ быть*—я

найду тамъ и отдыхъ, и свою человѣческую силу, и новую, вѣчную свободу...

Она стояла передо мной, обернувшись лицомъ къ огню камина и ко мнѣ. Лицо ея мгновенно—на одно мгновенье,—измѣнилось, я его больше не зналъ: осіянное алыми лучами, молодое, только молодое—и вѣчное, оно было такъ прекрасно, что я съ трепетомъ опустилъ глаза, не смѣя смотрѣть. Когда я ихъ поднялъ—было кончено. Прежняя страшная женщина смотрѣла на меня прежними старыми, пустыми глазами.

И, должно быть, я понялъ ее. Потому что невыразимый ужасъ наполнилъ мою душу, но въ этомъ ужасѣ уже не было того плѣняющаго, притягивающаго и обезволивающаго восторга, который смѣшанъ со страхомъ, когда мы не знаемъ, или не понимаемъ причины страха. Непонятное, неизвѣстное смѣнилось знаніемъ,—ужасъ удесятерился, расширился болью, состраданіемъ, насквозь колющей жалостью,—но восторгъ исчезъ. Онъ остался передъ вѣчно непонятной сущностью не человѣческихъ законовъ, но не передъ ней, не передъ этой женщиной, ибо—если не смыслъ—то сама страшная судьба ея была мнѣ ясна.

Въ ужасѣ отчаянья нѣтъ восторга. Есть тупая тишина. Моя душа наполнилась ужасомъ отчаянья—и тишиной.

Прошли какія-то мгновенья.

Ивонна опять сѣла въ кресло. Угли потухали.

— Я скажу вамъ еще нѣсколько словъ,—произнесла она своимъ глуховатымъ, уставшимъ голосомъ.—Мнѣ тяжело было разсказать вамъ, но такъ лучше, да и нельзя иначе. Двумъ людямъ во всей жизни я должна была разсказать это. Только двоимъ дано было близко подойти къ моей жизни, уловить страшное и тайное

въ моемъ лицѣ, и мучиться этимъ. И я разсказала... одному, потому что любила, другому—потому что ненавидѣла. Если бы вы не узнали—вамъ было бы хуже. Если бъ онъ не узналъ... Да что говорить объ этомъ,—развѣ могла я сдѣлать иначе, чѣмъ сдѣлала. Такъ вотъ, этотъ второй... первый... все равно,—это былъ мой отецъ, графъ де-Сюзоръ. Онъ—вы знаете—примирился съ матерью, взялъ насъ къ себѣ. Меня онъ полюбилъ безумно, какъ умѣлъ любить только онъ, и свою дочь, передъ которой онъ чувствовалъ себя виноватымъ. Во всей его жизни, къ старости, остались живыми лишь два чувства: привязанность ко мнѣ—и страхъ смерти.

Графиня остановилась на мгновеніе, пристально взглянула на меня и продолжала:

— Вы угадываете, это такъ. И это слишкомъ ясно: да, я знаю, знаю свое будущее, и будущее тѣхъ людей, жизнь которыхъ соприкасается съ моей; именно въ точкахъ соприкосновенія и знаю. Вѣдь я знаю слова, которыя услышу отъ нихъ и которыя ими еще не произнесены! Скажемъ—я знаю, что кто-нибудь въ будущемъ долженъ сообщить мнѣ о постигшемъ его только что несчастіи. Я уже знаю объ этомъ несчастіи изъ его будущихъ словъ—которыхъ онъ теперь самъ еще не знаетъ. Но я никогда не говорю, не говорила, не скажу никому ни о чемъ! Никогда! Не нарушу счастья невѣдѣнья, не должна, не могу. И я иду по своему пути, избѣгая соприкосновеній съ людьми. Хорошо, что мой путь пустыненъ. Хорошо, что только двое остановились при взглядѣ на мое лицо. Васъ—мнѣ дано охранить раскрытіемъ правды. Я васъ люблю. Моего отца—убила правда. Я его ненавижу... или ненавидѣла. Его любовь и его проницательность дали ему вѣчныя мученья около меня. Я сказала, что правда убьетъ его. Онъ не повѣ-

рилъ. Тогда я ему сказала все. И... я ему сказала часъ его смерти. Ему, ему одному! Но я и не могла иначе! Вѣдь часъ, когда я сказала, и былъ этимъ часомъ. Я знала о его смерти—онъ умеръ у меня на рукахъ. Любовь, жалость ко мнѣ, вмѣстѣ съ отчаяніемъ,—и страхъ неизбѣжной смерти убили его.

Смерть! Смерть!

Отъ этого слова, которое одно для нея еще звучало надеждой—на меня повѣяло послѣднимъ холодомъ. Что я дѣлаю здѣсь, я, жалкій, раздавленный, невѣдающій—и счастливый, потому что живой? Зачѣмъ я съ этой женщиной? Она меня любитъ... Нѣтъ, нехорошо живому, если его любитъ мертвый. Вѣдь и я любилъ ее... или любилъ бы... о, не знаю, не знаю! Смѣемъ ли мы любить любимаго, когда за нимъ закрыты двери склепа?

Я поднялся, съ трудомъ, какъ тяжело больной.

— Графиня,—произнесъ я.—Я не могу теперь... говорить. Я не знаю, лучше ли, или хуже, что вы мнѣ все разсказали. Но я не лгалъ передъ вами никогда. И какъ только я буду въ силахъ понять свою душу, я вамъ все...

— Вы мнѣ напишете,—отвѣтила она просто, вставая.

Я хотѣлъ спросить: „почему напишу?“ но вспомнилъ, что вѣдь она все знаетъ, она лучше знаетъ; вѣроятно, напишу...

Ноги мои едва двигались, тяжелыя, точно застывшія. У дверей она остановилась, взяла мою голову обѣими руками и поцѣловала меня въ губы.

Я почувствовалъ въ этомъ поцѣлуѣ весь холодъ, всю торжественность, все неразгаданное величіе и вѣчную, грозную плѣнительность—Смерти, соединенной съ Любовью.

И въ несказанномъ трепетѣ благоговѣнія я, какъ

недостойный паломникъ склоняется къ мертвому, но святому, тѣлу,—склонился къ ногамъ женщины и поцѣловалъ край ея одеждъ.

. . . . . .

XI.

— Теперь осталось досказать лишь нѣсколько словъ.

На другой день я получилъ телеграмму, что отецъ мой тяжело боленъ, меня вызывали въ Россію. Я рѣшилъ уѣхать въ ночь. Передъ отъѣздомъ я все-таки успѣлъ написать графинѣ... то, что приблизительно разсказалъ вамъ,—о себѣ, о своей душѣ. Я не могъ ей лгать. Я написалъ, что уѣзжаю, и почему уѣзжаю. Она это знала вчера! Она говорила (я вспомнилъ)—„вы уѣдете...“—Она знала вчера и мою душу, потому что я все написалъ ей сегодня. Вѣдь она уже читала ненаписанное письмо!

Я былъ въ полуснѣ, въ полубреду. Несчастіе—телеграмма иаъ Россіи—была моимъ счастіемъ. Я долженъ былъ уѣхать.

Отецъ мой умеръ. Въ Парижъ я больше не вернулся. Отъ графини я не получилъ отвѣта, — и не ждалъ. Я никогда не видалъ ея больше... Но я никогда не любилъ ни одной женщины. И не только моя любовь—но многое во мнѣ, мои мысли о смерти, мои самыя страшныя, святыя надежды, все, что у человѣка не вмѣщается, не входитъ въ жизнь,—связано у меня съ частой думой—о ней.

Друзья мои! Простите, я измѣнилъ имя, я слишкомъ неискренно-легко началъ разсказъ, который—я безсознательно надѣялся—вы примете за вымыселъ. Но я вижу, что вы почувствовали весь ужасъ его правди-

вости и поняли, какъ срослось съ моей душой это воспоминаніе. Быть можетъ, и вся душа моя выросла изъ этого ужаса и этой боли. Я хотѣлъ бы, чтобы вы поняли... а если не поняли чего-нибудь—то повѣрили; намъ это доступно.

Графиня жива и теперь, многіе изъ васъ слышали ея настоящее имя. Оно очень извѣстно. Графиня живетъ,—она исполнитъ всю мѣру страданія за то, что переступила непереступный законъ невѣдѣнія. Но знанію ея есть благодатный предѣлъ—смерть.

Графиня жива,—я помню о ней всегда. Но я не увижу ее. А если и увижу—то не здѣсь, а тамъ, гдѣ есть милость и прощеніе.

Политовъ умолкъ. Молчали и друзья. Угли гасли, безмолвные, въ каминѣ. Темныя стѣны. Темныя занавѣси. Темная, теплая и тяжкая тишина. Время какъ будто остановилось—такъ безгласно перекатывались темныя волны темнаго Будущаго черезъ недвижный рубежъ Настоящаго,—чтобы превратиться въ уже видимое, вѣдомое Прошлое.

И всѣ точно боялись пошевелиться, боялись отдѣлить явностью Настоящаго—вѣдомое отъ невѣдомаго.

03.

БОСЯКЪ.

I.

Еще поживу здѣсь. Заѣхалъ случайно—и понравилось. Дачное горное мѣсто не изъ очень модныхъ, однако ничего, довольно благоустроенное и, по своему, веселое. Стоятъ два полка мѣстныхъ, самыхъ блестящихъ, у командира домъ просто прелесть, въ кружкѣ лѣтнемъ вечера—одно упоенье! Нравится мнѣ это офицерское веселье, тромбоны военнаго оркестра, „дѣвичьи лица ярче розъ“... Вообще, что можетъ быть пріятнѣе зрѣлища человѣческаго веселья? Чѣмъ бы кто ни тѣшился, лишь бы не плакалъ. Слезы, скука и несчастье возбуждаютъ во мнѣ, какъ во всякомъ нормальномъ человѣкѣ, жалостливую досаду, чуть не возмущеніе. Что надо? Все есть, умѣй только смотрѣть, да веселиться. Эдакая гадость, ныть, терзаться и разстраивать другихъ.

II.

Роща здѣсь прекрасная. Лучше парка. Сосны толстыя, черныя. И не пустынна она—терпѣть не могу одиночества и глухихъ лѣсовъ. Въ рощѣ днемъ—почти все дачное населеніе. У спуска внизъ есть довольно красивое, веселое мѣстечко, двѣ сосны,—сплетенныя вмѣстѣ. Сегодня пошелъ туда помазать, небольшой этюдъ мо-

жетъ выйти недурно—вдругъ слышу голосъ Александры Ивановны, полковницы:

— Баронъ, баронъ! Позволяется прервать ваше вдохновеніе?

Я живу у полковника. Гостиница здѣсь оказалась плоха, долго въ ней не высидѣть; полковника же я встрѣчалъ въ Петербургѣ, жена его, съ натяжками, приходилась мнѣ какъ-то даже родственницей; достойная чета уговорила мена поселиться у нихъ на дачѣ, наверху. Комнаты хорошія, совсѣмъ отдѣльныя, я не раскаиваюсь.

Александра Ивановна, толстая, добродушная тетеха (всегда веселая, за это я ее люблю), подходила ко мнѣ съ какой-то другой дамой, сухой, длинноносой и блѣдной. Очень тонной.

— Баронъ, можно васъ представить...

Я изысканно поклонился генеральшѣ, „матери-командиршѣ“, которую еще не видалъ, хотя съ генераломъ былъ знакомъ.

— Художники не любятъ, когда нарушаютъ ихъ уединенье,—сказала генеральша, чрезвычайно блѣдно улыбаясь.—Не правда ли, баронъ?

— Какой же я художникъ?—сказалъ я искренно. Я—диллетантъ.

Добрѣйшая Александра Ивановна не поняла этого и обидѣлась за меня.

— Диллетантъ! Онъ диллетантъ! Кончилъ академію, на конкурсѣ золотая медаль, посылали за границу...

— Ну что жъ? Я тогда и не поѣхалъ. Почему диллетантъ не можетъ кончить академіи? Развѣ это запрещено? Я, впрочемъ, хотѣлъ только сказать, что живопись не поглощаетъ всей моей жизни и всего моего вниманія... что я вообще противъ спеціализацій...

Александра Ивановна снова перебила меня:

— Ахъ, ma chére, если бы вы знали, какой баронъ чудесный музыкантъ! А какъ танцуетъ!

Я улыбался.

Генеральша, со своей блѣдной улыбкой привычнаго провинціальнаго высокомѣрія, такого жалкаго, сказала мнѣ—очень ласково, однако:

— Я надѣюсь видѣть васъ на нашемъ балу, пятнадцатаго. Это будетъ по деревенски, по лѣтнему, попросту... Дочь моя еще слишкомъ молода... Я надѣюсь... Я буду очень рада...

Ну еще бы! Со мной тебѣ нечего и высокомѣрничать, моя милая. Здѣсь всѣ мнѣ рады. Молодой человѣкъ пріятной наружности, единственный отпрыскъ старинной, извѣстной, даже знаменитой фамиліи, богатый (и очень богатый, что необыкновенно важно), образованный (не такъ важно) даровитый, веселый, съ прекрасными манерами... Это больше, чѣмъ нужно для провинціальнаго общества, для полковой аристократіи въ особенности. Немножко странно и жаль, что молодой человѣкъ нигдѣ не служитъ, но... онъ „свободный художникъ", да и молодъ еще: передъ нимъ всегда дорога. Меня такъ почитаютъ, что врядъ ли даже сплошь всѣ мамаши смѣютъ мечтать обо мнѣ для своихъ дочекъ; по крайней мѣрѣ я до сихъ поръ не очень страдалъ отъ грубой охоты на меня, какъ на жениха. А путешествую я часто, и живу иногда въ провинціи подолгу.

Дамы ушли, я продолжалъ мазать свой этюдъ, прислушиваясь къ молодымъ голосамъ гуляющихъ.

Барышни, вообще, милы; веселы; но въ ихъ весельи чего-то недостаетъ. Вездѣ барышни одинаковы. И въ нашей провинціи, самыя разудалыя и грубыя,—и въ Парижѣ, гдѣ я жилъ какъ-то и встрѣчался съ юными до-

черьми маркизовъ и графинь. Вездѣ большею частью то же: мамаша, папаша, неосмысленныя надежды на что-то глупое, а веселье немножко щенячье, не цѣнное. На всемъ готовенькомъ живетъ. Это и на лицѣ у такихъ барышенъ отражается, и онѣ меня не привлекаютъ, не нравятся мнѣ. Барышни-курсистки (навидался я ихъ въ Петербургѣ)—ужъ куда лучше. То-есть попадаются лучше. Съ зацѣпочкой. Но столько въ нихъ и лишняго, противнаго, негоднаго для женщины, такая увѣренность въ существованіи того, чего у женщины не можетъ и, главное, не должно быть—ума,—что и на курсисткахъ я рѣдкихъ останавливался.

Нѣтъ, кто мнѣ нравится, кто меня влечетъ, кто меня трогаетъ, кто на меня дѣйствуетъ— это гувернанточки. Присматривались ли вы когда-нибудь къ нашимъ русскимъ гувернанточкамъ? Даже некрасивыя, даже подлѣтки—удивительный въ нихъ шармъ иногда бываетъ! Ей скучно—но она хочетъ, чтобъ ей было весело, и увѣрена, что ей было бы весело, еслибъ не вотъ это проклятое ярмо! И она изъ-подъ него ищетъ веселья, высматриваетъ, цѣнитъ міръ и свободу, не разбираетъ средствъ, только бы вырваться; она сумѣетъ съ женской хитростью оправдать себя всегда въ своихъ собственныхъ глазахъ и, можетъ быть, дѣйствительно станетъ потомъ жить нормально, т. е. весело, спокойно-весело, если вырвется.

III.

Меня трогаетъ и толстенькая миссъ Люти, хоть ей ужъ подъ сорокъ. Глаза такіе жадные — и невинные. Фрейленъ Агнеса, громадная, костлявая, безконечно добрая, безконечно веселая и сантиментальная—тоже мила. Я каждый день пропадаю въ рощѣ съ ними и съ ихъ

юными воспитанницами. Мнѣ хотѣлось украдкой поцѣловать Агнесу; честное слово, я сдѣлалъ бы это не безъ удовольствія, хотя у нея пребезобразныя морщины. Но вѣдь это ошибка, что влеченіе къ женщинѣ имѣетъ что-то общее съ чувствомъ красоты. Я думаю, что первое гораздо глубже, по существу острѣе, богаче; впрочемъ и проводить никакихъ параллелей нельзя, слишкомъ двѣ вещи разныя.

Но Агнесу я не поцѣловалъ. Она все-таки ужъ очень незамысловата и сантиментальна.

Да и я не „соблазнитель". Я, по совѣсти, не могу сказать, что такая дѣвочка воистину сумѣла бы взять свободу,—я не освободилъ ни одной, не „соблазнилъ", ей-Богу, ни одной. Я нахожу глупымъ и некрасивымъ бороться дѣйственно противъ людскихъ заблужденій и предразсудковъ, разъ они еще такъ крѣпки. Значитъ не время. Я смотрю, вижу эти заблужденія, сожалѣю о нихъ,—и съ меня довольно. Что я за пророкъ! Очень радъ что не заблуждаюсь самъ, это даетъ мнѣ возможность быть всегда нормальнымъ, т.-е. счастливымъ, убѣжденъ, что современемъ всѣ подойдутъ къ тому же... Вѣдь я не герой, я совершенно какъ всѣ. Но впутываться въ ихъ еще неустроенную, непонятую ими самими жизнь— я не желаю. Все равно, этимъ ничего не докажешь, они внутренно еще не подготовлены.

Милое человѣчество! Вѣдь ты—я! Я говорю о тебѣ съ той же нѣжностью, какъ о себѣ. Я не различаю. Въ самомъ дѣлѣ, когда понемногу всѣ придутъ къ одному ясному, твердому, простому взгляду на міръ — уже не будетъ ни меня, ни того, ни другого,—будетъ одно счастливое человѣчество, какъ бы съ однимъ общимъ тѣломъ.

Но это мечты. Мечтать пріятно, — недолго. Долго

скучно. А потому я рѣдко этимъ занимаюсь. Все вокругъ такъ любопытно, что даже и некогда. Сегодня познакомился съ пріѣзжимъ одесскимъ студентомъ—Вавинымъ. Братъ Антонины Ивановны, Тоси... Не похожъ на нее—и похожъ тѣмъ глупымъ родственнымъ сходствомъ, которое въ большинствѣ случаевъ непріятно.

Тося—воистину прелесть. Она такъ трогаетъ и волнуетъ меня, что я гляжу на нее все время и чувствую, что у меня блаженное выраженіе лица. Когда она приходитъ въ рощу со своей воспитанницей, пятнадцатилѣтней дочерью генерала, и присоединяется къ нашей компаніи (Миссъ Люти живетъ у капитана, Агнеса — у моего полковника), я рѣшительно забываю и Агнесу и Люти, не говоря о подросткахъ, и упиваюсь только этой восхитительной Антониной Ивановной.

Тося почти некрасива. У нея маленькій полный ротъ, немножко надутыя губки, бываютъ такія у дѣтей. Глаза славные, капризные, живые и—„честные". Ужъ эта, что бы ни сдѣлала, всегда подыщетъ себѣ честное оправданіе, безъ него не останется. Въ ней такъ и горитъ жизнь, такъ бы она и побѣжала, закричала, запѣла, съ офицеромъ бы въ рощу удрала--да нельзя. Мало ли почему нельзя? Наконецъ—она гувернантка. Ей поручено воспитаніе юной души. Она честно зарабатываетъ свой хлѣбъ. И думаетъ, навѣрно, что она — холодная гордая, сильная, а несетъ свой крестъ лишь въ надеждѣ на лучшее будущее.

Надежду эту я сегодня узналъ отъ ея брата, второкурсника. Тося знакома со мною, но разговариваетъ мало. Супится. Желаетъ показать мнѣ, что цѣнитъ и любитъ свою скромную долю, гордится ею, а меня, богатаго и „блестящаго" барона, презираетъ со всей моей мишурой. О, какъ трогательно! И морщитъ носикъ,

и строго смотритъ на Зою, странную большую дѣвочку, которая крупнѣе и выше собственной гувернантки. Красивая, должно быть, будетъ. Темно-каріе глаза на свѣжемъ и блѣдномъ лицѣ. Усмѣшка почти взрослой женщины. Вся тяжелая, широкая, красивая—и для меня непривлекательная. Тося, навѣрно, ея боится.

Скуластый студентъ—Вавинъ—разсказалъ мнѣ, что сестра мечтаетъ поѣхать въ Петербургъ на курсы, собираетъ деньги, но Богъ знаетъ, когда это еще удастся, такъ какъ у нихъ мать въ Одессѣ, а онъ зарабатываетъ гроши уроками.

— Это ея горячая мечта. Я ей очень совѣтую. Но когда это будетъ!

Никогда, милая Тося. Много ли скопишь въ гувернанткахъ, хотя и у командира полка? Но вамъ радостно ваше благородство и надежда, и будетъ радостно еще нѣсколько времени...

Братъ со мной не дичится. Студенты меня всегда любили, и тогда, когда я самъ былъ въ университетѣ, и послѣ. Несмотря на мое баронство, на то, что я „собственникъ", и на свое благородство,—Вавинъ говоритъ со мной довѣрчиво. Сказалъ, что уважаетъ во мнѣ художника и то, что я нигдѣ не служу. Вотъ и отлично.

IV

Сегодня мнѣ повезло. Въ рощѣ засталъ Тосю и Зою—больше никого. Зоя тотчасъ же полѣзла внизъ, къ ручью, одна. Гувернантка попыталась протестовать, и надо было слышать, какъ Зоя рѣшительно ей возразила:

— Я вѣдь буду на виду, Антонина Ивановна. Пожалуйста, не безпокойтесь.

Тося осталась со мной одна, на горкѣ. Я началъ осторожный разговоръ. Она даже умна, эта милая дѣвочка,—и такъ хорошо, по-своему, по-женски. Напортилъ ей немного братъ-студентъ, ну да ужъ это какъ водится. Благородства, ущемленной честности, во всей ихъ человѣческой современной условности, конечно, туча. Но женщину это даже краситъ, пока она невинна. Я думаю, что когда условности жизни отпадутъ, женщина изъ неусловности, изъ отсутствія предразсудковъ и глупыхъ человѣческихъ законовъ устроитъ себѣ тоже законъ. Но это отлично. Это кровь женская—не можетъ жить безъ власти надъ ней. Потеряй женщина до тла влеченіе къ рабству—мы потеряемъ наше влеченіе къ ней.

Тося много читала. Съ нею легко говорить обо всемъ. Я терпѣть не могу „развивать", разсказывать, поучать. Отъ многихъ милыхъ дѣвушекъ я уходилъ благодаря тому, что онѣ не знали ничего и требовали отъ меня разсказовъ и объясненій. Тося еще дичится, но какъ я люблю этотъ быстрый взглядъ сбоку, улыбку, которую хотятъ сдержать, розовыя пятна подъ тонкой кожей на щекѣ, обращенной ко мнѣ, ненужное движеніе дрожащей руки, полувнимательную къ разговору мысль, полувнимательную потому, что въ душѣ уже раздвоеніе, и надо посмотрѣть туда, и уже безпокойно и хорошо...

О, волненіе крови,—яркая правда и веселье жизни! Какъ ты прекрасно! Я былъ счастливъ за Тосю, глядя на нее. Безъ меня она бы тутъ такъ и просидѣла одна, неопредѣленно тусклая, не давая себѣ права радоваться, питаясь жалкими мечтами о курсахъ, да еще никогда неисполнимыми!

Влюбится въ меня дѣвочка непремѣнно! И кто знаетъ, можетъ быть и безъ поученій, сама въ концѣ кон-

цовъ пойметъ, что жизнь — превеселая и препростая штука!

V

Студентъ льнетъ ко мнѣ рѣшительно, но все хочетъ говорить объ убѣжденіяхъ.

Сегодня гуляли съ нимъ вечеромъ на плацу. Звѣзды такія невыносимо яркія, Большая Медвѣдица просто сверкаетъ, огненная. Студентъ—ужъ очень примитивенъ; онъ считаетъ сантиментальностью любоваться на звѣзды не съ научной точкой зрѣнія.

— Вы художникъ, вамъ позволительно. А для меня, профана и въ эстетикѣ, и въ астрономіи, ваша Медвѣдица – просто кастрюля съ ручкой.

— Да почему же? И я смотрю на Медвѣдицу вовсе не какъ художникъ только. Я радуюсь, что съ земли видны и звѣзды, земля отъ нихъ богаче, радуюсь за землю.

— Чѣмъ же она богаче? Что это къ ней прибавляетъ?

— Богаче людской радостью. Отнимите у людей звѣзды—люди васъ не поблагодарятъ.

— Не знаю, не знаю... Никому эти звѣзды не помогутъ, никого не утѣшатъ...

— Ну, я не вѣрю, чтобы вы дѣйствительно смотрѣли такъ узко.

Студентъ сконфузился, промолчалъ, потомъ горячо заговорилъ:

— Да вѣдь я же не отрицаю извѣстнаго вліянія эстетики. Знаете, я и въ васъ цѣню и уважаю художника —только не барича. Барича я отрицаю. Мнѣ жалко васъ. Все говорите о жизни, а ея не знаете. Отнять бы у васъ ваши финтифанты, посадить бы васъ на колбасу,

да сапоги бы вамъ дырявые надѣть, да по урокамъ заставить бѣгать—посмотрѣлъ бы я на васъ! Сникли бы, слиняли,—да просто погибли бы отъ безпомощности! Ужъ не до веселья было бы. Вотъ что возмутительно! Вы одинъ, а милліоны живутъ даже безъ колбасы! Объ этомъ вы не думаете.

Я разсмѣялся.

— Вотъ видите, какъ вы несправедливы! И, пожалуй, вы, а не я, не знаете ни жизни, ни людей. Я очень радъ, что у меня есть деньги и все, что мнѣ облегчаетъ жизнь. Но если бъ не было денегъ— взглядъ мой на жизнь нисколько бы не измѣнился.

— Это еще неизвѣстно.

— Очень извѣстно. У меня есть старуха-мать, закоренѣлая такая особа, не столько мать, сколько баронесса. Живетъ въ нашемъ замкѣ, въ Лифляндіи. Фактически состояніе было въ ея рукахъ, хотя она не имѣла на это никакого права. Когда я, окончивъ университетъ, рѣшилъ идти въ академію,—она взбѣсилась, убѣдила себя, что я—негодный сынъ и проходимецъ, прекратила мнѣ всякое содержаніе и даже, кажется, писала какія-то сумасшедшія прошенія о томъ, нельзя-ли меня лишить „славнаго имени". Вотъ я и жилъ около двухъ лѣтъ съ колбасой и безъ колбасы; и, смѣю васъ увѣрить, особенно не тужилъ, не нылъ во всякомъ случаѣ.

— Но вы знали, что въ концѣ концовъ...

— Не думалъ какъ-то объ этомъ. Но, конечно, былъ доволенъ, когда старушка одумалась, торжественно простила меня, и я могъ возвратиться къ старымъ привычкамъ. Я не говорю, чтобы деньги совершенно ничего не отнимали. Но веселье жизни отъ нихъ мало зависитъ.

— У васъ здоровье должно быть хорошее,—угрюмо сказалъ студентъ.

— Ничего. Немножко разстроилось за тѣ два года, но къ легкимъ хроническимъ болѣзнямъ совершенно привыкаешь... Вѣроятно и къ тяжелымъ.

Студентъ помолчалъ.

— Однако вѣдь кругомъ несчастные. Вы говорите, что жалѣете человѣчество. Есть же у насъ по отношенію къ нему обязанности? Что вы для него дѣлаете?

— Я? Ровно ничего. Что за вздоръ, обязанности! Подумаешь, этакъ каждый спаситель. Вы напрасно зовете меня художникомъ, или баричемъ, милый юноша; ужъ зовите лучше мудрецомъ. Мнѣ все пріятно—и ко всему я ровенъ. Беру съ легкостью, безъ надрывовъ; беру съ мелкостью, если хотите,—но до самаго дна, какъ мнѣ кажется. Я не виноватъ, что дно жизни такъ близко. И мнѣ это тоже нравится. Отъ души желалъ бы, чтобы всѣмъ было такъ же хорошо, какъ мнѣ, полагаю, что это вполнѣ достижимо,—ибо я самый обыкновенный человѣкъ,—и вотъ, жду, что это когда-нибудь свершится. Чего же вамъ еще надо?

Студентъ опять замолчалъ, тупо, не зная, что возразить. Потомъ вдругъ повернулся.

— Прощайте.

— Куда вы?

— Не знаю. Отъ васъ. Я ничего не понимаю, но мнѣ противно. И все-таки вы баричъ, аристократъ, собственникъ... Да нѣтъ, вообще что-то мнѣ здѣсь противно.

Меня это раздражило. Дико, но такія слова я слышу не въ первый разъ. Слушаютъ-слушаютъ, ну спорятъ,— а потомъ вдругъ, безъ объясненій: противно! Что можетъ быть противнаго въ моихъ нормальныхъ воззрѣ-

ніяхъ на міръ, скажите пожалуйста? Я, однако, сдержалъ себя и возразилъ холодно:

— Полноте. Это въ васъ міровыя привычки заговорили. Отъ привычки мы очень любимъ свои и чужія страданія, влюблены въ трагедію,—и когда видимъ, что ничего этого нѣтъ, и глубины никакой нѣтъ, а только простое и пріятное веселье, то намъ жаль, мы будируемъ жизнь и цѣпляемся за страданія, чтобы порисоваться. Ребячество, дорогой мой. Честолюбіе, глупый призракъ. И какая же любовь къ человѣчеству, если вы хотите, чтобы было человѣчество, какъ одно, а вы, какъ другое, какъ его спаситель? Ужъ если человѣчество, то и вы вмѣстѣ, и будьте только имъ, впереди нечего шагать!

— Вотъ оно что, вы отрицаете личность!—закричалъ обрадованно студентъ.

— А вы ее утверждаете?

— Конечно!

— Значитъ, отрицаете человѣчество?

— Нисколько!

— Ну, въ такомъ случаѣ—вы утверждаете только одну единственную личность—свою. А какъ же я то могу съ этимъ примириться?

Студентъ замѣтилъ, что я смѣюсь, окончательно разобидѣлся и ушелъ. Ну, авось ненадолго! Въ немъ есть сестринское, его влечетъ ко мнѣ. И мнѣ онъ скорѣе нравится.

VI

Ѣздили въ Зеленый монастырь пикникомъ. Генеральша не ѣздила, но отпустила свою дѣвочку съ Тосей, подъ крылышкомъ полковницы Александры Ивановны. Ѣздили въ шарабанахъ и на дрогахъ. Моложа-

вая капитанша Кострова усѣлась со мною и кокетничала невѣроятно. Спрашивала, почему я не служу, ничего не дѣлаю.

— Да вѣдь я художникъ.

— Конечно... Но все-таки... Ваше имя...

— А вы читали французскіе романы? Ну хоть Поля Бурже, скажемъ, или Жипъ? Развѣ вы не помните, что всѣ герои тамъ ничего не дѣлаютъ? Молодой графъ, молодой маркизъ... Развѣ они служатъ? Ѣздятъ на охоту и, главное, ухаживаютъ за красивыми дамами и дамы ихъ любятъ. Этого не достаточно по вашему?

— Ахъ, во Франціи это иначе. И все-таки они иногда интересуются политикой, выборами...

— Это ужъ честолюбіе. А мое честолюбіе—чтобы нравиться какъ можно большему числу хорошенькихъ женщинъ...

— Вы любите увлекать? Вы такой Донъ-Жуанъ?

И капитанша невѣроятно скосила глаза. Она мнѣ не нравится, и пусть лучше не вѣшается на шею, иначе могу съ ней кончить довольно рѣзко. Въ такихъ случаяхъ я обыкновенно не стѣсняюсь. Вообще я очень разборчивъ на женщинъ, мнѣ рѣдкая нравится. Тутъ, если хотите, моя своеобразность и утонченность. И я воздерженъ. Предпочитаю жить совершенно безъ женщины, нежели брать ту, которая не очень нравится. Въ Петербургѣ у меня въ эти годы было двѣ содержанки. Одна очень дорогая, актриса изъ французскаго театра, и въ ней отчасти была та великолѣпная жизнерадостность, которую я цѣнилъ; у другой былъ ужъ надрывъ, она слишкомъ бурно въ меня влюбилась, главное—ни съ того ни съ сего, чуть не черезъ полгода связи. Я ее поспѣшилъ оставить. Дамъ изъ общества рѣшительно избѣгаю. Совершенно то же самое, что какая-нибудь

Lise Hosse, а ужъ условностей, громкихъ словъ о любви, долгѣ, чести, слезъ и тоски—не оберешься. Нѣтъ, вотъ такая скромная, горячая, еще тоскующая дѣвочка, какъ моя Тося, такая русская гувернанточка, жаждущая жизни, какъ радости, а воображающая, что хочетъ идти на курсы... Розовая, робкая и тоненькая... Бѣдная, бѣдная! Зачѣмъ ей вбили въ голову, что есть „соблазнители", зачѣмъ обрѣзываютъ люди жизнь со всѣхъ сторонъ, называя ея веселье—порокомъ, ея правду—безчестностью, ея легкость—легкомысліемъ? Прелесть ея—въ измѣнчивости, а они напяливаютъ на нее мундиръ вѣчности; выдумали идола—любовь! Точно, если бы дѣйствительно существовала любовь, да еще вѣчная, она не разрушила бы давно, въ корнѣ, всю нашу жизнь, какъ она теперь есть?

Люди зачастую кричатъ, что мои взгляды—безнравственны; я этого не отрицаю. Я неспособенъ различать добро и зло, по совѣсти говорю. Это естественно; вѣдь для того, чтобы умѣть дѣлать такія различія—необходимо вѣрить въ „тайну міра" (какъ они говорятъ). А я, ей Богу, не вѣрю ни въ Бога, ни въ „тайну", ни въ какую, ну даже въ самую маленькую. Она мнѣ просто не нужна, не нужна, поэтому, и „нравственность". Да и кому эти психологическія, праздныя тонкости нужны? Болѣзненность, страхъ смерти...

Я не боюсь смерти, я никогда о ней не думаю, а когда вспоминаю, то мнѣ кажется, что я безсмертенъ, не умру никогда. Вотъ нормальное физіологическое ощущеніе здороваго человѣка. И очень простое.

Капитанша мнѣ надоѣла нестерпимо, и я ушелъ въ лѣсъ, къ самому монастырю. Кажется, туда же отправилась и молодежь. Монастыря больше нѣтъ, однѣ развалины подъ зелеными сѣнями разросшихся орѣшни-

ковъ. Даже неба не видно. Я пошелъ въ стѣны, на удачу. И вдругъ за камнемъ увидалъ Тосю, одну. Я замѣтилъ, что она съ нѣкоторыхъ поръ ищетъ уединенія.

Бѣлая шляпка закрывала волосы и лобъ. Я подошелъ тихо, и зналъ, что она все равно испугается, скажу ли я обыкновенныя слова или просто поцѣлую ее. И я ее поцѣловалъ.

Она не вскрикнула, только поблѣднѣла до прозрачности и взглянула прямо на меня. Я опять поцѣловалъ ее, медленно, беззвучно и жарко, въ щеку, въ уголокъ рта. Мнѣ стоило усилій оторвать губы отъ этой нѣжной, похолодѣвшей вдругъ, кожи. О, дорогія дѣвочки, сами себя не знающія! Меня всегда жжетъ благодатный, острый холодъ этихъ первыхъ прикосновеній къ испуганной, безпомощной, и уже такой обрадованной, такой готовой ко всѣмъ радостямъ тѣла, женщинѣ. Мнѣ отъ того такъ и противно „поучать", доказывать словами, разглагольствовать, говорить о жизни, что не *о*, а самую жизнь, ея радость, можно реально дать, въ одинъ мигъ заставить понять все; если не понять—то почувствовать.

— Какъ же такъ?—сказала шопотомъ растерявшаяся Тося.—Что вы? Боже мой!

Я ничего не отвѣтилъ на ея жалкія, ненужныя слова, обнялъ за плечи и прижалъ къ себѣ ея голову. Поля шляпы примялись, но это ничего, она все-таки не двинется теперь. И надо ей дать успокоиться, не смотрѣть на меня.

Она не двигалась, я только чувствовалъ, какъ она взволнованно дышала и сдерживала дыханье. Потомъ вдругъ сказала шопотомъ:

— Такъ вы меня любите?

Ну еще бы! Именно это она и должна была сказать.

Уже ищетъ себѣ оправданія. Первая полумысль о своей „преступности“.

— Тося, вы милы мнѣ очень. Развѣ вы не чувствуете, какъ я волнуюсь?

— Вы знали, что я васъ тоже люблю?—наивно сказала она.—Я люблю... Но я, кажется, не знала. Давно люблю! Навсегда!

И она вдругъ приподняла голову, взглянула мнѣ прямо въ глаза, насилуя себя, но желая быть непремѣнно „смѣлой“ и „честной“, и опять ища оправданія въ этомъ благородномъ словѣ „навсегда“.

— Вы такой не похожій на всѣхъ,—продолжала она, торопясь.—Вы такой свободный, и все понимаете, я вѣрю вамъ, вы такой...

Ей хотѣлось и хвалить меня и оправдывать себя. Я молча опять поцѣловалъ ее, уже въ губы, и она на секунду забыла всѣ надоѣдливыя мысли.

Но вблизи гдѣ-то раздались голоса барышенъ, и я сказалъ:

— Тося, я живу у полковника, но вы знаете, гдѣ моя мастерская? Въ пустой дачѣ, за садомъ. Можете придти туда завтра вечеромъ? Скажите, что идете къ брату. Вѣдь онъ живетъ рядомъ.

— Не могу...—сказала она тихо.

— Отчего? Мнѣ надо съ вами поговорить.

— Я знаю... Но не могу.

— Пустяки. Вѣдь вы часто вечеромъ бываете у брата.

— Нѣтъ, право... Нѣтъ, Боже мой... Не могу я...

— Я думалъ, Тося, что вы стоите выше предразсудковъ,—сказалъ я съ нарочной обидой въ голосѣ.— И неужели вы не вѣрите мнѣ? Даю вамъ слово, я не „соблазнитель“... Какъ вамъ не стыдно...

Она вспыхнула, неровно и красиво (вообще она вдругъ необыкновенно похорошѣла), обняла меня—неумѣлымъ, безконечно милымъ и опять, какъ она думала, „смѣлымъ“ жестомъ и сказала:

— Нѣтъ, нѣтъ... Это я такъ... Простите меня... Сама не знаю отчего. Конечно, я приду. Вѣдь вы же меня любите,—и я знаю васъ.

Опять ничего не возразилъ. Такъ и должно быть. Да и некогда было возражать. Голоса въ лѣсу приблизились. Взглянувъ на розовое лицо Тоси, странное какъ у только что проснувшагося человѣка, я разсудилъ, что будетъ лучше не показывать ее такою „юнымъ душамъ“ и зоркимъ тетушкамъ, и быстро увлекъ дѣвочку въ другую сторону, въ чащу.

— Побудьте здѣсь одна, радость моя. Обойдите кругомъ, тогда вернитесь. А я уйду.

И я ушелъ, и скоро присоединился къ миссъ Люти, Агнесѣ и барышнямъ. Мнѣ показалось, что каріе глаза генеральшиной Зои взглянули на меня подозрительно и угрюмо. Какой странный подростокъ! Я принялся говорить съ ней о какихъ-то пустякахъ, она молчала, потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, засмѣялась.

— Вы ужасно смѣшной, баронъ! Ужасно смѣшной. Говорите со мною, какъ съ незнакомой маленькой дѣвочкой. А я о васъ давно знаю.

Мнѣ стало досадно.

— О чемъ знаете?

— Васъ знаю. Мнѣ братъ о васъ писалъ.

— Какой братъ?

— Мой, студентъ. Вы думаете, у одной нашей Антонины Ивановны братъ-студентъ? Только мой московскій. И мы съ нимъ такіе пріятели, такіе пріятели...

Я взглянулъ на дѣвочку пристальнѣе.

— Мой братъ—не Вавинъ,—продолжала Зоя,—Вавинъ—такая грубая банальность! Арсеній меня удовлетворяетъ. Когда онъ пріѣзжаетъ—мы не разстаемся. Теперь онъ за границей. Мы все время переписываемся.

— А ваши родители знаютъ объ этомъ?

— Почему же мои родители будутъ противъ дружбы съ братомъ? Надѣюсь, онъ имѣетъ право мнѣ писать, что хочетъ.

Я понялъ, что вопросъ мой вышелъ глупъ.

Но еще разъ пристальнѣе взглянулъ на эту крупную, обѣщающую быть такой красивой, дѣвочку. Короткое платье къ ней уже не шло. Каріе глаза ея, подъ тяжеловатыми вѣками, смотрѣли умно и своевольно. Я не люблю ея глазъ. И вообще Зоя мнѣ не нравится; я чувствую къ ней какое-то непріятное любопытство.

— Что же вамъ писалъ братъ обо мнѣ? Откуда онъ меня знаетъ?

— Не скажу теперь. Ужъ Агнеса прислушивается. А я не хочу. Тутъ все-таки тайна. Агнеса въ васъ влюблена, вы знаете?

Она засмѣялась.

— Ну что жъ. И я въ нее влюбленъ.

— Неужели? Смотрите, не говорите ей этого! Никогда никому не говорите, что влюблены! Такъ лучше.

— Почему лучше? Это вашъ братъ находитъ? Почему я не долженъ говорить?

— Знаете что? Скоро нашъ балъ. Пригласите меня на котильонъ. Вотъ я вамъ разскажу! Или вы ужъ пригласили кого-нибудь?

— Нѣтъ, я какъ разъ думалъ о хозяйкѣ...

— Ну и отлично! А теперь прощайте! Вонъ идетъ моя мечтательная Антонина Ивановна! Вы знаете, я съ ней не схожусь въ убѣжденіяхъ...

Увидѣвъ издали Тосю—я, слава Богу, забылъ всѣ выходки Зои и всю Зою цѣликомъ; пріятное, знакомое, острое волненіе охватило меня. Я вспомнилъ робкое, горячее тѣло, которое прижималось ко мнѣ. Около уха у Тоси родинка. Трогательная и волнующая, какъ ея робость, ея гувернантство. Нѣтъ, смѣлыя и свободныя женщины мнѣ противны. Женщина *свободно* должна только принимать,—все, что мы ей даемъ. Безъ суда, безъ мысли, безъ голоса. Насъ влечетъ только къ такимъ, какъ Тося, милымъ, робкимъ и жаднымъ.

VII

Тося была у меня. Она такъ на меня дѣйствуетъ со своими нѣжными, испуганными губами, со своей жадной невинностью, и даже со своей „любовью" ко мнѣ, о которой считаетъ долгомъ твердить, что я невольно пожалѣлъ, что я не „соблазнитель". Какая глупость, въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ, какая глупость! Отрекаться отъ величайшей радости жизни, самой пронизывающей, ясной и острой, ради... да я даже не знаю, ради чего. Ради идіотскихъ заблужденій другихъ людей, которымъ до вашихъ радостей нѣтъ никакого дѣла. Они заняты отреченіемъ отъ своихъ, или ихъ оправданіемъ. Чортъ знаетъ, что такое! Но я вѣренъ своимъ взглядамъ; вотъ если бы женщина ихъ принимала—другое дѣло; тогда и не было бы „соблазна"; а именно „соблазнъ" всякій мнѣ противенъ; соблазнилъ, убѣдилъ, научилъ... Нѣтъ, каждый за себя, тогда и радость полна.

Конечно, я могъ бы жениться на Тосѣ; „соблазна", съ общей точки зрѣнія, тогда не было бы, и ужъ, конечно, не проклятія старой баронессы испугали бы меня. Но мои взгляды на жизнь не позволяютъ мнѣ отно-

ситься и къ браку съ непослѣдовательностью. Наконецъ, это средство, лживое и глупое, годится лишь на одинъ разъ. Когда искренняя моя радость, волненіе и свѣтъ будутъ лежать не въ этой, а слѣдующей Тосѣ—какъ я на ней женюсь? Да и противна ложь, придется что-то обѣщать, говорить о „любви", которой нѣтъ и не можетъ быть нигдѣ... Ложь безъ самообмана—недопустима совершенно.

А Тося, кажется, убѣждена, что я на ней женюсь. Она считаетъ, что я безъ „предразсудковъ" и потому именно и женюсь на гувернанткѣ. Ей и трудно думать иначе. Мое искреннее влеченіе къ ней она чувствуетъ, и что „соблазнить" ее я не хочу—вѣритъ. Мечтаній о курсахъ она не оставила. Да еще бы! Она утопилась бы отъ отчаянія и самопрезрѣнія, еели бы узнала правду, т.-е. что ей главнымъ образомъ, или даже единственнымъ, нужны мои поцѣлуи, моя близость, ея собственное волненіе и желаніе, что нужна жизнь и просто себѣ ея естественныя, мгновенныя, ясныя и справедливыя радости. Нѣтъ, радостей (даже законныхъ!) она все-таки стыдится. Ихъ нужно оправдать влеченіемъ къ развитію духа, любовью къ наукѣ, знанію, къ „высшимъ" интересамъ... И не разберешь, что это: самолюбіе странное, или такъ, еще тупоуміе наслѣдственности? Меня интересуетъ все, что даетъ веселье. Я недурной художникъ, я люблю музыку, я увлекался химіей, я не исключительно женолюбъ; но мнѣ дико, что люди до сихъ поръ одну радость считаютъ высшей, другую низшей, ищутъ оправданій, мучаются... И еще женщинамъ это внушили! Все одинаково наше, и каждый правъ, кто умѣетъ что-нибудь взять.

VIII

Вавинъ на меня дуется. Вотъ еще будетъ возня! Съ его „честными“ убѣжденіями онъ рѣшительно способенъ натворить кучу нелѣпостей. А Тося сіяетъ, думая, что выходитъ за меня замужъ,—пожалуй, выболтаетъ ему лишнее. Надо будетъ ее предупредить. Уѣзжать, однако, не имѣетъ смысла. Дѣвочка мнѣ очень нравится, надо этимъ дорожить. Посмотримъ, не придумаемъ ли чего-нибудь.

En attendant—я веселюсь напропалую. Пикники, вечера въ собраніи, офицеры затащили меня на охоту... Очень люблю офицеровъ. Самые незамысловатые люди, особенно провинціальные. Ябываю въ офицерскихъ кружкахъ и въ Петербургѣ, среди „золотой молодежи“; люблю ихъ и тамъ, но здѣсь они лучше. Тамъ у многихъ скоро является надрывъ, пресыщеніе, глупая тоска, разстройство здоровья—и, наконецъ, туповатое успокоеніе; да и честолюбія тамъ какъ-то больше, виднѣе оно. Здѣшніе проще, умѣреннѣе, а потому и жизнерадостнѣе. Нормальный темпъ жизни не слѣдуетъ ускорять, онъ вполнѣ хорошъ и такъ.

Однако, мужъ кокетливой капитанши, Костровъ, напился и сталъ приставать ко мнѣ съ какой-то философіей, видимо гордясь этимъ. Нѣтъ ужъ, пожалуй, веселая капитанша лучше.

IX

Сегодня студентъ Вавинъ днемъ опять меня одолѣлъ. Началъ спрашивать, что я думаю о бракѣ. Я, было, испугался, но онъ прибавилъ, что его это занимаетъ потому, что онъ влюбленъ въ „чудную“ дѣвушку въ Одессѣ, которая теперь уѣхала на медицинскіе курсы,

а когда оба кончатъ, она курсы, онъ университетъ,- они соединятся для общей работы.

— Для общей работы вы женитесь? Да вы вѣдь влюблены?

— Ну да, и потому тоже... Кажется, ясно.

— Кажется, неясно.

— А мнѣ, знаете, противно, когда... это въ бракѣ выставляется на первый планъ. Теперь пошло, особенно въ литературѣ. Розановъ, напримѣръ... Святость пола, святость полообщенія, размазываетъ-размазываетъ. Противно читать. Всякій самъ знаетъ.

— Положимъ, ничего не знаетъ. Я не поклонникъ Розанова, но совсѣмъ по другимъ причинамъ.

— По какимъ же?

— Я думаю, что онъ совершенно напрасно подыскиваетъ оправданія тому, что не нуждается ни въ какихъ оправданіяхъ. Причемъ тутъ святость, религія, Богъ, мистическія глубины, намеки на то, чего не вѣдаетъ никто? Это... ну, бракъ, что ли, разъ ужъ мы говоримъ о немъ... это такая простая, сильная, явная радость человѣческая, что въ силѣ ея—ея правда. Никакой святости нѣтъ, да и не нужно. Только запутываетъ.

— Позвольте,—загорячился студентъ.—Человѣкъ не животное.

— Конечно, не совсѣмъ: его природа богаче, у него шире можетъ быть наслажденіе, тоньше, острѣе. Такъ что-жъ? Тѣмъ лучше.

— Нѣтъ, это какая-то животная теорія! А самооцѣнка? Духовные запросы?

Безъ конца тянулся плоскій разговоръ. Вавинъ никакъ не можетъ объяснить, противъ чего онъ протестуетъ, и потому злится. Я спокоенъ, да и слова у меня всѣ уже подобраны. Рыжая борода Вавина (она у него

довольно окладистая) тряслась отъ негодованія. Негодованія на что же? Или на кого? На меня? На Розанова? Какія разнообразныя у людей извращенія природы! И вѣдь то досадно, что это порождаетъ подлинныя—и совершенно лишнія страданія.

X

Моя Тося меня околдовала. Хожу отъ свиданія до свиданія умиленный, взволнованный и трепетный. Что красота въ женщинѣ! Въ тысячный разъ убѣждаюсь, что наслажденіе красотой—нѣчто совершенно другое, иная область. Тося прямо дурнушка. Но ея родинка около уха, ея дрожащія губы, когда она ждетъ и боится поцѣлуя, ея взоръ на меня исподлобья, дѣтскій, и ненавистническій, и призывающій, ея наивная вѣра въ какую-то вѣчную любовь, которая многое для нея оправдываетъ (остальное оправдаютъ курсы и „духовные запросы“)—все это вмѣстѣ дѣлаетъ меня блаженнымъ и веселымъ, какъ... право не знаю, какъ кто; безъ сравненія.

Въ моей „мастерской“, въ пустой дачѣ за садомъ, нѣтъ никакого „гнѣздышка“; все просто и строго: деревянные стулья, большой столъ; комната прямо съ балкона. Я думаю, Тося была бы менѣе довѣрчива, еслибъ я ей устраивалъ романтическую обстановку. Да и мнѣ это какъ-то непріятно, эти душевные соблазны. Самъ я къ такимъ вещамъ глубоко равнодушенъ. То-есть онѣ ничего не прибавляютъ къ моей радости, если она не подлинная, а при подлинной не нужны.

Мы сидимъ и... мало говоримъ. То-есть я... мало говорю. Я до сихъ поръ не успѣлъ ей сказать серьезно, что я на ней не женюсь. А сказать надо. Кое-что она все-таки способна понять.

XI

Балъ у командира. Ночь выдалась чудесная, теплая, темная, бархатная. На освѣщенномъ плацу, передъ домомъ командира, играла музыка. Но танцовали въ домѣ, громадныя окна залы были отворены настежь. Генеральша великолѣпна, хотя „вѣдь это только деревенскій праздникъ"... генералъ нервенъ, какъ всегда: онъ мнѣ этимъ не нравится. Я рѣшилъ доставить удовольствіе всѣмъ барышнямъ, и всякое, какое могу. Танцовалъ до сердцебіенія и по нѣскольку разъ съ самыми невидными, съ тѣми, которыя вспыхиваютъ отъ восхищенія, когда къ нимъ подходишь. Съ Тосей почти не говорилъ. Мы объ этомъ съ нею условились. Да она и теряетъ очень въ большомъ обществѣ. Некрасивая, незамѣтная какъ-то ужъ нарочито скромная,—точно ни на минуту, не забываетъ, что она, въ сущности, только гувернантка. Я замѣтилъ этотъ взоръ гувернантки изъ угла, когда проходилъ мимо. Мнѣ онъ нравится, я понимаю все, что онъ обѣщаетъ... Но ей самой навѣрно было тоскливо.

Зоя—прямо хороша въ своемъ бѣломъ, почти длинномъ платьѣ. Нельзя понять сразу, очень ли оно къ ней идетъ, или очень нейдетъ. Блѣдная, свѣжая, черноволосая, широкая, сильная,—и эти воздушныя оборки точно взбитые бѣлки... Нѣтъ, красиво. Вотъ тутъ воистину чувство красоты, потому что она на меня, какъ *женщина,* совсѣмъ не дѣйствуетъ. Если дѣйствуетъ, то иначе... Я не знаю даже, говорить-ли объ этомъ? Странный, странный подростокъ... Большая будетъ, красивая... Нѣтъ, Богъ съ ней.

Когда начался котильонъ, Зоя, поблескивая карими глазами, спросила меня:

— Ну, что же, вы вспоминали нашъ разговоръ?

— Помню. Вы хотѣли мнѣ сказать о братѣ...

— Да. Мнѣ только странно... Вы его не замѣтили?

— Гдѣ? Я его не знаю.

— А онъ васъ знаетъ. Припомните. Прошлой зимой, въ Москвѣ... Не приходитъ въ голову? Въ кружкѣ „Дѣвы“...

Признаюсь, мнѣ совершенно не приходилъ въ голову „Кружокъ дѣвы“. Это маленькое общество молодыхъ московскихъ поэтовъ, самыхъ новѣйшихъ, которые обижаются, если ихъ называютъ декадентами. Есть между ними любопытные, я бывалъ у нихъ одно время часто, съ нѣкоторыми даже сдружился, но потомъ они мнѣ какъ-то надоѣли. Подъ видомъ веселья — неестественныя потуги глубокомыслія, осложненія, туманности и— вѣдь опять уныніе въ концѣ концовъ! А молодость особенно досадно видѣть унылой, напряженной и страдающей. Что-то специфически-русское, къ несчастію. Въ Парижѣ такіе кружки все-таки веселѣе, естественнѣе.

Но меньше всего я ожидалъ отъ дочки командира упоминанія объ этомъ кружкѣ. Она это замѣтила.

— Вы удивлены? Но Арсеній, братъ мой, тоже поэтъ. Знаете, онъ ушелъ изъ корпуса въ гимназію и рѣшилъ поступить въ университетъ. Въ Москвѣ ему очень нравится. Онъ такой особенный, Арсеній. Онъ видитъ... многое видитъ...—она неопредѣленно помахала рукой.— Мы говоримъ обо всемъ...

— И обо мнѣ?

— Нѣтъ, о васъ онъ мнѣ писалъ недавно. Когда узналъ отъ меня, что вы здѣсь. Онъ васъ видѣлъ и слышалъ въ кружкѣ; вы тогда говорили, а онъ молчалъ.

Я вспомнилъ, что были тамъ какіе-то молчаливые

студенты, и что, дѣйствительно, я одинъ разъ съ кѣмъ-то въ кружкѣ очень много спорилъ; обыкновенно я молчу и слушаю.

— Что же братъ вынесъ изъ моихъ словъ? — спросилъ я Зою.

— Онъ мнѣ длинно писалъ, что вы говорили. Приблизительно, конечно. А выводъ онъ сдѣлалъ тотъ, что вы... босякъ.

— Вотъ тебѣ на! Почему же я босякъ?

— Сейчасъ... Намъ танцовать... Сейчасъ скажу...

Когда мы вернулись на мѣсто, запыхавшаяся Зоя продолжала:

— Ну вотъ, босякъ, какіе бываютъ босяки. Только внутренній. Вамъ ничего не надо, вамъ хорошо и безъ ничего. Такъ Арсеній пишетъ.

— Мнѣ очень много надо, милая Зоя,—все. Только я все имѣю.

— Ну вотъ, ну вотъ, босяки и думаютъ, что все имѣютъ, что имъ надо. Вы обидѣлись?

— Нисколько. Я отъ души желалъ бы вамъ и вашему брату знать, что у васъ есть все вамъ нужное.

— Нѣтъ, этого нельзя,—сказала Зоя серьезно, и наклонила головку на бокъ.—Мы этого не хотимъ.

— То-есть не хотите имѣть то, чего хотите?

— Ну да, хотѣть можно только того, что не исполняется. Нужно хотѣть тайны.

Я невольно улыбнулся.

— Я и не подозрѣвалъ, что вы декадентка, Зоя... Скажите пожалуйста! А все-таки хотѣлъ бы я посмотрѣть, какъ, когда вы влюбитесь и захотите выйти замужъ—вы не захотите выйти замужъ...

— Я не декадентка, и замужъ не выйду! — вдругъ вспыхнула Зоя. — Перестаньте говорить банальности.

Нельзя мстить банальностями за высказанное мнѣніе. И это мнѣніе брата, что вы босякъ, а не мое! И наконецъ это мнѣ все равно, не безпокойтесь!

— Я нисколько не безпокоюсь. Но все-таки отчего же вы замужъ не выйдете?

— Оттого, что я хочу вѣчно быть влюблена въ того, въ кого буду влюблена. А для этого мнѣ надо не знать, любитъ онъ меня, или нѣтъ.

— Нѣтъ, вы не декадентка. Это просто романтизмъ, —сказалъ я, снисходительно улыбаясь.

Зоя прищурила глаза.

— Послушайте, я не умѣю говорить, я дѣвочка, я говорю только съ братомъ, но все-таки я понимаю, и вижу, и знаю больше, чѣмъ вы думаете. Скажите, какъ по вашему, когда человѣкъ влюбленъ, это радость?

— Радость,—согласился я.

— А потомъ, когда ужъ объяснились, вышли тамъ замужъ,—пожили,—ужъ этой радости, такой, нѣтъ?

Долженъ былъ согласиться, что нѣтъ.

— Видите! А это особенная радость... Мистическая,— прибавила она важно, подумавъ.—Такъ ее и надо хранить. Когда вы влюбитесь—смотрите, никогда не объясняйтесь, никогда! И если хотите, чтобы васъ... мистически любили, вы никогда не говорите той, что любите! Но и не говорите, что навѣрно *не* любите. Боже сохрани! Это тоже убиваетъ любовь, это еще хуже... Нѣтъ, пусть она всегда то вѣритъ, то сомнѣвается... Понимаете?

Я въ досадномъ изумленіи глядѣлъ на хорошенькую, окончательно извращенную и сбитую съ толку, дѣвочку. И странно, странно: вѣдь я отлично понималъ, что это новые „мистическіе“ предразсудки, которые, пожалуй, похуже добрыхъ старыхъ, отлично видѣлъ ребячливую

неумѣлость ея нелѣпыхъ словъ; а между тѣмъ (признаюсь съ отвращеніемъ) мое непріятное чувство отъ этихъ словъ и отъ близости этого неяснаго существа,— крупной, сильной дѣвочки съ карими глазами, — выростало въ неопредѣлимый страхъ. Я никогда ничего не боялся; я всегда отдавалъ себѣ во всемъ отчетъ; тѣмъ болѣе противно было это гнусное навожденіе.

— Можетъ быть и выйду замужъ,—вдругъ сказала Зоя со внезапными слезами въ голосѣ,—но это потому, что я глупая и гадкая! Вотъ Арсеній не женится. А вы ничего, рѣшительно ничего не понимаете! Это страшно —такъ ничего не понимать, какъ вы!

Я сдѣлалъ надъ собой усиліе, взглянулъ на нее и съ усмѣшкой сказалъ:

— Обѣщаю торжественно никогда не объясняться вамъ въ любви. Тѣмъ болѣе, что никогда и не влюблюсь въ васъ. Ваша „мистика“ нисколько мнѣ не нравится.

Зоя вдругъ поблѣднѣла, какъ большая. И сказала тихо и строго:

— Какъ это грубо. Какъ это унизительно для васъ. Вѣдь я васъ просила... „Нѣтъ“— никогда, никогда не надо говорить...

„Ахъ, такъ вотъ что“... подумалъ я... Но тупой страхъ мой все-таки не проходилъ. Точно спасаясь отъ врага (это глупая-то дѣвчонка — мой врагъ!), я обвелъ глазами комнату, нашелъ милую склоненную головку Тоси съ фуксіей въ негустыхъ волосахъ и почувствовалъ свою привычную, ясную радость тѣла. Это, наконецъ, успокоило меня и я почти весело произнесъ, измѣняя тонъ:

— Зоя! Да что вы? Развѣ нельзя пошутить? Сами же обидѣли меня, назвали босякомъ. Стоитъ ли танцо-

вать котильонъ и ссориться? И какъ знать, кто въ кого влюбленъ? Развѣ объ этомъ говорятъ искренно за котильономъ?

Зоя улыбнулась и взглянула на меня.

— Правда? Вы шутили?— сказала она совсѣмъ по-дѣтски.—Вы не думаете серьезно, что... никто никогда въ меня не влюбится? Я вѣдь не знаю... И мнѣ было бы это очень непріятно. Подумайте!

Наивное лукавство дѣвочки даже забавило меня, и я отвлекся отъ досадныхъ мыслей. Мы продолжали болтать, почти не танцуя больше. Въ концѣ, передъ самымъ ужиномъ, она взглянула на меня лукаво и неожиданно проговорила:

— А знаете, я скоро уѣду къ тетѣ, въ Москву. Тамъ буду держать экзаменъ при университетѣ. Папа хочетъ, чтобы у меня былъ гимназическій дипломъ, а въ нашемъ городѣ при гимназіи мнѣ неудобно. Наша Антонина Ивановна въ Одессу уѣдетъ... Я слишкомъ велика для гувернантки...

Не дождавшись отвѣта, она прибавила:

— Вамъ будетъ жаль Антонину Ивановну? Или вы ужъ ей объяснились въ любви?

Я понялъ изъ этого, что начинаются какія-то смутныя внутреннія домашнія трагедіи, что кто-то о чемъ-то по своему догадывается, и что мнѣ надо ожидать скорыхъ развязокъ.

— Полноте, Зоя,—сказалъ я безпечно.—Пойдемте-ка ужинать. Объясняться въ любви кому бы то ни было вы же сами мнѣ запретили. А ваша тетя вѣдь Граневская? Я ее знаю, какъ-то даже бывалъ у нея. Можно пріѣхать, когда вы тамъ будете? Или васъ не станутъ показывать?

Ну ужъ, конечно, я не поѣду къ Граневской. Рѣдко

кто-нибудь... даже никогда никто не былъ мнѣ такъ необъяснимо, такъ таинственно (сказалъ бы я, еслибъ вѣрилъ въ таинственность) противенъ, какъ эта дѣвочка. Я думаю, это просто идіосинкразія. Бываютъ же такія глупости!

XII

Въ моей мастерской холодновато, на дворѣ дождь, Тося сидитъ у темнаго окна и плачетъ.

Слезы, въ особенности женскія, на меня никакъ не дѣйствуютъ. Я примиряюсь съ неизбѣжнымъ и терпѣливо жду, когда это кончится. Молчу. Переждать всего разумнѣе.

Тося не останется у генерала, ей объ этомъ уже намекнули. Серьезныхъ сплетенъ о ней и обо мнѣ до сихъ поръ, кажется, еще не было (признаюсь, это меня удивляло, въ такомъ крошечномъ мѣстечкѣ!), но коечто носится въ воздухѣ, со мною стали холоднѣе. Положимъ, и я сдѣлался домосѣдомъ. Но надо же это какъ-нибудь кончить! Мнѣ было жаль себя и своего чувства къ этой прелестной дѣвушкѣ; я рѣдко испытывалъ такое сильное влеченіе. И все-таки тянуть дѣло попрежнему было глупо.

— Ты меня не любишь, не любишь, вотъ что меня убиваетъ,—сказала опять Тося и утерла глаза.— Или я тебя не понимаю. Ты пользуешься тѣмъ, что я отдала тебѣ мою гордость, что я тебя полюбила беззавѣтно... Я знаю, что должна уйти, не обернувшись, не взглянувъ на тебя, послѣ твоихъ словъ... И я уйду. Но вотъ я еще остаюсь, еще спрашиваю тебя, почему? За что? Мнѣ стыдно, мучительно,— и одно оправданіе, что я люблю тебя...

— Тося, вѣдь мы уже говорили объ этомъ. Ты хо-

чешь, чтобы я обманывалъ тебя. Какъ я знаю, будешь ты мнѣ мила всю жизнь, или нѣтъ?

— А я вѣдь знаю? Знаю?

— И ты не знаешь. Но ты хочешь обманывать себя, а я не могу. Въ бракъ вступаютъ люди, оба себя обманывающіе.

— И пусть! И это хорошо. Тогда и есть любовь, когда они обрекаютъ себя на неразрывность, потому что вѣрятъ, что она будетъ, внутренняя тоже! Такъ и надо!

— Да вѣдь я не могу вѣрить, Тося. А ты изъ-за чего борешься? Не изъ-за предразсудка-ли? Я ни въ чемъ не убѣждаю. Но почему тебѣ важно вѣнчаться? Не странно ли это?

— Нѣтъ, нѣтъ... Мнѣ важно, что ты не хочешь вѣнчаться... Да, важно... Только не потому... А потому что ты, значитъ...

Она остановилась, стараясь сдержать слезы.

— Что ты, какъ говоришь, не вѣришь вотъ въ эту неразрывность... вѣчность... и значитъ и сейчасъ... тоже не любишь. Потому что кто любитъ — тотъ вѣритъ... Тотъ непремѣнно вѣритъ... Вотъ какъ я...

— Тося, дѣточка моя...

Я подошелъ и обнялъ ее. Я хотѣлъ сказать ей еще что-то, простое, утѣшительное, потому что она запуталась, не знала, что ей дѣлать, что думать, и дѣйствительно, мучилась. Но въ эту минуту на балконѣ послышался какой-то топотъ, незапертая дверь распахнулась и влетѣлъ студентъ Вавинъ, грязный, мокрый и неестественный.

— Братъ! — вскрикнула Тося немножко театрально и закрыла лицо руками.

Я отошелъ и сѣлъ къ столу.

Тося здѣсь?—крикнулъ Вавинъ.

— Да вѣдь вы же видите, что здѣсь.

Онъ закричалъ совсѣмъ нелѣпо:

— Значитъ, это правда? Правда? О, проклятіе! Вы соблазнили мою сестру? Бѣдную дѣвушку? Такъ я вамъ долженъ сказать, что вы негодяй, милостивый государь, вотъ кто вы!

— Братъ, ты не смѣешь въ моемъ присутствіи оскорблять человѣка, котораго я люблю! Не смѣешь!— взвизгнула Тося и кинулась къ Вавину.

Но студентъ и не думалъ продолжать свои „оскорбленія". Онъ вдругъ повалился на стулъ и безсильно, слюняво зарыдалъ, неразборчиво повторяя:

— А я такъ любилъ... И вотъ... Какой ужасъ...

Я принесъ ему воды изъ другой комнаты и, когда онъ немного успокоился, сказалъ ласково:

— Перестаньте, дружокъ, никакого ужаса нѣтъ. Я вашу сестру и не думалъ соблазнять. Она неприкосновенна. Спросите ее сами, она здѣсь.

Онъ выпилъ воды, поворочалъ глазами.

— Однако она у васъ. На свиданьи. И любитъ васъ...

— Ну, такъ что жъ?

— Она ваша невѣста?

— Нѣтъ, я не могу жениться ни на комъ.

— Вы женаты?

— Да нѣтъ, у меня извѣстные взгляды на бракъ. Это долго объяснять. Но это мои убѣжденія. Не будете же вы требовать, чтобы человѣкъ измѣнялъ своимъ убѣжденіямъ?

Онъ опять помолчалъ.

— Но въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же она еще здѣсь? И зачѣмъ вы ее увлекали? Зачѣмъ вы ее компрометтируете? Вы отняли у нея доброе имя, заработокъ, всякую надежду устроить свою жизнь разумно, ѣхать учиться...

— Послушайте, дорогой мой, не преувеличивайте. Мѣсто свое Тося все равно бы потеряла. О женитьбѣ я ей никогда не говорилъ. А что касается до ея мечтаній... Вы слушаете меня? Слушайте: я вашу сестру не соблазнилъ, потому что соблазнъ все-таки насиліе, а мнѣ нравятся свобода и веселость. Я и теперь ее не соблазняю. Но мнѣ такъ хочется дать ей хоть какую-нибудь спокойную радость. Я предлагаю ей поѣхать въ Петербургъ, поступить на курсы и жить, какъ ей нравится. За это я отъ нея ничего не требую, слышите? Ничего. Я не признаю для нея никакихъ обязательствъ,— какъ не признаю для себя. Вы поняли?

— Поѣхать на ваши деньги? Быть у васъ на содержаніи?

Онъ начиналъ меня сердить.

— Я не ожидалъ этой косности и грубости отъ васъ, Вавинъ. Что же ты молчишь, Тося? Тебя мое предложеніе оскорбляетъ?

— Вы ужъ на „ты"!—прорычалъ Вавинъ.

— Да бросьте пустяки. Наконецъ, почему я съ вами разговариваю? Это дѣло Тоси; надѣюсь, она свободна рѣшить, что ей дороже: возможность ли учиться, или погоня за какими-то призраками „добраго имени" въ глазахъ генераловъ, полковниковъ и т. д. Что же, Тося?

Я придумалъ этотъ выходъ для нихъ, потому что мнѣ ихъ обоихъ было мучительно жалко. Въ сущности, для меня это ничего не мѣняло. Тося поѣдетъ со мной, и такъ какъ она истая женщина, и ее все-таки прежде всего влечетъ ко мнѣ, то она въ концѣ концовъ будетъ моя. Это естественно. Курсы ничему не помѣшаютъ. У меня будетъ безмѣрно милая мнѣ и нѣжная любовница, содержанка, если хотите (вѣдь всѣ женщины по природѣ содержанки, и это только справедливо) содержанка-

курсистка. Вотъ и все. При томъ любовница счастливая и веселая, такъ какъ она будетъ думать, что сошлась со мною не для своей радости, а для того, чтобы получить возможность учиться, самосовершенствоваться, а это—такъ, не главное... Это условія жизни...

— Что же, Тося?

Она потерялась.

— Я не знаю... Я не могу... Я вѣрю тебѣ, ты благородный, ты удивительный... И у меня нѣтъ предразсудковъ, ты знаешь. Но я не могу принять твоихъ денегъ...

— Не можешь?

Мнѣ захотѣлось еще облегчить ей выходъ.

— Да, наконецъ. ты отдашь мнѣ деньги, когда встанешь на ноги. Ты будешь работать. Почему же ты не можешь принять ихъ въ долгъ?

— Мать никогда не повѣритъ, Тося, — сказалъ Вавинъ.—Ты забыла о ней?

— Ахъ, это ваше дѣло убѣдить ее, — нетерпѣливо перебилъ я. — Вавинъ, въ самомъ дѣлѣ, въ васъ еще много сидитъ Домостроя. „Доброе имя"... „на содержаніи"... „что подумаетъ генералъ"... „ты убьешь мать"... А вы не думаете, что вѣдь это единственная возможность для Тоси...

— Я самъ отдамъ вамъ эти деньги,—вдругъ сказалъ Вавинъ рѣшительно, важно и наивно.—Кончу университетъ, встану на ноги и примусь выплачивать. Я не понимаю, почему вы на ней не женитесь, если вамъ безразлична разница положеній... мезальянсъ, что ли, какъ это говорится, и если вы другъ друга любите. Но это ваше дѣло. Я хочу вѣрить, что вы дѣйствительно благородный человѣкъ и что вы не...

— Что я не „соблазню" ее? Не соблазню, будьте увѣ-

рены! Но не странно ли все-таки, что ты, Тося, совершенно спокойно брала бы отъ меня законное содержаніе, и такъ стыдишься незаконнаго? Ты послѣ вѣнчанья стала бы любить меня больше?

— Нѣтъ, нѣтъ...—Она покраснѣла. — Но это вѣдь совсѣмъ другое... Совсѣмъ другое...

А Вавинъ все-таки супился. Ему было точно стыдно, чего — онъ не зналъ, и отъ этого становилось еще стыднѣе.

— Нѣтъ, я поѣду,—вдругъ рѣшила Тося.—Я поѣду. Я не могу. Я тебѣ вѣрю. Я хочу учиться. А если я буду несчастна, потому что ты меня не любишь... сумѣю это побѣдить. Значитъ, не судьба...

Она хотѣла заплакать, но не смогла; и когда подняла на меня глаза, они были полны не слезъ, а сіяющей, невольной радости влеченія, которое живо, и ждетъ, и знаетъ, что будетъ торжествовать.

Тося, вѣроятно, сама удивилась, что не можетъ плакать о своей любви, хотя считаетъ ее погибшей. Удивилась и обрадовалась себѣ. Она обняла меня и сказала:

— О, какой ты хорошій! Я всегда буду любить тебя! Я такъ счастлива! Я такъ мечтала учиться! А мамѣ я сама все разскажу. Она вѣритъ, что я не сдѣлаю ничего дурного! Повѣритъ и въ тебя. Я разскажу.

Какъ она, однако, наивна! Какъ люди несчастны, какія глупенькія дѣти! И еще нельзя ихъ не обманывать.

Тося прелестна, и нравится мнѣ, и я радъ, что все устраивается. Студентъ, однако, такъ до конца все чего-то смутно стыдился и супился, и злился на себя. И это портило мою радость. Тося совершенно успокоилась, веселая. И мы порѣшили, что въ концѣ недѣли они оба поѣдутъ въ Одессу, — я — въ Петербургъ, куда затѣмъ пріѣдетъ и Тося.

Какъ ясно, просто устроенъ міръ! Какое сокровище— женщина! Не на ней ли, не думающей, всему покорной, все принимающей, держатся земные устои, жизнеустроеніе, незыблемое и великолѣпное?

Все, все отлично, и можно имѣть все, что нужно,— только надо умѣть брать. Я доволенъ, я всегда спокоенъ, и не думаю грустить, что человѣкъ — животное. Зои противны и почему то страшны... Но Зоя одна, я ее не увижу больше и не вспомню о ней... а мои Тоси... сколько ихъ на свѣтѣ! И какая въ нихъ, наивненькихъ, радость!

Весело мнѣ будетъ устраивать „домъ“ для моей курсисточки! Ахъ, вѣдь она ѣдетъ, чтобъ учиться! она любитъ меня, но я не могу на ней жениться, и она побѣбѣдитъ свою любовь, останется одинокой и чистой, хотя страдающей... Она найдетъ забвеніе въ работѣ... Отдастъ мнѣ мои деньги... Она не хочетъ быть на содержаніи... Но она хочетъ учиться и ради этого побѣждаетъ нѣкоторые внѣшніе предразсудки...

О, милая дѣвочка!

04.

ВНѢ ВРЕМЕНИ

Старый этюдъ

. . . Солнце остановись!...

(Іисусъ Навинъ)

I

Въ тотъ годъ, весной, я рѣшительно не зналъ, куда дѣться. Провести лѣто въ Петербургѣ не было силъ, нѣсколько мѣсяцевъ подрядъ на швейцарскихъ высотахъ казались мнѣ предѣломъ скуки, въ свое же обычное лѣтнее мѣстопребываніе—въ Петергофъ—я никакъ не могъ ѣхать: мы поссорились съ кузиной Нини. То-есть не поссорились, а „будировали" другъ друга. Она на меня надулась за то, что я какъ-то пожаловался на тупость ея завсегдатаевъ—барона Норда, Коко Спесивцева и другихъ. Она надулась, а такъ какъ я отъ своего мнѣнія не отрекся и прощенья просить вовсе не желалъ (ужасно мнѣ надоѣло вѣчно просить прощенье!), то съ кузиной Нини у насъ все пошло врозь, и я никакъ не могъ поселиться въ Петергофѣ. Тотъ-же самый баронъ Нордъ и Коко Спесивцевъ стали бы смѣяться надо мной въ душѣ, если-бы замѣтили, что я до такой степени въ подчиненіи у этой женщины.

И я пересталъ видаться съ кузиной, при чемъ отлично бы себя чувствовалъ, если бъ не забота, куда ѣхать на лѣто.

Дядя, старый холостякъ, человѣкъ больной, но веселый, котораго я навѣстилъ въ Царскомъ, на мои жалобы воскликнулъ:

— Знаешь, что я тебѣ посовѣтую? Поѣзжай въ Ососкино, къ Левонинымъ, нашимъ родственницамъ! Не раскаешься. Глушь, таить нечего: отъ ближняго города 60 верстъ, дороги и мѣстоположенія не знаю, никогда тамъ не былъ, хотя онѣ меня уже двадцать лѣтъ въ гости зовутъ... Но ты будешь доволенъ. Захвати краски, полотна, всѣ твои художественные припасы. Деревня, я тебѣ скажу, даже и для диллетанта-художника, каковъ ты—кладъ...

Я пропустилъ мимо ушей не лишенную ядовитости шпильку дяди насчетъ моего диллетантизма и, увлеченный планомъ, принялся разспрашивать:

— Какія Левонины? Почему онѣ намъ родственницы? Ловко-ли будетъ пріѣхать мнѣ туда, незнакомому? Какая семья?

Къ удивленію моему, дядя въ подробности не пустился. Сказалъ только, улыбаясь, что неловкости не будетъ, ибо я, хоть и дальній, а все же „родственникъ", что онъ сегодня же имъ о моемъ посѣщеніи напишетъ, что это „двѣ дѣвушки, Полина Васильевна и Аделаида Васильевна", далъ мнѣ подробный маршрутъ и совѣтовалъ собраться какъ можно скорѣе.

— Какъ же я поѣду къ двумъ дѣвушкамъ? Или это старыя дѣвы? Но, дядя, я тогда умру отъ тоски!

— Ничего не разскажу,—отрѣзалъ дядя.—Поѣзжай—самъ увидишь. А я сегодня же имъ о тебѣ напишу.

II

Не прошло и трехъ дней, какъ я, со своимъ довольно тяжелымъ багажомъ (одни „художественные припасы" занимали порядочно мѣста) подъѣзжалъ въ скверномъ вагонѣ второстепенной дороги къ тому уѣздному городу,

откуда лежалъ путь къ моимъ новооткрытымъ родственницамъ. Было раннее утро. Я почти не спалъ и потому находился въ отвратительномъ настроеніи.

— Охота тащиться!—ворчалъ я, глядя въ окно на бѣгущія поля и перелѣски. Теперь не угодно-ли 60 верстъ по проселку! Прямо путешествіе на край свѣта. Да еще тамъ какія-нибудь кикиморы. Хорошъ я имъ родственникъ, все это дядины выдумки! И навѣрно потребуютъ, чтобы я ихъ тетушками звалъ, ручки съ почтеніемъ цѣловалъ! Дожидайтесь!

Я злился тоже, что мнѣ негдѣ было заняться своимъ туалетомъ. Я привыкъ дѣлать это съ величайшимъ тщаніемъ. Красивая наружность отъ хорошей „tenue“ очень выигрываетъ, а я зналъ, что у меня красивая наружность. Кузина Нини, въ добрыя минуты, говаривала: „главное, мнѣ нравится, что ты не просто „beau garçon“. Въ тебѣ есть что-то такое... что-то... de la poésie... понимаешь“?

Еще бы! Я это отлично понималъ. И вообще я себѣ нравился, я радъ былъ, что я—я. Тридцать лѣтъ, высокій ростъ, золотистые волосы, откинутые назадъ, независимое состояніе, полная свобода, способности и влеченіе къ живописи... Вотъ только въ этомъ послѣднемъ пунктѣ существовало нѣчто, что мнѣ не совсѣмъ нравилось—но объ этомъ послѣ.

Было всего безъ четверти восемь, когда медленный поѣздъ остановился наконецъ у станціи. На меня глянулъ желтый деревянный вокзалъ, такой же, крашенный, заборъ, за которымъ возвышались чахлыя деревья станціоннаго садика, дощатая платформа съ сутуловатымъ жандармомъ въ парусинкѣ и немногочисленной толпой сермяжныхъ мужиковъ. Спины ихъ гнулись подъ сѣрыми мѣшками, а лица выражали растерянность и недовѣріе.

Даже носильщиковъ не оказалось. Я вылѣзъ кое-какъ и отправился въ вокзалъ со всѣми моими чемоданами и свертками. Въ буфетѣ (гдѣ мнѣ дали прескверный кофе) я открылъ расторопнаго лакея, котораго и попросилъ нанять лошадь въ Осокино.

— Куда изволите ѣхать?—переспросилъ меня лакей.

— Въ Осокино, шестьдесятъ верстъ отсюда. Госпожъ Левониныхъ. Развѣ не знаешь.

— Осокино? Слыхалъ... Только далече оно... И точно какъ не много изъ господъ туда ѣздятъ... Пожалуй извозчика такого бывалаго не найдешь... Онѣ, значитъ, сами-то на своихъ...

— Ну ужъ пожалуйста похлопочи, любезный. Мнѣ необходимо.

Извозчикъ, послѣ долгаго промежутка времени, былъ мнѣ предоставленъ. Телѣжка не телѣжка, кибитка не кибитка—словомъ что-то высокое, страшное и безъ рессоръ. Двѣ худыя лошаденки съ веревочными постромками стояли понурясь. Возница, мужикъ суровый, угрюмый и злой, заломилъ съ меня невѣроятную цѣну, которую я ему тутъ-же и далъ.

Я не на шутку начиналъ робѣть.

Кое-какъ привязали мои чемоданы и тронулись. Телѣжка со звономъ запрыгала по невѣроятной мостовой города. Мелькнулъ бѣлый соборъ съ зеленымъ куполомъ, городской бульваръ, какое-то управленіе, деревянные ряды съ лавками, гдѣ продаются колеса, мыло и баранки, базарная площадь съ немногими, по случаю будней, возами и раскиданной, черной и примятой соломой. Обывательскіе домики, чистенькіе, маленькіе, смѣнились темными лачужками, съ сизорадужными стеклами, заткнутыми кое-гдѣ тряпьемъ. Послѣдній кабакъ съ синей вывѣской и деревяннымъ крылечкомъ скрылся

изъ глазъ — и мы выѣхали изъ города. Направо тянулось шоссе, но мы тотчасъ же свернули на проселокъ. Я перевелъ духъ. Съ высоты моей кибитки я не могъ даже любоваться городскими диковинками, такъ меня невѣроятно растрясло. Только на проселкѣ и очнулся. Мѣста шли открытыя, іюньское солнце, поднимаясь выше, порядочно припекало.

— Послушай, — началъ я, обращаясь къ угрюмому мужику.—Ты дорогу-то знаешь?

— Знаю.

— Ты, значитъ, въ Осокинѣ бывалъ?

— Значитъ, бывалъ.

— Что жъ, тамъ хорошо?

— Хорошо.

— А барышни что?

— Барышни ничего.

Не было возможности продолжать такой разговоръ. Одинъ знакомый студентъ говорилъ мнѣ, что между народомъ часто попадаются меланхолики и что они всегда кончаютъ самоубійствомъ. Я подумалъ, что навѣрно и мой возница кончитъ самоубійствомъ.

Мы выѣхали въ лѣсъ, и съ тѣхъ поръ дорога такъ и потянулась лѣсомъ. Деревья то уменьшались, чуть не переходили въ кусты, и я глядѣлъ поверху шумящаго молодого березняка и крошечныхъ осинъ, все-таки трепещущихъ каждымъ своимъ тонкостебельнымъ листикомъ—то вдругъ около дороги выростали стѣны, и самая дорога, малоѣзженная, зеленая, влажная, углублялась, тонула въ тѣни прямыхъ и высокихъ деревьевъ, блистающихъ на солнцѣ вершинами. Я закидывалъ голову. Зеленыя вѣтви сплетались надъ дорогой, не пропуская лучей. Направо и налѣво глубина лѣса зеленѣла, безъ просвѣта. Дорога сдѣлалась еще мягче, замшилась, отсы-

рѣла. Острыя, томныя благоуханья охватили меня. Землей, ягоднымъ листомъ, прошлогодними, прѣлыми листьями, отставшей свѣжей березовой корой пахло. Воздухъ былъ тяжелъ и прохладенъ. Я вдыхалъ его съ торопливостью, радуясь и удивляясь непривычнымъ живымъ ароматамъ. Какая-то веселая и довѣрчивая птица свистѣла не очень громко, но чисто, кончала короткую пѣсенку—и опять начинала съ той же ноты. Близко, совсѣмъ близко закуковала кукушка. Я вздрогнулъ — и она испугалась, заслышавъ мягкій шумъ колесъ по мшистой дорогѣ—и сразу замолкла.

Мнѣ казалось, что я попалъ въ какой-то невѣдомый міръ. Странно! Тутъ деревья, мохъ, трава, небо и воздухъ. Въ Петергофѣ тоже деревья, мохъ, трава, небо и воздухъ. А между тѣмъ я чувствовалъ, что вижу все это въ первый разъ. У меня даже настроеніе измѣнилось, и мысли сдѣлались серьезнѣе, тише и проще.

Дорога все тянулась, возница мой молчалъ. Кибитка теперь покачивалась мягко. Я устроился удобнѣе и незамѣтно задремалъ.

III

— Вонъ оно, Осокино. Видать.

Солнце уже спускалось къ закату, когда, послѣ дня ѣзды съ двухчасовой кормежкой въ какой то грязноватой деревнѣ, угрюмый мужикъ обернулся ко мнѣ и указалъ кнутовищемъ впередъ.

— Гдѣ? Гдѣ?—спрашивалъ я, приподнимаясь въ кибиткѣ.

Мы выѣхали изъ лѣсу. Теперь слѣва тянулись необозримыя, безкрайныя нивы и луга, а справа блестѣло, какъ жидкое олово, длинное озеро, окаймленное темнымъ тростникомъ. Мы поднялись на холмъ, и я увидалъ

ясно бѣлый помѣщичій домъ, широкій, каменный, съ мезониномъ. Сзади темнѣли кудрявыя деревья сада. Впереди, на дворѣ, я различилъ сѣроватые амбары, сараи, службы, аллейку изъ подстриженныхъ акацій. Направо, на порядочномъ разстояніи отъ дома, за холмомъ, блестѣлъ крестъ маленькой церкви, темнѣли какія-то строенія.

Лошади пошли веселѣе, чуя отдыхъ. Высокая густая рожь волновалась теперь у самой дороги. Каждый колосъ нагибалъ свою длинную головку и кланялся. И лоснистыя полосы медленно переливались по широкому простору нивы.

Я смотрѣлъ на хлѣбъ и вдругъ увидалъ на межѣ, вдали, что-то бѣлое. Я немного близорукъ, но мы подъѣхали ближе и я различилъ ясно стройную женскую фигуру въ свѣтломъ платьѣ, которое мнѣ показалось немного страннымъ; почему—я не могъ дать себѣ отчета. Что то въ немъ было непривычное, хотя и не некрасивое. Лица женщины я не могъ разобрать. И далеко было, да и на головѣ у нея я замѣтилъ широкую, бросающую тѣнь, круглую соломенную шляпку съ черной лентой вокругъ тульи. Концы лентъ мягко развѣвались. Шляпа тоже показалась мнѣ не обыкновенной. Я вспомнилъ, что шляпа такого фасона называется „бержеркой". Кузина Нини мнѣ это объясняла, когда ѣздила на послѣдній bal masqué нынче зимою.

Я думалъ было остановиться, не безъ основанія предполагая, что, быть можетъ, это одна изъ обитательницъ Осокина. Но кучеръ чмокнулъ, мы помчались подъ горку и скоро очутились у воротъ усадьбы.

Ворота уже медленно отворялъ старикъ, должно быть сторожъ. Цѣлая свора собакъ кинулась подъ колеса. Кибитка моя подкатила прямо къ крыльцу.

Признаюсь, мнѣ было очень неловко. Я чувствовалъ себя виноватымъ въ чемъ-то передъ неизвѣстными хозяйками. Я ждалъ ихъ съ нетерпѣніемъ, заранѣе махнувъ рукой и рѣшившись не только звать ихъ тетеньками и цѣловать ручки, но готовый на еще болѣе значительныя жертвы.

Но хозяйки не показывались. Выбѣжалъ старый слуга въ гороховой ливреѣ съ добрымъ, преласковымъ лицомъ (не могу постигнуть, отчего онъ мнѣ напомнилъ „Багрова внука" Аксакова. Бываетъ иногда, что одно неуклонно напоминаетъ о другомъ, повидимому совершенно безотносительномъ, и связи, сколько не ищешь, никакъ не найдешь). Выбѣжала женская прислуга, тоже вся не изъ молодыхъ, причемъ одна горничная, сѣдая, пріятная, очень меня поразила; она была одѣта слегка на манеръ молоденькой субретки: въ свѣтломъ ситцевомъ платьѣ, коротенькомъ передничкѣ съ кармашками и легкомъ бѣломъ чепчикѣ.

Дворня бросилась къ ручкѣ. Я изумился и покраснѣлъ, однако не протестовалъ.

— Пожалуйте, пожалуйте, баринъ,—твердилъ ласковый старикъ, пока отвязывали мои чемоданы.—Ждемъ васъ, заждались. Сегодня, думали, не пріѣдете, тяжелый день сегодня, понедѣльникъ. Барышня Аделаида Васильевна дома, у себя, а вотъ Полина Васильевна гулять вышли. Пожалуйте, вамъ въ мезонинѣ приготовлено. А если не понравится—барышни говорили внизъ можно перейти.

Въ мезонинѣ, однако, мнѣ очень понравилось. Двѣ большія комнаты, кабинетъ и спальня. Одна выходила балкономъ въ садъ, гдѣ за купами деревьевъ, подъ горкой, блестѣло второе, маленькое озеро, а другая—въ сторону двора, полей и большого озера. Потолки не-

много низковаты, и мебель какая то неудобная, штофная, тяжелая—но я обожалъ эту мебель съ прямыми спинками. Едва взглянувъ вокругъ, я принялся умываться, устраиваться и переодѣваться. Старикъ, котораго звали Финогеномъ, ушелъ, сказавъ, что скоро будетъ чай и ужинъ.

IV

Незамѣтно въ комнатѣ потускло, сумерки переходили въ ночь, когда я, уже совершенно готовый, услыхалъ стукъ въ двери.

Я ожидалъ увидѣть опять Финогена, но вошла та самая горничная, которую я замѣтилъ на крыльцѣ.

— Кушать пожалуйте,—произнесла она съ легкой ужимкой, сложивъ руки подъ передничкомъ. Ахъ, Боже мой, у васъ и карсель не зажжена!—И она торопливо подошла къ столу въ простѣнкѣ, гдѣ я раньше замѣтилъ большую, фарфоровую лампу. Вообще же я своего „кабинета", т.-е. комнаты, выходящей въ сторону сада, не успѣлъ осмотрѣть, ибо все время пробылъ въ спальной.

Лампа была прекрасная, кажется саксонская, но горѣлъ въ ней не керосинъ, а масло. (Горничная нисколько не ошиблась, сказавъ „карсель".) Такого рода лампы, какъ я узналъ, нужно каждыя четверть часа подвинчивать, а то онѣ меркнутъ.

— Какъ васъ зовутъ, милая?—спросилъ я горничную, пока она возилась съ лампой.

— Меня-съ? Надей. Я при Полинѣ Васильевнѣ нахожусь. Старшей барышнѣ Антонида служитъ-съ. Полина Васильевна видѣли, какъ вы къ намъ подъѣзжать изволили. Онѣ по полю гуляли-съ.

— А. такъ это была Полина Васильевна? Въ свѣтломъ платьѣ?

— Онѣ-съ. Онѣ очень на закатѣ гулять любятъ.

— Послушайте, Надя...—мнѣ было сначала неловко звать Надей такую почтенную особу, но быстро я привыкъ, тѣмъ болѣе, что и лицо ея, все въ мелкихъ, морщинкахъ, выглядывало такимъ свѣжимъ, милымъ и добрымъ изъ-подъ сѣдыхъ волосъ и рюшей кокетливаго чепчика.—Видите, Надя, я такъ неожиданно. Мнѣ право неловко... Вашихъ барышенъ я не знаю...

— Ахъ, что вы! Да барышни вамъ такъ рады! Константинъ Дмитричъ (это былъ дядя) писали, что вы художникъ. Барышнямъ нашимъ вы кузеномъ, кажись говорили онѣ, приходитесь. И я ужъ такъ-то рада, развлекутся наши барышни, имъ общество...

Красноватый свѣтъ лампы упалъ круглымъ пятномъ на столъ. Я поднялъ глаза на освѣщенный теперь простѣнокъ—и замеръ на секунду. Неясно отдѣляясь отъ бѣловатыхъ обой, тамъ чуть свѣтлѣлъ небольшой, круглый портретъ. Глаза мои не отрывались отъ него, хоть весь онъ былъ простъ и неярокъ. Чуть мерцала тоненькая, витая рамка. На бѣломъ фонѣ была изображена блѣдной пастелью съ прозрачными, розоватыми тѣнями дѣвушка, въ кисейномъ платьѣ, съ пепельными волосами, начесанными на уши по старинной модѣ, съ большими, очень голубыми, недоумѣвающими глазами. Не знаю, что за неслыханная прелесть была въ этомъ простомъ и нѣжномъ лицѣ; но у меня въ груди сжалось, какъ отъ боли—и я смотрѣлъ на чудодѣйственную пастель съ дрожью, почти съ благоговѣньемъ и мукой.

— Кто это?—спросилъ я невольно и робко, указывая на портретъ.

— Это?—Надя ужъ собиралась выйти изъ комнаты.—

Ахъ, Боже мой, тутъ въ позапрошломъ году барышня Аделаида Васильевна жили, такъ этотъ портретъ висѣлъ, и остался. Я и не замѣтила...

— А кто это?

— Да барышня-же наша младшая, Полина Васильевна. Баринъ покойный ихъ рисовалъ, папаша ихній. Очень хорошо рисовали, говорятъ, и весьма схоже ихъ тогда изобразили... Пожалуйте кушать, барышни въ столовой...

Надя исчезла. Я съ усиліемъ оторвался отъ огромныхъ, голубыхъ глазъ портрета, подошелъ къ двери, у порога опять оглянулся, точно боясь, что „она" уйдетъ— наконецъ отворилъ дверь и быстро сошелъ внизъ.

V

Не знаю, какими ожидалъ я въ то время встрѣтить моихъ хозяекъ. Не помню, о чемъ я думалъ, спускаясь съ лѣстницы. Столовая, просторная комната съ темной дубовой мебелью, съ накрытымъ столомъ посерединѣ, освѣщалась двумя канделябрами, гдѣ горѣли восковыя свѣчи. При ихъ мягкомъ мерцаніи я вдругъ увидѣлъ высокую женскую фигуру, очень тонкую, стоявшую ко мнѣ спиной. Кажется, она связывала на окнѣ букетъ васильковъ. При звукѣ моихъ шаговъ она обернулась. Сердце у меня ударило сильно—и остановилось на мгновенье. Что это? Кисейное платье съ длиннымъ корсажемъ, пышная юбка, блѣдныя краски, пепельные волосы, начесанные низко на уши... Но я уже опомнился. Передо мной стояла хозяйка, „младшая барышня". Она улыбалась привѣтливо и застѣнчиво, и, не подавая руки, присѣла мнѣ, краснѣя. Маленькое личико, худенькое, продолговатое, все въ нѣжныхъ и мелкихъ морщинахъ сіяло

лукавствомъ и удовольствіемъ. Волосы ея были слишкомъ свѣтлы, сѣдина ихъ тронула мало и незамѣтно. Руки, въ черныхъ митенкахъ, суховатыя и желтенькія, сжимали пучекъ васильковъ. На стулѣ лежала „бержерка“ —и она удивительно шла къ этому странному платью съ длиннымъ мысомъ корсажа и короткими рукавами.

— Полина Васильевна...—началъ я.

Полина подняла знакомые, голубые глаза и опять весело улыбнулась.

— Soyez le bien venu, Monsieur George,—проговорила она, чуть картавя.—Неправда ли, васъ зовутъ M-r George? Вы намъ кузенъ, но мы рѣшили съ сестрицей звать васъ мсье Жоржемъ. Это лучше... удобнѣе какъ-то. Вы позволите? Сестрица! Адель! Иди-же скорѣе!

Я обернулся навстрѣчу входившей Аделаидѣ Васильевнѣ. Она была ниже сестры, не такъ тонка, хотя и затянута. Темное платье ея, тоже съ длиннымъ корсажемъ, прикрывалось сверху пелеринкой съ оборочкой. Совершенно сѣдые волосы были зачесаны глаже и лицо, сморщенное, какъ и у сестры, казалось однако желтѣе. Вѣроятно она была старше Полины года на три. Меня, помню, почему то поразила матерія ея платья: коричневая, толстая, не гнущаяся, какъ лубъ, шелковая, съ вытканными мелкими атласными цвѣточками. Помню, въ дѣтствѣ, въ бабушкиномъ сундукѣ, долгое время я видѣлъ распоротый салопъ, точно такой.

Только отъ него, и изъ сундука, особенно сладко и пронзительно пахло. Я называлъ этотъ запахъ столѣтнимъ. И мнѣ казалось, что отъ платья Адели не можетъ такъ не пахнуть.

Я тотчасъ же замѣтилъ, что Адель обращается съ сестрой, какъ старшая съ балованнымъ, любимымъ ребенкомъ. Она нѣжно выговаривала ей за позднюю про-

гулку. Полина оправдывалась, дѣлала видъ, что сердится. Впрочемъ понятно было, что между сестрами большое согласіе.

Я съ аппетитомъ кушалъ славный деревенскій ужинъ и старался поддержать разговоръ, но въ глубинѣ души недоумѣвалъ и никакъ не могъ попасть въ тонъ.

— Вы никогда не выѣзжаете изъ деревни?—спрашивалъ я Аделаиду.

— Да, мы удалились отъ общества. И пока не скучаемъ... Полина занимается музыкой, я хозяйничаю немного... Хорошо, знаете, запереться въ глуши. Петербургъ съ его раутами, концертами, собраніями—утомилъ насъ давно. Неправда-ли, Полина?

— Ахъ, Адель, ты знаешь, я никогда не скучаю. Я такъ люблю поля, цвѣты, прогулки... И одиночество всегда... столь много говоритъ моему сердцу...

— Что Константинъ Дмитричъ?—спросила Адель о дядѣ.—Все шалитъ? Ахъ, онъ ужасный шалунъ! Это самый несносный изъ молодыхъ повѣсъ, право! Но я ему прощала все за его неутомимость. Затѣвается-ли интересная вечеринка, partie de plaisir—онъ первый!

Я раскрылъ было ротъ, чтобы сказать, что дядя Константинъ Дмитричъ давно въ параличѣ, съ лысиной, живетъ безвыѣздно въ Царскомъ и менѣе всего шалитъ. Но какъ то это не сказалось—и я промолчалъ.

— А вы рисуете?—спросила Полина.

— Да, немного...

— Ахъ, я такъ восхищалась послѣдній разъ картиной этого... знаменитаго... Какъ его фамилія, Адель? Знаешь, этотъ новый?

— Не помню... Да, прекрасное изображеніе. Онъ пойдетъ. А музыку вы любите? Вотъ Полина вамъ споетъ какъ нибудь...

— Ахъ, что ты, Адель! Я совсѣмъ не въ голосѣ послѣднее время.

Освѣдомившись, интересуюсь ли я литературой, сестры принялись занимать меня и на эту тему. Оказалось, что у нихъ есть цѣлая библіотека, куда Полина обѣщала меня завтра провести.

— Адель мало читаетъ,—пожаловалась Полина.—За то я — всегда, всегда съ книгой, уношусь въ невѣдомыя страны... Изъ русскихъ нѣтъ настоящихъ писателей, такихъ, возвышающихъ душу. Одна начинала молодая писательница—недурно. Евгенія Туръ, вы читали? Я только что кончила „Племянницу". Изъ стихотворицъ—Жадовская развѣ...

— А Дружининъ развѣ тебѣ не по душѣ?

— Это про... une dame, qui a quitté son mari? Нѣтъ, нѣтъ, это ужасно!

Полина даже вспыхнула вся и замахала руками.

— А развѣ Пушкина вы не любите? спросилъ я.

— Да, Пушкинъ... Конечно... Entre nous soit dit: во многомъ все-таки правъ тотъ критикъ, знаете? поповичъ, кажется: въ Пушкинѣ есть что то недостаточно возвышенное. Я совершенно не раздѣляю мнѣній этого критика и всѣхъ новѣйшихъ взглядовъ на счетъ пользы, отрицаній души и т. д. Нѣтъ, нѣтъ, это ужасъ. Но о Пушкинѣ у него были вѣрныя мѣста. Что онъ теперь, пишетъ?—Адель, Адель,—подхватила она, не давая мнѣ времени для отвѣта, -а помнишь, мы познакомились съ Гречемъ? Скажите, вы встрѣчаете Греча въ литературныхъ кружкахъ?

— Онъ умеръ,—проговорилъ я наконецъ.

— Ахъ, Боже мой, что это съ нимъ? Какъ жаль!

Разговоръ затянулся. И, странное дѣло! черезъ нѣсколько времени я самъ съ такимъ жаромъ опровергалъ

Писарева и Добролюбова, какъ будто статьи ихъ только что вышли и мнѣ предстояло завтра полемизировать съ ними въ журналѣ. Старые образы, давно забытые, почти неизвѣстные, возникли въ душѣ. Я принялся было толковать о фактѣ освобожденія крестьянъ,—мои хозяйки имѣли на этотъ счетъ различныя мнѣнія—какъ вдругъ замѣтилъ, что поздно и пора спать. Аделаида сдерживала зѣвоту, но Полина слушала меня и нервно теребила свои митенки.

Я опять церемонно раскланялся, получилъ въ отвѣтъ два реверанса и милыя улыбки.

Я прошелъ прямо въ спальню, взобрался на высочайшій пуховикъ и, не смотря на жару, тотчасъ-же заснулъ. Мнѣ снился Гречъ, медленно подымающійся изъ общаго, почему-то, съ Булгаринымъ гроба и преядовито грозящій мнѣ кулакомъ, и Полина, въ митенкахъ, въ кисейномъ платьѣ, съ которой я долженъ былъ снять какое-то колдовство. Я кипятился, кричалъ, стоналъ, но ничего не выходило. А Полина мнѣ кивала головой, печально и томно, и это была уже не Полина—а кто-то съ блѣднымъ, нѣжнымъ личикомъ и большими, нерѣшительными глазами...

VI

Я сидѣлъ въ саду, надъ озеромъ, и напрасно старался изобразить красками узкую листву ивы и солнечные блики подъ нею, на водѣ—когда кто-то легко ударилъ меня зонтикомъ по плечу.

Я оглянулся. За мной стояла Полина въ своей „бержеркѣ“ и черныхъ митенкахъ. Двумя пальчиками она слегка приподымала легкое платье и изъ-подъ оборки виднѣлась ножка, въ бѣломъ чулочкѣ и прюнелевой туфелькѣ съ переплетомъ.

— Вы здѣсь, м-сье Жоржъ? Я иду по саду и вдругъ вижу—вы... Какъ мило, какъ мило! — продолжала она, приглядываясь къ моему рисунку, который никуда не годился.—Да вы... артистъ!—Она сдѣлала преуморительную мину, кокетливо потрясла головкой и морщинистое личико ея стало еще меньше.—А хотите, я проведу васъ въ библіотеку? Ключъ у меня. Я давно вамъ обѣщалась. Вы устали писать... Теперь такъ жарко...

Я съ радостью согласился. Я и дома Осокинскаго порядочно не видѣлъ. А рисовать пейзажъ мнѣ вовсе не хотѣлось. У меня были другія мечтанія...

Мы вошли въ прохладныя и просторныя комнаты. Все мнѣ было и удивительно, и мило. Удивительно, впрочемъ, только сначала. А потомъ, напротивъ, начинало казаться знакомымъ, родственнымъ, точно я всегда тутъ жилъ, да иначе и жить невозможно. Большая зала съ наугольными диванами подъ чехлами, гостиная съ двумя печами по угламъ и выходомъ на террасу; затуманенное зеркало, въ золоченой рамѣ, краснаго дерева шкафикъ въ видѣ шифоньерки, гдѣ наверху красовались черные пречерные бюсты Вольтера и Саванароллы; побурѣвшія картины, испещренныя мелкими трещинками, портреты овальные, во весь ростъ, какихъ-то господъ въ манжетахъ и жабо, съ коками на высокихъ лбахъ и безжизненнымъ выраженіемъ лицъ. На мебели — безконечныя шитыя подушки, вѣрно собственной работы. Свѣтлая угольная комната была веселѣе другихъ. У стѣны тутъ пріютился маленькій, желтенькій фортепіано на четырехъ ножкахъ.

— Вотъ здѣсь я иногда пою,—промолвила Полина, опуская глаза.—Сестра мнѣ аккомпанируетъ.

Библіотека оказалась небольшой комнатой, уставленной книжными шкафами.

— Вотъ ключъ, я васъ оставляю, м-сье Жоржъ,—присядая, сказала Полина.—Я не хочу вамъ мѣшать. Здѣсь, въ этомъ шкафу, журналы. Есть и юмористическіе. Мы съ сестрой, когда хотимъ посмѣяться, часто беремъ какой-нибудь томъ и разсматриваемъ. Попадаются такія злыя эпиграммы на наше общество...

Она ушла. Я отворилъ шкафы. Пыль давно нетронутыхъ книжныхъ горъ попала мнѣ въ глаза. Пахло перетлѣвшей печатью, высохшей бумагой, старой кожей и затхлостью. Чего тутъ только не было! И французскія книги начала столѣтія съ грубо напечатаннымъ текстомъ и раскрашенными картинками, все какими-то дамами съ зонтами и кавалерами въ голубыхъ кафтанахъ. Были и русскія, старинное изданіе Пушкина, пѣсенникъ, руководство къ варкѣ вареній и домашній лечебникъ, гдѣ, между прочимъ, совѣтовалось отнюдь не наваливаться послѣ обѣда животомъ на столъ, „во избѣжаніе могущихъ отъ сего произойти недобрыхъ для тебя послѣдствій". Въ журнальномъ шкафу нашелся „Современникъ" за нѣсколько лѣтъ, со слипшимися, корявыми страницами. „Искра" изощряла свое остроуміе надъ дамами въ кринолинахъ и надъ невѣдомымъ мнѣ, къ стыду моему, Аскоченскимъ. Я накинулся на Современникъ, но онъ скоро мнѣ надоѣлъ, потому что я ничего не понималъ. Я принялся за французскія книги и такъ увлекся, что меня едва дозвались обѣдать. Коллекція французскихъ гравюръ просто очаровала меня. Я даже сдѣлался добрѣе къ Современнику—и вечеромъ жарко разсуждалъ съ Полиной о какой-то повѣсти тамъ, которую и она, оказывается, читала.

VII

Шелъ дождь, мелкій, холодный, точно осенній. Но въ комнатѣ было тепло и свѣтло, самоваръ переливчато пѣлъ на столѣ, восковыя свѣчи лили мягкій свѣтъ на бѣлые волосы Аделаиды, склоненной къ работѣ, и на бумагу альбома, гдѣ я дорисовывалъ пейзажъ съ двумя громадными деревьями надъ ручьемъ. Альбомъ принадлежалъ Полинѣ. Онъ меня очень занялъ. Кожаный, совпавшимъ отъ времени переплетомъ, съ желтыми листами, гдѣ были нарисованы голубки, кусты, розы и желтыми чернилами написаны стихи, изреченія и мадригалы, большею частью на изысканномъ французскомъ языкѣ. Много, много лѣтъ, вѣроятно, никто не записывалъ въ этомъ альбомѣ. И мнѣ страшно и стыдно было дотронуться до этихъ страницъ въ первую минуту, какъ бываетъ стыдно написать что-нибудь свѣжимъ карандашемъ на полуистлѣвшемъ крестѣ могилы. Но Полина съ недоумѣніемъ смотрѣла на мое колебаніе—и я принялся за дѣло, уже увлекаясь самъ, побѣжденный всѣми этими невинными стихами и розами, и просительнымъ голоскомъ Полины. Ей, впрочемъ, я никогда ни въ чемъ не могъ отказать.

— Знаешь, Полина,—прервала вдругъ молчаніе старшая сестра, — ты бы спѣла что-нибудь. Вечеръ такой скучный. И м-сье Жоржъ тебя еще не слышалъ.

Полина вся вспыхнула и посмотрѣла на меня въ первый разъ съ такимъ довѣріемъ, преданностью, но и радостью, что мнѣ сдѣлалось неловко. Я думалъ, что она не хочетъ пѣть и проситъ, чтобы я отклонилъ предложеніе Адели, но, къ изумленію моему, Полина, чуть-чуть поломавшись, охотно встала и пошла въ угловую. Адель хлопотливо и радостно послѣдовала за нею, тотчасъ же

сѣла за фортепіано, пока Полина искала ноты. Я примостился въ уголку, у стола, гдѣ горѣла масляная лампа, и углубился въ свой рисунокъ.

Но съ первыми звуками карандашъ мой остановился и я замеръ. Звуковъ нельзя описывать, нельзя словами дать представленіе ни о шумѣ, ни о звонѣ, ни о какой гармоніи, ни о какомъ диссонансѣ. Скажу только, что въ первый разъ съ минуты моего пріѣзда въ Осокино, не смотря на всѣ удивительныя и странныя вещи, въ первый разъ — мнѣ сжималъ горло неудержимый внутренній хохотъ, какой-то истерическій, болѣзненный. Я думаю, дай я себѣ волю, я бы хохоталъ, хохоталъ до рыданій, до крика, я бы вылъ и стоналъ неудержимо. Тонъ фортепіано былъ даже не похожъ на звукъ дрожащей струны, а на какіе-то подземные вопли умирающаго животнаго. Голосъ Полины хрипѣлъ на низкихъ нотахъ и свистѣлъ на высокихъ, не заглушая, впрочемъ, аккомпанимента. Но послѣ первыхъ неожиданныхъ звуковъ я очнулся и оглядѣлся. Лицо Адели было серьезно и сосредоточенно, въ дверяхъ я замѣтилъ кое-кого изъ женской прислуги—и ни у одной не было улыбки, напротивъ, слушали со вниманіемъ и, кажется, съ удовольствіемъ. Звуки продолжались, я слушалъ и привыкалъ. Я даже сталъ понимать, что именно она поетъ. И, наконецъ, когда самая рѣзкость звуковъ, скрипъ и свистъ перестали изумлять и тревожить меня—дрожаніе нервъ успокоилось и чѣмъ-то далекимъ, почти незапамятнымъ, туманнымъ, пахнуло на меня и заставило насторожиться. Мотивъ измѣнялся, тянулся и рвался, а я все силился вспомнить, вспомнить... вотъ сейчасъ, сію минуту... Обрывочные образы поплыли передо мною. Зала, большая и темноватая... Свѣча на роялѣ... Я гдѣ то высоко, моя голова выше свѣтлыхъ локоновъ той, ко-

торая сидитъ за роялемъ и поетъ. У нея очень бѣлое лицо и розовыя губы. Мнѣ разсказывали, что у меня была сводная сестра, старше меня лѣтъ на 16, умершая рано, дѣвушка замѣчательной красоты. Меня на рукахъ носили въ залу, когда она пѣла. Вѣроятно, мнѣ было года три. Я безумно любилъ то, что она пѣла — и съ тѣхъ поръ уже никогда этого мотива не слыхалъ. Это было такъ давно, что я изумился, что вспомнилъ — и былъ взволнованъ, какъ никогда. Чѣмъ дальше воспоминаніе, тѣмъ оно волшебнѣе. И мнѣ казалось, что я слышу рѣчи изъ другого міра.

Полина замѣтила мое волненіе и сама вдругъ страшно смутилась, хотя такъ и сіяла удовольствіемъ. Она собралась было пѣть другое—но я попросилъ повторить то-же самое. Словъ я не различалъ, хотѣлъ было подойти къ фортепіано и взглянуть на заголовокъ—но потомъ раздумалъ. Пусть улетаетъ воспоминаніе, вольное и свободное, такъ-же легко и нежданно, какъ прилетѣло. Оно выступило изъ мрака на мигъ—и скроется опять—кто знаетъ?—быть можетъ навсегда. Я и сестрамъ ничего не сказалъ. Мнѣ хотѣлось все сохранить для одного себя.

Не знаю, почему въ этотъ вечеръ тонкое лицо портрета съ голубыми глазами особенно преслѣдовало мое воображеніе. Я рѣдко смотрѣлъ на портретъ, точно боясь, что онъ потеряетъ надо мной силу—но помнилъ и думалъ о немъ всегда. Полина, когда пѣла второй разъ, аккомпанировала себѣ сама. Я видѣлъ сзади ея стройную фигуру, пепельные волосы, зачесанные низко,— я уже не слышалъ этихъ рѣзкихъ звуковъ—и мало-помалу мнѣ начинало казаться, что это вовсе не Полина, а та блѣдная дѣвушка, и не теперь, а въ безконечно

отдаленное время, которое стало теперешнимъ—поетъ милую сердцу моему пѣсню.

Когда мы расходились—я поцѣловалъ ручку Полины, сухенькую и желтую, безъ митенки на этотъ разъ. Мнѣ показалось, что ручка дрожала. Самъ не знаю какъ—я пробормоталъ просьбу, которую давно собирался высказать и все почему то не смѣлъ:

— Полина Васильевна... Тамъ, у меня въ кабинетѣ случайно... есть вашъ акварельный портретъ чудной работы. Вы позволите мнѣ снять копію?

Торопливое и горячее согласіе было дано—я не заботился и почти не слышалъ, въ какихъ выраженіяхъ. Я былъ счастливъ. Съумѣю-ли я только? Смогу-ли? Я почти побѣжалъ наверхъ и долго смотрѣлъ на „нее" при свѣтѣ „каресли" И она смотрѣла на меня прямо и вопросительно своими неулыбающимися глазами.

VIII

Мы сидѣли на широкой террасѣ, кончая послѣобѣденный чай. Вечеръ спускался на луга ясный, тихій, весь золотисто-желтый. Теплота—но не жара—охватывала меня, пахучая и ласковая. Въ саду уже совсѣмъ завечерѣло, но по лугамъ еще тянулись длинные солнечные лучи. Кузнечики хлопотливо, пронзительнымъ шопотомъ, кричали въ травѣ. Воздухъ былъ такъ ясенъ и чистъ, что далеко-далеко слышался стукъ колесъ проѣзжающей телѣги. Говорить не хотѣлось, хотѣлось дышать и жить.

Не знаю, сколько времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ я пріѣхалъ въ Осокино. Дни шли, шли, я спутался, да и не хотѣлъ считать. Знаю только, что сѣно давно скосили, что рожь пожелтѣла, пригнулась къ

землѣ да частые вѣтры стали рябить порою воду широкаго озера. Но теперь оно лежало недвижно, какъ спящее. Небеса блѣднѣли. На горизонтѣ, съ востока, толпились тихія и круглыя облака, и медленно и неуловимо вытягивались, мѣняя цвѣта.

— Аделаида Васильевна, обратился я къ старшей сестрѣ, которая молчала и весь день казалась мнѣ печальной.—Вы задумались? А угадайте, о чемъ я думаю. Я думаю, что вѣдь я даже не знаю, какое сегодня число, мѣсяцъ, сколько времени я у васъ...

Аделаида засмѣялась и замахала руками.

— Да зачѣмъ вамъ это, м-сье Жоржъ? Мы давно такъ живемъ. Дни недѣли знаемъ, въ церкви звонятъ въ воскресенье—а числа—зачѣмъ намъ? Общенья съ сосѣдями не имѣемъ, даже деревень нѣтъ близко. Наши люди, когда нужно, ѣздятъ въ городъ—а намъ ничего въ городѣ не нужно. Жизненные припасы у насъ свои. Библіотека есть, инструментъ... Внѣшнимъ хозяйствомъ у меня занимается управитель, живетъ далеко, а когда пріѣзжаетъ—все хочетъ мнѣ какіе-то счеты... Но я не желаю. Богъ съ нимъ. Что это возиться самой? Нѣтъ, разъ мы рѣшили отказаться отъ общества-то уже этого не перемѣнимъ. Зима, весна, лѣто... Потомъ опять зима... Хорошо жить въ глуши, добровольно покинуть суету и дрязги свѣта...

— Да и нельзя услѣдить за днями, проговорилъ я.— Они всѣ такъ похожи. Какъ бы одинъ день. — Адель улыбнулась и покачала бѣлоснѣжной головкой.

— Похожи? Да, пожалуй, похожи. Вонъ, видите, тѣ облака, свѣтлыя такія, за лугомъ? Очень они похожи и на вчерашнія, и на завтрашнія, и на многія еще облака, которыя были и будутъ. Все какъ бы одни облака. А между тѣмъ они и не вчерашнія, и не завтра-

шнія, и всѣ разныя. Такъ и дни у людей должны быть всѣ и разные—и всѣ всегда одинакіе, что теперь, что тогда, и вѣчно до окончанія міра...

Я съ изумленіемъ взглянулъ на Аделаиду. Въ первый разъ она говорила со мной такъ, серьезно до печали. Я перевелъ глаза на Полину. Она все время сидѣла молча, опустивъ рѣсницы. Выраженіе ея милаго лица показалось мнѣ измѣнившимся, обезпокоеннымъ и жалкимъ. Послѣднее время мы почти постоянно были вмѣстѣ. Гуляли, читали, говорили. Я любилъ говорить съ ней. Что то простое, почти дѣтское, иногда лукавое, иногда загадочное было въ ея разговорѣ. Мнѣ все казалось, что я читаю книгу, гдѣ буква „т“ еще напечатана въ три палочки—и самъ становлюсь героемъ изъ этой книги. Кромѣ того, она отвлекала отъ меня печальныя мысли: копія съ портрета рѣшительно не ладилась. Иногда я самъ удивлялся себѣ: неужели я могъ надѣяться, что повторю „ее“? Вѣдь она одна...

— Что съ вами, Полина Васильевна?—сказалъ я заботливо—и взялъ ее за руку.—Вы нездоровы?

Вдругъ, къ изумленію моему, Полина вырвала руку, стремительно вскочила съ мѣста и убѣжала. Мнѣ почудилось сдержанное рыданье—но я не былъ увѣренъ. Аделаида тоже поспѣшно встала и ушла за сестрой. Я остался одинъ со своимъ недоумѣніемъ и своей печалью.

IX

Красноватая луна взошла поздно и бросила свѣтъ на мой подоконникъ. Я сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, не зажигая свѣчи. Я зналъ, что „она“ тутъ, и что если будетъ свѣтъ—я все время стану на нее смотрѣть. А я не хотѣлъ.

Въ саду было темно и глухо. Свѣтъ мѣсяца, еще не яркій, едва бросалъ лучи на лужокъ передъ домомъ. Съ озера несло сыростью. Деревья недвижныя, черныя какъ чернила, точно не спали, а умерли. Ко мнѣ постучались. Я удивился. Я думалъ, что уже поздно. Впрочемъ мои часы испортились и давно не шли.

Я узналъ Надю. Но она мнѣ показалась странной. Не говоря ни слова, не удивляясь тьмѣ, она подошла ко мнѣ и сунула мнѣ прямо въ руку маленькій клочекъ бумажки.

— Что это, Надя?

— Отъ барышни,—шопотомъ отвѣчала Надя.

— Отъ Полины Васильевны? Она нездорова?—вскрикнулъ я.

— Тсс...—прошептала опять Надя, прикладывая палецъ къ губамъ.—Извольте прочитать.

Я и не замѣтилъ, какъ она скрылась. Что за таинственность? Я зажегъ свѣчу и раскрылъ записку, запечатанную облаткой. Крупнымъ, неровнымъ почеркомъ, съ орѳографическими ошибками, въ запискѣ значилось:

„Monsieur George, je suis folle, je rougie de mon au-„dace, mais je vous supplie à genoux de me pardonner. „Vous êtes un noble coeur. Venez dans une heure en bas, „tout prés du lac—vous savez? où est le vieux banc. J'ai „á vous parler. Je vous dirai tout. Pauline“.

Французскій языкъ былъ скверный, но по-русски бѣдная Полина врядъ ли съумѣла бы и такъ написать. Я читалъ и перечитывалъ, внѣ себя отъ ужаса, но не успѣлъ я еще придти къ возможному заключенію—какъ въ дверь опять постучали. Даже не постучали, а точно царапался кто-то, не смѣя открыть. Съ запиской въ рукахъ я подошелъ къ двери—и распахнулъ ее. Тамъ стояла Аделаида.

— Боже мой, это вы, Аделаида Васильевна? Войдите пожалуйста.

Она вошла, озираясь, смущаясь непривычною мыслью, что она въ кабинетѣ молодого человѣка, готовая тотчасъ же убѣжать. Но волненіе пересилило. Она упала въ кресло и залилась слезами.

Я страшно перепугался. Наконецъ, она немного успокоилась и заговорила торопливо:

— Monsieur George... Я понимаю... Васъ должно удивлять это ночное посѣщеніе... Но я не могла... Я должна спасти, предупредить... Боже,—воскликнула она, увидавъ записку въ моей рукѣ—я это предчувствовала, вотъ ея записка!

Я бросилъ записку и не зналъ, что дѣлать передъ искренними слезами этой женщины, такой милой и хорошей, съ ея сѣдыми волосами и правдивымъ, теперь совсѣмъ старческимъ, лицомъ.

— Вы поняли, м-сье Жоржъ, вы знаете все. Она любитъ васъ...

— Кто? закричалъ я.—Полина Васильевна?!

У меня точно глаза раскрылись. И—странно: неожиданная горячая, радостная волна прилила къ сердцу. Любитъ меня! Полина меня любитъ... Свѣча горѣла на столѣ, не мерцая. Аделаида Васильевна сидѣла въ креслѣ. А со стѣны, сверху, глядѣли на меня большіе, голубые глаза, полные нѣжности.

Аделаида Васильевна не замѣтила моего волненія.

— Я знаю, вы—честное сердце, м-сье Жоржъ. Поймите ее. Она рано оторвалась отъ соблазновъ свѣта, у нее всегда была горячая душа... Вы были съ ней такъ милы, читали, говорили, потомъ этотъ портретъ... (Я вздрогнулъ, но она не замѣтила). Вамъ нравилось, словомъ... Но вѣдь вы... Вы... не можете... не сочувствуете?..

Она задохнулась, потомъ оправилась и продолжала:

— И вотъ я васъ прошу... Сжальтесь надъ нею, надъ нами... Я ей всегда была матерью, я не допущу... Словомъ — уѣзжайте завтра, не видайтесь съ нею,—докончила она—и сложила ручки, умоляя меня.

Я молчалъ. Силъ не было говорить. Я уже опомнился, но сердце болѣло нестерпимо. Аделаида Васильевна приняла мое молчаніе за согласіе.

— Я не ошиблась въ васъ, мсье Жоржъ, проговорила она торжественно, поднимаясь съ кресла. — Вы уѣдете, я вижу, я цѣню... Да все равно—это было-бы невозможно, прибавила она, какъ бы про себя.—Я распоряжусь... На зарѣ будетъ лошадь... Если что-нибудь останется изъ вещей, пришлемъ. Ваше честное слово, мсье Жоржъ—вы уѣзжаете?

Я все еще не могъ говорить. Я кивнулъ головой.

— И... не увидитесь съ ней?

Я опять кивнулъ головой. Аделаида Васильевна вдругъ обняла меня, крѣпко, за голову, какъ матери обнимаютъ, и поцѣловала въ лобъ. Потомъ, должно быть, застыдившись своего неожиданнаго поступка, скользнула въ дверь и исчезла.

X

Я сѣлъ въ кресло у открытаго окна. Мѣсяцъ поднялся выше и серебрилъ теперь траву и вершины густыхъ липъ и кленовъ. Сверчки замолкли. Ночная птица глухо стонала въ пріозерныхъ камышахъ. Мнѣ почудилось что то бѣлое, мелькнувшее за деревьями. Это Полина... Она меня любитъ... Она меня ждетъ—и я нейду. Какая Полина? Не все ли равно? Вотъ та самая Полина, съ бѣлокурыми волосами и нѣжнымъ взоромъ. Отчего я нейду? Развѣ я ее не люблю?

Я смотрѣлъ на блѣдные глаза—и мнѣ казалось, что въ нихъ теперь горечь и упрекъ. И чѣмъ дольше я смотрѣлъ—тѣмъ нестерпимѣе болѣло сердце.

Прошло сколько то времени. Я не замѣтилъ, какъ поникъ мѣсяцъ, какъ засвѣтлѣло, какъ садъ сдѣлался сѣрымъ и мертвымъ. Фырканье лошадей разбудило меня отъ моего оцѣпененья, но не совсѣмъ. Я машинально всталъ, одѣлся, едва понимая, что дѣлаю, взялъ какой-то чемоданъ, положилъ какія-то вещи и, готовясь выйти, остановился въ послѣдній разъ передъ портретомъ. Въ послѣдній разъ; съ недоумѣніемъ и безконечной обидой ея глаза смотрѣли на меня. Я приблизился, коснулся розоваго, чуть-чуть розоваго, полуоткрытаго рта своими похолодѣвшими губами—и вышелъ.

Заря едва занималась, въ лѣсу было сѣро, сыро, и жутко. Колеса стучали мягко. Деревья поникли холодными вѣтвями, и большія, тихія капли росы падали на землю. Я плакалъ безмолвно и горько, боль, какъ жесткая рука, сжимала сердце. Я плакалъ потому, что слишкомъ любилъ Полину.

1895

ВЪ ЧЕТВЕРГЪ

...говорю вамъ: если не будете ѣсть плоти Сына Человѣческаго и пить крови Его, то не будете имѣть въ себѣ и жизни".

(Іоан. VI, 53)

I

На обѣденномъ столѣ—крошки, корки; несвѣжая скатерть кое-гдѣ скомкана; передъ Андреемъ Ивановичемъ—тарелочка съ недоѣденнымъ пирожкомъ изъ кондитерской, сухимъ, желто-коричневымъ. Какъ ни свѣтелъ былъ апрѣльскій вечеръ,—надъ столомъ уже горѣла висячая, жаркая лампа подъ плоскимъ зонтообразнымъ абажуромъ. Окна столовой выходили на дворъ, откуда ползли сумерки, а не свѣтъ. Только наверху гдѣ-то зеленѣла узкая полоска неба съ уже неумирающей зарей.

Андрей Ивановичъ Молостовъ, человѣкъ лѣтъ тридцати восьми, съ лицомъ ужасно обыкновеннымъ, скорѣе пріятнымъ, обрамленнымъ рыжеватой бородкой,—читалъ, по привычкѣ, какія-то рукописи; рядомъ лежалъ новый томъ Спенсера по-англійски. Рукописи вовсе не было нужды читать; онѣ явно—Андрей Ивановичъ видѣлъ по первымъ строкамъ—къ печати не годились; но надо же что-нибудь дѣлать? Съ понедѣльника Страстной Молостовъ чувствовалъ себя выбитымъ изъ колеи:

въ редакціи затишье. Секретарь отправился въ отпускъ, благо вышла послѣдняя книжка. Сотрудниковъ не видать. Даже сторожъ Сергѣй словно занятъ чѣмъ-то другимъ, болѣе важнымъ. Молостовъ, не оффиціальный, но фактическій редакторъ—любитъ свой журналъ, свое дѣтище, и ему это обидно. Ему всегда, издавна, кажется мучительнымъ предпраздничное и праздничное время, когда всѣ отходятъ отъ дѣла, какъ будто для какого-то другого, важнѣйшаго,—а въ сущности для чего?

Блѣдная, худенькая Анна Львовна, жена Молостова, не читаетъ, но ей тоже скучно; и она привыкла работать; помогаетъ мужу; кромѣ того, у нея небольшая школа, которой она очень занята; но теперь и школа распущена на двѣ недѣли:

Анна Львовна сидитъ за неубраннымъ столомъ, опершись головой на руку. Молостовъ нѣсколько разъ взглянулъ на нее черезъ очки; ея блѣдное, тоскливое и покорное лицо ему непріятно.

Андрей Ивановичъ знаетъ и любитъ это лицо пятнадцать лѣтъ. Жена—его вѣрный другъ и помощникъ; вмѣстѣ они перенесли и нужду, и другія, болѣе серьезныя, невзгоды, вмѣстѣ выбились, не измѣнивъ своимъ убѣжденіямъ; теперь у нихъ общій, честный и плодотворный трудъ. Жизнь полупрожита — но прожита хорошо, никто не можетъ упрекнуть Молостовыхъ, ни они сами себя. Эта тоска весенняя, каждый годъ повторяющаяся,—это отъ перерыва въ работѣ, отъ вынужденной праздности.

„Ну, чего она?—подумалъ Молостовъ. — О чемъ она думаетъ? Пройдутъ когда-нибудь эти дни“...

Онъ хотѣлъ спросить, о чемъ она думаетъ, но не спросилъ и перевернулъ страницу рукописи. Часы съ гирями аккуратно выщелкивали время. Въ сосѣднюю

комнату была отворена дверь, оттуда раздавались голоса, дѣтскій и старческій.

— Няничка, — говорилъ ребенокъ, — а твое сегодня рожденіе?

— Какое рожденіе, батюшка?

— Да твое! Вонъ тебя поздравляли. И платье на тебѣ лиловенькое. Рожденье?

Андрей Ивановичъ нетерпѣливо кашлянулъ и взглянулъ на дверь. Анна Львовна встрепенулась.

— Тебѣ мѣшаютъ? закрыть дверь?

— Нѣтъ, оставь, сдѣлай милость.

У Молостовыхъ не было дѣтей. Шестилѣтняго Волю они взяли къ себѣ, когда ему едва исполнился годъ, и усыновили. Онъ приходился племянникомъ Андрею Ивановичу, и былъ сирота.

Разговоръ за дверью продолжался.

— Значитъ, не рожденье? А какъ же поздравляли?

— А поздравляли съ принятіемъ Святыхъ Тайнъ. Пріобщалась я нынче за ранней, дѣточка.

— Пріобщалась? Это въ церкви? Это какъ рожденіе? Это что, Тайны, нянюрочка?

— Охо-хо! Дожилъ дитя, ужъ на другой годъ на исповѣдь идти, Святыхъ Тайнъ не пріобщавшись! — Нянька вздохнула и, помолчавъ, продолжала:

— Развѣ не помнишь? Лѣтомъ въ церкви были. Тамъ дѣтокъ пріобщали. Выйдетъ священникъ изъ Царскихъ вратъ, чашу вынесетъ золотую, поютъ это, ну и пріобщитъ.

— Да... Ну что-жъ...—задумчиво произнесъ Воля.— Какія же онѣ, Тайны, няня?

— Плоть и кровь Христовы. Творите, сказано, въ Мое воспоминаніе. Кто творитъ, тому и радость. Безъ этого нельзя. „Христосъ бо веселіе вѣчное“.

— И чтобы всѣ—„творить“?

— Всѣ, батюшка, всѣ. Какъ же не всѣ?

Дѣтскій голосъ умолкъ, точно ребенокъ что-то соображалъ. Нянька вздохнула.

— Няня, и папочка съ мамочкой, и я буду, да?

— Что будешь?

— Да вотъ... Тайны творить. И веселенькій буду, хорошо?

— Будешь, голубчикъ, будешь.

— Вонъ какое у тебя сегодня платье лиловенькое. А у мамочки голубое есть. А она не надѣваетъ. Мамочкѣ скучно. Отчего ей скучно? Что папочка сердитый, оттого?

Анна Львовна въ столовой подняла голову и крикнула:

— Няня, ты не обѣдала? Пойди въ кухню.

Отвѣтилъ Воля, не входя въ комнату:

— Мамочка, она сегодня, говоритъ, не буду обѣдать. Говоритъ, ко всенощной пойду.

Нянька завозилась.

— И то пойду, небось ужъ пора. Нынче Евангелія. Со свѣчами будутъ стоять. Тебѣ, Волинька, святого огоньку принесу.

— Няня, я самъ хочу! Я съ тобой пойду! Мамочка пуститъ. Я святого огонька хочу. Хорошо? Няничка?

— Ой, что ты! Устанешь. Служба долгая. Двѣнадцать Евангелій будутъ читать.

— Двѣнадцать? Вонъ сколько ихъ! Ни за что не устану. А Тайны когда?

— За обѣдней Тайны пречистыя. Нонче четвергъ. Нонче хорошо пріобщаться. Христосъ нонче на вечерѣ съ учениками возлежалъ, и хлѣбъ преломилъ, и чашу подалъ. А на завтра страсти начинаются.

— Страсти? Охъ, няничка! Возьми ты меня, пожалуйста! Не устану!

Глухо, сквозь стекла, донесся дальній звонъ, тонкій, но настойчивый.

Въ столовую, гдѣ сидѣли Молостовы, вошла няня, держа Волю за руку. Старушка была маленькая, худенькая, а мальчикъ большой, и они казались почти одного роста. У Воли были свѣтлые-свѣтлые волосы; у няньки изъ-подъ чепчика виднѣлись пряди совсѣмъ бѣлыя. И цвѣтъ глазъ, водянисто-голубой, у нихъ былъ почти одинъ.

— Старый да малый въ церкву собрались, — добродушно сказала старуха.—Просится Воленька.

— Устанешь,—проговорила Анна Львовна, но какъ-то слабо, не то недовольно, не то нерѣшительно. — И зачѣмъ?

Андрей Ивановичъ крикнулъ съ неожиданнымъ раздраженіемъ:

— Пускай идутъ! Устанетъ—нянька его назадъ приведетъ.

Мальчикъ робко поцѣловалъ „папочку“ и вышелъ съ няней. Та стала его одѣвать, онъ опять ее что-то спрашивалъ, болталъ пока они не ушли.

Лампа, ширя свой зонтъ, надутая и лоснящаяся отъ керосина, такъ же жарко горѣла. Ни крошекъ со стола, ни скатерти никто не убиралъ. Въ запертой комнатѣ стоялъ, не двигаясь, запахъ маслянаго мяса, не до конца съѣденнаго.

Андрей Ивановичъ всталъ и подошелъ къ голубѣвшемуся окну.

— Душно здѣсь, Аня.

— Не открыть ли форточку?

— Я пойду пройдусь. Голова болитъ.

Анна Львовна взглянула на него съ покорной тревогой.

— Что съ тобою?

— Ахъ, да ничего! А съ тобой что?

— Со мною?—Она растерянно улыбнулась.—Вотъ ужъ ничего-то! Всегда это время... такое скучное. Весна, праздники не у дѣлъ какъ-то...

Она сказала именно то, что онъ самъ думалъ словами о своей тоскѣ, а между тѣмъ раздраженіе и тоска безмѣрно усилились; онъ взглянулъ на своего вѣрнаго друга, честнаго спутника честной жизни съ отчуждающей ненавистью. Не то, не то! Но если бъ онъ и зналъ слова для „того"—онъ ей не сказалъ бы ихъ,—какъ и она бы, вѣроятно, не сказала. Отъ стыда? Или отъ чего? Просто отъ чуждости. Все, въ чѣмъ они были связаны, что было у нихъ общимъ,—убѣжденія, мысли о благѣ человѣчества, совмѣстная работа на пользу ближняго, даже его любовь къ ней, какъ къ „удивительной личности"—все это показалось ему такимъ не связующимъ; просто внѣшними, перетлѣвающими нитками связаны, и полжизни прошло, а вотъ—она отдѣльно, и онъ отдѣльно. Пока въ суматохѣ, въ работѣ, пока громкія слова звенятъ—не замѣчаешь; а вотъ тишина, и странная полуфизическая тоска поднимается со дна сердца,—и тотчасъ каждый отдѣльно. Чѣмъ душнѣе и необъяснимѣе тоска—тѣмъ отдѣльнѣе.

— Ты всегда весной, въ послѣдніе годы, какой-то... тихо сказала Анна Львовна, и прибавила:—устали мы съ тобой, что ли...

Онъ ничего не отвѣтилъ. Можетъ быть, и она чувствовала ту же „отдѣльность". Но говорить о ней было нельзя.

Андрей Ивановичъ оторвался отъ окна, молча ми-

новалъ комнату, надѣлъ шапку, пальто и вышелъ изъ дому.

II

Тучки набѣжали, закрыли зеленую твердь неровными пятнами, пролился, шумя, полутеплый дождь и затихъ. Молостовъ шелъ по блестящему тротуару, поминутно наталкиваясь на озабоченныхъ прохожихъ, хотя улица была не очень бойкая. Рядомъ, по грязи и лужамъ шлепали мѣрно копыта извозчичьихъ лошадей.

Тоска, и своя „отдѣльность", и при этомъ ощущеніе безсмысленности всего, что въ себѣ казалось дорогимъ,— не улеглись на улицѣ.

„Любовь къ страждующему брату!—усмѣхаясь подумалъ Молостовъ.—Кой чортъ вотъ хотя бы этому, въ моей любви. А мнѣ его не нужна. Мерзость, кривлянье, или наивность, удаль молокососная! Можетъ быть, если бъ я сейчасъ упалъ въ судорогахъ, этотъ студентъ поднялъ бы меня, повезъ, помогъ,—а вотъ теперь онъ и не знаетъ какъ мнѣ душно и тяжело, и не узнаетъ, и не пойметъ, и не поможетъ, потому что нѣтъ ровно ничего между людьми, что̀ бы ихъ души связывало. Оттого и любви никакой нѣтъ, и быть не можетъ. Слова, привычка, кривлянье!".

Онъ со злобой шлепалъ по лужамъ. Зажгли фонари. Огоньки отразились въ водѣ и въ очкахъ Молостова. Онъ съ той же злобой продолжалъ думать о любви.

„Любите другъ друга!"—и вдругъ прибавилъ слова, вынырнувшія откуда-то изъ далекой памяти:—„заповѣдь новую даю вамъ"...

„Новую! Старая заповѣдь. Кто далъ ее—Того забыли, а заповѣдь твердятъ безсмысленно"...

Онъ остановился. А если потому и не „вышла“ заповѣдь, что забыли Того, Кто ее далъ?

Молостовъ стоялъ у начала площади, гдѣ весь свѣтился притихшій соборъ. У паперти волновались темныя, безмолвныя пятна народа. Весенній вечеръ, теплый и свѣжій, спускался съ яснѣющихъ небесъ.

„А тамъ, вѣрно, жарко въ этотъ вечеръ было,— подумалъ Молостовъ.—Горница убранная... Преломилъ, благодарилъ... Вино, хлѣбъ, рыба... Все это, въ сущности, забыли“...

„Да нѣтъ, не жарко... Въ горницѣ жарко, а ночи холодныя. Потомъ вѣдь Петръ у костра грѣлся“...

„Пейте отъ нея всѣ“...

И въ ушахъ Молостова прозвучалъ голосъ Воли:

— Это всѣмъ надо? Всѣ „творятъ“?

Евангеліе кончилось. Зазвенѣли колокола сверху, и еще гдѣ-то, и еще, издали, чуть слышно, то густо, гулко, то очень тонко.

Молостовъ, рѣшительно шагая, миновалъ площадь и вошелъ въ соборъ.

Опять читали. Народу было столько, что дальше сѣней невозможнымъ казалось пробраться. Никакого чтенія не было слышно. Отъ сквозняка пламя свѣчей синѣло и, уменьшаясь въ точку, быстро-быстро трепетало.

„Няня и Воля здѣсь же, только впереди гдѣ-нибудь,—подумалъ Молостовъ.—Какъ бы не задавили „стараго да малаго“.

Онъ усмѣхнулся, но ему было непріятно, и холодно, и тѣсно стоять, и тоска не уменьшалась. Никакихъ словъ никому не было слышно. Рядомъ съ нимъ стояла цѣлая кучка солдатъ. Они вздыхали и переминались, но хорошія были лица. Молостовъ засмотрѣлся на одного:

подстриженный бѣлый затылокъ слабо золотился отъ низкихъ огней, юное, туповатое лицо было серьезно. Онъ ничего не думалъ, и ничего не слышалъ, но онъ былъ въ церкви, и это для него уже важно. И хорошо.

Что-то знакомое Молостову промелькнуло въ его голубыхъ глазахъ. На чьи они похожи? На Волины... да и на нянины немножко...

— Тоже „малый",—подумалъ Молостовъ.—Ему и надо здѣсь. Ему хорошо. Старому да малому есть куда пойти, а мнѣ? А намъ?

Андрей Ивановичъ не торопясь вышелъ изъ собора и остановился у рѣшетки. Идти некуда. Надо было вспомнить о Забытомъ, Андрей Ивановичъ понималъ теперь, что это одно только и надо было,—а тамъ, гдѣ о Немъ читали—читали не для такихъ, какъ Молостовъ, а для „старыхъ и малыхъ". У нихъ нѣтъ его тоски и жажды, за ними нѣтъ годовъ той честной, безбожной, безплодной жизни, которую ему нужно искупить.

Замелькали свѣтлыя точки на паперти, служба кончалась. Старые и малые понесли домой „святой огонекъ". Принесетъ его и Волина нянька, умиленная, съ утра праздничная и веселая, какъ именинница, потому что исполнила, какъ было сказано. Сказано—„творите въ воспоминаніе", если хотите быть живы, она и „творитъ", и вспоминаетъ, какъ ей нужно,—и жива.

Молостовъ отошелъ отъ рѣшетки, тяжело и медленно переступая ногами по грязи. И ему нужно „воспоминаніе", чтобы быть живу, но гдѣ же оно? И гдѣ люди, которымъ нужна та же пища и питье? Мало нянинаго: „золотая чаша", „поютъ", „выйдетъ и пріобщитъ",—нѣтъ, ему надо, чтобы вспомнились и слова Его вечернія, и Онъ самъ, Человѣкъ и Богъ, связавшій Собою отдѣленныхъ людей. „Горница устланная"...

„Будьте едино, какъ Я и Отецъ“... „Очень желалъ Я ѣсть съ вами сію пасху“... И „новая заповѣдь“—доселѣ новая, нетронутая...

Опять брызнулъ дождикъ. Андрей Ивановичъ стоялъ посерединѣ грязной площади и утиралъ платкомъ мокрое лицо. Ему вспомнились покорные и тоскующіе глаза жены, и онъ пожалѣлъ ее такъ же, какъ себя въ эту минуту. Оба несчастны,—и оба безсильны.

Господи! Господи!

И опять откуда-то изъ самой дали дѣтскихъ воспоминаній, но какъ внѣшній грозный откликъ, услышалъ Андрей Ивановичъ отвѣтъ:

„Что Вы зовете Меня Господи! Господи! и не дѣлаете того, что я говорю?“

А капли усилившагося дождя, падая въ лужи, лепетали старчески и неотразимо, какъ Волина нянька: „Всѣмъ сказано, для всѣхъ говорено... всѣ, всѣ“...

Мокрый, жалкій, грязный стоялъ Андрей Ивановичъ посерединѣ темной площади одинъ—и плакалъ.

Колокола заливались, трезвоня. Старые и малые несли домой святые огоньки, которые трепетали, живые. Великое повечеріе отошло.

ВСЕ КЪ ХУДУ

Дементьевъ убилъ свою жену.

Годъ производилось слѣдствіе, потомъ его судили и приговорили,—въ виду смягчающихъ обстоятельствъ и въ виду того, что онъ уже одиннадцать мѣсяцевъ просидѣлъ въ предварительномъ заключеніи,—только къ церковному покаянію въ дальнемъ монастырѣ.

Срокъ покаянія пришелъ къ концу, а Дементьевъ и не думалъ уѣзжать изъ монастыря, потому что ему рѣшительно некуда было уѣзжать. Въ монастырѣ онъ велъ себя тихо и молчаливо, и только послѣднее время сталъ иногда разговаривать съ казначеемъ, добродушнымъ, статнымъ и чернокудрымъ о. Меѳодіемъ. Весенней порой, передъ сумерками, сходились они на монастырскомъ кладбищѣ и бесѣдовали. Сидѣли на скамеечкѣ подъ сиренями, у могилы купчихи Бронзовой. Памятникъ хорошій, высокій, наверху урна, подъ урной—стихи. Монастырь былъ хоть и далекій отъ столицъ, но не захолустный и не очень бѣдный; около—уѣздный городъ.

Какъ-то разъ сошлись они, Дементьевъ и о. Меѳодій, на вечерней, весенней зарѣ, и повели бесѣду. О. Меѳодію давно хотѣлось допросить кающагося, какъ съ нимъ приключился грѣхъ, но тотъ доселѣ все отмалчивался: бесѣдовали они больше отвлеченно.

— Благодать-то какая, Николай Павлычъ! Дружная

нынче весна стала,—заговорилъ монахъ, шумно дыша и глядя вверхъ, на желто-зеленое небо, свѣжее и чистое, какъ будто только что вымытое.—Листочки какіе ужъ большіе. А теплынь-то! Небось въ вашемъ Петербургѣ еще снѣгъ полеживаетъ, либо грязища холодная. Не ѣздить бы тебѣ никуда, Николай Павлычъ, остался бы съ нами. Чего еще? Здѣсь тишина, а у тебя душа потревоженная...

— Я и не поѣду никуда, должно быть,—сказалъ Дементьевъ и усмѣхнулся.

Нельзя было бы угадать, сколько ему лѣтъ: можетъ быть мало, можетъ быть много. Сѣроватое, худое лицо, сѣровато-бѣлокурая, рѣдкая, кустиками, бородка, сѣровато-блѣдные, запавшіе глаза; на щекахъ, когда онъ усмѣхался,—длинныя складки.

О. Меѳодій обрадовался отвѣту.

— Не поѣдешь? Вотъ бы хорошо! Постригся бы съ Божіей помощью, и прожилъ бы свое время въ тишинѣ.

— Нѣтъ, я постригаться не стану, о. Меѳодій,—сказалъ Дементьевъ,—А такъ... надоѣла мнѣ вся эта канитель. Уходить некуда... не къ чему... и жить здѣсь—тоже не къ чему. Тебѣ я, о. Меѳодій, пожалуй, скажу, потому что мнѣ все равно: я повѣситься задумалъ.

О. Меѳодій отъ неожиданности даже затрясся весь, открылъ ротъ и замахалъ руками.

— Что ты? Николай Павлычъ? Христосъ съ тобой! Каялся-каялся, откаялся—а теперь въ новое грѣшное помышленіе впадаешь? Въ монастырѣ, да вѣшаться? Подумалъ бы! И съ чего?

— Ну я изъ монастыря въ рощу уйду, къ рѣчкѣ. Не кричи. Ты добрый человѣкъ; добрый человѣкъ, слыша про это, не долженъ кричать; а если онъ еще и умный—такъ онъ сочувствуетъ, понимаетъ.

— Грѣхъ твой, что ли, тебя замучилъ?—спросилъ о. Меѳодій уже тише.

— Какой грѣхъ! Я и не каялся никогда, что убилъ Марью. Вышло такъ—и отлично.

О. Меѳодій хотѣлъ было ужаснуться и начать объяснять собесѣднику его заблужденіе, но любопытство превозмогло все, и онъ спросилъ:

— Да какъ оно случилось-то? Приревновалъ ты ее, что ли? Ахъ ты, Господи Іисусе Христе!

— Я бы тебѣ разсказалъ, о. Меѳодій, да вѣдь ты не поймешь. Ты, вонъ, во-первыхъ, все о грѣхѣ да покаяніи...

О. Меѳодій немного обидѣлся.

— Ты, Николай Павловичъ, мою душу не знаешь. Думаешь, меня сомнѣнія не посѣщаютъ? Всего бывало. Молчишь только, конечно. Теперь оно рѣже, а какъ въ молодости-то начнутся мысли, какъ начнутся мысли... Я и нынче отъ многаго не отказываюсь.

— Да не оттого... Такъ. Какой бы ты ни былъ, хоть семи пядей во лбу... А лишнее это. Все равно, вѣдь, никакого сообщенія между людьми нѣту.

— Это вѣрно, нѣту,—оживившись сказалъ о. Меѳодій.—Я и самъ думалъ, еще когда въ міру жилъ, лавка у отца въ городѣ была. Никакого сообщенія. Ты человѣку свое толкуешь,—а у него свое на умѣ, что—невѣдомо. И знаешь про это, а все силишься, толкуешь. Вотъ за то и хорошо въ монастырѣ. Какое у насъ здѣсь сообщеніе? Самое малое. Съ братьями о самомъ простомъ покалякаешь, о. настоятелю дѣла доложишь, книги покажешь,—вотъ и сообщеніе. За то у насъ съ Богомъ сообщеніе въ молитвѣ. Каждый по своему, про свое Господу говоритъ, уже Онъ, Вседержитель, разберетъ. А между человѣками нѣтъ издавна сообщенія. Мнѣ думалось, дьяволъ сѣтки вездѣ натянулъ.

— Ну вотъ видишь,—сказалъ Дементьевъ.—Самъ говоришь—нѣтъ, зачѣмъ же меня просишь про жену и про все разсказывать? Такъ, изъ любопытства просишь. Да ничего, мнѣ уже все равно.

— Нѣкое малое сообщеніе существуетъ,—проговорилъ, смутившись, о. Меѳодій.—Вотъ, напримѣръ, я тебя полюбилъ,—а ты какое слово сказалъ мнѣ: повѣшусь. Я долженъ постигнуть, зачѣмъ ты его сказалъ.

— Да какъ разъ этого-то и не постигнешь. Тутъ ужъ каждый на свою совѣсть рѣшаетъ. А дѣло мое короткое, скажу—и понимай какъ хочешь. Жена моя, Марья была женщина большая, грязная, крикунья. Жили восемь лѣтъ вмѣстѣ. И такъ она мнѣ надоѣла, такъ надоѣла... этого разсказать нельзя. Женился я на ней студентомъ, въ жильцахъ жилъ у ея матери. Совсѣмъ молоденькій былъ, и монахъ—какихъ у васъ въ обители ни одного нѣтъ. А эта „Машечка" стала ко мнѣ по вечерамъ въ комнату ходить и цѣловаться. Она куда старше меня была, но еще ничего, недурна какъ будто,—да и что я понималъ? Ну, дальше-больше, она о томъ что мы женимся, съ полной увѣренностью говорила, у меня же разныя въ головѣ благородства, ну и женились, очень скоро. Слушаешь, о. Меѳодій?

О. Меѳодій молча, со значительнымъ видомъ, кивнулъ головой.

— Моя мать жила въ провинціи—умерла. Марьина тоже умерла невдолгѣ. Денегъ никакихъ не было. А у Марьи каждый годъ дѣти, да гадкія такія, больныя, все умирали, а она радовалась. Университетъ я сразу же бросилъ, поступилъ на желѣзную дорогу, сорокъ рублей получали, да квартиру—двѣ комнаты и кухня. Изо дня въ день и пошло. Уйду съ утра, работа глупая, каторжная, — приду—она оретъ, ругается, вонь...

Чѣмъ ни попадя въ меня швыряетъ, просто бѣшеная баба, такая злобная. Лицо даже масляное отъ злобы. И я сталъ понемногу ругаться. Прачешную у себя завела и язвитъ: „вотъ, молъ, интеллигентные люди какъ жену держатъ! Ужъ отольются тебѣ мои слезки, студентъ на патентъ!“ А потомъ грязныя слова пойдутъ.

О. Меѳодій покачалъ головой.

— Экъ она, бабья-то злоба! За то и хорошо въ монастырѣ, что нѣтъ ея тутъ, бабы!

Дементьевъ продолжалъ.

— Да что расписывать. Просто у меня въ головѣ началась какая-то тупость, понемножку сначала давило, потомъ все больше и больше. Надоѣла она мнѣ, такъ надоѣла!

Даже теперь, когда Марьи уже не было въ живыхъ, голосъ Дементьева сдѣлался рѣзкимъ и тоскливымъ.

— Одинъ разъ пришелъ домой; черезъ кухню—къ себѣ. Она за мной, съ мокрымъ полотенцемъ и утюгомъ. Утюгъ на столъ бросила, сама ко мнѣ, оретъ, деньги какія-то спрашиваетъ. Я и не разобралъ. Кричу: убирайся! А она меня мокрымъ полотенцемъ по лицу и утюгъ швырнула. Я этотъ утюгъ,—горячій былъ,—поднялъ да въ нее назадъ. И такъ ловко попалъ, прямо въ високъ, она упала, не мучилась нисколько.

— Ай-ай-ай! Господи Боже мой! Экій ты, Николай Павловичъ! Да что это? тебѣ бы давно ее, вѣдьму (прости Господи!) бросить и дѣло съ концомъ.

— Бросишь! Не шла она. Всюду говоритъ, за тобой, по закону. Не шла она никуда.

— Да! Дѣло! Можно сказать!

— Ну, а прислуга видѣла, что я не нарочно, и что она, Марья, первая въ меня утюгомъ шваркнула. Оттого меня и оправдали. Я-то самъ не оправдывался. Гово-

рилъ и на судѣ: „убилъ нечаянно, не думая—но не жалѣю; почему — потому что она мнѣ очень ужъ надоѣла“.

— Экій ты незадачный, Николай Павлычъ, — нерѣшительнымъ голосомъ произнесъ о. Меѳодій. — Баба злая тебя сгубила. Кабы хорошая жена попалась, жилъ бы теперь поживалъ, денежки наживалъ, служилъ бы тамъ, что ли...

Дементьевъ усмѣхнулся.

— А я вотъ разсудилъ, что все то же было-бы. Тутъ-то вся и загвоздка, что все то же. Ну, оказалась-бы жена получше, я бы съ ней не восемь, а восемнадцать лѣтъ прожилъ. Думаешь, съ другой женой и не ссорились бы? И не распускала бы она себя? И денегъ бы отъ меня не хотѣла? И дѣти бы не умирали? Ну было бы мѣсто получше, ну денегъ больше,—такъ все же не доставало бы. Все то же было бы, только длиннѣе, тягучѣе, и все бы шло хуже да хуже, потому что силъ бы меньше становилось да болѣзни бы пришли, а за ними смерть,—своимъ порядкомъ. Теперь, какъ повѣшусь, меня подъ кусточкомъ схоронятъ, а то бы хорошая жена памятникъ, въ родѣ вотъ Бронзовскаго, заказала. Такъ развѣ не все равно?

О. Меѳодій молчалъ.

— Ты этого, о. Меѳодій, не знаешь, а я тебѣ скажу, что насмотрѣлся я на разныя жизни, и все-то то же самое. Всякая жизнь—къ худу идетъ. Бываютъ тамъ радости по дорогѣ, а направленіе одно у всѣхъ—къ худу. Общее-то направленіе. Сначала, въ молодости, выдумаешь себѣ и то и се, не понимаешь, что къ худу, а какъ начнется,—да поймешь, тогда ужъ ау, не поскачешь. Ты говоришь „незадачный“. Ну, а Наполеонъ—слыхалъ про него? Кажется задачный былъ. А и у него

все, даже хорошее, къ худу шло; и пришло худое, и такъ и докатилось до послѣдняго худа.

— Да вѣдь жизнь-то длинна,—неувѣренно сказалъ о. Меѳодій.—Вотъ теперь избавленъ ты, Николай Павловичъ, отъ бабы этой, теперь и живи съ Богомъ. Начинай, коли грѣхъ-то не давитъ тебя.

— Какъ это начинать? Службу ѣхать искать? Жену новую высматривать? Чтобъ опять все въ родѣ того же пошло и къ тому же пришло? Нѣтъ ужъ, о. Меѳодій. Ужъ тянулся изо дня въ день неизвѣстно для чего, а ужъ больше не могу. Я за восемь лѣтъ всю жизнь прожилъ, которую другіе за пятьдесятъ проживаютъ. Ту же самую, только у нихъ жиже, а у меня гуще, ну не такъ надолго и хватило; понялъ я ее, жизнь-то матушку. Ты, о. Меѳодій, извини, тебѣ мірская жизнь далека, такъ ты и не разсуждай.

— Да что далека? Къ худу-то она, это правда твоя, къ худу всякая. Если разсудить, такъ ужъ гдѣ жъ къ хорошему? За то въ монастырѣ-то и благо намъ, что мы ужъ и не мечтаемъ, а сразу приготовляемся къ пріятію. А вотъ что скажи мнѣ, Николай Павлычъ. Вѣдь, можетъ, ты самъ не знаешь, а, можетъ, наслана на тебя теперь эта духота отъ того, что ты все-таки человѣка убилъ? Неужели никогда не каялся?

— Что велѣли—исполнялъ. А душой — не каялся. Просто вотъ и не думаю, что убилъ. Точно не убилъ.

О. Меѳодій задумчиво поглядѣлъ на темнѣющее небо и кашлянулъ.

— Такъ-таки и не было душевнаго раскаянія?—спросилъ онъ строго.

— Говорю тебѣ, точно и не убивалъ.

О. Меѳодій наклонился къ собесѣднику и проговорилъ таинственно:

— Значитъ, другъ любезный, ты никого и не убивалъ.

Дементьевъ удивился.

— А Марья?

— А Марьи—и не было никогда. Вотъ послушай, какія меня мысли однажды посѣтили. На духу не говорилъ, а тебѣ скажу. Есть притча въ Евангеліи, что посѣялъ сѣятель сѣмена добрыя, а врагъ пришелъ ночью и посѣялъ между ними плевелы. И взошли и тѣ, и другія, а сѣятель не велѣлъ вырывать плевелы, а чтобы росли пока вмѣстѣ. Плевелы-то—врага созданіе, такъ? А пшеница—Божіе. Вотъ и смекай. Всѣ вмѣстѣ ростемъ. Богъ-то создалъ человѣка съ душой,—неужели врагъ тоже душу можетъ создать? Онъ для виду только, для искушенія создалъ. Какъ будто люди ходятъ—анъ нѣтъ, плевелы, вражье созданье, марево одно, паръ, для божьихъ дѣтей искушенье. Они и не чувствуютъ себя, имъ все равно, лишь бы искусить да пропасть. Вотъ и Марья твоя такая была. Не Богомъ созданная. Искусила тебя и пропала.

Дементьевъ слушалъ-слушалъ внимательно, потомъ усмѣхнулся.

— Видишь ты, что надумалъ! Да эдакъ...

— Эдакъ, скажешь, мы съ кѣмъ что хотимъ, то и дѣлаемъ?—оживленно перебилъ его о. Меѳодій.—То-то, что нѣтъ! То-то, что не смѣемъ мы этого знать! Не дано—и не смѣемъ! Я, братъ, понимаю, что и тутъ, въ мысли этой, искушеніе! Я и таю ее, тебѣ только сказалъ, самъ не знаю зачѣмъ. Большое искушеніе! Теперь ужъ рѣдко когда вспомню,—а прежде все, бывало, смотрю на народъ, въ церкви или гдѣ, и думаю: который, молъ, изъ васъ настоящій, отъ Бога, а который вражье марево? Очень искушался.

— Да, — сказалъ Дементьевъ задумчиво. — Однако, пожалуй, лучше и не того... И такъ духота.

— А такъ-то меньше духоты, Ей Богу! Ты не смотри, что я монахъ захолустный, я очень разсуждаю. Напримѣръ, былъ у насъ такой случай въ городѣ,— давно ужъ—родила дѣвка ребенка и кинула свиньямъ живого. Сама признавалась, слышала, говоритъ, какъ косточки хрустѣли. Что жъ, по-твоему, ребенокъ этотъ настоящій былъ? Дѣвка виновата, ну а онъ-то, неповинный, за что на зубахъ свиныхъ хрустѣлъ? Страданіе-то его зачѣмъ? Говорятъ: какъ это Богъ терпитъ? А тутъ и терпѣть нечего, страданія-то и не было, а ребенокъ этотъ, по-моему, марево безчувственное, для дѣвкинаго искушенія: бросишь или не бросишь? Бросила, врагъ-то и радъ, что заглушилъ своей плевелой Божью пшеницу. Съ дѣвки-то спросится, какъ за настоящаго...—И съ тебя за Марью спросится!—вдругъ прибавилъ онъ неожиданно и горячо.—Она, можетъ, и не настоящая была, однако ты этого знать не смѣешь. Раскаянья у тебя нѣтъ, а вотъ донимаетъ же тебя тупость да духота. Сердце-то у тебя ужъ жизни не чуетъ. Къ своему худу подкатилось раньше времени.

— Чудной ты, о. Меѳодій!—сказалъ Дементьевъ.— Еще монахъ, а какія у тебя мысли. Да мнѣ теперь все равно. Самъ ты уразумѣлъ, что мнѣ ужъ не жизнь. Чего жъ испугался давеча, когда я сказалъ...

— Что удавиться-то хочешь? Это тебѣ опять искушеніе...

— Ну вотъ, мнѣ! Это, можетъ, тебѣ искушеніе. Ты уразумѣлъ—ну и не трогай, оставь. Я, можетъ, и самъ не настоящій, а? Можетъ, дьявольское марево? Что скажешь?

И Дементьевъ усмѣхнулся.

О. Меѳодій весь съежился и странно поглядѣлъ на него. Совсѣмъ стало темно, и лицо Дементьева едва бѣлѣло подъ сиренями. Оба замолкли и долго молчали. О. Меѳодію было не по себѣ.

Помолчавъ, онъ зѣвнулъ притворно и сказалъ:

— Пора, что-ли, въ домы. Свѣжо становится.

Дементьевъ не трогался съ мѣста и молчалъ. Потомъ сказалъ не громко:

— Видишь, отецъ. И поговорили мы съ тобою, а настоящаго сообщенія между нами не произошло. Каждый о своемъ.

— Нѣтъ, что жъ... Конечно, и тутъ онъ, дьяволъ, много виноватъ.

— Да... дьяволъ...—Дементьевъ опять помолчалъ.— Спрошу я тебя, отецъ: ты въ Бога вѣруешь?

— Что это, Господи! У монаха спрашиваешь! Въ кого же вѣрить еще! Вѣрую и исповѣдую.

— Вѣруешь. Ну и что жъ?

— Ну и ничего.

— Вотъ видишь—ничего. Вотъ она гдѣ бѣда, почему у насъ съ тобой сообщенія нѣтъ. Вы вѣруете—и ничего, жизнь себѣ ползетъ къ худу, вы только ушли отъ нея, мимо нея къ своему худу припали. А ужъ если бъ мы вѣрили, вотъ я бы, скажемъ, вѣрилъ—ужъ у меня бы не „ничего!“ Ужъ я бы не допустилъ, чтобъ оно все къ худу шло! Ужъ это бы у меня перемѣнилось!

— Чего перемѣнилось-то? Самъ говорилъ,—смерть-то твоя вѣдь все равно пришла бы?

— Смерть? Хорошо разсуждаешь, отецъ! Значитъ, не вѣришь, что, какъ тамъ у васъ, „смертію смерть поправъ?..“ И ты не вѣришь? Вотъ оно, „вѣрю—и ничего!“

О. Меѳодій смутился, кашлянулъ.

— Ну ужъ ты... Это я вѣдь твои же слова... А мы вѣримъ. Недостойны мы, конечно... Оттого и бываетъ нѣкоторое смятеніе ума, и страхи... Мы вѣримъ. Какъ же не вѣрить?

Опять они помолчали.

— Вотъ что, о. Меѳодій. Попрошу я тебя... Если случится... Если кончу я гдѣ жизнь... Постой, постой, довольно вѣдь мы толковали... Такъ вотъ, если я... Ты ужъ помолись за меня, какъ тамъ знаешь. Помолишься?

О. Меѳодій испуганно взглянулъ на собесѣдника и робко проговорилъ:

— Что жъ... Оно, конечно, не полагается...

— Не полагается? Не можетъ быть! Ну спроси, благословись! Настой, чтобъ позволили! Какъ же вамъ не молиться? Что жъ это?

— И многіе находятъ несправедливо. За кого жъ и молиться? Я благословлюсь у о. настоятеля... Бывали примѣры...—Да что ты, право, Николай Павлычъ! Грѣхъ-то, подумай! Вѣдь отвѣчать надо будетъ!

— Ну, оставь,—устало сказалъ Дементьевъ.—Ужъ перетолковали. Ночь поздняя. Пойдемъ покуда.

Они вмѣстѣ двинулись по темному кладбищу. Воздухъ былъ нѣжный, душистый: пахло весенней землей, тополевыми почками и еще какой-то грустной и томной сладостью,—такъ часто пахнетъ на кладбищахъ. Блѣдныя большія звѣзды задрожали вверху. Дементьевъ шелъ, опустивъ голову. Можетъ быть, онъ думалъ, что и весна—къ худу. Вѣдь кончится ея расцвѣтъ—осенью.

Когда друзья разставались, Дементьевъ еще разъ сказалъ о. Меѳодію:

— Ты прости, коли я напугалъ тебя. О чемъ просилъ—не забудь. Не думай, что я, можетъ, чортово марево: я, можетъ, и настоящій...

Не разъ еще сходились они подъ сиренями, но разговоры не налаживались. А черезъ недѣлю Дементьевъ, точно, повѣсился въ дальней рощѣ, у рѣки. Объяснили это тѣмъ, что онъ не имѣлъ средствъ къ существованію и страдалъ ипохондріей. О. Меѳодій со слезами просилъ о. настоятеля благословить его молиться за скончавшагося. О. настоятель былъ въ затрудненіи и обѣщалъ снестись съ епархіальнымъ преосвященнымъ. Неизвѣстно, чѣмъ это кончилось.

ТВАРЬ

Ночная идиллія

I

Главное свойство Саши-недотыки—или, иначе, Саши-баронессы—была ея постоянная, почти непрерывная, влюбленность. Десяти лѣтъ сдала ее какая-то дальняя „тетенька"—мастерицѣ на обученіе, и тамъ забыла. Впрочемъ и Саша забыла тетеньку. Жилось у мастерицы недурно, вѣроятно потому, что Саша сразу же, чуть не съ десяти лѣтъ, стала влюбляться. Въ кого попало, въ хозяйскаго кота, въ молочника, въ корсажницу-Лизу,—и почти не замѣчая измѣнъ. Влюблялась смутно, безъ пониманія, но было весело. А когда подросла и начались разговоры съ подругами, скверные разговоры чистыхъ дѣвушекъ, — влюбленность ея еще обострилась, стала рѣзче, понятнѣе, томнѣе,—и веселѣе. Впрочемъ, въ Сашѣ не было ухорства, и циническихъ разговоровъ она не любила, потому, что влюбленная, была именно томна.

Съ пятнадцати лѣтъ къ ея влюбленностямъ стала было примѣшиваться грусть и злость: не такъ уже казалось весело глядѣть изъ окошечка да вздыхать. Но черезъ годъ ее наконецъ соблазнилъ приказчикъ изъ виннаго склада, и все опять пошло очень весело. Вѣрнѣе сказать,—Саша соблазнила приказчика, а еще вѣрнѣе—

что и вовсе никакого „соблазненія“ не было. Просто пошла Саша подъ вечеръ за нитками и въ темныхъ воротахъ встрѣтила приказчика, который жилъ въ томъ же домѣ, и въ котораго она уже нѣсколько дней была влюблена. У нея подкосились ноги отъ любви и, прислонившись къ стѣнѣ, она только вымолвила: „ахъ“! Приказчикъ ее поцѣловалъ, а потомъ позвалъ прогуляться (дѣло было весной), на что Саша тотчасъ же согласилась. Гуляя, приказчикъ сказалъ Сашѣ, что недурно бы зайти въ Пекинъ, а онъ ее угоститъ пивомъ. Вотъ тутъ, сейчасъ за угломъ, и всѣ у него тамъ знакомые... Саша и на это тотчасъ же согласилась.

Но въ Пекинѣ приказчикъ, послѣ пива, поглядѣвъ на Сашино дѣтское, совсѣмъ круглое личико съ ямочкой на подбородкѣ, вдругъ разнѣжился, и оробѣлъ— и осмѣлѣлъ, и внезапно воскликнулъ:

— Нѣтъ, что это! Здѣсь намъ съ вами некультурно. И не слесарь я какой-нибудь, слава Богу! Жалованья на нашъ вѣкъ хватитъ. Ѣдемъ въ „Москву“!

Поѣхали въ гостинницу „Москву“ и тамъ ночевали въ хорошемъ номерѣ. Саша тонула въ блаженствѣ совершенной любви, закрывала глаза и только твердила, обнимая приказчика за шею: „охъ, миленькій! охъ, миленькій“! А приказчикъ, потрясенный Сашиной нѣжностью, миловидностью и покорной пылкостью, говорилъ не безъ растерянности, что „сроду еще не бывалъ такъ влюбленъ“.

На другое утро Саша пошла домой, къ мастерицѣ. Дѣло не обошлось безъ скандала и крика, но потомъ все уладилось. Саша молчала, довольная-предовольная. Приказчикъ подарилъ ей на прощанье двадцать пять рублей—знай нашихъ! Эти деньги Саша хотѣла припрятать, да потомъ какъ-то быстро извела.

Приказчикъ не могъ забыть Сашу. И опять пригласилъ въ „Москву“. Саша пошла, но уже была другая, не говорила „охъ, миленькій“! все торопилась домой и ушла изъ „Москвы“ въ одиннадцать часовъ.

Приказчикъ сталь приходить въ мастерскую, звать Сашу и скандалить. Хозяйка ругалась и даже пообѣщала прогнать Сашу.

— И живи, какъ хочешь. За то, что не связывайся съ мужиками.

Сашѣ понравилась мысль жить „самой по себѣ“. Раньше просто въ голову не приходило. Работала она удивительно хорошо, споро, чисто и ловко, порой не хуже главной мастерицы, но работать не любила. Скучно! Хорошо и работать, а когда можно—лучше не работать. И на слова хозяйки она разсудительно отвѣчала:

— Ну что жъ. Я отъ себя работу могу брать. А что вы меня мужикомъ этимъ попрекаете—такъ ну его! Я и смотрѣть на него теперь не хочу.

— Не хочу! А чего же онъ скандалитъ? Смѣетъ же скандалить съ тобой, да еще сюда лѣзетъ!

— Мало ли чего. Жениться на мнѣ хочетъ, вотъ что,—призналась Саша.

Хозяйка руками всплеснула.

— Жениться? Такъ что же ты еще! Жалованье какое, мѣсто, самъ видный какой! Честный, значитъ, человѣкъ. Говори слава Богу, дура!

Саша помотала головой и покраснѣла.

— Ну его. Замужъ... Чего захотѣлъ. Ну его.

Такъ хозяйка и не могла допроситься у Саши, чего ей еще надо. Саша мотала головой, отвертывалась, краснѣла и ничего не умѣла объяснить. Она въ это время была уже влюблена въ другого, въ молодого женатаго швейцара изъ дома, что на углу.

II

Вскорѣ Саша ушла изъ мастерской, наняла небольшую комнатку у механика за пятнадцать рублей и стала, когда придется и захочется, брать работу на домъ. У нея на первое время были деньги отъ тѣхъ любовниковъ, которые случались еще, когда она жила въ мастерской, а потомъ стали наплывать и новые. Такъ какъ Саша всегда была влюблена, нѣжна и цѣловала сладко, приговаривая хвалительныя, искреннія слова,— то всѣ ею оставались довольны и платили ей безъ неохоты. А такъ какъ Саша могла только безпрерывно переносить свою влюбленность со стараго на новаго, а когда не было никого на примѣтѣ—выходила вечеромъ на улицу, искала и находила, — то скоро ее записали проституткой и выдали ей особый билетъ, который Саша положила въ комодъ и вспоминала о немъ, лишь когда это было нужно.

Явились у нея и подруги. Ихъ Саша не чуждалась, но не любила особенно. Какія-то онѣ грубыя, злыя, громко смѣются, и часто пьяныя. Саша не любила пьяныхъ. И рѣдко влюблялась въ пьянаго, а не влюбится— ни за что съ нимъ не пойдетъ, и къ себѣ не приведетъ. За это подруги и прозвали ее „недотыкой“ и „баронессой“. Когда случалось ей поѣхать съ кѣмъ-нибудь вдвоемъ, или въ компаніи,—она и сама пила, но не много, только чуть повеселѣетъ; а завидитъ, что ея „мужчина“ напивается,— она сейчасъ къ нему, обниметъ, уговариваетъ: „ахъ, миленькій! миленькій ты мой! Ну что тебѣ пить? Захмелѣешь, ничего и не увидишь! Вонь отъ него только, отъ вина-то! А я-ли тебя не люблю, батюшка ты мой бѣлый! Дай поцѣлую милаго“! И уговоритъ иного. — Шляпки Саша носила съ перьями, большія,

чтобъ не отличаться отъ подругъ; но румяниться не соглашалась, да и не было нужды: такія у нея были крѣпкія. розовыя щеки. Если кто, присматриваясь, встрѣчалъ Сашу, то всегда изо всѣхъ ее выбиралъ,—только бы она захотѣла. Ямочка на подбородкѣ; улыбается, какъ барышня.

Многіе ее знали и привязывались къ ней, но если кто послѣ перваго раза опять приходилъ — Саша была недовольна, потому что уже не чувствовала влюбленности. Развѣ вдолгѣ придетъ, когда Саша его забудетъ.

Были и такіе, которые ходили къ Сашѣ просто въ гости, уже зная ее, зная, что она больше не влюблена и принимая это безъ огорченія; одинокіе, холодные и немножко голодные люди, студенты изъ бѣдненькихъ, приказчики—особенно если безъ мѣста; чиновники маленькіе. Саша, когда была свободна, радостно принимала ихъ, поила чаемъ, а то и пивомъ,—бутылки двѣ-три поставитъ, въ случаѣ сами не принесутъ. Она была не жадна, и деньги у нея всегда водились, хотя работала она рѣдко. Приметъ гостей, разсказываетъ имъ о себѣ, угоститъ,—и все это чинно, нѣжно, весело, — совсѣмъ барышня. Вотъ такихъ привязчивыхъ, какъ первый приказчикъ, — она терпѣть не могла. Иные съ ума сходили,—жениться хотѣли, всячески упрашивали: имъ Саша порой отвѣчала и грубо. Коли не понимаютъ—такъ что жъ! Куда это замужъ?

Въ домъ Саша не пошла. Ее многія уговаривали, и подруги кой-какія, и хозяйки бывали. Саша соблазнялась, что тамъ много разныхъ, всякихъ мужчинъ каждый день, и рѣдко придетъ бывалый; однако, подумавъ, не пошла. Деньги пока есть; переведутся на время—можно поработать. Оно не часто — не скучно. А работница она хорошая; ее по магазинамъ и мастерскимъ знаютъ. А въ домахъ-то этихъ—дебоши одни...

— Нѣтъ, я ужъ лучше на волѣ,—отказывалась Саша.— Я этого не люблю. Я тихую жизнь предпочитаю. И ужъ если полюблю кого, — такъ чтобы онъ да я, а больше мнѣ ничего не нужно.

— А новенькихъ ты, Сашка, не любишь? — спрашивала подруга. — Я, вотъ, какъ была въ одномъ дому, такъ мнѣ часто мамочкины дѣтки попадались. Реалистикъ тамъ, гимназистъ, или кто... Очень интересно. Привезутъ это его товарищи—и пошла, катай! Нальютъ его—хорохорится... А то реветъ, ей Богу! Къ вольнымъ то новенькихъ рѣдко везутъ. Не любишь?

— Не знаю... — задумчиво отвѣчала Саша. — Ну что эти дебоширства...

— Эхъ ты... недотыка! И за что тебя, дрянь, мужчины любятъ? Холодная ты... темпераментомъ, то-есть.

— Нѣтъ, я не холодная. Я не холодная. Я ужъ кого люблю — ужъ такъ люблю...

— Люблю! Дрянь и есть. Намъ только о любви и говорить, пока насъ съ любовью то въ рыло не съѣздили. Намъ не о любви, а чтобъ пожрать да сорвать, а коли что—такъ завьемъ горе веревочкой, самимъ наплевать!

— Какое же горе?—спросила Саша съ недоумѣлымъ видомъ и поглядѣла на собесѣдницу.

Та поглядѣла на нее. Такъ онѣ и разошлись, и не поняли другъ друга.

III

Вечеромъ, въ девятомъ часу, къ Сашѣ пришелъ Александръ Михайловичъ, не одинъ.

Саша была дома и не собиралась выходить. Было сиверко, да и дни стояли праздничные: а въ праздники пьяныхъ много. Къ тому же къ Сашѣ третьяго дня

пріѣзжалъ неожиданно красивый офицеръ, въ котораго она сразу влюбилась. Офицеръ намѣревался было сначала провести у Саши часъ-два, но потомъ она такъ ему понравилась, что онъ остался ночевать, говорилъ, что хоть очень ему ее рекомендовали — однако этого онъ не ожидалъ, оставилъ порядочно денегъ и обѣщался опять пріѣхать.

Саша деньгамъ утромъ была рада,—у нея онѣ подходили къ концу,—а на обѣщаніе снова пріѣхать,—промолчала; ей было весело и радостно отъ того, что было, и что оно вышло такъ хорошо и такъ отлично кончилось; а тому, что еще будетъ—она радоваться не умѣла: вѣдь она не знала, что будетъ.

Отъ воспоминаній объ офицерѣ теперь осталась въ Сашѣ лишь одна смутная золотая волна, которая уже незамѣтно претворялась въ такое же смутное, но несомнѣнное предчувствіе новой влюбленности, неизвѣстной. Предчувствіе еще даже не тревожное, а только нѣжное,—томное, тайное, скромное и стыдливое.

Старому пріятелю, Александру Михайловичу, Саша была попросту рада. И ему какъ-то однажды твердила она, замирая: „миленькій... охъ, миленькій ты мой! Батюшка ты мой бѣлый! Князь ты мой Серебряный! Потемкинъ ты мой... мой... Таврическій“! (Саша любила почитывать романы, особенно изъ русской исторіи, гдѣ любовь чиста и военные храбры). Однако это все было такъ давно, что и самъ Александръ Михайловичъ едва ли о томъ помнилъ. Заходилъ онъ къ Сашѣ нерѣдко, Саша любила съ нимъ поговорить и считала „умнымъ“.

Александръ Михайловичъ вошелъ, потирая съ мороза свои тонкія, узкія, удивительно красивыя руки и щурясь. Онъ былъ въ заношенной и грязной студенческой тужуркѣ, пальто онъ снялъ тоже старое и холодное.

— Дома, Сашурка? И не собираешься? Ну ладно. Такъ принимай гостей. Я тебѣ земляка приволокъ. Вишь какой франтъ! Петербургскаго ничего еще не знаетъ. А ужъ коли смотрѣть Петербургъ—такъ розу нашу махровую, Сашу-баронессу—первое! Потому—игра природы, совершенство! Кто это сказалъ! Лѣсковъ, что-ли, чортъ его дери?

Александръ Михайловичъ былъ подъ хмѣлькомъ, но слегка.

Пилъ онъ вообще много, дико, — иногда пропадалъ изъ Петербурга по мѣсяцамъ, возвращался, угрюмо учился—и опять понемножку начиналъ пить. На какомъ курсѣ университета онъ былъ — онъ и самъ не всегда зналъ. Терялъ года изъ-за разныхъ мелкихъ исторій и пьянства, выходилъ, опять поступалъ, опять выходилъ. Онъ былъ изъ хорошей семьи, издалека, но родныхъ давно забросилъ. Кое-какія деньги они ему изрѣдка присылали. Зарабатывать онъ почти ничего не могъ.

— А мы съ угощеніемъ нынче, — продолжалъ Александръ Михайловичъ.—Гдѣ корзина? Давай, тащи, помогай, Нилъ!

— Ужъ это напрасно, право,—сказала Саша, съ неудовольствіемъ поглядѣвъ на корзину пива. — Ну что хорошаго? Вы, вонъ, и такъ ужъ подъ шафе. И молодому человѣку нѣтъ никакой особой пріятности въ пьянствѣ. Развѣ легонькаго принесли бы, да у меня ромъ былъ къ чаю.

И Саша быстро, изъ подъ рѣсницъ, посмотрѣла на Нила. Александръ Михайловичъ захохоталъ.

— А, ну тебя съ чаемъ! Знаю, что нѣжненькая, питій этихъ, да „безобразіевъ“ не любишь... Тебѣ не требуется... Ну, а къ нашему рылу и пиво за душу милу! Отъ ромца то я отвыкъ по скудости средствъ, а Нилъ,

небось, и не привыкъ! Да куда ни шло, давай и ромъ, коли есть, только чаю не надо.

Онъ опять захохоталъ. Ужасно къ его лицу не шелъ смѣхъ. Лицо было худое, больное и печальное. Лѣвый глазъ изрѣдка дергался нервнымъ тикомъ. Жидкая рыжеватая бородка. И все-таки лицо было красивое и породистое.

— Какіе вы, право, сегодня нехорошіе!—укоризненно сказала Саша, однако, полѣзла въ шкафикъ за ромомъ, пока гости устраивались у стола, подлѣ окна, и Александръ Михайловичъ вынималъ бутылки изъ корзины.

У Саши въ комнатѣ все было чистенько и аккуратно. Комодъ застланъ вязаной салфеткой, въ углу у окна покрытая машина. На стѣнѣ двѣ фотографіи — самой Саши; чужихъ фотографій Саша не любила и не хранила. Давали—теряла. На первомъ портретѣ Саша была снята дѣвочкой, съ круглымъ прекруглымъ личикомъ и ребячески-искренними глазами; на второмъ — совершенно такая же Саша, съ такимъ же круглымъ личикомъ и дѣтски-искренними глазами, только въ большой шляпкѣ и со взбитыми волосами. Это былъ теперешній портретъ, но разницы съ дѣтскимъ только и оказывалось, что шляпка да волосы. Поближе къ углу, къ иконамъ, висѣлъ третій портретъ—но уже не Саши, а самаго извѣстнаго въ Россіи батюшки, отца I., и онъ тоже смотрѣлъ со стѣны искренними, дѣтски-невинными глазами.

Кровать въ противоположномъ углу была скрыта розовой чистой занавѣсочкой. Кровать у Саши была отличная, узорная, отъ Саннъ-Галли: ей разъ подарили, и она ее полюбила: хотѣла какъ-то продать, да пожалѣла,

— Дайте хоть скатертку постелю,—сказала Саша и, быстро отставивъ лампу на комодъ, постелила скатерть.

— Все же приличнѣе. Вотъ вамъ и стаканы. Только, право, Александръ Михайловичъ, вы бы не очень... И что молодой человѣкъ скажутъ...

И она снова, тѣмъ же быстрымъ взоромъ изъ подъ рѣсницъ, взглянула на „молодого человѣка", который еще не раскрылъ рта.

— Нилъ что скажетъ? А что я захочу, то и скажетъ. Не я его, а онъ меня боится. Я, Сашенька милая, его шапронъ, онъ мнѣ довѣрился—понимаете? Ибо я опытенъ, а онъ неопытенъ, я его веду, и ужъ я его не обману. Этотъ юноша, надо вамъ сказать, мой землякъ; ну какъ онъ, однако, розыскалъ меня—уму непостижимо! Вращаемся мы, можно сказать, въ различныхъ кругахъ общества...

— Я справлялся, — произнесъ вдругъ Нилъ неожиданно густымъ басомъ и очень покраснѣлъ.

— Видите, искалъ, справлялся... Тамъ это землячество очень цѣнятъ. Искалъ и нашелъ. Трогательно. Ну какъ не принять участія? Принялъ. Вижу, юноша одинокій, славный... Славненькій, вѣдь, Саша, а?

— Они красивые...—сказала Саша и застыдилась.

— Ага, понравился! Я такъ и зналъ. Нынче на праздникахъ договорились мы съ нимъ до дѣла... Да что, говоритъ, да у насъ, говоритъ... Да и я самъ, говоритъ... Чѣмъ я не какъ всѣ, говоритъ... Гляжу на него—косая сажень въ плечахъ, ядренъ да свѣжъ... яблочко наливное. На щеки-то посмотри... Я и думаю—что, въ самомъ дѣлѣ? А самъ — ребеночекъ, ему еще тюрлю-мюрлю надо... Коли что—испугаешь пожалуй! Тутъ меня и осѣнило—повезу къ Сашкѣ! Вотъ гдѣ таится погибель его! Кто это сказалъ, дери его чортъ?

— Пушкинъ Александръ. „Пѣсня о вѣщемъ Олегѣ",— проговорилъ юноша и снова умолкъ. Краснѣть сильнѣе онъ не могъ.

Саша отлила пива изъ его стакана въ свой.

— Ужъ и я съ вами выпью.

— Те-те-те!—замѣтивъ ея маневръ, крикнулъ Александръ Михайловичъ и долилъ изъ новой бутылки стаканъ Нила.—Пить пей, да другихъ не обижай. Ты, Нилъ, ее не слушай. Тяни пивцо, еще веселѣй станетъ. Она, Сашка, заминдальничаетъ — такъ и переминдалитъ, дорого не возьметъ. Да она у насъ единственная. Въ ней, знаешь, всѣхъ загадокъ разрѣшенье и разрѣшенье всѣхъ цѣпей! Кой дьяволъ это сказалъ?

Но ни Саша, ни самъ Нилъ не знали. Александръ Михайловичъ продолжалъ, откупоривая, съ усиліемъ, тонкими пальцами четвертую бутылку:

— Ты что, Сашка, думаешь: онъ университантъ?

— Нѣтъ, я вижу... У нихъ воротникъ не синій... То есть синій, да темный, бархатный. Не университетскій мундиръ. Я тѣ знаю. И молоды они очень.

Она долго, какъ бы разсматривая, поглядѣла на Нила.

— То-то знаешь. А духовный университетъ знаешь? Слыхала? Это, братъ, вкусомъ потоньше. Да этого ты не расчухаешь, говори тебѣ не говори. Ты лучше на свѣжесть то обрати вниманіе — прямо съ вѣточки. Съ волжскаго приволья. Отъ него еще рыбкой да тинкой пахнетъ. Ты его у меня не забижай. Да, ты... ты его въ лучшемъ видѣ „какъ всѣ“ сдѣлаешь! Къ тебѣ везъ Одно только... Эхъ, Сашка ты, баронесса ты! Жалко мнѣ мальца.

Это было весьма неожиданно, и Саша недовольно пожала плечами, тѣмъ болѣе, что Александръ Михайловичъ видимо хмелѣлъ.

Нилъ сидѣлъ неподвижно, большой, широкій, съ тугими четыреугольными плечами. Красныя щеки, не покрытыя даже пухомъ, были крѣпки, каріе глаза на вы-

катѣ, масляные, невинные, восхищенные, глядѣли застѣнчиво и радостно. Саша сидѣла съ нимъ рядомъ, облокотившись на столъ, и уже почти не отрывая взора смотрѣла на студента.

— Чтожъ вы? Кушайте, понемногу ничего. Я, вотъ, отопью отъ васъ, а то Александръ Михайловичъ все подливаютъ. Вы на нихъ не смотрите. Что за примѣръ? Они завсегда хмельные...

Александръ Михайловичъ услышалъ послѣднія слова; и внезапно и мгновенно разъярился.

— Не смотрѣть? Не примѣръ? Вонъ оно куда пошло! Нилъ, ты у меня не забывайся. Отвѣчай: нравится она тебѣ?

Нилъ молчалъ.

— Да говори мнѣ, дубина, коли спрашиваю! Нравится?

— Что жъ, скажите, — одобрительно и горячо шепнула Саша.

— Я скажу. Напрасно вы думаете, Александръ Михайловичъ... Я и говорю. Мнѣ онѣ въ крайней степени нравятся. Я чрезвычайно цѣню ваше заботливое вниманіе ко мнѣ, Александръ Михайловичъ, принимая во вниманіе, что...

Тутъ Нилъ немного спутался, непривычно разгоряченный и отуманенный, однако справился и закончилъ:

— И я совершенно увѣренъ, Александръ Михайловичъ, что онѣ не имѣли никакѣйшаго желанія васъ обидѣть, указывая на васъ, какъ на примѣръ, которому я не долженъ слѣдовать.

Александръ Михайловичъ зло усмѣхнулся.

— Нравится! Понравилась! Ну еще бы! Тюрлю-мюрлю и сантиментъ! Баронесса! Тебя, Сашка, и спрашивать нечего. Вижу, угодилъ. Вся разошлась, какъ пареная. У

тебя, какъ у кошки, лицо короткое. И глаза такіе-же. Понравился Нилка! Да... А вотъ возьму и увезу его. Только ты его и видѣла.

Саша вскинула глазами.

— Это почему-же? Что вы самодурничаете-то?

— Испугалась. Вцѣпись, вцѣпись въ меня! А все-таки увезу. Дуракъ я и скотъ былъ, что привезъ. Почти что трезвый привезъ. Почти что трезвый привезъ, а теперь вотъ выпилъ, такъ и вижу. У меня у пьянаго мысль свѣжѣе.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю! мерси!—сказала Саша не безъ раздраженія.—Увезете—куда повезете?

— А куда надо! Гдѣ мнѣ его не жалко будетъ, вотъ куда! Къ Глафирѣ-Дырявой повезу, къ Людмилкѣ-Черной...

— Къ хабалкамъ-то этимъ пьянымъ, къ дрянямъ-то!—воскликнула Саша и даже поднялась со стула. Она была возмущена, оскорблена и въ голосѣ у нея задрожали слезы.

Александръ Михайловичъ взглянулъ на нее пьяными, холодными глазами.

— Къ дрянямъ? Вѣрно; дрянь. А все почище тебя. Потому что самая-то послѣдняя дрянь—ты.

Саша было онѣмѣла отъ гнѣва. Она привыкла слышать брань, но тутъ ее ругали ни за что, непонятно за что, и—Александръ Михайловичъ, который былъ къ ней даже почтителенъ по-своему; и еще ругали въ присутствіи любимаго человѣка, съ угрозой отнять его. Она вся вскипѣла было, — но только на мгновенье: природная робость и нѣжность побѣдили, и она сказала:

— Богъ вамъ судья, Александръ Михайловичъ. За что стали обижать? Я васъ не трогала. Хмельны вы, вотъ и ругаетесь зря.

И повернулась къ Нилу, сѣла опять, и, въ первый разъ обнявъ его, несмѣло, осторожно, точно влюбленная дѣвушка, прибавила тихонько:

— Вы не слушайте его, миленькій, право... Ну что они городятъ? Это пиво это поганое въ нихъ говоритъ. А вы не слушайте. За то я и ненавижу это пьянство. И не ѣздите нынче къ кому тамъ... Онѣ такому молодому человѣку не годятся. Дебоши одни грязные. А у меня ужъ такъ: ужъ кого я люблю, миленькій, такъ ужъ такъ люблю, такъ люблю... Ужъ я вся тутъ.

Александръ Михайловичъ какъ будто успокоился, прослушалъ Сашу, криво усмѣхаясь, и сказалъ:

— Что жъ, пой птичка... А все-таки мнѣ рта не заткнешь. Ты, душа моя, самая величайшая дрянь, — и хуже ты Людмилки-Черной, и меня хуже, и всякой послѣдней халды и пропойцы... Потому что и онѣ, и всѣ мы — люди, а ты—тварь. А зачѣмъ тварь въ человѣческомъ образѣ? Это—дрянь, когда она въ человѣческомъ образѣ. Этого почти терпѣть нельзя.

Нилъ, между тѣмъ, осмѣлѣвъ отъ непривычнаго пива и уже совсѣмъ непривычной близости, сжалъ Сашу въ объятіяхъ, но не соразмѣрилъ силъ и сжалъ слишкомъ крѣпко. Саша невольно и блаженно охнула. Но какъ сквозь облако она все-таки услышала слова Александра Михайловича. Они теперь совсѣмъ не сердили ее, только были непонятны. А Нила онъ ужъ не увезетъ! И она даже заинтересовалась:

— Чего это такъ ругаетесь? Довольно глупо. Я—тварь, а тѣ не твари? Что онѣ винище жрутъ, да скандалятъ, а я съ вами безобразничать не хочу, за то я тварь?

— Совершенно вѣрно,—почти спокойно подтвердилъ Александръ Михайловичъ. — То ты и не пьешь, что ты

тварь. Гдѣ жъ ты видѣла, чтобъ животныя пьянствовали? — Онъ усмѣхнулся своей плоской шуткѣ. Саша искренно захохотала.

— Вотъ такъ ловко! Вотъ такъ вывелъ съ пьяныхъ глазъ! Помолчите ужъ!

Но Александръ Михайловичъ сказалъ:

— Нѣтъ, это что; но ты не воображай, я серьезно. И ты послушай, Нилъ, коли еще не совсѣмъ вспотѣлъ. Я говорю—звѣри не пьютъ, они такъ, трезвые... И она не пьетъ, а такъ. Звѣрямъ не нужно въ себѣ ничего раньше убить, отшибить,—а намъ, людямъ, нужно. Нужно человѣка сначала заморить, обезпамятить, а какъ звѣрь одинъ останется, —ну тогда можно. Тогда лѣзь, развратничай... тогда еще ничего. Саша опять обидѣлась.

— Это вотъ другіе развратничаютъ... Меня не приравнивайте. Слава Богу, еще понимаю, о чемъ говорю. Да что бы я, да безъ любви... Ужъ если я люблю, ужъ такъ люблю...

— И звѣри, душенька, никогда безъ любви... Что имъ? Люблю—и лѣзу; не люблю—не лѣзу. Очень просто. Къ другимъ тебя не приравнивать? А что жъ ты, какъ любишь? Какая твоя такая особенная любовь? Кончается-то чѣмъ? Такъ же вы... Вотъ тебѣ и вся любовь. „Миленькій“, да „миленькій“ приговариваешь? Это чья-то ошибка, что тебѣ даръ слова данъ. Не нужно тебѣ этого. Поѣдемъ, Нилъ! — кончилъ онъ вдругъ неожиданно и ударилъ рукой по столу.—Мерзись съ человѣкомъ лучше, да не со звѣрихой. Ѣдешь?

Нилъ молчалъ.

— Нну... поѣдешь. А я пока пива еще...

Онъ налилъ, немного плеская, стаканъ.

— Не слушаете? А вы послушайте. Нилъ, пусть я пьянъ, но я знаю, что я пьянъ, мерзокъ, грязь во мнѣ...

И топчу да тискаю въ себѣ человѣка... И всѣ эти Людмилки да Глафирки пьютъ да тискаютъ, а человѣкъ въ нихъ все-таки полуудавленный стонетъ, онѣ и мучаются сквозь угаръ, и знаютъ, что онѣ убили человѣка, и что твари... А посмотри на нее: она ничего не знаетъ, какъ звѣрь про себя не знаетъ, что онъ звѣрь. Говорю! И утверждаю! — онъ опять ударилъ кулакомъ по столу.— Утверждаю: звѣрямъ свойственно... не насильничаютъ они себя, и благо! А человѣку несвойственно! То и шарашитъ онъ себя,—и все таки мучится, потому что тошнитъ его отъ звѣрства! Да, несвойственно!

Нилъ одурманенный все-таки опомнился отъ этого крика и пролепеталъ, какъ бы извиняясь:

— Что вы, Александръ Михайловичъ... Это вѣдь, такъ сказать, законъ природы...

— Законъ?! Природы?!—заоралъ Александръ Михайловичъ – Онъ нетвердо поднялся со стула. Печальное, желтое, слегка поддергивающееся лицо его было даже страшно. Впрочемъ ни Саша, ни юный Нилъ этого не замѣтили.—Законъ природы! Много ты знаешь, щенокъ, о законахъ природы! Мы, что ли, ихъ выдумали, чтобы ихъ на вѣчныя времена записывать! Вонъ кто-то сказалъ—чортъ его подери — что въ допотопныя времена люди жвачку жевали и отрыгали. Всѣ слѣды остались въ кишкахъ. Не законъ природы это былъ? Законъ, и теперь законъ для барановъ, а ну-ка ты, отрыгни? Не хочешь, небось! А тутъ не жвачка, дьяволъ ее возьми-тутъ все тѣло человѣческое плачетъ да стонетъ отъ тошноты и пакости, и все равно, каждый ли день съ разной, или десять лѣтъ съ одной — это ужъ, братъ, коль въ корень смотрѣть—все равно! Тутъ другъ друга мерзимъ да топчемъ, и сами про то знаемъ, потому что насквозь это чувствуемъ, тѣломъ самимъ человѣческимъ

чувствуемъ, не душой одной, тѣломъ—слышишь? Оттого и дурманимъ его чѣмъ ни попадя... Безъ дурмана, безъ полубезпамятства, безъ человѣкоубійства — знаешь?— никто теперь не соединится эдакъ ни съ какой женщиной, потому что не можетъ... Несвойственно ему, — не нормально это ему больше, слышишь? Такому, какъ онъ есть... Ну и убиваютъ человѣка... А больно убивать, Нилъ... Все оживаетъ, никакъ не добьешь...

Онъ грузно опустился на стулъ.

— Ей ничего не больно... — онъ указалъ головой на Сашу. — Ей... нормально... Она — тварь... Я ее не осуждаю... Только зачѣмъ она въ образѣ человѣческомъ? Съ людьми зачѣмъ?..

Саша оторвалась отъ Нила.

— Вы бы пошли уснуть, Александръ Михайловичъ... Право. Я скажу, васъ проводятъ... Подите, голубчикъ мой...

— Спать? Да ты думаешь, я пьянъ? Дура! И я дуракъ, что говорилъ съ тобой. Я еще покажу, какъ я пьянъ. Эй, Нилъ! Одѣвайся! Ѣдемъ! Я тебя свезу... будешь какъ всѣ... Законъ природы... Дурманься, мучайся, грязь хлебай, вой, пой, ори, скандаль,—и мучайся, а не вѣрь твари, что ты тварь... Ишь ты, чинно, благородно, съ любовью... Любовь! До сихъ поръ про это — „любовь“ говорятъ! Ѣдемъ. Нѣтъ хуже грѣха—человѣкъ со звѣрихой!

Шатаясь, Александръ Михайловичъ подошелъ къ двери, нашелъ свое пальто на сундукѣ и напялилъ его.

— Ну? Нилъ! Тебѣ говорю!?

Но Нилъ, видя, что Александръ Михайловичъ совсѣмъ пьянъ, осмѣлѣлъ окончательно.

— Нѣтъ ужъ, Александръ Михайловичъ, извините, я съ вами не поѣду. Поѣзжайте вы домой и засните, по-

жалуйста. Вы дѣйствительно выпили. Это, дѣйствительно, безобразіе нѣкоторое.

Александръ Михайловичъ остановился, держась рукой за дверной косякъ.

— Такъ не поѣдешь со мной?—спросилъ онъ вдругъ упавшимъ голосомъ.—Останешься?

— Останется, останется,—сказала Саша поспѣшно.— Идите, Богъ съ вами.

Александръ Михайловичъ постоялъ еще, посмотрѣлъ.

— Останешься?—Повторилъ онъ печально и растерянно. — Ну... останешься. Ну... все равно. Простите меня.

И вышелъ. Саша у дверей послушала, вышелъ-ли онъ на лѣстницу и потомъ вернулась къ студенту.

— Богъ съ нимъ, хмельной человѣкъ,—проговорила она однимъ поспѣшнымъ вздохомъ и тотчасъ же, вся горячая, нѣжная, съ посвѣтлѣвшими глазами, безмысленно-прозрачными, склонилась и прижала губы къ губамъ Нила. Это были его первые поцѣлуи. Они были долгіе-долгіе, и между ними, отрывая на мгновенье уста, Саша шептала съ блаженнымъ нетерпѣніемъ:

— Миленькій... охъ, миленькій... охъ, миленькій ты мой...

СВѢТЛОЕ ОЗЕРО

ДНЕВНИКЪ.

8 іюня 1902

Сидѣли сегодня вечеромъ на балконѣ, у насъ на дачѣ, и мирно разговаривали о предстоящемъ путешествіи „въ страну раскольниковъ“. Молодой профессоръ В., отчасти знакомый съ тѣми мѣстами, сказалъ:

— Поторопитесь. Вотъ отвѣтъ изъ Н., отъ моего пріятеля, тамошняго протоіерея, отца Леонтія, которому я писалъ о вашемъ намѣреніи съѣздить на Свѣтлояръ, къ „невидимому граду Китижу“. О. Леонтій пишетъ, что на берегахъ Свѣтлояра каждый годъ бываетъ собраніе старовѣровъ различныхъ толковъ въ ночь съ 22 іюня на 23. Всю ночь происходятъ молебствія и собесѣдованія. Народу собирается тысячи. Ѣздятъ и православные миссіонеры изъ Н., а также изъ окрестныхъ городовъ. На зарѣ, по старинному преданію, и видятъ „достойные“ таинственный городъ отраженнымъ въ озерѣ, и слышенъ бываетъ по водѣ тихій звонъ колоколовъ.

Преданіе это извѣстно. Но многіе думаютъ, что „градъ Китижъ“, какъ Атлантида, скрылся подъ волнами Святого Озера. Повѣрье раскольниковъ не таково. Городъ, съ его церквами и соборами, скрылся только отъ глазъ людскихъ, когда подошли къ стѣнамъ его полчища татаръ. Церкви превратились въ холмы. И не городъ, а

лишь отраженіе города, стоящаго на берегу, видятъ „достойные“ въ тихихъ водахъ Свѣтлояра.

Сколько сотенъ лѣтъ собираются къ нему вѣрующіе въ свѣтлую, лѣтнюю ночь! Тихо притекаютъ, сами врядъ ли понимая, зачѣмъ. Такъ повелось.

До Свѣтлояра далеко. Надо торопиться, чтобы попасть на собраніе, послушать, какъ люди говорятъ о вѣрѣ и какъ молятся.

15 іюня

Ѣдемъ. Въ Петербургѣ было пасмурно, пыльно, холодно и пусто. Петербуржцы разъѣхались, кто куда, больше заграницу. Всю Европу можно проѣхать въ Sleeping'ѣ. Какъ-то мы поѣдемъ триста верстъ въ тарантасѣ по заволжскимъ „лѣсамъ“!

17 іюня

Весь день пробыли въ городѣ X. Недурной, тихій городъ. Осматривали древнія церкви. Очень хороша церковь Ильи Пророка. Она только что возстановлена мѣстнымъ городскимъ головою, ожидается освященіе. Въ томъ же стилѣ и церковь Іоанна Предтечи, за городомъ. На стѣнахъ, по галлереямъ, фрески,—почти все изъ Апокалипсиса. Очень часто изображеніе Іоанна съ длинными, перистыми крыльями.

У Предтечи насъ встрѣтилъ и давалъ намъ объясненія пожилой священникъ, съ пріятнымъ лицомъ, немногословный и привѣтливый, о. Іоаннъ. Вечеромъ мы обѣдали у гостепріимнаго, слишкомъ любезнаго губернатора, который, между прочимъ, разсказалъ намъ о замѣчательной дѣятельности этого священника. Живетъ онъ въ пригородѣ, среди бѣдноты и рабочаго люда, съ которымъ въ постоянномъ общеніи (у него и школа, и

пріютъ). Изъ среды рабочихъ же онъ выбралъ нѣсколько женщинъ, двадцать или двадцать пять, извѣстныхъ и испытанныхъ, и поручилъ сообщать ему постоянно, гдѣ, въ какой семьѣ, въ чемъ какая нужда. И онъ всегда, по словамъ губернатора, является во время—и туда, гдѣ умеръ ребенокъ, не на что купить гробъ, и туда, гдѣ пьяный мужъ бьетъ жену, за которую никто не смѣетъ заступиться, гдѣ боленъ человѣкъ и потерялъ работу. Его знаютъ, любятъ и слушаютъ. Довѣріемъ его гордятся. Онъ имъ—какъ свой.

Вечеромъ мы уѣхали, на большомъ пароходѣ, въ Н. На обратномъ пути еще будемъ въ Х. Погода не жаркая. Лѣсистые, къ вечеру лиловые, берега плоской-плоской рѣки. Съ обѣихъ сторонъ мелькаютъ пятикупольныя церкви и церковки. Куполики остренькіе, луковками золотые, серебряные, зеленые.

Влажно, мирно, просторно, сонно, скучно—и хорошо.

19 іюня

Вотъ мы и въ Н. Приземистый городъ, суетливый, какой-то распашной, гремучій и орущій, подъ желтымъ утреннимъ солнцемъ. Поѣхали въ гостиницу „Петербургъ“, въ нижней части города. Громадныя комнаты, купеческія, пышно-грязныя.

Не то ѣсть хочется, не то спать. Ложусь спать, пока неутомимый спутникъ мой отправляется изыскивать средства къ путешествію, на лошадяхъ въ уѣздный городъ С., откуда уже можно будетъ ѣздить и по раскольничьимъ скитамъ, и отправиться на субботнюю ночь въ село Владимірское (въ верстѣ отъ Владимірскаго—Свѣтлое озеро).

Губернатора въ городѣ не было. Его чиновникомъ оказался сынъ извѣстнаго заволжскаго писателя-рома-

ниста М., милый, умный, тихій человѣкъ, хорошій художникъ. Онъ хотѣлъ ѣхать съ нами, отлично зная „Лѣса“ и „Горы“, описанные его отцемъ. Устроивъ наше завтрашнее отправленіе—пришелъ къ намъ, и мы долго бесѣдовали о лѣсныхъ жителяхъ Заволжья и о скитскомъ разореніи начала прошлаго столѣтія.

Передъ обѣдомъ поѣхали къ протоіерею о. Леонтію, тому самому, который написалъ о сборищѣ 22 іюня. Круто, жарко. Улица—захудалая, булыжная, варварская. То-есть она такъ называется—Варварская.

Домикъ о. Леонтія—свѣтленькій, новенькій, весь залитый солнцемъ. Долго ждали въ сѣняхъ. Наконецъ вернулась недовѣрчивая, босая баба и все еще недовѣрчиво пустила насъ въ комнаты. Ухъ, какое съѣдающее солнце на деревянныхъ стѣнахъ сквозь тюль занавѣсокъ и листья фикусовъ на подоконникѣ!

Рояль въ парусинномъ чехольчикѣ, надъ роялью олеографія „Дорогой гость“, премія „Нивы“ за 1883-й или четвертый годъ. Вышла сначала попадейка, робкая до того, что нельзя было угадать, молода она или нѣтъ. Говорила, но руки у нея похолодѣли.

О. Леонтій пришелъ въ только что выглаженной парусинной рясѣ. Онъ оказался довольно молодъ, необыкновенно высокъ и несоразмѣрно тонокъ, такъ что даже какъ бы надламывался. Пышная грива блѣдно-соломеннаго цвѣта. Самъ не говорливъ, не то застѣнчивъ, не то угрюмъ.

Онъ не собирался въ этотъ годъ ѣхать на собесѣдованіе и повелъ насъ къ другому священнику-миссіонеру, который ѣздилъ всегда, отцу Никодиму Лютикову.

О. Никодимъ жилъ близко, черезъ двѣ улицы.

Какой бодрый, громогласный, веселый старикъ, весь сѣдой, съ говоромъ на „о“, готовый не то что за 120

верстъ ѣхать, а на край свѣта итти въ своей миссіонерской ярости! И очень, при всемъ томъ, добродушенъ.

Мы застали его, въ его теплой крошечной квартиркѣ надъ булочной,—за чаемъ. (Впрочемъ, мы почти всѣхъ почти всегда здѣсь застаемъ и видимъ — за чаемъ). Большое дамское... нѣтъ, женское общество, но все оно сразу куда-то исчезло, а мы очутились въ маленькой гостиной, и чай намъ подавали на столѣ съ бархатной скатертью и альбомами.

Говорили о вещахъ практическихъ. О. Никодимъ не удивлялся и не интересовался, зачѣмъ это мы изъ самаго Петербурга ѣдемъ на глухое озеро къ раскольникамъ. Ѣдемъ—и отлично. Онъ всегда ѣздитъ.

— Я съ утра завтра въ городъ поѣду, съ утра. Я къ тамошнему священнику въѣзжаю. Оно съ утра, съ прохладцей, лучше. И сундукъ со мной.

— Какой сундукъ?

— А книги. Безъ сундучка на Свѣтлое-то озеро нельзя.

Довелось мнѣ потомъ увидать этотъ „сундучекъ!“

О. Никодимъ съ утра—ну, а мы рѣшили ѣхать послѣ полудня. Гдѣ можно остановиться въ С.—мы такъ и не узнали. Поговаривали, что тамъ будто бы есть „въѣзжій дворъ“. Но такъ поговаривали, точно его, въ сущности-то, не было.

Ну, посмотримъ.

20 іюня

Въ пять часовъ тронулись.

М—ву нельзя было съ нами ѣхать: его какъ разъ назначили присяжнымъ засѣдателемъ.

Творецъ! Вотъ такъ колымага! Тарантасъ на семью. Входить съ наскока, такъ далека подножка. Сидѣнья нѣтъ вовсе, а ровная куча сѣна, ничѣмъ не покрытая.

Завалились въ сѣно. Тутъ же поняли, что сюда кладутся громадныя подушки въ розовыхъ или красныхъ наволочкахъ. У насъ ни подушекъ ни наволочекъ, а заграничные нессесерчики съ острыми углами, возбуждающіе безсильную злобу.

Вотъ у о. Никодима навѣрное розовыя подушки! Ему хорошо.

Переѣхали Волгу на паромѣ—въ село Боръ; громадное, плоское, черноватое село, торговое. Долго ѣхали по грязнымъ улицамъ,—то избы темныя, то домики хоть куда, въ два этажа, съ зелеными желѣзными крышами. Ряды, трактиры, чайныя... Телѣги одна за другой,—ждутъ парома. Солнце такъ и печетъ.

Выѣхали изъ села—кругомъ зеленая, чуть холмистая, голь. И такъ и пошла эта голь на многія версты. Волга тотчасъ же скрылась,—мы ѣхали прямо отъ нея, на востокъ. Отъ перевоза до уѣзднаго города С. около девяноста верстъ. Дорога—„почтовый трактъ"—сначала была еще сносной, но чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, и наконецъ превратилась во что-то нами невиданное и неиспытанное. Да и для многихъ, я думаю, она показалась бы такой.

Въ нашемъ „ковчегѣ" мы подскакивали, отлетая въ углы и стукаясь о фордекъ. Голова начинала болѣть до тошноты. Въ Уткинѣ и Тарасихѣ мѣняли лошадей. Почтовыя станціи маленькія, старыя... Сбѣгаются люди, ребятишки смотрѣть, какъ сидимъ и закусываемъ своей провизіей (насъ предупредили, что надо взять провизію).

Боже мой! Правда ли, что есть гдѣ-то желѣзныя дороги? А нашъ ковчегъ,—не бричка-ли Чичикова? Вотъ, Чичиковъ, навѣрно, видалъ всякія дороги. Онъ изъѣздилъ всѣ—ища мертвыхъ душъ. И нашелъ ихъ порядочно. Найдемъ ли мы хоть одну живую?

Но все-таки хорошо, хорошо. Быстро темнѣетъ, луговой вѣтеръ обвѣваетъ лицо, зажигаются чуть замѣтныя голубыя звѣзды. Вотъ, наконецъ, и лѣса. Дорога стала еще хуже. Старая гать,—полусгнившія доски,—и лужи: здѣсь просыхаетъ рѣдко. Еловый лѣсъ, частый-частый, тѣсный-тѣсный, вставалъ черными стѣнами у широкой дороги. Свѣтляки лежали кое-гдѣ у корней. Пахло пронзительной свѣжестью, весенними елками—точно яблоками.

По лѣсу ѣхали почти все время шагомъ, а потому къ С. подъѣхали только на зарѣ. Небо ужъ забѣлѣло мертвымъ свѣтомъ. Передъ городомъ за нѣсколько верстъ опять начались голые луга и поля.

Вотъ и городъ. Не городъ—средней руки село, похуже Бора. Въ мертвой бѣлизнѣ зари онъ, спящій, казался намъ такимъ страшнымъ, сѣрымъ, плоскимъ, мертвымъ.

Едва-едва устроились, измученные, полубезсознательные, въ какомъ-то недостроенномъ домѣ трактирщика. Недостроено,—но за то чисто, пахнетъ деревомъ. Дали намъ двѣ „горницы“ во второмъ этажѣ. Полусонные слуги изъ трактира носили диваны. Спать, спать! Или хоть бы лечь!

21 іюня

Явился о. Никодимъ (еще вчера пріѣхалъ) со здѣшнимъ іереемъ соборнымъ, о. Анемподистомъ. И онъ отправится на Свѣтлое озеро.

О. Анемподистъ еще молодъ, черногривъ, простъ и добръ. Охотно разсказываетъ, но интересуется не столько старообрядцами, сколько другими заблудшими овцами, которыхъ здѣсь называютъ „немоляками“. Мы слушаемъ о „немолякахъ“ внимательно, но понимаемъ пока немного.

О. Никодимъ, неколебимо бодрый, предложилъ сегодня же съѣздить въ Чернухинскій скитъ, самый близкій, за пять верстъ.

— Какъ, опять ѣхать? Вчера ѣхали, завтра поѣдемъ, и сегодня?! А дорога?

— А дорога хороша,—утверждаетъ о. Никодимъ.— Очень хороша дорога! Маленько похуже, чѣмъ по какой вчера ѣхали, а хороша. Мы долгушу возьмемъ, коли что—такъ и слѣземъ. Вѣдь пустяки одни пять-то верстъ. Къ вечеру обратно будемъ, отдохнемъ еще. А ужъ завтра на Озеро двинемся, съ утра по холодку.

Подумали-подумали — взяли долгушу, поѣхали. Сидимъ четверо, по парѣ, пара къ парѣ спинами. Деревянное сидѣнье, на немъ узорчатый половикъ. Земля близко, слѣзть, дѣйствительно, сейчасъ же можно,—и мы слѣзаемъ, потому что дорога пошла лѣсомъ, и даже о. Никодимъ пересталъ ее хвалить.

Лѣсомъ хорошо итти. Лѣсъ—еловый, тѣсный, душистый. О. Никодимъ готовитъ грозное оружіе на завтрашнихъ старовѣровъ. О. Анемподистъ робко обдумываетъ своихъ „немолякъ“.

Лѣсъ прервался, чуть виденъ кое-гдѣ вдали. Среди зеленыхъ полей что-то въ родѣ крошечной деревушки. Это и есть Чернухинскій скитъ—женскій раскольничій монастырь.

Какія странныя избы: безъ оконъ; по крайней мѣрѣ съ дороги не видать ни одного окна, а такъ, стѣны сѣрыя бревенчатыя, частоколы. Вотъ какъ будто ворота. Стучимся.

Никого.

Ямщикъ толкнулъ ворота и вошелъ. Мы за нимъ.

Дворъ. Во дворѣ ничего и никого. Чисто, травка повсюду. Окна есть, но плотно приперты дощатыми, одностворчатыми ставенками.

Ждемъ.

Вотъ стукнуло крытое крыльцо. О. Никодимъ выдвинулся.

— Здравствуй, мать! Гости петербургскіе скитъ хотятъ поглядѣть. Пустишь, что-ль? Ты вѣдь меня знаешь.

Мать Александра всмотрѣлась.

— И то знаю. Ты знакомый батюшка. Что же, пожалуйте.

Въ сѣняхъ лѣсенка наверхъ. Пахнетъ свѣжестью.

Мы прошли въ свѣтлую келью черезъ другую, такую же свѣтлую, гдѣ стоитъ кровать, затянутая чисто и плотно бѣлымъ полотномъ съ кружевами у пола.

Чистота, доходящая до роскоши. На окнахъ цвѣты (фуксіи), полъ сплошь устланъ разноцвѣтными половиками, въ стеклянномъ шкафикѣ блеститъ посуда, ложечки приткнуты тамъ же къ полочкамъ, висятъ. Никакой духоты. Окна маленькія, особаго устройства: верхнее стекло широкое и низкое, створъ на половинѣ. Вѣроятно, подъемныя. Въ углу громадный кіотъ, подъ нимъ, задернутыя ситцевой занавѣсочкой, книги.

Скитъ, монастырь,—въ которомъ какъ будто нѣтъ ни сестеръ, ни послушницъ, одна настоятельница: такъ повсюду тихо и пустынно. Мы не только не встрѣтили никого, но даже и слѣдовъ живого человѣка не было.

Мать Александра занималась вышиваніемъ лопастей для лѣстовокъ,—треугольники, которые подвѣшиваются съ обѣихъ сторонъ къ лѣстовкѣ (раскольничьи четки)—по три съ каждой стороны. Шила мать Александра по розовому бархату синелью. Тотчасъ же стала убирать работу.

— Шьете, матушка?

— Да, понемножку. Вотъ, ужъ очки надѣваю.

Обратилась ко мнѣ.

— А у тебя тоже очки? Вонъ какіе.

— Вы въ мои, матушка, ничего не увидите.

Взяла мое pince-nez, посмотрѣла.

— И впрямь ничего не вижу. Для чего же они?

— А для дали. У меня такіе глаза, что вблизи видятъ, а вдаль нѣтъ.

Подумала.

— Гм... Несправедливые, значитъ, ужъ такіе глаза.

Въ матери Александрѣ—ни суетливости, ни смущенія,—ни привѣтливости.

— Садись, пожалуйста. Поставить самоварчикъ?

О. Никодимъ спокойно и плотно усѣлся на диванъ. Мебель въ кельѣ была простенькая, чистая,—и старинная, прямоспинная. Столъ съ бѣлой скатертью, поверхъ скатерти бѣлая же клеенка.

— Ставьте, матушка, самоварчикъ, чайку попьемъ.

Мать Александра—женщина лѣтъ 45, довольно полная,—но не слишкомъ, круглолицая, чернобровая, черты прямыя, красивыя, серьезныя. Но и серьезна она—не слишкомъ; въ лицѣ, и въ поступи, и во всемъ—достойная, холодноватая спокойность. На головѣ круглая бархатная шапочка, изъ-подъ которой на плечи, вдоль щекъ, складками падаетъ черная манатейка. Черный сарафанъ, завязанный подмышками, бѣлые рукава.

Тотчасъ же принесла самоваръ, вынула изъ шкафика посуду, сахаръ и „землянику"—излюбленное заволжское лакомство, какъ мы послѣ убѣдились: шершавые темнорозовые леденцы, подобіе ягодъ, и вкусъ вродѣ земляники.

О. Никодимъ спросилъ, много-ль сестеръ.

— Да мало, очень мало.

— А все-таки, человѣкъ пятнадцать?

— Какое! Сказать—всего шесть сестеръ. Помѣщеніе то порядочное, а келійки пустуютъ.

— Что жъ такъ? Не берете?

— Да кого брать? Хорошенькихъ-то негдѣ взять, ну а.....-то этого—прости Христа ради! (поклонилась) не хочется.

Мать Александра хотя и поклонилась, произнеся довольно смѣлое слово, но поклонилась только по христіанской привычкѣ покаяться, осуждая; само же слово она произнесла безъ всякаго смущенія и не по обмолвкѣ.

— Нынче деревенскія-то,—продолжала она,—одѣнь ихъ, да на гулянье пусти, а работать не хотятъ. Одѣнь,—а потомъ замужъ идутъ. Нынче въ деревнѣ каждая дѣвушка подъ зонтомъ, какъ госпожа, да въ калошахъ, а въ избѣ—страмъ, да смрадъ, да ѣсть нечего. И просятся—а не беремъ.—Не пьете развѣ въ накладку?

Гости отказались отъ накладки.

Поговорили еще. О. Никодимъ, желая намъ сдѣлать пріятное, сталъ заводить рѣчь о Кормчей, объ Антихристѣ, о томъ, о семъ. Мать Александра говорила толково, но безъ особаго увлеченія. Книги свои, видимо, читала.

Пока мы грѣшили чаемъ,—она пила изъ чашки горячую воду, прикусывая сахаръ.

— А покажи-ка намъ, мать, моленную-та,—сказалъ, наконецъ, о. Никодимъ.—Моленная-та у васъ больно хороша.

— Что жъ, пожалуйте.

Опять безъ привѣтливости и безъ смущенія.

Прошли темноватыми, уже другими, сѣнями. И здѣсь была вкусная, свѣжая душистость. Не то сухими травами, не то новымъ деревомъ пахло.

Моленная на ключѣ. Въ самомъ дѣлѣ—какъ хороша!

Просторная, высокая горница,—даже точно двѣ вмѣстѣ,—потому что налѣво, посерединѣ стѣны, выступъ

и бѣлая колонка. Направо окно. Вся стѣна противъ входа занята образами, сплошь. Образа идутъ и по боковымъ стѣнамъ.

Прямо—какъ бы аналой, скорѣе—престолъ, потому что ниже аналоя и квадратный; за нимъ свѣча, желтая, толстая. Образа иконостаса, — темные, большіе,— даютъ ощущеніе странной близости къ нимъ; вѣроятно потому, что повѣшены низко и что въ моленной нѣтъ церковнаго амвона со ступенями. Громадные, черные лики, только бѣлки глазъ выступаютъ.

Жемчужныя и бисерныя ризы красиво-тусклы. На престолѣ парча, а сверху тонкое кисейное покрывало, шитое. Лежатъ кожаныя книги.

Наше вниманіе занялъ четыреугольный большой образъ на правой стѣнѣ. Виситъ высоко и не въ свѣтѣ— по той же стѣнѣ окно.

Мать Александра сказала:

— Никола „Ярое око". Этого образа ни въ одной обители нѣтъ. Подлинно не знаю, а слышала, что онъ, Никола, въ землю ушелъ, а тамъ его неладно приняли, вотъ онъ, батюшка, и разъярился.

Объясненіе смутное. Образъ очень хорошъ. Лицо молодое, въ полъ-оборота (Николая Чудотворца обыкновенно пишутъ и писали глубокимъ старикомъ)—не грозное,—именно „ярое", бѣлки глазъ, обращенныхъ вбокъ, сверкаютъ въ коричневой мглѣ.

Моленная высока, прохладна; чуть пахнетъ ладаномъ, деревомъ и воскомъ. Кромѣ входной двери противъ иконостаса, есть въ лѣвомъ углу еще дверца въ боковушку, гдѣ, кажется, хранится утварь. Мы пробыли въ моленной съ полчаса. Не хотѣлось уходить. Отрадны были чистота, свѣжесть, ароматы, строгое благолѣпіе— въ соединеніи съ какой-то „домашностью"; и церковь—

и комната, своя, своей заботливостью устроенная; направо отъ входной двери, у стѣны противъ иконостаса—диванъ съ прямой спинкой, обитый темненькимъ ситцемъ, обыкновенный; кое-гдѣ половички съ разноцвѣтными полосками,—какъ и въ кельѣ матери Александры.

Изъ моленной, по просьбѣ о. Никодима, прошли, черезъ тѣ-же полусвѣтлыя, душистыя сѣни, въ одну изъ келій—пустыхъ.

„Сестеръ“ намъ мать Александра такъ и не показала.

— Вотъ это трапезная наша, а вотъ стряпущая...

Стряпущая — чистенькая - пречистенькая кухонька, пахнетъ опять свѣжестью—и кашей, очень хорошо.

— А вотъ келійка, пустуетъ у насъ.

Мать Александра быстро прошла впередъ, въ небольшую прохладную горницу, и откинула ставень.

— Тутъ есть икона сошествія во адъ „со душею“. Два лика.

Образъ большой, темный, въ серебряной ризѣ. Много фигуръ, посерединѣ Христосъ, сходящій въ адъ „со душею“. Давно велись споры, какъ именно сходилъ Христосъ въ адъ: лежала ли плоть Его во гробѣ, а сходила одна душа, или же Онъ самъ сходилъ „со душею“?

Поговорили еще. Проводила насъ мать Александра привѣтливѣе, чѣмъ встрѣтила. О. Никодимъ совсѣмъ разошелся, о. Анемподистъ, какъ мало знакомый, держалъ себя въ высшей степени скромно и все время молчалъ.

— Спаси васъ Христосъ.—И мать Александра низко поклонилась.—За посѣщеніе благодарю.

Во взаимныхъ привѣтствіяхъ сошли во дворикъ и за ворота, гдѣ стояла наша долгуша.

Мать Александра проводила насъ до воротъ и заперлась.

О. Никодимъ рѣшительно разохотился возить насъ и показывать „обители". Да и погода стояла удивительная, ясная, нежаркая, точно весенняя.

— Заѣдемъ въ Медвѣдевскій монастырь,—убѣждалъ о. Никодимъ.—Все равно по пути. Тамъ мнѣ тоже всѣ знакомы. Единовѣрческій монастырь, женскій. Единовѣріе увидите.

Согласились.

Монастырь отдѣленъ отъ дороги зеленымъ лугомъ, бѣлый, большой, старый, весь какъ на ладонкѣ. Вошли въ ограду.

Зелень кругомъ, широко, просторно, вечерними цвѣтами пахнетъ и сѣномъ. На высокой паперти собора—монахиня сидитъ, съ нею маленькія дѣвочки, много, одѣтыя какъ монашки, въ черныхъ платочкахъ. „Сиротки", которыхъ воспитываетъ монастырь.

Шла служба. Мы вошли на минуту въ церковь. Видъ обычный, православный, только поютъ гнусавя, намѣренно въ носъ, однотонно, такъ же и читаютъ.

Игуменьи не оказалось дома. Явилась казначейша, повели насъ въ игуменскіе покои, пришла цѣлая толпа монахинь.

О. Никодимъ и тутъ какъ дома. Но у монахинь не было привѣтливой холодности и достоинства матери Александры: чувствовалась нѣкоторая сладость, почти іудушкина гостепріимная готовность. И комната игуменьи—куда обычнѣе кельи чернухинской настоятельницы: нѣтъ роскоши чистоты, не изба—а домикъ, видъ купеческой комнаты, съ тюлевыми занавѣсками, съ большими растеніями у оконъ.

Опять сейчасъ же „самоварчикъ", но уже съ суетливостью, съ вареньемъ; и тутъ—не то.

О. Никодимъ спросилъ, какая у нихъ есть старинная книга „въ лицахъ“.

— Петербургскіе гости интересуются.

Принесли „Житіе св. Ѳеодоры“ и „Мытарства“.

Книга и рисунки дѣйствительно очень любопытны. Сдѣланы отъ руки въ краскахъ. Годъ не обозначенъ, опредѣлить трудно. Сѣрые, безсвѣтные грѣшники, яркіе черти,—безпомощная, маленькая душа св. Ѳеодоры.

Монахини любопытны, до разговоровъ жадны, но говорятъ все больше пустяки, о своихъ же пустяковыхъ дѣлахъ.

Провожали насъ толпой за ограду, благодарили и все спрашивали имена,—„за кого Богу молиться“.

Спѣшимъ, на нашей долгушкѣ, назадъ, въ С., въ нашъ недостроенный домикъ. Завтра рано выѣзжать, ночевать будемъ уже въ селѣ Владимірскомъ, послѣ вечера на Свѣтломъ озерѣ.

22 іюня

Семь часовъ утра. Торопливо напились чаю. И, оставивъ на попеченіе трактирщика, содержателя нашего „отеля“, лишніе чемоданы, двинулись на Шалдежъ, во Владимірское.

Ѣдемъ съ урядникомъ на козлахъ, котораго предложили намъ просто какъ заботливаго дядьку и который самъ оказался изъ „немоляевъ“; ѣдемъ уже не въ нашемъ „ковчегѣ“, а въ другомъ тарантасѣ, полегче, но тоже наполненномъ сѣномъ.

Заѣхали за отцами—Никодимомъ и Анемподистомъ. Они немножко запоздали, потому что о. Анемподистъ служилъ раннюю обѣдню. Тарантасъ ихъ готовъ—и какія тамъ лежатъ славныя, розовыя ситцевыя подушки! А мы опять на своихъ глупыхъ пледахъ, и все сползаемъ внизъ.

О. Анемподистъ скоро вышелъ. Запасливый, надѣлъ отъ пыли и дождя (хотя дождя не предвидѣлось) кожанъ, непромокаемый плащъ, сшитый въ видѣ рясы. На солнцѣ эта ряса блестѣла, какъ шелковая.

Отцы впереди. На козлахъ у нихъ сидитъ доброволецъ-миссіонеръ изъ крестьянъ, Малицкій. Онъ долгое время былъ агентомъ товарищества Зингеръ (швейныя машинки), но, разъѣзжая по уѣзду, пріохотился къ миссіонерству. И теперь столь усерденъ и опытенъ, что, какъ говорилъ мнѣ о. Никодимъ, надѣется вскорѣ быть рукоположеннымъ въ священники и получить мѣсто въ своемъ же селѣ. Образованія онъ не получилъ ни малѣйшаго, даже не кончилъ уѣздное училище, но, какъ увѣряютъ, никакихъ знаній тутъ не требуется (!), нужны практика да ревность. Ревности у Малицкаго много, и практики довольно: онъ часто ѣздитъ съ миссіонерами по собственному уѣзду. Будетъ „батюшка"!

Погода не совсѣмъ пріятная. День солнечно-мутный, словно пыльный, съ начинающимся несвѣжимъ вѣтромъ. Скорѣе жарко. Дорога какъ будто ровнѣе, но по виду еще безнадежнѣе, голь, песокъ, кое-гдѣ торчатъ елочки, скоро онѣ и совсѣмъ прекратились. Унылая дорога.

Мостъ черезъ рѣку Керженецъ мы перешли пѣшкомъ. Странно смотрѣть, Керженецъ... а гдѣ же знаменитые „керженскіе лѣса"? Пусто направо, пусто налѣво. Только по берегамъ эта, все-таки красивая, извилистая рѣка съ каменистымъ дномъ, заросла ивнякомъ, лозами да кустами черемухи.

О. Анемподистъ шелъ со мной, придерживая шелестящія отъ вѣтра полы своей непромокаемой рясы и говорилъ тихимъ голосомъ о томъ, какъ трудно и тяжело положеніе священника, зависящаго отъ прихо-

жанъ, и трудно особенно въ губерніяхъ въ родѣ Н., гдѣ много населенія старовѣрческаго, да и не только старовѣрческаго.

— Я въ городѣ живу, да и то тяжелы, непріятны эти сборы. А ужъ сельскаго священника взять... не разъ, я думаю, слыхали, какъ имъ это тяжело. У насъ же въ особенности. Иной, случается, служитъ—такъ въ церкви одна собственная жена, да причетникъ. За что сельчанамъ его кормить? А кормиться надо. Ну и тяжело.

Помолчавъ, о. Анемподистъ прибавилъ:

— Съ другой же стороны взять — ну, скажемъ, если-бъ содержаніе намъ настоящее было, что-ли, назначено,—опять соображенія являются: и такъ населеніе наше, изъ неправославныхъ, съ недовѣріемъ къ намъ относится, но отъ собесѣдованій, отъ общенія все же не уклоняется. А узнаютъ, что мы свое жалованье получаемъ, будто чиновники,—это на нихъ, Богъ ихъ еще вѣдаетъ, какъ отразится. Вопросъ трудный.

— А миссіонерство у насъ—тоже...

Но тутъ мы подошли къ нашимъ „ковчегамъ“ и разговоръ остался неоконченнымъ.

Мы перепрягали въ Шалдежѣ и отстали, такъ какъ отцы ѣхали „на сквозныхъ“.

День совсѣмъ замутнѣлъ, вѣтеръ налеталъ пыльными порывами. Ѣхали мы уже часовъ семь—отъ С. до Владимірскаго сорокъ одна верста, дорога тяжелая. У самаго Владимірскаго, съ версту не доѣзжая, нагнали отцовъ.

О. Никодимъ обернулся изъ своего тарантаса и, показывая рукой вправо, крикнулъ:

— Вотъ оно, озеро-то!

Направо, за пустымъ полемъ, съ четверть версты

отъ дороги, точно—озеро, полускрытое низколѣсьемъ и береговыми кустами. Широко-овальное, большое, полное до такой степени, что съ дороги кажется выпуклымъ. На противоположномъ берегу — высокій, не очень густой, лиственный лѣсъ, весь на холмахъ, то крутыхъ, то мягко-пологихъ. Вѣтеръ рябитъ и морщитъ водяное зеркало. И все-таки оно не мутно, а свѣтло. Вотъ онъ, лѣсной Свѣтлояръ!

Проѣхавъ озеро, вдоль, и еще немного,—завернули мы влѣво, гдѣ и началась длинная-предлинная улица села Владимірскаго. Изъ села озера не видно, оно за полверсты, по другой сторонѣ проѣзжей дороги.

У Большакова, гдѣ насъ разсчитывалъ устроить „дядька", „квартирки" не оказалось. Кое-какъ отыскали крестьянскую „чистую", два оконца, двѣ лавки, столъ. Дверь—наклоняйся. Хозяйка—благообразная, моложавая Татьянушка. Сноха ея, Аннушка, съ ребенкомъ на рукахъ, смотритъ совсѣмъ дѣвочкой.

Изба—поднятая, то-есть какъ бы въ два этажа; но этажъ собственно одинъ, второй: внизу темный дворъ, устланный соломой. Тамъ и скотъ. Это—обычное устройство всѣхъ избъ въ Н—ской губерніи.

Принесли намъ ковшъ холодной воды умыться и тотчасъ поставили „самоварчикъ". Теплый ситный хлѣбъ—и неизмѣнная „земляника" (леденцы).

Не успѣли мы пообчиститься—какъ явился о. Никодимъ, свѣжій, особенно бодрый и ярый въ предвкушеніи битвы. Объявилъ, что они остановились въ старостиной избѣ, и что на озеро надо уже скоро итти, часамъ къ четыремъ.

У старосты отцы устроились неважно: такая же „чистая"—только хозяева съ дѣтьми за занавѣской. У насъ по крайней мѣрѣ дверь. Попили и у старосты чайку—

двинулись на озеро. О. Никодимъ торопилъ, все безпокоился о своемъ сундукѣ съ книгами: доставленъ ли.

Идемъ на озеро пѣшкомъ. Небо еще помутнѣло, вѣтеръ—рѣдкими порывами, пыль. О. Никодимъ шагалъ бодро, опредѣленно ставя ноги, ярость—добродушная—видимо у него скапливалась.

Я—съ о. Никодимомъ впереди, за нами о. Анемподистъ съ моимъ спутникомъ и съ Малицкимъ, да еще съ однимъ священникомъ, мѣстнымъ: не то рябой, не то прыщеватый, молчаливый. Прошли всю безмѣрно-длинную улицу села, пересѣкли почтовый трактъ и повернули налѣво, на проселочную дорогу, ведущую къ лѣвому краю озера и на заозерные холмы.

Проселочная дорога—плоская; и только когда блеснулъ направо край озера—передъ нами оказался крутой подъемъ перваго холма. У самаго подъема, но внизу, раскинулась тихая ярмарка (всего на одинъ вечеръ здѣсь; утромъ слѣдующаго дня она переносится въ село Владимірское, и тамъ уже дѣлается обычной, шумливой, пьяной и грязной). Въ шалашахъ у озера, здѣсь, продаютъ только пряники, жамки и деревянныя издѣлія изъ города С. Больше ничего. Ни шума, ни крика, хотя народу уже порядочно, и собирается все больше и больше. Толпа намъ, съ непривычки, кажется странной: не только ни одного „интеллигента", но даже ни одного „подъ-интеллигента": не видно ни „спинжаковъ", ни „городскихъ платьевъ": сарафаны, сарафаны, поддевки. Ни грубаго возгласа,—о гармоникѣ даже подумать дико.

Самые берега озера—топкіе; у воды вьется кружная тропа верстъ на пять, можетъ быть больше; она опоясываетъ весь овалъ озера, порой исчезая въ кустахъ. Озеро больше, длиннѣе, чѣмъ намъ казалось издали. Отсюда, отъ лѣваго края, едва можно разглядѣть про-

тивоположный конецъ. Кое-гдѣ, у воды, уже теперь мелькаютъ желтые огоньки и медленно движутся. Намъ объяснили, что если обойти озеро въ эту ночь, со свѣчею въ рукѣ, по кружной тропѣ [десять разъ,—это зачтется, какъ путешествіе на Аѳонъ, двадцать разъ,—въ Іерусалимъ.

Поднимаемся отъ шалашей наверхъ, на первый холмъ. Какъ круто! Наверху—православная часовня, тамъ что-то читаютъ, горятъ огни свѣчей „яраго“ воска, желтаго-прежелтаго, душистаго. Рядомъ съ часовней—деревянная эстрада, широкая, съ перилами вокругъ. На ней тотчасъ же сталъ устраиваться о. Никодимъ. „Сундучекъ“ его уже былъ внесенъ на эстраду и занялъ половину ея, такъ какъ оказался не сундучкомъ, а сундучищемъ. Малицкій, человѣкъ крупный и длинный, присѣвъ на него, не доставалъ ногами до полу. Сундукъ полонъ книгами, громадными, въ кожаныхъ переплетахъ; тутъ и Библіи на всѣхъ языкахъ, и Кормчія, и святые отцы всѣхъ временъ... Запасливъ о. Никодимъ! На борьбу идетъ не безъ оружія.

Народъ сразу задвигался, затѣснилъ и сомкнулся около рѣшетки. Но мы пока оставили о. Никодима и съ о. Анемподистомъ пошли вдоль озера, по лѣсу, по одной изъ безчисленныхъ тропинокъ, крутыхъ, спускающихся внизъ, лѣзущихъ на гору. Вѣтеръ то билъ и крутилъ, подергивая озеро мутной рябью,—то опять тихо.

Кучки, кучки народа. Въ прогалинѣ—слѣпцы съ чашками, старые и молодые. Поютъ, не останавливаясь ни на минуту, длинно-однообразно. Послушали — прошли. Опять наверхъ, дальше въ лѣсъ. Между высокими деревьями, въ зеленой полутьмѣ,—огни мелькаютъ. Стали попадаться женщины въ темныхъ сарафанахъ, платки почти у всѣхъ—„въ роспускъ“ (два угла на спинѣ).

Налѣво, подъ густой кущей, — первое большое молебствіе: иконы прикрѣплены къ деревьямъ на полотнахъ, огни, читаетъ монашка-старовѣрка, поютъ, негромко, въ носъ, точно жужжатъ.

Дальше въ лѣсу — другіе огни, другая кучка, опять молятся, опять такъ же поютъ, про себя жужжатъ.

Прошли мимо. А вотъ, направо, не молятся, а стоятъ кружкомъ, плотно-преплотно. За народомъ ничего не видать.

Съ трудомъ протѣснились. Внутри — оказался кружокъ сидящій,—больше старики, двое или трое совсѣмъ древніе, съ коричневыми лысинами въ складкахъ, съ котомками сѣрыми и высокими посохами. Издалека. Киваютъ головами. Не говорятъ. Одинъ, въ серединѣ, медленно читаетъ по большой книгѣ съ застежками.

О. Анемподистъ тотчасъ же обратился къ одному, видно знакомому, мужику, среднихъ лѣтъ, съ тонкими, острыми чертами. Носъ такой тонкій, что даже съ кривизной.

— Ульянъ, а Ульянъ! Скажи-ка ты мнѣ...

Спросилъ что-то объ Антихристѣ и о какомъ то святомъ, очевидно желая завязать разговоръ, который могъ бы показать „петербургскимъ гостямъ" старовѣра сразу съ интересной стороны.

Чтеніе тотчасъ же прекратилось. Ульянъ началъ отвѣчать яростно, вынувъ изъ-за пазухи синенькую тетрадку.

О. Анемподистъ, кажется, не ожидалъ такого взрыва.

— Да пойдемъ наверхъ, Ульянъ, тамъ поговоримъ. Тамъ книги есть.

— А, наверхъ! Чего наверхъ! Нѣтъ, ты слушай, что тебѣ читаютъ!

— Я слушаю, Ульянъ, — кротко возражалъ ему о. Анемподистъ.—А потомъ пойдемъ, право!

— Слушай, говорятъ тебѣ! А смѣяться нечему, вотъ что!

— Да мы и не смѣемся. Никто не смѣется.

Нетерпѣливый спутникъ мой вмѣшался:

— Мы только знать хотимъ, что ты думаешь.

— Знать! — разъярился Ульянъ. — Вотъ и слушайте безъ смѣховъ, слушайте, нечестивцы, слово Божіе!

Спутникъ мой догадался, что его принимаютъ за болѣе или менѣе офиціальнаго представителя, „никоніанской" церкви.

— Да я, голубчикъ, не миссіонеръ вовсе. Я самъ ничего не знаю.

Ульянъ взглянулъ удивленно, но тотчасъ же упрямо крикнулъ:

— Все одно, сказано слушай—и слушай!

О. Анемподистъ, съ той же кротостью, началъ свое:

— Пойдемъ на гору, тамъ книги. Ульянъ, а Ульянъ!

— На гору, да на гору! Вотъ онѣ книги то и здѣсь! А ты кто? Ты есть лжепророкъ, и крестъ на тебѣ—антихристовъ!

Ульянъ кричалъ, указывая пальцемъ на крестъ. О. Анемподистъ, не раздражаясь нисколько, съ привычной кроткой безнадежностью произнесъ:

— Ты погоди обличать, Ульянъ. Право, погоди. Пройдемъ лучше на гору.

Толпа слегка загудѣла, неодобрительно. Кто-то сказалъ:

— И то погодилъ бы обличать-то.

Среди толпы было душно, жарко, морило, какъ въ церкви — и это на открытомъ воздухѣ, въ свѣжій, вѣтреный вечеръ. Всѣ отирали потъ. Завязался безконечный и неинтересный споръ, о. Анемподистъ повторялъ кротко время отъ времени: „пойдемъ на гору. Ульянъ! А Ульянъ"! Ульянъ же горячился и „обличалъ".

На первый разъ „духъ народный“ насъ сморилъ, и мы вдвоемъ отошли дальше, въ лѣсъ.

Кучки людей увеличивались и умножались. Въ каждомъ кругу сидѣли съ книгами. Ходить приходилось по тропамъ то вверхъ, то внизъ, круто; кое-гдѣ тропа была такая скользкая и крутая, что мы чуть не падали и опирались на плечи мужиковъ, съ добродушной радостью помогавшихъ намъ. За нами нѣкоторые уже слѣдовали серьезно, безъ любопытства, но со вниманіемъ присматриваясь къ намъ.

Одинъ, молодой, вдругъ подошелъ отъ сторонки и сказалъ таинственно:

— А что, баринъ, я тебя спросить хотѣлъ.

— Что? спрашивай.

— Правда ли, говорятъ у насъ, велѣно въ Питинбурхѣ *) совѣтъ о вѣрѣ собрать?

На возраженія покачалъ недовѣрчиво головой и отошелъ.

Мы сначала пытались садиться подъ деревья, отдыхать,—но стоило присѣсть — тотчасъ собирался народъ и тѣснился ожидательно, съ тишиной и вѣжливостью. Одинъ какой-то началъ несмѣло, что вотъ, молъ, говорятъ все о перстахъ да о поклонахъ, а что говорить, если „тутъ“ (указалъ на сердце) ничего нѣтъ.

Это меня заинтересовало.

— А ты самъ по какой вѣрѣ?

Отвѣтилъ помолчавъ, нерѣшительно и недовѣрчиво:

— Мы-то? Мы... по православной...

Спутникъ мой оживленно началъ съ нимъ разсуждать; вдругъ откуда-то явился о. Никодимъ, точно изъ земли выросъ. „На горѣ“, то-есть на эстрадѣ, очевидно, былъ перерывъ.

*) Общее для всей Н-ской губ. упорное названіе Петербурга.

— Вы тутъ? Ну, а что вы тутъ?

— Да вотъ, разсуждаемъ, о. Никодимъ. Путаемся понемножку.

О. Никодимъ поглядѣлъ-поглядѣлъ на нашего собесѣдника — и вдругъ бросился на него, хотя тотъ явно не походилъ на раскольника, и у меня уже было подозрѣніе, что это—„немолякъ“.

— Ты, говоришь, православный? — уцѣпился о. Никодимъ со своей добродушнѣйшей яростью. — Ну хорошо, хорошо. А давно ль ты, православный, у исповѣди-то былъ?

— Да мы въ россейской... Какъ, значитъ, отцы—такъ и мы... А мы тутъ о своемъ говорили съ господами...

— Нѣтъ, на исповѣди-то когда былъ?

— Мы-то? Да ну въ посту, скажемъ, былъ...

Спутникъ мой вмѣшался въ разговоръ, чуя неладное. О. Никодимъ добродушно-побѣдительно отошелъ. Со старовѣрами ему интереснѣе говорить. А съ эдакимъ—что!

Мы очутились на другомъ косогорѣ. Толпа немедленно завила насъ въ кругъ. О. Никодима не было, но за то подъ деревомъ, полулежа, расположился неизвѣстно откуда взявшійся о. Анемподистъ съ Библіей въ рукахъ.

Рядомъ сидѣлъ рыжеватый, лысоватый, худой мужикъ, лицо спокойное, упрямое, не очень доброе.

Мы спросили:

— Кончили разсуждать съ Ульяномъ, о. Анемподистъ? Вѣрно, о. Никодиму его на горѣ сдали. А гдѣ же „немоляи“?

О. Анемподистъ улыбнулся.

— Да вотъ они, передъ вами. Вотъ Дмитрій Ива-

новичъ,—и онъ указалъ на рыжаго мужика.—Скажи-ка мнѣ, Дмитрій Ивановичъ, какъ ты толкуешь „въ началѣ бѣ Слово“? Скажи-ка, я забылъ, право забылъ.

О. Анемподистъ (котораго, впрочемъ, всѣ очень любили) слишкомъ явно хотѣлъ „демонстрировать“ передъ нами „немоляевъ“. Дмитрій Ивановичъ это почувствовалъ и отвѣчалъ крайне неохотно, недовѣрчиво, опасаясь насъ. О. Анемподистъ извѣстенъ, кротокъ и простъ,—а это что за люди? Новые миссіонеры прибыли? Уже слышно было такъ о насъ въ народѣ.

Однако понемногу Дмитрій Ивановичъ разговорился. Выяснилось, что „ихъ согласіе“, т.-е. кружокъ Дмитрія Ивановича (небольшой) — ничего не признаетъ, кромѣ духа, принимая слова Писанія иносказательно. Такое „согласіе“ довольно обычно, извѣстно,—извѣстны и возраженія, которыя могъ представить о. Анемподистъ. Дмитрій Ивановичъ говорилъ тонко, неглупо и упрямо. Всю Библію знаетъ наизусть, хотя неграмотенъ. Считается столпомъ своего „согласія“.

Въ кругѣ сидѣло много и женщинъ. Всѣ сидѣли тѣсно и близко, все сближаясь. Становилось опять душно. Внизу, у воды, ярче замелькали огоньки, богомольцы обходили озеро, шли одинъ за другимъ, и озеро опоясалось подвижной, сверкающей цѣпочкой.

— Пройдемъ въ лѣсъ, отдохнемъ немного одни,— сказалъ мнѣ тихо мой спутникъ.—Потомъ поговоримъ.

Кое-какъ прошли черезъ народъ, дальше, дальше вглубь.

Странный лѣсъ, странные холмы, странные люди, странный вечеръ! Какъ будто не та земля, на которой стоитъ Петербургъ съ его газетными интересами, либералами, чиновниками, дачами, выборами, дамами-благотворительницами, безчисленными изданіями Максимовъ

Горькихъ, жгучими волненіями по поводу кафешантанной пѣвицы Вяльцевой, со всѣми его тараканьими огорченіями и зловонно-тупыми веселостями. Не копошатся ли такъ называемые „культурные“ люди въ низкой ямѣ, которая все осѣдаетъ подъ ихъ тяжестью,—и не здѣсь ли, на этихъ холмахъ, лежитъ зерно (только зерно),—откуда *можетъ* вырости истинная культура? Сюда пришли тысячи народа, изъ дальнихъ мѣстъ, пѣшкомъ,—только для того, чтобы говорить „о вѣрѣ“. Это для нихъ серьезное, это для нихъ важное, — можетъ быть самое важное въ жизни. Важно, надо итти, надо говорить, надо слушать. И пришли, со своими мыслями, со своими книгами, уйдутъ — цѣлый годъ будутъ жить и думать то и тѣмъ, что унесутъ отсюда. И безъ усилій, а просто потому, что для всего ихъ существа это—важно. И такъ ихъ много — и для всѣхъ одинъ вопросъ: какъ вѣрить въ Бога? Грубые и тонкіе, злые и добрые, упрямые и кроткіе, неподвижные и нетерпѣливо-алчущіе, новые и старые — всѣ соединены однимъ: какъ надо вѣрить? Гдѣ правда? Какъ молиться? Рѣшить это, а тамъ уже все будетъ ясно. Это—истокъ. Самое главное.

Кучки, кучки народа. Говорятъ, кричатъ, спорятъ. Слышно: „лжеученье“! „Анаѳема“! „А преподобный говоритъ“... „А въ XVII стихѣ сказано“... Кто-то надрывается тонко: „сердце-то! Про сердце-то забыли! Богъ любы есть“...—Изнемогшіе спятъ на травѣ, съ котомками подъ головами. Гдѣ не спорятъ—молятся иконамъ на деревьяхъ, на полотнахъ, теплятъ свѣчи, поютъ — жужжатъ. Подальше, гдѣ поглуше, тоже молятся, по трое, иногда по двое: мать да дочь. Принесли съ собой икону, повѣсили на стволъ, читаютъ на колѣняхъ, кладутъ поклоны. Это разныхъ толковъ старовѣры, больше безпоповцы. Огоньки, гдѣ поглуше, ярче освѣщаютъ нижнюю листву бе-

резъ. Внизу, на тропѣ, у воды,—источникъ, бѣгущій съ холма. Надъ нимъ крошечная часовенка, точно кукольный домикъ, игрушечная церковка. И тутъ огни, монашки читаютъ по старой книгѣ, молятся.

Мы отошли совсѣмъ въ лѣсъ, далеко, и легли отдохнуть на траву, одни.

Но скоро насъ опять потянуло къ людямъ.

Окольной дорогой, черезъ ручьи, мы какъ-то вышли сразу къ часовнѣ и эстрадѣ, гдѣ, окруженный толпой народа, сражался о. Никодимъ, уже полуохрипшій. Съ усиліемъ мы взобрались къ нему и присѣли на сундукъ съ книгами.

Народъ такъ тѣснился, что собесѣдникъ о. Никодима поднялся съ другой стороны на приступочку и говорилъ, держась за перила.

Умное, довольно красивое и тонкое лицо, удивительно насмѣшливое. Говоритъ не сердясь, спокойно, и все гдѣ-то у него бродитъ неуловимая усмѣшка.

— Ты, знашь, о. Никодимъ, подозрительный, а я ничего. знашь. я тебя спросить, знашь, хочу, потому у меня сомнѣнія разныя, такъ вотъ ты мнѣ, знашь, разъясни, а я, знашь, послушаю.

О. Никодимъ торопливо достаетъ и перелистываетъ разныя книжищи на пюпитрѣ. Торопливо, такъ же упирая на „о“, какъ и его противникъ, отвѣчаетъ:

— Что жъ, я этой рѣчью твоей, Иванъ Евтихіевичъ, очень доволенъ, а только вотъ что скажу тебѣ...

Иванъ Евтихіевичъ спокойно перебиваетъ:

— Да ты, знашь, сумнѣнія мои выслушай впередъ, а потомъ, знашь, и говори, и объясняй.

Долго велъ. тонко, осторожно, діалектично, и спросилъ, наконецъ,—какъ это въ Евангеліи сказано „будьте мудры, какъ зміи“, а у апостола въ такомъ-то стихѣ

тотъ же змій проклинается, ибо лукавъ, соблазнилъ Еву.

О. Никодимъ внезапно и неожиданно вскипѣлъ.

— Ну не есть ли ты лукавый самъ и хитрый человѣкъ, Иванъ Евтихіевичъ! Видишь ты, что вывелъ! А я тебѣ скажу...

Начался ярый споръ, весьма скоро принявшій схоластическій характеръ. Мы отошли.

На одной полянкѣ сидѣлъ среди народа молодой юродивый и мычалъ. При немъ мать,—все гладила его по рукѣ. Говорили мы то съ тѣмъ, то со другимъ, присаживаться не рѣшались. Совсѣмъ стемнѣло. Огоньки удвоились, учетверились. Мы стали спускаться внизъ кое съ кѣмъ изъ народа, какъ вдругъ къ спутнику моему подошелъ молодой мужикъ и тронулъ его за рукавъ:

— Баринъ! Пойдемъ на ту гору. Съ тобой народъ желаетъ поговорить.

Подъ деревомъ густая толпа, громадная, и все увеличивающаяся. Мы прошли и сѣли въ середину. У самаго дерева сидѣли старики. Одинъ рыжеватый, съ лысиной, Иванъ Игнатьевичъ. Подальше—молодые парни, бабы, дѣвки. Тотчасъ же стало отъ тѣсноты душно, сперто,—но мы уже привыкли.

— О чемъ, братцы, вы хотѣли поговорить? — спросилъ мой спутникъ.

Иванъ Игнатьевичъ, плотный рыжеватый старикъ, тотчасъ же степенно отвѣтилъ:

— Да вотъ, о вѣрѣ. Слышно, ты не миссіонеръ. Думаемъ спросить тебя, какъ полагаешь, гдѣ правду-то искать? И какой, слышь, самый-то первый вопросъ, самый-то важный?

Спутникъ мой сказалъ, что, по его разумѣнію, самое

важное — это чтобы всѣ люди соединились въ одну вѣру; говорилъ о церкви—истинной...

Бесѣда продолжалась, заговорили о концѣ міра, о второмъ пришествіи. Радуются, понимаютъ съ полуслова нашъ неумѣлый, метафизическій, книжный языкъ, помогаютъ намъ, переводятъ на свой, простой. Обо всемъ, о чемъ мы думали, читали, печалились — думали и они у себя, въ лѣсу, и можетъ быть, глубже и серьезнѣе, чѣмъ мы. Но имъ легче, ихъ много, они вмѣстѣ,—а мы, немногіе, живемъ среди толпы, которая встрѣчаетъ всякую мысль о Богѣ грязной усмѣшкой, подозрѣніемъ въ ненормальности или... даже нечестности. И мы стыдимся нашей мысли даже здѣсь—но, видя, что они не боятся не стыдятся—становимся смѣлѣе—и радуемся.

. . . . . .

— Старикъ,—говорю я.—А что ты думаешь о словахъ Спасителя — вотъ когда Онъ сказалъ объ Іоаннѣ, что „Я хочу, чтобъ онъ пребылъ, пока пріиду“?

Иванъ Игнатьевичъ замялся, другой перебилъ:

— Ну, не имѣетъ онъ мнѣнія. Говори скорѣй, что знаешь.

Тутъ мы опять стали говорить о *грядущей* церкви Іоанновой, Апокалиптической, и читали Откровеніе: „Духъ и Невѣста говорятъ: пріиди“...

Удивительная шла бесѣда. Народъ все прибывалъ тѣснился, сжималъ кругъ. Вѣтеръ стихъ, темное озеро съ движущимся поясомъ огней, лежало покойное, темное — и свѣтлое, какъ черный брилліантъ. Казалось, еще немного—и услышимъ мы—всѣ сразу, какъ одинъ человѣкъ, — тихіе звоны храмовъ святого града, скользящіе по водѣ. Увидимъ въ плотномъ зеркалѣ озера вмѣсто черныхъ холмовъ, — отраженіе золотыхъ главъ чуть уловимое мерцанье тамъ, гдѣ на воды падаетъ

свѣтъ отъ свѣчей. Они, люди говорившіе съ нами, самые далекіе намъ — были самые близкіе. Мы сидѣли вмѣстѣ, на одной землѣ, различные во всемъ: въ обычаяхъ, въ преданіяхъ, въ исторіи, въ одеждѣ, въ языкѣ, въ жизни,—и уже никто не замѣчалъ различія; у насъ была одна сущность, одно важное для насъ и для нихъ. *Оказалось* одно,—потому что вѣдь ни мы не приноравливались къ нимъ, ни они къ намъ. . . . . .

. . . . . .

Намъ вспомнились „интеллигенты", идущіе „къ меньшимъ братьямъ", занятые тѣмъ, чтобы одѣться „какъ они", ѣсть „какъ они", рубить дрова „какъ они" и вѣрящіе, что это путь къ „сліянью". Думая, что думаютъ о „духѣ" — думаютъ они о „брюхѣ" народа, прежде всего, и влечетъ ихъ не *любовь*, а *жалость*. Жалость и любовь раздѣлены непереходной пропастью. Онѣ—враги.

А наши писатели „народные"—Успенскій, Короленко, Рѣшетниковъ, Златовратскій и другіе — не о хлѣбѣ ли *прежде всего* и *только* они думали, не страдали ли жалостью, не будили ли жалость въ читателяхъ?

Скажутъ: какой же это „народъ" здѣсь, на озерѣ? Маленькая кучка начетчиковъ и „сектантовъ". Годы нужны, чтобъ „изучать народъ".

— Десяти жизней мало, чтобы „изучить народъ"— скажу я. И пусть это не „народъ". Но что же это такое? Вѣдь и не „не народъ". Часть народа, во всякомъ случаѣ. Часть, обращенная къ намъ той единой точкой, въ которой возможно соприкосновеніе всѣхъ живыхъ людей, безъ различія,—возможно истинное „сліяніе". И эта одна точка — все. Истокъ всего. Жива она — все остальное приложится, *можетъ* приложиться. Такъ освѣщается *вся* темная комната, когда конецъ тонкой про-

волоки прикасается къ другому узкому концу. А что знаютъ о духѣ и всего молчаливаго народа жалостливые, утомленные „дарами культуры“ люди, идущіе устраивать столовыя, кормить—только кормить? Не мало ли этого? Народъ ѣстъ, молчитъ — и глядитъ волкомъ. „Накормите *сначала*“... Кормятъ. Или не кормятъ. Голодный голоденъ. И сытый вскорѣ опять голоденъ. И опять кормятъ *сначала*. Кормятъ или не кормятъ—народъ все тамъ же, все такой же чуждый, все такъ же молчитъ. И не выходитъ никакого сліянія, точно глухіе подходятъ къ глухимъ.

Поздно, ночь темнѣетъ, чернѣетъ. Идемъ, наконецъ, внизъ, сопровождаемые полуневидной толпой.

Подошла красивая, статная баба съ ребенкомъ на рукахъ (племянникомъ)—сноха Ивана Игнатьевича.

— Спасибо вамъ, спасибо. Не поѣдете ли къ намъ? Село наше двадцать верстъ будетъ отъ города. Мужа-то моего нѣту здѣсь, а ужъ такъ онъ о вѣрѣ говорить любитъ! Пожалуйте къ намъ, господа! Поговорите съ мужемъ-то, съ Василіемъ Ивановичемъ!

Спутникъ мой въ темнотѣ разсуждалъ громко:

— Да какіе они „немоляи“! Вѣдь они только о молитвѣ и говорятъ! Что-то странное!

— Хорошо, ну а Дмитрій Ивановичъ?

Чей-то голосъ изъ мрака возразилъ:

— А мы не Дмитрія Иванычева согласія. Мы слѣдующаго.

Другой голосъ:

— Ихъ молоканами тоже зовутъ.

— Да какъ сказать?—продолжалъ первый. — Всяко зовутъ. А все неправильно. Миссіонеры зовутъ.

Простившись, дошли мы до перваго холма и сѣли на краю подождать все еще сражавшагося о. Никодима.

Кое-кто и тутъ къ намъ подсѣлъ. Парень, что спрашивалъ насчетъ совѣта о вѣрѣ, три робкихъ мужика и какой-то мѣщанинишко. Не могли остановиться, опять начали что-то о Царствіи Божіемъ, о львѣ и агнцѣ, о вельможѣ и мужикѣ. Огни все мелькали у воды и служенія не прекращались, хотя было темно, какъ въ чуть пріоткрытомъ погребѣ.

Наконецъ мы увидѣли спускающагося съ холма о. Никодима и устремились къ нему. Шелъ за нами и народъ. О. Никодимъ объявилъ, что отправляется домой, на ночевку, усталъ, охрипъ, а что о. Анемподистъ еще сражается.

— Завтра утромъ опять на озеро пойду. Кой-кто изъ народа еще будутъ. Недоговорилъ.

Ко мнѣ подошелъ мѣщанинъ.

— Позвольте мнѣ карточку съ адресомъ. Я письмо вамъ долженъ писать.

— Поди вонъ къ тому барину, онъ тебѣ дастъ.

Мѣщанинъ шелъ съ моимъ спутникомъ до села и все время исповѣдывался, какъ онъ троихъ дѣтей своихъ засѣкъ, работника заморозилъ, пилъ, вовсе все забылъ,—а нынче, вотъ, потянуло и потянуло на Святое озеро молиться, и очень онъ мучится.

О. Никодимъ всю дорогу разсказывалъ мнѣ о хитрости и лукавствѣ Ивана Евтихіева — охрипшимъ басомъ, упирая на „о“.

Вернулись въ нашу избу. Голова уже не болѣла, но туманъ какой-то стоялъ передъ глазами,—такъ неожиданно было все, что было.

Завтра уѣзжать? Конецъ Свѣтлому озеру?

Лошадей мы заказали къ десяти утра. Усталость, вдругъ сказавшаяся, заставила насъ тотчасъ же лечь. Татьянушка притащила намъ сѣнники и „самоварчикъ“

но не было силъ пить чай. Сонъ тоже не приходилъ. Мы долго еще переговаривались.

Завтра уѣзжать? Конецъ Свѣтлому озеру?

28 іюня

Съ пяти часовъ опять не спимъ. Деревенская праздничная жизнь кругомъ. Голосъ Татьянушки:

— Не выдадите ли намъ самоварчикъ?

Выдали. Опять лежимъ.

Наконецъ, въ восемь — поднялись кое-какъ. Едва одѣлись — Татьянушка съ самоварчикомъ и съ неожиданнымъ извѣстіемъ:

— А васъ тамъ мужики дожидаются. Давно, часа три дожидаются. Они ужъ и чайку у насъ попили. Съ озера мужики, много.

Не конецъ Свѣтлому озеру! Мы ушли—оно само къ намъ пришло.

— Зови всѣхъ!—кричу я Татьянушкѣ.

И вмигъ изба наша наполнилась.

Народъ сидѣлъ на лавкахъ, на стульяхъ, на окнахъ и, главнымъ образомъ, на полу.

Оказался тутъ и Дмитрій Ивановичъ со своимъ духовнымъ „толкомъ", и Иванъ Игнатьевичъ, и цѣлая туча другихъ, извѣстныхъ и неизвѣстныхъ.

„Согласіе" Дмитрія Ивановича сидѣло отдѣльно, небольшой кучкой, поодаль: Иванъ Игнатьевичъ со своими—поближе.

Разговоръ былъ любопытнѣе вчерашняго.

Согласіе Ивана Игнатьевича—не молоканское, не духоборческое, не немолякское: сами они называютъ себя „ищущими". Были сначала съ Дмитріемъ Иванычемъ, но отъ него отошли. Признаютъ всѣ догматы, Писаніе принимаютъ не духовно только, но истори-

чески и реально, во Христа вѣрятъ, *какъ въ Богочеловѣка*. Признаютъ „тайность“ и думаютъ, что для спасенія—нужна Евхаристія.

Мы спрашиваемъ, почему же, если они все это признаютъ,—не идутъ они въ „Россійскую“ церковь?

Но Иванъ Игнатьевичъ объясняетъ,—длинно, спокойно, съ полнымъ уваженіемъ къ „Россійской“ церкви,—что она кажется имъ неподвижной, односторонней; священники не такъ охотно разъясняютъ нѣкоторые вопросы, кое-чего и вовсе не любятъ касаться, напримѣръ. Апокалипсиса, который. хоть и признается книгой боговдохновенной — за церковными службами не читается. Иванъ Игнатьевичъ и его „согласіе“ читаютъ и любятъ Апокалипсисъ и много думаютъ о грядущемъ.

. . . . . .

— Хорошо,—говоритъ мой спутникъ,—но если вы признаете, что безъ Евхаристіи нельзя спастись, то какъ же быть? Вѣдь почему-нибудь не совершаете вы ее у себя?

— А мы еще не осмѣливаемся,—тихо и серьезно отвѣчалъ Иванъ Игнатьевичъ.

Въ его серьезности и строгость, и надежда, и правда.

Дмитрія Ивановича я пытаюсь убѣдить, что въ исключительной „духовности“ есть демоничность, ибо только „духъ“ „δαίμων“. плоти и костей не имѣетъ, вполнѣ „духовенъ“. Упрямый старикъ. И вся Библія для него лишь „типы“. Замѣчательно, что „духовность“ приводитъ къ раціонализму. Всѣ „духовныя“ секты—секты раціоналистическія.

Кончили разговаривать—безъ конца, только потому, что ужъ пора было ѣхать. Все до послѣдняго слова было неожиданно и хорошо.

Спутникъ мой рвется въ село Ивана Игнатьевича, куда звала насъ его сноха. Ну, посмотримъ. А пока надо отправляться въ городъ.

Ѣдемъ назадъ въ С.

„Дядька“ нашъ оказался въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ съ семьей Ивана Игнатьевича и всю дорогу разсказывалъ намъ о нихъ, о сынѣ Василіи Ивановичѣ, о женѣ его, красивой, статной бабѣ, съ которой мы разговаривали на Озерѣ. Особенно хвалилъ Василія Ивановича.

Поднялся холодный, сѣрый вѣтеръ, и точно пылью заволокло небо. Такой силы вѣтеръ, что нельзя было глазъ открыть.

Кое-какъ доѣхали. Ложусь отдохнуть, радуясь моему здѣшнему дивану. Уже культура. Спутникъ мой вечеромъ еще заходилъ къ о. Анемподисту.

Они съ о. Никодимомъ, оказывается, вернулись только въ девять часовъ, о. Никодимъ окончательно потерялъ голосъ на Озерѣ въ это утро. Сражались еще часа 3—4, кучекъ, говорятъ, было немного; о. Никодимъ съ раскольниками, о. Анемподистъ съ немоляями,—но съ какими? Вѣдь даже Дмитрій Ивановичъ былъ все время въ нашей избѣ.

24 іюня

Рано утромъ пришелъ въ нашъ недостроенный „отель“ о. Никодимъ прощаться—уѣзжаетъ домой; въ Н. Пришелъ и о. Анемподистъ, который отправится съ нами въ скиты: Шарпанскій и Комаровскій.

О. Никодимъ невнятно хрипѣлъ что-то. О нашихъ „немоляяхъ“ сказали вскользь.

Явился къ намъ исправникъ, вернувшійся изъ Н. Пожилой, слегка угрюмый человѣкъ съ очень добры-

ми глазами, немногословный. Искренно желающій оказать намъ „всякую помощь“. На „начальство“ не похожъ. Человѣкъ самый обыкновенный.

О. Анемподистъ сказалъ:

— Да поѣдемте съ нами въ скиты, Ѳедоръ Кузьмичъ!

Исправникъ тотчасъ же согласился и вышелъ сдѣлать распоряженія.

Часовъ въ 12 выѣхали, на трехъ тройкахъ.

Впереди исправникъ съ о. Анемподистомъ, потомъ мы (увы, опять въ нашемъ ковчегѣ!), за нами еще любознательный здѣшній членъ суда,—въ своемъ собственномъ тарантасѣ (съ сидѣньемъ!) Мы не совсѣмъ понимаемъ, откуда въ С., гдѣ нѣтъ никакого „суда“—членъ суда, осѣдлый, со своимъ тарантасомъ,—но покоряемся очевидности, тѣмъ болѣе, что членъ очень милъ. Нервный блондинъ среднихъ лѣтъ, немного его дергаетъ, любезенъ, не безъ культурности,—даже „Міръ Искусства“ выписываетъ! Когда съ Шарпана я пересаживаюсь къ нему (вѣдь у него сидѣнье!)—говоримъ о Петербургѣ. Пошлости мало (въ исправникѣ и совсѣмъ ея нѣтъ).

До Шарпана доѣхали очень скоро. До Комарова отъ С.—двадцать одна верста, но, чтобы заѣхать въ Шарпанъ, надо сдѣлать четыре крюка.

Дорога... обыкновенная; начинаемъ привыкать къ ея ужасамъ.

Шарпанъ—самый неинтересный скитъ. Мѣстоположеніе—ничего, высокія, развѣсистыя деревья,—но ужъ слишкомъ скитъ слился съ деревушкой.

Есть и моленная, однако въ кельяхъ какъ-то семьями живутъ, и ужъ съ грязцой, и все какіе-то мужики да бабы.

„Настоятеля“ ихъ не было, ушелъ, говорятъ, въ Комаровскій скитъ.

Мальчишка провелъ насъ на могилу матери Февроніи—деревянная избушка безъ оконъ, внутри лавки мѣсто могилы, посерединѣ, огорожено, стоятъ иконы.

Избушки эти очень обыкновенны, на иныхъ могилахъ, впрочемъ, только „голубецъ“,—деревянный ящикъ въ видѣ гроба, и „часовенка“,—столбъ съ крошечной покрышечкой, вдѣлана мѣдная икона.

Отъ Шарпана на Комаровъ дорога почти все время лѣсомъ. Въ лѣсу—гати, ѣхать совсѣмъ невозможно. Идемъ пѣшкомъ,—но итти тоже скверно. Лѣсъ опять сплошной, тѣсный, а по дорогѣ, очень широкой, лужи и доски.

Идемъ, видимъ—навстрѣчу мужикъ въ бѣлой рубахѣ, не старый, съ просѣдью, благообразный.

О. Анемподистъ остановилъ его.

— Да это ты, Ефимъ? Здраствуй. А мы у тебя въ Шарпанѣ были. Ты изъ Комарова?

Мужикъ оказался шарпанскимъ „настоятелемъ“. Говоритъ безъ смущенія и безъ привѣтливости. Узналъ члена суда и спросилъ, гдѣ его барыня, съ которой тотъ у нихъ раньше былъ.

— Хорошо бы въ игуменьи твою барыню. Игуменья чистенькая была бы!

Членъ улыбается, но видимо не очень польщенъ комплиментомъ Ефима его отсутствующей женѣ.

— А что, Ефимъ,—спросилъ о. Анемподистъ,—комаровскій настоятель, старецъ Олександръ,—живъ?

— Померъ. Двѣ недѣли, какъ померъ. Матери тамъ страсть убиваются.

Ефимъ далеко не старецъ, къ тому же неразговорчивъ. Мы расчитывали на о. Александра и огорчились извѣстіемъ.

Скитъ Комаровскій начинается Игнатьевской обителью (прежде мужской). Скитъ подзапущенъ, хотя не такъ, какъ въ Шарпанѣ; и деревня здѣсь далеко отъ обители, черезъ поле, за горушкой.

Мы какъ-то сразу очутились въ моленной. Типъ ихъ вездѣ одинъ. Здѣшняя пониже, погрязнѣе Чернухинской, но за то шире, точно изъ двухъ горницъ, окна и справа и слѣва, иконостасная стѣна не доходитъ до правой стѣны, тамъ закоулочекъ — и вторая дверь. Моленную вдоль раздѣляетъ стѣна, до половины, такъ что направо опять можно зайти, и тамъ тоже закоулочекъ. По стѣнамъ лавки. Прекрасна громадная, старинная икона Божіей Матери, въ сплошной жемчужной ризѣ.

Двѣ древнія, древнія старицы въ черныхъ сарафанахъ, въ бѣлыхъ рукавахъ. Одна, мать Меропія, одутлая, желто-блѣдная (кажется, водянка у нея)—едва ходитъ. Другая, мать Маргарита, сухая, красноглазая старуха, въ черномъ платкѣ, еще древнѣе. Говорятъ, она выпиваетъ. И то: черезчуръ болтлива и жалоблива. Въ обители съ шести лѣтъ; разсказывала, какъ ее въ молодости „на годы" посылали въ Нижній и въ Москву къ богатымъ купцамъ читать, какія тамъ „искушенья", какъ ее изъ-за нихъ и постригли. Помнитъ хорошо разореніе скитовъ въ прошломъ вѣкѣ.

Но посреди разсказовъ о далекомъ,—вдругъ сразу вспомнитъ двѣ недѣли назадъ умершаго руководителя о. Александра—и начинаетъ слезиться и причитать:

— Я ему: не помри ты, нашъ батюшка! А онъ: что ты, мать, я еще тебя поминать стану. Я еще противъ тебя робенокъ!

Заливается-плачетъ. Потомъ опять ничего, опять разсказываетъ чуть не о молодости своей, а черезъ минуту снова:

— ... а онъ мнѣ: да я противъ тебя робенокъ!

И зальется.

Сходили на могилу святого Іоны-Курносаго, перваго Игнатьевскаго настоятеля. Надъ могилкой должна стоять старая ель, кору съ нея богомольцы берутъ отъ зубной боли. Но ель давно не стоитъ, а лежитъ,—одинъ остовъ ея; и коры никакой нѣтъ, вся ель—бѣлая отъ старости. Могила—не избушкой, только одинъ „голубецъ“ да „часовенка“ въ головахъ.

Изъ Игнатьевской обители, черезъ поле, а потомъ черезъ широкій болотистый лугъ, по очень удобнымъ мосткамъ, мы перешли въ Комаровскую женскую. Какъ здѣсь хорошо! Зеленая-зеленая поляна, прудокъ подъ нависшими березами, у пруда скамеечка.

За прудомъ, въ линію,—скитъ: одинаковыя двуоконныя избушки, соединенныя галлерейками. Это одна „стая“. Избушки чистенькія, крѣпенькія,—скитъ самый зажиточный, помогаетъ Бугровъ изъ Н.

Мы обогнули стаю, зашли съ другой стороны. И тамъ луга; ближе—развѣсистыя деревья, влѣво какъ будто огородъ. Чистенько—и заперто, словно вымерло. Съ галлереекъ по этой сторонѣ крылечки, плотно запертыя. Подъ окнами незамысловатые цвѣты.

Направо—навѣсъ и каменная могила („голубецъ“, только каменный) матери Манеѳы. Рядомъ—„било“, деревянная доска, висячая, на горизонтальной палкѣ. Тутъ же молотокъ на кожѣ. Извѣстно, что „било“ установилось въ скитахъ съ запрещеніемъ колоколовъ. Есть, однако, искусницы, умѣющія изъ „била“ извлекать звуки не хуже колокольныхъ.

Стучимъ въ дверь, въ одну, другую. Никто не выходитъ. Испугались? Стучимъ отовсюду.

Наконецъ вылѣзъ матерой мужикъ съ лукавымъ

лицомъ и сталъ утверждать, что „истинно никаго нѣтъ“ обѣ матери уѣхали, и что „истинно даже всѣ ключи съ собой увезли“.

Изъ оконецъ тѣмъ временемъ высунулись полудеревянныя лица молоденькихъ бѣличекъ. Онѣ всѣ подвязаны бѣлыми платочками, есть недурныя; одна, съ крупной черной родинкой на подбородкѣ, Маша,—совсѣмъ мила.

Болтаю съ ними черезъ окошко.

— Маша, а замужъ пойдешь?

— Не пойду,—отвѣчаетъ сурово, безъ искры въ глазахъ, безъ улыбки, безъ смущенія.

Послѣ долгихъ препирательствъ и лганья матерого мужика—намъ все-таки отворили.

Настоятельницъ, точно, не оказалось дома (или спрятались?)—но ключи на лицо.

Моленная большая, съ аркой,—изъ двухъ горницъ, вѣрно,—и образа хороши, но какая-то она не интимная. Благодаря отсутствію „матерей“, должно быть,—намъ здѣсь традиціоннаго „самоварчика“ не предложили, и мы были рады, что о. Анемподистъ заказалъ заранѣе чай на деревнѣ, у своей знакомой „учительницы“.

Захожу въ „трапезную“, соединенную со „стряпущей“. Остальная компанія гдѣ-то отстала.

„Стряпка“ среднихъ лѣтъ; тутъ же и дѣвушки.

— Что же вы теперь ѣдите?—спрашиваю.

— Капусту, грибы, а то кашу. Коли не постъ—иной разъ рыбу ѣдимъ, а только рѣдко. Встаемъ часу въ пятомъ. Въ одиннадцатомъ часу обѣдаемъ. Къ вечеру ужинаемъ.

— Ну, а кто въ огородѣ работаетъ, либо въ полѣ?

— Тѣ еще середничаютъ.

— А чай пьете?

— Чаю никогда не пьемъ. У насъ и прибора этого нѣтъ.

И все, говорятъ, вранье. Онѣ прехитрыя.

Попрощались мы съ Машей. Хоть бы тутъ улыбнулась! Какъ бы не такъ. И любопытство-то у нихъ какое-то мерзлое.

Пошли мы всѣ опять черезъ поле и горку — на деревню. Въ большой избѣ (поднятой, конечно) уже былъ самоваръ, хлѣбъ, молоко, свѣжія ягоды.

„Учительница" о. Анемподиста оказалась его же недавней ученицей — дѣвочкой на видъ лѣтъ тринадцати, съ косицей, въ коротенькомъ коричневомъ коленкоровомъ платьицѣ. Живетъ она и учительствуетъ въ сосѣднемъ селѣ, бѣдномъ, а теперь проводитъ у родителей-крестьянъ лѣтнее „каникулярное" время.

— Печку-то тебѣ въ твоей комнаткѣ поправили? — спрашиваетъ о. Анемподистъ.

Дѣвочка грустно и робко отвѣчаетъ:

— Нѣтъ...

Она кончила всѣ два класса С—каго училища. Теперь получаетъ 120 рублей въ годъ за свою школу.

Какая странная маленькая „учительница!"

О. Анемподистъ былъ въ веселомъ настроеніи духа, безъ конца пилъ чай и всѣхъ настоятельно угощалъ:

— Ѳедоръ Кузьмичъ! Кушайте! Чай на чай — не палка на палку! Иванъ Александровичъ! Что же вы? Не бутылка,—раздастся!

На обратномъ пути со мной ѣхалъ исправникъ, грустно-угрюмый, добрый, удивительно простой.

Немногословно и коротко разсказывалъ онъ мнѣ о томъ, какъ переживалъ его уѣздъ голодъ, холеру, что было, что есть. . . . . .

. . . . . .

О. Анемподистъ позвалъ насъ вечеромъ „въ свою келью“. Мы были утомлены (вѣдь пятьдесятъ верстъ сдѣлали!) и, придя, посидѣли недолго.

Разсматривали альбомы, карточки о. Анемподиста въ разныя времена его жизни. Домикъ деревянненькій, новенькій, свой. Фисгармонія въ углу. Матушка молодая, наивненькая, отъ наивности, слава Богу, не робкая.

Мы думали уже завтра ѣхать обратно въ Н., но спутникъ мой бредитъ немоляями и гадаетъ, не презрѣть-ли усталость, не поѣхать-ли въ село Ивана Игнатьевича, къ сыну его Василію Ивановичу?

Ничего, однако, не рѣшили. Утро вечера мудренѣе.

25 Іюня

Утромъ, только что сѣли пить чай, является нашъ служитель Михаилъ.

— Тамъ васъ, господа, мужикъ спрашиваетъ. Очень спрашиваетъ. Съ Озера, говоритъ.

Вошелъ—худенькій, маленькій, невзрачный. Робкій и упрямый. Сектантскій декадентъ. „О вѣрѣ“ говорить явился. Объяснилъ, что пріѣхалъ и Василій Ивановичъ (сынъ Ивана Игнатьевича) къ намъ. Свободно-ли намъ теперь?

Мы усадили „декадента“, налили ему чаю.

Соображаемъ: сейчасъ придетъ исправникъ и о. Анемподистъ,—вести насъ къ молодому головѣ Ватрушкину, купцу знаменитыми С—кими деревянными издѣліями.

— Вотъ что,—внезапно рѣшаю я.—Мы сегодня еще не уѣдемъ. И приходите вы съ Василіемъ Ивановичемъ къ намъ часу въ четвертомъ.

„Декадентъ“ согласился. Самъ онъ, кажется, больше

насчетъ иконъ, хотя утверждаетъ, что не Дмитрія Ивановичева духовнаго согласія.

— Да какъ вы оба сюда попали? По дѣлу, что ли?

— И не то, что по дѣлу, а такъ, понудило что-то итти говорить, и понудило. Слышно, ты, баринъ, не миссіонеръ, а самъ по себѣ. На Озерѣ, слышно, съ нашими хорошо говорилъ. И понудило насъ. Лошадей Василь Иванычъ запрегъ—да сюды. А я ужъ съ нимъ.

Ушелъ робко.

Пока что—идемъ къ Ватрушкину съ исправникомъ и о. Анемподистомъ.

Каменный домъ. На дворѣ навѣсы для ложкарей и возы съ товаромъ. Самъ Ватрушкинъ — молодой, широкоплечій, чернобородый малый, развязный, добродушный, не безъ претензіи на „лоскъ". Въ чесунчѣ и въ картузѣ. Показалъ товаръ, надарилъ намъ ложекъ, повелъ къ себѣ.

„Зало" разукрашено въ самомъ вольнокупеческомъ духѣ. Лиловые лѣпные потолки.

— Мы что жъ, нешто въ Москвѣ да въ Питерѣ не бывали!

Самодоволенъ.

Пришла жена, не старая, но увядшая, съ желтыми пятнами на лицѣ, явно беременная.

— У васъ много дѣтей? — спрашиваю Ватрушкина.

— А сколько хотите! Штукъ семь есть. Всѣ по улицѣ бѣгаютъ, сорванцы!

„Самоварчикъ" — въ столовой. Чашки — „исправничьи", чуть не ведерныя. Пирогъ на горчичномъ маслѣ, не съѣдобный.

Разговоръ за чайкомъ, съ шуточками. Ватрушкинъ, кажется, не безъ хитринки въ своемъ дѣлѣ. Къ вопросамъ „вѣры"—равнодушенъ.

— Дѣтишки да дѣлишки. Тутъ ужъ не до вѣры. Не такъ ли, батя?

О. Анемподистъ присмѣивается, не безъ уваженія.

Часа въ три мы дома. Опять заказали „самоварчикъ“. Пришли наши „немоляи“.

Василій Ивановичъ—красивый, рыжебородый мужикъ лѣтъ тридцати пяти, съ удивительно умными глазами. „Декадентъ“ передъ нимъ—заморышъ, а онъ статный, здоровый, сильный. Да „декадентъ“ и молчалъ больше, уступая слово Василію Ивановичу.

Говорили мы часовъ пять подъ рядъ.

— Пара лошадей у меня здѣсь, и лошадей забылъ. Чудо это Божье, баринъ; ты книги читалъ, въ Питинбурхѣ живешь, мы здѣсь, а въ мысляхъ вотъ какъ сошлись. Пожалуй, будь добръ, напиши намъ.

Очень любопытенъ и опять неожиданенъ былъ разговоръ. Они—сами знаютъ, что ихъ, „ищущихъ“, миссіонеры сбиваютъ въ одну кучу съ молоканами, духоборами, штундистами, и что это имъ очень вредитъ во всѣхъ отношеніяхъ.

— Что ты будешь дѣлать! Понятнаго такого человѣка не найти. Батюшки—они стараются, это что говорить, и усердные есть, а только не вникаютъ, къ чему имъ? Сейчасъ спроситъ, ежели пріѣзжій какой, поважнѣе: ты молоканъ? Либо штундистъ? Начнешь ему свое изъяснять, а онъ поспѣшаетъ: ну да, да, вижу, молоканъ,—и про свое начнетъ, что тамъ для нихъ написано, чтобы молоканамъ говорить. Гладко такъ, доточно говоритъ, однако для насъ неподходяще. Опять же—какая ужъ тутъ бесѣда? Онъ, батюшка-то, заранѣ себѣ положилъ, что я въ каждомъ словечкѣ—заблудшій, а у него вся Божья истина до послѣдней порошинки, и нечего тамъ и разбираться особенно,

хочешь—бери, отрекайся отъ своего сплошь, не хочешь — оставайся заблудшимъ и превратнымъ, штундистомъ либо молоканомъ. Разговоры длинные бываютъ, а все они короткіе. Имъ—ну какъ, вотъ, хоть про „тайность“ скажешь? Что, молъ, за тайность за скрытая? Мы, молъ, ужъ все знаемъ и всей полнотой обладаемъ. А мое такое, господинъ разумѣнье: никакой человѣкъ не можетъ утвердиться, что онъ всю истину до самаго до кончика постигъ, и ужъ дальше ей некуда въ немъ открываться. Много постигъ, а устремляйся, и еще постигнешь; а не то, чтобъ сѣсть, сапоги снять да упокоиться. Сподобилъ, молъ, Богъ: до кончика открылъ. Истина-то она одна, да сразу не открывается. Скажемъ, къ примѣру, всхожу я на гору. Поле вижу кругомъ,— да не все. Взойду маленько — поле-то мнѣ ужъ шире показываетъ, еще взойду, анъ ужъ до лѣса вижу, далеко вижу. На всю-то гору не взойти, на нее, можетъ, показано намъ до второго пришествія Господа нашего Іисуса Христа итти, ну а всходить надо, пока твой часъ не придетъ. Истину-то познавать. Трудно, да надо. Поодиночкѣ оно ужъ очень тяжело. А у насъ народъ упокоенный. Либо духовное „согласіе“... Какъ пойдешь это все по духовному понимать—и докатишься до точки, всего рѣшиться можно. Однако и духовное соображеніе вначалѣ много помогаетъ. Вотъ хоть взять нашъ народъ по деревнямъ, которые православными считаются.

— А что?

— Да что. Вовсе безъ соображенія живутъ, и ни къ чему оно имъ. Господа миссіонеры и батюшки вѣрными овцами ихъ считаютъ, потому что они слова противъ нихъ не говорятъ, въ церковь по праздникамъ ходятъ, иконамъ молятся. „Во всемъ согласны?“ „Согласны“. Благословитъ ихъ пріѣзжій батюшка-миссіонеръ,

порадуется и уѣдетъ. А то и вовсе о нихъ не вспомнитъ—миссіонеры-то, вѣдь, къ намъ, а не къ нимъ, пріѣзжаютъ. Ну, а мы между народа живемъ, — такъ и знаемъ ихнюю-то вѣру. Иконы, скажемъ. Икона, вотъ ты говоришь, какъ бы портретъ. Это пусть. Вхожу я въ комнату, гдѣ высокаго лица портретъ — я шапку сниму. Уваженіе. А тѣмъ пуще, ежели и не человѣкъ изображенъ. Это дѣло одно. А у нашихъ есть ли такое понятіе? Войдетъ въ избу: „гдѣ у васъ Богъ-то? Въ какой уголъ молиться-то можно?“ Вѣдь вотъ какое понятіе. Что, молъ, я пустому-то мѣсту молиться буду? Богъ-то, молъ, и не видитъ, что молюсь. Оттого и насъ, которые „духовнаго согласія“, за безбожниковъ считаютъ. Нѣтъ иконъ—Бога нѣтъ. Вотъ вѣдь какое разсужденіе. Или тамъ баба приходитъ къ священнику: „отслужи ты мнѣ, батюшка, Казанской молебенъ. Да мотри, не ошибись, не Смоленской отслужи, а Казанской!“ Спросишь такую бабу: сколько, тетушка, Богородицъ? Она те и начнетъ высчитывать, коли усердная къ церкви: Смоленская — разъ, Казанская—два, Толгская—три, Нечаянная Радость—четыре, Троеручица—пять... и пошла, и пошла, вонъ, молъ, сколько ихъ, ну...

Тощій мужикъ, „декадентъ“, кажется не перешелъ еще „къ настоящему разумѣнію“ и упрямо началъ что-то опять свое про иконы. Пытаюсь ему говорить о безбожіи дѣтей, если ихъ воспитывать безъ иконъ, безъ всякаго образнаго представленія о Богѣ. Вѣдь сразу „духовно“ понять все они не могутъ. Не убѣдился, но замолкъ. Не убѣждаетъ его и Василій Ивановичъ; онъ, вѣроятно, надѣется, что современемъ „декадентъ“ самъ войдетъ въ его „согласіе“.

Намъ понятно все, что говоритъ Василій Ивановичъ. Понятна и разница нашего положенія, среды. Мы „ин-

теллигенты", живущіе въ „Питинбурхѣ" — боремся съ окружающимъ насъ раціонализмомъ, скепсисомъ, религіознымъ равнодушіемъ, ихъ боимся, — а они, здѣшніе ищущіе, борются съ темнымъ невѣжествомъ, стоящимъ на мѣстѣ религіи. И тѣмъ удивительнѣе, что они не пали окончательно, не остались въ „духовномъ" раціонализмѣ („духовное согласіе"—это одинъ изъ видовъ раціонализма, конечно)—а *перейдя черезъ* него—побѣдили эту реакцію. Евангеліе они понимаютъ реально и мистически. „Декадентъ" началъ было что-то такое объ Евхаристіи, какъ о „напоминаніи", а не „претвореніи"— но тотчасъ же вызвалъ горячія рѣчи о „тайности" того необходимаго и всеизмѣняющаго „огня", который входитъ въ человѣка, огня несомнѣнно „чудеснаго"...

— И было у нихъ одно сердце и одна душа,—говоритъ Василій Ивановичъ про древнихъ христіанъ.— Воистину „единомысліемъ исповѣмы"... Откровеніе Святого Іоанна тоже мы много читаемъ. Ибо тутъ мудрость. Нельзя эту книгу откинуть. Сказано: если кто хоть слово единое откинетъ . . . . . .

. . . . . .

Бесѣда наша съ Василіемъ Ивановичемъ затянулась. Мы говорили ему все, что думали сами, чего ждемъ, на что надѣемся. Говорили о *грядущемъ*. Онъ жадно разспрашивалъ насъ, что написано обо всемъ этомъ въ книгахъ, что думаютъ другіе „образованные" люди, къ которымъ они далеки, а мы близки. Увы! Какъ было имъ сказать, что „образованные" люди большею частью вовсе объ этомъ не думаютъ, не ищутъ ни „правды", ни „вѣры", ни „любви"? А книжки? Какія книжки могли мы имъ посовѣтовать читать? „Нравоучительныя" или просто „занимательныя" изданія „для народа"? Или Ренана? Или, Толстого? Или, можетъ быть,

„Миссіонерское Обозрѣніе“?—этотъ темный ужасъ хамства и варварства?

Василій Ивановичъ тонкій, культурный человѣкъ въ высшемъ смыслѣ. Читать „Миссіонерское Обозрѣніе“ — ему было бы оскорбительно, а Толстого безполезно; Толстого, какъ религіознаго проповѣдника, онъ уже внутренно прошелъ и ушелъ дальше (отчасти и внѣшне: помню, онъ сказалъ вскользь: „читали мы Толстова намеднись; не ндравится“)... Толстой же, какъ художникъ, не плѣнитъ Василія Ивановича: онъ отъ эстетики дальше, чѣмъ ребенокъ. Въ этой точкѣ—у насъ съ нимъ глубокое различіе, которое мы поняли не сразу. Мысли, и даже ощущенія наши часто пересѣкаются, но пути, по которымъ мы пришли къ нимъ, разнятся. И потому въ цвѣтѣ, въ формѣ мысли — едва уловимая разница. Намъ часто кажется, что Василію Ивановичу чего-то недостаетъ... но, Боже мой, намъ столькаго, самаго нужнаго, недостаетъ, (не по нашей волѣ, можетъ быть), чего у него много! Въ немъ— жизненность, борьба серьезная, и жизнь — *не* помимо главнаго вопроса. И жизнь не *поддѣланная* подъ вопросъ, а естественно сливающаяся съ нимъ. . . . .

. . . . . .

Случайно, во время бесѣды, выхожу въ другую комнату. Вижу—незнакомый грустный мужикъ наполовину всунулся въ открытое окно. Удивляюсь, — тѣмъ болѣе, что этажъ, хоть и очень низкій, но второй.

— Ты что?

— А мнѣ послушать лестно. О вѣрѣ говорятъ.

— Ты самъ изъ какихъ?

— Мы-то? Мы плотники...

И прибавилъ грустно:

— Изъ православныхъ мы.

Православные“ здѣсь — или вполнѣ равнодушны, или скучаютъ и жаждуютъ новаго, какого-нибудь движенія, прочь отъ неподвижной полицейской и косной церковной духоты.

Долго наши „немоляи“ (?!) не могли съ нами разстаться. Этотъ разговоръ я считаю самымъ значительнымъ и выясняющимъ положеніе дѣлъ и въ настоящемъ и въ *будущемъ*.

Наконецъ, ушли. Солнце заходило, но вѣтеръ, дувшій цѣлый день, не легъ. Въ многочисленныя окна нашей угловой горницы видна была пустая базарная площадь съ низкими сѣрыми „рядами“ вокругъ, немощеная, но плотно убитая, какъ токъ. На току неподвижно стояла одинокая лошадь безъ всякой упряжи, даже безъ уздечки, и вѣтеръ развѣвалъ ея жидкій хвостъ. Больше никого не было, и ничего. Глухой городъ, унылая земля! Казалось, тутъ ли быть живымъ душамъ?

А намъ страшно думать, что завтра мы уѣзжаемъ отсюда, возвращаемся въ нашъ „центръ культуры“ — парадизъ Петра Великаго, городокъ Петербургъ.

Около девяти вечера пошли къ о. Анемподисту. Сидѣли недолго. Тучи грузныя, изсиня-черныя, завалили небо. Начиналась гроза и буря.

26 іюня

Выѣзжаемъ утромъ въ Н., въ нашемъ ковчегѣ.

Насъ пришелъ проводить о. Анемподистъ съ матушкой, принесли С—скихъ баранокъ на дорогу. Свѣтило солнце, какое-то мокрое послѣ ночной грозы, то и дѣло набѣгали и пробѣгали тучи. Было душно.

По дорогѣ мы еще хотѣли заѣхать взглянуть на могилу о. Софонтія. Она въ глубокомъ лѣсу. Разъ въ годъ старовѣры ходятъ туда на поклоненіе. А то и въ одиночку ходятъ, по обѣту. Очень чтится батюшка Софонтій.

Верстахъ въ семи отъ С., при лѣсной дорогѣ, у края—„часовенка" (столбикъ съ иконкой). Отъ нея вьется вглубь частаго, сырого еловаго лѣса чуть видная тропа.

Покинули на дорогѣ ковчегъ нашъ и ямщика,—идемъ. Лѣсъ темный, душистый, еловыя вѣтви, какъ лапы, тянутся поперекъ тропы, низко. Долго шли, все лѣсъ. Тихо такъ. Вотъ мостикъ и полянка, вся въ длинныхъ лиловыхъ цвѣтахъ. Рву ихъ по дорогѣ, смѣшивая съ красной гвоздикой, яркой (лиловые цвѣты—блѣдные).

Мой спутникъ торопится:

— Скорѣе! Вонъ и ограда.

За полянкой—сѣрый заборъ, кольями. Калиточка, тщательно припертая. Вошли. Высокія деревья и могилки. Посрединѣ—избушка безъ оконъ, съ широкою дверью, запертою,—могила старца. Отперли двери, вошли.

Много иконъ; мѣсто гроба, какъ вездѣ, огорожено деревянной рѣшеткой. Чисто, лавки кругомъ. Ладанъ въ шаечкѣ, свѣчи, выцвѣтшія подушечки для „метаній". Тишина, глушь лѣсная. Постояли мы, гривеннички положили,—въ головахъ пристроено мѣсто, гдѣ стоятъ иконы и свѣчи,—пошли. На калиткѣ старая надпись печатными буквами, большая: „Б-ы-ли гре-шные Никита..." дальше не разобрать.

Парило, солнце такъ и падало на плечи. Прошли мимо колодезя, который своими руками выкопалъ Со-

фонтій. Здѣсь онъ спасался, здѣсь же и принялъ вольную кончину ради вѣры—сжегъ себя въ срубѣ.

Отойдя нѣсколько саженей—вспоминаю о своемъ лилово-красномъ букетѣ. Надо было оставить на могилѣ. Вѣдь это его цвѣты, съ его поляны. Спутникъ мой уже далеко, но я возвращаюсь. Съ трудомъ отмыкаю калитку, потомъ тяжелыя двери могилы. Цвѣтамъ хорошо въ прохладной мглѣ, около темной иконы Богоматери.

А мнѣ было страшно. Солнце опаляющее, глухая тишина яркаго полдня, странная могила,—и тишина; главное — она. Тотъ неподвижный, блистающій часъ, когда одинокаго человѣка тишина зоветъ по имени...

Быстро дошли назадъ, поѣхали. Надвигался дождь. Полилъ. Потомъ опять стало ясно и жарко—надолго. И снова дождь. И снова солнце.

Къ вечеру пріѣхали въ Н. Воды, воды! Тутъ только мы поняли, какъ намъ хочется мыться. Въ С., несмотря на всѣ усилія, мы не могли достичь, чтобы купили глиняный тазъ на базарѣ. Михаилъ поливалъ намъ изъ ковша надъ ведромъ!

Гостиница „Россія“ (на этотъ разъ мы остановились наверху, въ Кремлѣ)—„культурна“ и дорога.

27 іюня

Цѣлый день спимъ. Нѣсколько разъ приходилъ М. (сынъ заволжскаго писателя)—мы все спали. Наконецъ пришелъ въ третій разъ, къ вечеру. Рѣшили ѣхать вмѣстѣ въ П—скій монастырь.

Монастырь надъ Волгой, старинный. Низкія, длинныя галлереи. Вечеръ былъ свѣжій, темный послѣ теплаго дождя. Пошли въ ризницу съ монахами, оттуда въ библіотеку. Монахи зажгли свѣчи восковыя, ибо

ужъ темнѣло, а окна маленькія въ нишахъ. Книги кругомъ старинныя,—чудесное Евангеліе съ рисунками въ краскахъ, синодикъ Іоанна Грознаго... Что-то такое хорошее, тайное—и спокойное во всемъ, и въ книгахъ, и въ свѣчахъ, и въ темныхъ фигурахъ монаховъ подъ тяжелыми сводами.

Бродили за стѣнами монастыря по откосу. На Волгѣ тѣни и полутуманы серебряные съ сиренью. Отсюда Волга хороша.

М. пилъ у насъ чай. Увлеченъ нашими разсказами о Свѣтлоярѣ.

28 іюня

Дѣлаемъ прощальные визиты. Отправились къ о. Леонтію, на Варварскую улицу. Нѣту. Пошли къ о. Никодиму, благо близко. Дома. Матушка не вышла. Вышла дочка,—блѣдная, въ красной кофточкѣ.

О. Никодимъ до сихъ поръ еще хрипитъ. Говорили о сектантахъ, о народѣ. Пытаемся сказать ему, что въ народѣ, дѣйствительно, много непониманія и неразумѣнія,—хотя бы по отношенію къ иконамъ.

— Нѣтъ,—говоритъ о. Никодимъ хриповато, упирая на „о".—Это вы напрасно. Народъ вѣритъ особо въ Казанскую, особо въ Смоленскую, особо во Владимірскую. Народъ знаетъ, что Владимірская шла по воздуху и потому даруетъ исцѣленіе зрѣнію.

Что дѣлать? Умолкаемъ. Я выхожу на крошечный угловой балкончикъ. Внизу булочная, и золотой крендель виситъ на самомъ балконѣ о. Никодима, толстый, поскрипывая на желѣзныхъ шипахъ. Вьются улицы, сѣренькія, вымощенныя громаднымъ булыжникомъ, словно арбузами. Изрѣдка гремятъ дрожки. Слышенъ снизу мутный гулъ торговаго города.

Былъ и чай съ вареньемъ, пришелъ и о. Леонтій, молчаливый, не то угрюмый, не то застѣнчивый, какъ всегда. Посидѣли, поговорили еще—уѣхали. Надо укладываться.

Насъ провожалъ М., хотѣлъ даже ѣхать съ нами до Балахны.

Погода внезапно установилась. Очень жарко.

29 іюня

На Волгѣ. Жарко, однообразно. Ѣдетъ какая-то семья, барышня, одна, двѣ, maman,—и съ ними компанія молодыхъ людей. Самый нестерпимый—офицеръ, потому что непрерывно разсказываетъ анекдоты, о какихъ-то зайцахъ, о денщикѣ, о свиньѣ и букашкѣ,—и пріятно шутитъ съ юными барышнями.

На палубѣ не веселѣе. Бѣгаютъ скверно одѣтыя дѣти, стуча сапогами. У каютъ-компаніи второго класса примостились на скамейкахъ тетки съ вязаньями. Имъ молоденькая дѣвушка въ кожаномъ поясѣ и ситцевой блузкѣ прочувствованнымъ голосомъ читаетъ знаменитое, потрясающе-уродливое и пошлое стихотвореніе Навроцкаго „Утесъ на Волгѣ“. Видно, нарочно книжку взяли на пароходъ. Тетки довольны очень. Довольна и незамысловатая барышня.

Ничего, занятно наблюдать. Но вскорѣ опять скучно. Берега плывутъ, плывутъ... Назойливыя и наглыя чайки такъ и чертятъ съ визгами у самыхъ бортовъ. Внизу палубные пассажиры сидятъ смирно и все что-то жуютъ.

Закатъ лилово-красный, точно мой букетъ съ поляны старца Софонтія.

30 іюня. Воскресенье

Опять въ Х., рано утромъ, въ той же гостиницѣ (гдѣ уже намъ все приготовили). Не успѣли опомниться,

умыться какъ слѣдуетъ, — отъ губернатора прислали лошадей, какъ разъ сегодня — освященіе старинной церкви Ильи Пророка, возстановленной мѣстнымъ милліонеромъ и городскимъ головой—Сандулеевымъ.

Спутникъ мой сталъ было отнѣкиваться,—не выспались мы и устали,—но я стремлюсь рѣшительно. Церковь великолѣпная, одна изъ самыхъ лучшихъ и старыхъ въ Х.

Часовъ около одиннадцати—ѣдемъ. Пристава провели насъ впередъ. Служба шла соборнѣ, съ архіепископомъ.

Мы попали къ Херувимской. Пѣніе прямо небесное. Старинные Х—скіе напѣвы. „Херувимская", „Достойно" и запричастный стихъ особенно великолѣпны.

Очень хорошо и глубоко—архіерейское перекрещиванье свѣтильниковъ.

Кончилось. Какой-то старичекъ во фракѣ прочелъ адресъ, обращенный къ Сандулееву. Сандулеевъ стоялъ тутъ же, небольшой, не толстый, съ яйцеобразной лысоватой головой, съ расчувствованнымъ лицомъ. Въ адресѣ все повторялось слово „изящный" и „изящество".

Потомъ вышелъ на амвонъ архіепископъ. Онъ весь великолѣпенъ, грузенъ, съ большими чертами лица, глуховатъ, но еще бодръ, несмотря на свои восемьдесятъ семь лѣтъ. Произнесъ рѣчь, обращенную къ Сандулееву.

— Теперь, приблизьтесь, Николай Семеновичъ...

Николай Семеновичъ приблизился, и архіепископъ вручилъ ему икону Ильи Пророка, съ которой одаренный долго не зналъ, что дѣлать, и наконецъ положилъ на аналой въ сторонкѣ.

Затѣмъ уже все окончательно окончилось, пошли

къ кресту. Губернаторъ познакомилъ насъ съ Сандулеевымъ и его женой, и они тотчасъ же пригласили насъ къ завтраку. Ѣдемъ туда.

Растрелліевскіе покои съ богатымъ (конечно, не весьма подходящимъ) убранствомъ. На лѣстницу всходимъ вслѣдъ за архіепископомъ, котораго медленно вводятъ наверхъ подъ руки. Жена Сандулеева—маленькая, полуполная, блѣдная и тихая женщина. Были какія-то и другія городскія дамы.

Въ громадной залѣ накрытъ столъ,—покоемъ. Видны старанія пышности. Печатное „menu". Народу—безъ конца. Наискосокъ, отъ меня, противъ архіепископа,—сидитъ худенькій, бѣловолосый профессоръ Б., извѣстный знатокъ раскола и русской древности. Прибылъ на торжество. Очень выдержанный типъ стараго московскаго профессора. Веселъ чрезмѣрно, подвиженъ, хохотливъ, любитъ торжественные завтраки и обѣды. Съ почтеннымъ архіепископомъ они въ какомъ то городѣ во дни юности вмѣстѣ пребывали. И Б. не уставалъ вспоминать.

— Владыко, вы всѣ мои увлеченія знали. Какъ я изъ Петербурга пальто выписалъ, чтобы подъ ноги барышнѣ подстелить. А она прошла—и засмѣялась. И какъ я на кровлѣ сидѣлъ и въ трубу издали на барышню смотрѣлъ, отъ природы будучи робокъ. Помните, владыко?

Самъ заливается — хохочетъ. Губернаторъ, который отдѣляетъ меня отъ архіепископа, и я—тоже принимаемъ участіе въ разговорѣ.

Спрашиваю владыку, поощрялъ онъ или порицалъ увлеченія даровитаго юноши. Глуховатый пастырь, уразумѣвъ вопросъ, отвѣчаетъ:

— Поощрялъ, поощрялъ...

И долго еще качаетъ утвердительно головой.

Начались многочисленныя рѣчи. Б. говорилъ даже стихами.

Едва въ четыре часа мы вырвались домой—объѣвшіеся, и голова кружилась.

Въ семь—обѣдать къ губернатору.

Домъ губернатора—удивительный, строгій, кажется, екатерининскихъ временъ. Балконъ на Волгу, съ другой стороны—широкій тѣнистый садъ, весь душистый отъ цвѣточныхъ ковровъ. Обѣдали въ саду. Общество не очень большое, все больше пріѣзжіе (и профессоръ Б. здѣсь)—вице-губернаторъ и Р—скій (уѣздный) предводитель дворянства, баронъ Z. Старинный городокъ Р—въ, когда-то называвшійся „великимъ"—теперь маленькій уѣздный городокъ Х—ской губерніи, всего въ полутора часахъ ѣзды отъ Х. Баронъ, тамошній предводитель дворянства, предпочитаетъ жить въ Х. Въ Р—въ мы собираемся съѣздить завтра, отъ утра до вечера.

Былъ еще за обѣдомъ одинъ профессоръ мѣстнаго лицея, Гур—ндъ. Молодъ, молчаливъ, самодоволенъ, въ высшей степени непріятенъ. Грубый матеріалистъ. Мы съ нимъ сразу столкнулись. Но и спорить не стоило. Оставить мертвеца хоронить мертвецовъ. прелестнаго Гур—нда — дѣлать свою карьеру.

Послѣ обѣда пошли на балконъ пить кофе и засидѣлись до темноты. Б. сталъ серьезнѣе, говорилъ о своемъ. (Собесѣдникъ онъ плохой, не слушаетъ и не вникаетъ въ чужое. Грѣхъ многихъ).

Говорилъ, между прочимъ, что старообрядцы правы въ своихъ сужденіяхъ...

Пытаюсь возразить на это, что православная церковь болѣе права, если она допускаетъ *оба* креста, *оба*

перстосложенія, допускаетъ этимъ кое-какую свободу, движеніе, а потому „исторія—за нее“, съ нею, а не съ расколомъ.

Далѣе Б. разсказывалъ, какъ къ нему пришелъ однажды вечеромъ Левъ Толстой, собираясь писать романъ изъ эпохи Петра I. (Давно это было!). Толстой сказалъ Б—у, что „все понимаетъ въ этой эпохѣ, а раскола не понимаетъ“. Сидѣли въ то время у Б. въ кухнѣ крестьяне. Поговоривъ съ Л. Толстымъ о расколѣ (ничего особенно не выяснивъ), Б. позвалъ крестьянъ. Крестьяне были, кажется, вовсе не раскольники, но въ тѣ времена Левъ Толстой не зналъ хорошо ни тѣхъ, ни другихъ. Онъ долго говорилъ съ ними, разспрашивалъ, какъ они Богу молятся. Тѣ ему что-то говорили: „подай, Боже, чтобы на поляхъ у насъ колосилось, на лугахъ ворошилось, на дворахъ плодилось“... И Толстой былъ въ восторгѣ отъ этихъ жизненныхъ прошеній.

1 іюля

Ѣдемъ на цѣлый день въ Р—въ.

Съ нами ѣдетъ и баронъ Z—показывать „свой“ городъ. Баронесса (ея вчера не было у губернатора)—une jolie laide, молодая дама не безъ привѣтливой наивности; очень хотѣла съ нами познакомиться. Самъ баронъ—бѣлокуръ, веселъ. Оба супруга довольно пріятны.

Кромѣ того, на завтракѣ у головы мы познакомились со здѣшнимъ, Р—скимъ, меценатомъ Дѣевымъ, любителемъ и хранителемъ р—ской старины.

Здѣшній музей обязанъ существованіемъ только ему. Дѣевъ—пожилой, сухой, живой и быстрый человѣкъ. Русскій американецъ. У него сегодня будемъ обѣдать.

Въ соборѣ насъ встрѣтилъ протоіерей. Сначала онъ меня возмутилъ. Началъ голосомъ, которымъ отвѣчаютъ

уроки и который я называю „зубрильнымъ“—явно-заученную наизусть исторію собора, съ годами и т. д.

— Когда же измѣнники-поляки...

Гулъ идетъ по церкви.

Но потомъ онъ оказался милымъ и простымъ. Ходилъ съ нами по церкви. Указалъ на одинъ, дѣйствительно прекрасный, образъ Іоанна Богослова. Лучшій какой мы гдѣ-либо видѣли.

Въ саду, въ бесѣдкѣ, слушали звоны знаменитыхъ Р-скихъ колоколовъ—Сысоя Великаго и Поліелея. Протоіерей махалъ бѣлымъ платкомъ—и гудѣли колокола, старые, согласные, спѣвшіеся, чуть-чуть уставшіе, но покорные.

Услышавъ колокола--явился къ намъ и Дѣевъ. Тутъ же, въ Кремлѣ, пошли по всѣмъ церквамъ. Кромѣ протоіерея, сопровождалъ насъ еще одинъ священникъ. Нѣтъ счета церквамъ, теремамъ, переходамъ и дворамъ, по которымъ мы ходили.

Я не пишу указателя Р—скихъ достопримѣчательностей, а потому и не буду здѣсь вдаваться въ подробныя ихъ описанія. Описанія эти есть въ многочисленныхъ брошюрахъ и каталогахъ Дѣева, и... кажется въ Бедекерѣ на французскомъ языкѣ. Но какъ хороша стѣнная живопись! Крылатые Предтечи повсюду. А въ одномъ изъ алтарей, на дальней стѣнѣ, есть даже дивный образъ длиннокрылой Богоматери, кажется, единственный. Удивительна одна церковь--стройностью, красотой и тайной разноцвѣтныхъ стеколъ.

Въ этой церкви къ намъ присоединилась дочь Дѣева, пріѣхавшая изъ имѣнія. Милая дѣвушка, неожиданно-культурная, образованная. Она долго пробыла въ Берлинѣ, все читала, безъ Ницше „жить не можетъ“, и насъ обоихъ знаетъ и любитъ.

Обѣдаемъ у Дѣевыхъ, вмѣстѣ съ баронами.

„Домикъ“ ничего, видно, что „мецената“. Послѣ обѣда опять отправились—сначала въ музеи, а потомъ взобрались на высокую деревянную... колокольню? надъ озеромъ, откуда виденъ весь Р—въ Великій.

Какъ городъ—онъ захолустенъ; чуть не керженскій нашъ С. Лежитъ въ низинѣ, у плоскихъ береговъ плоскаго, громаднаго, почти безберѐжнаго озера.

Облака, грустныя и нѣжныя, жемчужныя, затягивали безвѣтренное небо. Ихъ тонкая тѣнь падала на озеро. Мнѣ вспомнилась итальянская Мантуя, родина Виргилія, такой же сырой, плоскій городокъ среди безбережныхъ озеръ. Но великій Р—въ сѣрѣе, холоднѣе и, главное, строже. Строже.

Пили чай у Дѣевыхъ, которые и отвезли насъ на вокзалъ. Рѣшаемъ ѣхать въ Петербургъ послѣзавтра, въ три часа дня, а завтра дали слово обѣдать у бароновъ, съ которыми возвращаемся въ Х.

У насъ въ гостиницѣ—письмо отъ губернатора: зоветъ обѣдать завтра. А мы обѣщали Z! А къ губернатору завтра вечеромъ долженъ пріѣхать, изъ Р. на пароходѣ, одинъ изъ популярнѣйшихъ священниковъ, о. Іаковъ, съ которымъ намъ—мнѣ—очень хотѣлось бы познакомиться!

Ну, посмотримъ, какъ выйдетъ.

2 іюля

Обѣдаемъ у бароновъ, въ собственномъ ихъ „домикѣ“. Тутъ же и губернаторъ, успѣвшій утромъ съѣздить въ Р—скъ и вернуться.

Послѣ обѣда губернаторъ спросилъ:

— Не будетъ ли вамъ интересно видѣть о. Іакова? Я ожидаю его часамъ къ одиннадцати вечера, у себя.

Мы очень довольны. Губернаторъ уѣзжаетъ раньше, мы отправляемся къ нему часовъ въ десять.

Еще никого. Только полицеймейстеръ. У подъѣзда—губернаторскія и полицеймейстерскія лошади, чтобы ѣхать на пристань, когда дадутъ знать по телефону, что пароходъ о. Іакова подходитъ.

Ждемъ, пьемъ чай.

Губернаторъ показывалъ мнѣ интересный шкафъ съ масонскими одеждами и знаками,—остались отъ дѣда. Затѣмъ—громадную книгу автографовъ. Есть Екатерина, Петръ I. Очень любопытны неизвѣстныя письма Тургенева.

О. Іакова мы не дождались. Онъ пріѣхалъ, говорятъ, уже въ два часа и ночевалъ на пароходѣ. Такъ и не увидимъ?

3 іюля. Среда (день нашего отъѣзда)

Утромъ (мы еще спали) заѣзжалъ губернаторъ и написалъ на одной изъ оставленныхъ карточекъ: „о. Іаковъ служитъ въ церкви Св. Духа. Къ 11 кончитъ. Лошади черезъ пять минутъ будутъ у васъ“.

Я, конечно, въ восторгѣ, поѣду непремѣнно,—но спутникъ мой, съ утра разстроенный перспективой нашего возвращенія въ Петербургъ, капризничаетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не поѣду. Только усталость. Въ сущности—это абсолютно неинтересно.

Уговариваю. Мой спутникъ насмѣшливо протестуетъ:

— Что же, ты хочешь „въ выдающемся родѣ помолиться?“

Побѣждаю, однако, и Лѣскова. Выбираемся — уже безъ четверти одиннадцать. День хорошій, ясный, безвѣтренный, не очень жаркій.

У церкви Св. Духа—ограда съ зеленой поляной и

высокими деревьями. Не передъ папертью (главный входъ съ улицы) а сбоку, у ограды, на улицѣ, толпа. Толпа невѣроятная—море народа. Множество изнемогающихъ, безсильныхъ полицейскихъ. Насъ однако, трое, съ усиліями, провели впередъ. Шло причастіе дѣтей.

Губернаторъ сказалъ мнѣ тихо:

— Видите о. Іакова? Теперь дѣтей, а то большихъ причащалъ, студенты были.

Дѣти плакали и смѣялись. Нѣкоторыя казались важными и тихо довольными. Лицо у о. Іакова—розовое, издали молодое, дѣловитое. Движенія не медленныя.

Когда обѣдня уже совсѣмъ кончилась, губернаторъ, мы и вице-губернаторъ протолкались къ выходу, на улицу, потомъ взяли вправо, по оградѣ и вошли въ ограду (народъ туда старались не пустить) и подошли къ боковымъ дверямъ церкви.

Полиція, какъ могла, удерживала тихо и властно ломившуюся въ ограду толпу; кое-кто, однако, проломился.

Вотъ и поляна, и боковыя двери. Ждемъ. Сейчасъ выйдетъ о. Іаковъ. Онъ поѣдетъ съ губернаторомъ сначала въ пріютъ, потомъ къ старичку духовскому священнику. Мы съ вице-губернаторомъ—всюду за ними.

Ждали не долго. Вышелъ веселый старичокъ съ розовымъ лицомъ и гладкими волосами. Голова непокрытая, ряса бархатная, алая,—чудесная; на груди, мѣшаясь съ крестами, звѣзды орденовъ.

У всего народа въ эту минуту, на эту минуту, стала—не одна душа, я думаю,—но одинаковое *устремленіе* душъ въ одну общую точку, тянунье, вытягиванье душъ къ этой точкѣ. Чрезвычайно непонятное,—но безспорное явленіе.

И ничего въ этомъ не было противнаго, а трога-

тельное, захватывающее равенство, сила—и безпомощность. А онъ, гладенькій, голубоглазый, грубоватый и быстрый старичокъ, точно и на себя это не бралъ,—никакой важности и самодовольства. Невинность и привычливость.

Это самое яркое и точное—что и толпа, и онъ, оба знали (конечно, безъ сознанія) одно: тутъ не *онъ*, *самъ*, важенъ и нуженъ, а Кто то другой, къ кому, кажется имъ,—можно дотянуться *сквозь* этого бархатнаго старичка.

Бархатный старичокъ—самый прозрачный и проницаемый, и всѣ одной волной, съ ревомъ, устремляются въ этотъ просвѣтъ изъ тьмы и холода.

Почему именно онъ для нихъ самый проницаемый? И на чемъ это видно? Пытаться опредѣлить, понять—можно; рѣшить—врядъ ли! но *это такъ*. Равность ощущенія всѣхъ, всей толпы,—лучшее доказательство, что это, *для нея*, такъ.

О. Іаковъ шелъ быстро, оглядываясь по сторонамъ. Не дойдя до губернатора, онъ вдругъ, черезъ голову какой-то монашенки, протягиваетъ мнѣ руку и крѣпко пожимаетъ съ веселымъ „здравствуйте!", точно встрѣтилъ стараго знакомаго. Удивляюсь немного, но также весело отвѣчаю на привѣтствіе.

За о. Іаковомъ шелъ старенькій бѣлобородый духовской батюшка, котораго мы раньше знали. Стѣны народа, пробравшагося за ограду, грозно сдвигались. Кто-то подходилъ, подбѣгалъ, подкатывался, съ какими то невнятными, тихими звуками, порывался впередъ, потомъ тѣмъ же движеніемъ назадъ. Подвинулась женщина, вся средняя, не „баба" и не „дама", вся сѣровато-желтоватая отъ серединности во всемъ—въ одеждѣ, въ лицѣ, въ годахъ. И шляпка (на ней шляпка) тоже ус-

ловная, серединная. Въ эту женщину точно пѣнка толпы воплотилась.

Она подошла со стономъ устремленія, и вдругъ дернулась внизъ—на колѣни. Это была одна секунда. О. Іаковъ молча и ровно отстранилъ ее, оттолкнулъ за шею (она уже тогда поднялась) съ грубою лаской—или съ ласковой грубостью. Мы двигались къ воротамъ, а народъ такъ и приливалъ, такъ и заливалъ гладковолосаго старичка неудержимо,—точно вода, крутясь и урча, устремляется въ одно узкое отверстіе.

За каретой о. Іакова ѣхали мы, за нами вице-губернаторъ. Были вмѣстѣ въ пріютѣ, потомъ поѣхали къ духовскому священнику.

Вездѣ, на лѣстницѣ, въ зальцѣ, въ крошечной „гостиной"—стѣны народа; но это еще „избранные", умолившіе „матушку" позволить имъ постоять у сторонки.

Въ гостиной у печки—закуска, вино. Рядомъ съ печкой—диванъ, на который и сѣлъ, за овальный столикъ, о. Іаковъ. Направо отъ него сидѣли губернаторъ и вице-губернаторъ; мы—какъ разъ противъ о. Іакова. Кромѣ насъ пяти за этимъ овальнымъ столомъ не сидѣлъ никто; кресло по лѣвую руку отъ о. Іакова занималось поперемѣнно различными людьми, которые устремлялись ненасытно; добрый духовской батюшка уступалъ имъ свое мѣсто.

На столѣ стояло пять тарелокъ: двѣ съ викторіей, одна съ лѣсной земляникой, одна съ клубникой и одна съ морошкой. О. Іаковъ чрезвычайно обрадовался ягодамъ:

— Ягодки, ягодки! Вотъ хорошо въ лѣтній день! Я и чай забуду съ ними. Первую зрѣлую ягодку вижу нынче!

Пожилая, тающая попадья, подходя, все клала ему, и онъ ѣлъ. И самъ клалъ, и все ѣлъ. Не то онъ веселенькій,

не то пьяненькій, и все одинаковый, живой—и безъ „самости“. Но и безъ „разумѣнія“, хорошо, если „безъ отвѣта“. . . . . .

На кресло сѣла древняя старуха, въ древней черной шляпѣ. Посидѣла, потряслась.

— Ну, прощай, батюшка. Пойду я. Не можется мнѣ.

— Прощай, мать. Давай тебѣ Богъ. Всего тебѣ хорошаго. И царство тебѣ небесное.

— Хвораю я все, о. Іаковъ.

— Ну, мать, и покой нуженъ. И покой нуженъ.

На кресло сѣлъ бравый генералъ и сталъ объяснять, что онъ церковь задумалъ строить, самъ сборщикомъ, проситъ благословенія.

— Церковь? Что-жъ, я вамъ денегъ пожертвую. Это очень хорошо, что такой почтенный генералъ...

Вышелъ съ нимъ, пожертвовалъ, вернулся.

Опять сидимъ. Губернаторъ старается навести разговоръ на близко интересующія насъ темы, на Толстого, на религіозное движеніе въ Петербургѣ,—напрасно. О. Іакову это ненужно. И чувствуется, войди онъ въ это, начни разсуждать, размышлять, судить или писать объ этомъ,—онъ измѣнитъ себѣ, утратитъ свое сіяніе, слова его—будутъ общечеловѣческими словами съ общими всѣмъ ошибками и промахами, быть можетъ еще худшими чѣмъ у многихъ. А такъ—онъ весь свѣтится,—и грубо и блистающе, своими земляничками, пурпуромъ рясы, голубыми,—какъ небеса утромъ,—глазами, и свѣжими—и пьяными. И весь онъ—подлинный. Подлинно проницаемый,—хотя бы лишь для „стараго и малаго“,—чтобы приблизиться къ Вѣчному. Даже особенно „православія“ тутъ у него не чувствуется, православнаго рабьяго „смиренія и отреченія“, такъ же, какъ и католической хитрости и сентиментальнаго экстаза.

Губернаторъ спросилъ о какомъ-то письмѣ изъ Парижа, гдѣ его просили помолиться о болящей: выздоровѣла ли?

О. Іаковъ вскинулъ на него удивленно-веселые глаза:

— А какъ же? Конечно. Какъ же по молитвѣ-то не дастся?

Точно могъ быть тутъ для о. Іакова вопросъ.

— Все со страданіемъ идутъ къ вамъ, батюшка!— продолжаетъ губернаторъ.

Мнѣ какъ-то не хочется, чтобы радость о. Іакова была только для страданія, и я говорю:

— А съ радостью развѣ нейдутъ, о. Іаковъ? Развѣ въ радости Богъ не нуженъ?

— Да... И съ радостью много... И въ радости нуженъ...—сказалъ о. Іаковъ, но мнѣ показалось, что въ голосѣ у него на этотъ разъ была разсѣянная неувѣренность.

Подошелъ, трясясь, купецъ, громадный, въ чесунчевомъ пиджакѣ, съ блѣднымъ большимъ лицомъ. Онъ тянулся изъ изъ-за меня, черезъ столъ, къ о. Іакову и лепеталъ: „хоть на минуточку, на минуточку заѣзжайте, —при смерти вѣдь“...

О. Іаковъ, помолчавъ, сказалъ:

— Да у меня и даровъ съ собой нѣтъ.

— Хоть проститься съ вами, ну такъ, такъ... —молилъ купецъ.

Но купца оттѣснила худенькая старушенція. Залепетала: „...молодая женщина... Давно больна... А теперь вотъ ослѣпла... Батюшка, нельзя ли, чтобъ прозрѣла?“

О. Іаковъ половины не слышитъ,—онъ тугъ на ухо. Старушенція все скрипитъ, умоляя о прозрѣніи. О. Іаковъ, наконецъ, спросилъ:

— Какъ имя?

— Екатерина. Чтобъ прозрѣла, батюшка, нельзя ли.

Молчитъ. Помолчала и старушонка,—и вдругъ новое:

— Батюшка! Дай ты мнѣ хоть двѣ ягодки изъ твоихъ ручекъ. Изъ ручекъ твоихъ!

О. Іаковъ словно не слышитъ. Потомъ вдругъ сгребъ рукой изъ тарелки цѣлую пригоршню викторіи и сунулъ черезъ столъ. Старуха вся дрогнула, двумя руками принимая ягоды.

— Батюшка! Какъ нектаръ буду хранить! Какъ нектаръ!

Еще подходили, письма ему передавали, шептали, плакали, разсказывали, умоляли... Наконецъ, о. Іаковъ весело сказалъ губернатору:

— Время-то намъ дорого, Александръ Андреевичъ! Намъ вѣдь еще къ Сандулееву...

О. Іаковъ нынче же уѣзжалъ изъ Х., по Волгѣ, вверхъ.

Поднялись. Хозяинъ и хозяйка стали упрашивать:

— Не закусили ничего, о. Іаковъ! Вотъ закусочка приготовлена.

— Закусочка? Ну что жъ, я, вотъ, мадерцы развѣ. Мадерца-то есть?

Опять съ веселой радостью. Ему точно стихійно нужна и эта вѣчно-устремленная къ нему толпа, и мадерца, и ягодки, и губернаторъ для вѣчнаго легкаго опьяненія. Удивительно ровенъ ко всѣмъ; никакого отличія — и, можетъ быть, никакого *вниманія* къ человѣку... Это трудно объясняется.

Намъ пора было домой. О. Іаковъ, все забывъ, и точно очнувшись на мгновенье, сталъ вглядываться въ насъ и въ вице-губернатора, какъ въ незнакомыхъ. Потомъ припомнилъ, улыбнулся, сказалъ что-то привѣтливое, махнувъ рукой. Все у него безотчетно. И какъ хо-

рошо, что онъ насъ не замѣчаетъ, не видитъ, не слышитъ ни нашихъ вопросовъ, не знаетъ и не узнаетъ никогда нашихъ мучительныхъ и сложныхъ исканій, недоумѣній и болей — нашихъ и близкой намъ части народа, тѣхъ „немоляевъ“, которые всегда молятся, всегда ищутъ и ждутъ, и страдаютъ, думая о правдѣ, думая о Богѣ, думая о вѣрѣ и жизни! Блаженъ о. Іаковъ, пока онъ свѣтелъ и простъ, какъ просты тѣ дѣти, которыя идутъ къ нему со своимъ страданіемъ! „Если *обратитесь* и не будете, какъ дѣти“... А имъ не нужно, нельзя „обратиться“: они и такъ дѣти. И такъ— кротки, какъ голуби... Но только не „мудры, какъ зміи“.

. . . . . .

Опять поднялась властная, единосильная толпа. Въ темныхъ сѣняхъ мы, поспѣшая за кителемъ губернатора, натолкнулись на старушенцію съ „нектаромъ“, она завизжала, думая, что кто-то посягаетъ на ея сокровище. Вотъ мы и на крыльцѣ. Неудержимая волна, точно волна слезъ, опять тихо накрыла о. Іакова. Чуть мелькаетъ его гладкая, желтоватая головка, пурпурный рукавъ... Мы простились съ нашимъ милымъ губернаторомъ и уѣхали.

Народъ кинулся за каретой. Самое главное (навсегда для всѣхъ главное)—просвѣтъ ихъ, исчезалъ. Надо было за нимъ, къ нему—безразумно!

Вагонъ, звонки... На вокзалѣ простились съ Z. Говорили имъ, торопясь, объ о. Іаковѣ. Какое странное, полугрустное, полусвѣтлое чувство увожу я изъ X., въ этотъ послѣдній день нашего путешествія! Да, и „это“—то же самое. Корень одинъ. Это одно людямъ нужно и теперь,—какъ всегда было и будетъ нужно. Всѣмъ... То— и не то. Не то, потому что нужно уже не темное, безразумное, а расширенное, усвѣтленное, *преображенное*.

И преображенію—время. Исполняются сроки. . . .

. . . . . .

4 іюля.

Въ Петербургѣ. Такой же пыльный, сѣрый, холодноватый и блѣдный день, въ какой мы уѣзжали. Ничто не измѣнилось, — и это намъ кажется страннымъ, — потому что измѣнились мы. Мы знаемъ теперь, что есть гдѣ-то живые люди, для которыхъ нужно, важно то, что намъ важно, и, главное, важно—*такъ*, какъ намъ. Въ душѣ теперь больше бодрости, есть надежда. Пусть петербургскій день пыленъ и лица прохожихъ унылы. Не всѣ и здѣсь пыльные и усталые. Хочу вѣрить...

Звонокъ. Кто это можетъ быть? Никто не знаетъ, что мы вернулись.

Это Ф. Онъ долженъ былъ уѣхать—не уѣхалъ. Ему первому разсказываемъ мы о. . . . . .

Тутъ кончается послѣдній листокъ моей записной книжки. Мнѣ хотѣлосъ воспроизвести ее цѣликомъ, не прибавивъ и, *насколько отъ меня зависѣло*, не убавивъ ни одного слова. Но этого было нельзя... И долго еще будетъ нельзя.

Со времени нашего путешествія прошли мѣсяцы, но ни мы не забыли ни одного изъ встрѣченныхъ „живыхъ людей“, ни они насъ.

Изъ далекаго Заволжья получаемъ мы порою сѣрые пакеты съ кривыми строчками: „...и кланяемся мы вамъ, и вся наша братія... И еще хотѣли мы васъ спросить объ Откровеніи святого Іоанна, о такой-то главѣ, потому что мы недоразумѣваемъ. А будете письма писать, то пишите заказнымъ... А Малицкій у насъ теперь батюшкой въ селѣ Пролазъ... И одержалъ онъ книги ваши

что вы намъ прислали, не отдавалъ мѣсяца съ полтора... И просимъ васъ, извините, что письмо это написано „грубо“... А еще видимъ мы, что вы все впередъ простираетесь“...

Пишетъ и Дмитрій Ивановичъ, столпъ „духовнаго согласія“, упрямо стараясь подвести все подъ духъ. Споримъ мы съ нимъ, не ища „нарочныхъ“, „народныхъ“ словъ, такъ же какъ не ищемъ ихъ съ Василіемъ Ивановичемъ. Думаю, и всякій культурный человѣкъ не могъ бы говорить съ нимъ иначе, какъ съ равнымъ. Увы, много варварства нашелъ бы въ Петербургѣ Василій Ивановичъ, вздумай онъ пріѣхать сюда! Пыльное облако невѣжества и хамства повисло надъ нами. Въ пыли затерялось понятіе о томъ, что важно и что неважно, что нужно и ненужно... О томъ — что Главное...

„И Духъ, и невѣста говорятъ—пріиди“...

SUOR MARIA

Intermezzo

I

НИКОГДА

Андрей шелъ вверхъ, по некрутой, влажной дорожкѣ нагорнаго парка. Справа все выростало море, дрожащее подъ огнемъ солнца, зеленовато-воздушное, какимъ бываетъ только Адріатика въ ослѣпительное осеннее утро.

Какая осень! Прекрасна, какъ весна, но прекраснѣе: это мудрая весна. Весна—бездумная радость настоящаго; а въ этой осени—торжество жизни и торжество смерти въ единой радости безсомнѣннаго будущаго воскресенья.

Андрей шелъ медленно. Дорога все поднималась, и онъ немного усталъ: и отъ подъема, и отъ влажныхъ, рѣзкихъ запаховъ, и отъ сверканья солнечнаго моря.

Странно сказать: онъ въ первый разъ былъ за границей, въ первый разъ видѣлъ южное море,—хотя, казалось ему, за всѣ эти долгіе годы желаніе уѣхать, видѣть, взглянуть, не оставляло его; да и возможности были.

Пятнадцать лѣтъ онъ женатъ. Пятнадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ, кончивъ московскій университетъ, пріѣхалъ въ родные Вишняки, хуторъ въ

Малороссіи, гдѣ лѣтомъ и женился. Потомъ жилъ онъ то въ ближнемъ губернскомъ городѣ, то на хуторѣ, а когда умерла мать—семья его окончательно поселилась на хуторѣ.

Это былъ уже не прежній, тонкій какъ верба, высокій и блѣдный юноша — Андрей. Это былъ цѣлый Андрей Николаевичъ, пополнѣвшій, немного отяжелѣвшій—но странно! — какъ-то все-таки не солидный. Не хозяйственный помѣщикъ, не бывшій членъ контрольной палаты, не видный земскій дѣятель. Онъ былъ моложавъ той молодостью, которую даетъ вѣчное внутреннее,—неопредѣленное,—безпокойство, неувѣренность; можетъ быть постоянная тихая мука.

Андрей сѣлъ на скамейку. прямо противъ высокаго ослѣпительнаго моря, и задумался.

Не то, что задумался... но здѣсь, за границей, тѣ припадки тоски, необъяснимой и удушливой, которые мучили его въ юности, да и всю жизнь,—превратились въ одну, почти сплошную, муку; глупую, потому что онъ не зналъ причины; досадную, потому что и море, и горы, и лавры, и солнце нравились ему безмѣрно, тянули и умиляли; а между тѣмъ точно именно отъ нихъ-то подымалась и ѣла душу эта острозубая, глухонѣмая тоска.

„Что мнѣ нужно? — думалъ Андрей. — Чего мнѣ недостаетъ и всегда недоставало? Катя у меня хорошая, здоровая, дѣтки славныя, все мнѣ удавалось... Что у меня за характеръ ничтожный! Мѣсто бросилъ, службу въ земствѣ бросилъ, хозяйство больше Катя ведетъ, чѣмъ я. Шлялся въ Петербургъ, въ Москву, туда, сюда... Знакомился съ людьми—обрывалъ... Теперь сюда собрались—и отлично бы... И отель прекрасный попался, Катя со мною, Митька мой со мной, остальныя дѣти

здоровы и тамъ подъ надежнымъ присмотромъ... Чего мнѣ? Боленъ я, что-ли? Или мнѣ скучно?"

Но онъ былъ здоровъ и, конечно, ему не было скучно. Яркое. настойчивое солнце двойными лучами, отраженными въ морѣ и небесными, обжигало его, золотило блѣдные волосы, остриженные коротко, щеточкой, чуть-чуть порѣдѣвшіе. Онъ снялъ шляпу и, почти не щуря глазъ, отдавался тревожной ласкѣ солнца.

Пополнѣвшее, моложавое лицо его съ мелкими чертами казалось еще моложавѣе оттого, что онъ не носилъ бороды и стригъ свои очень свѣтлые усы. Катя до сихъ поръ звала его иногда „красавецъ ты мой", хотя особенно красивымъ Андрей никогда не былъ. Красивы были только руки, большія, безсильныя, съ розовыми продолговатыми ногтями. А лицо его, особенно въ минуты тоски, было почти непріятно, жалко и мучительно.

„Такъ сидѣть, такъ сидѣть, и чтобы время шло, солнце свѣтило, море улыбалось, чтобы пахло лаврами и мятой, а больше чтобы ничего не было... И меня не было... Не было..."

Толстая нѣмка съ двумя, тоже грузными, вспотѣвшими и довольными нѣмцами, прошла мимо, и странно поглядѣли они всѣ на этого разсѣвшагося на самомъ припекѣ господина, мечтательно глядящаго на солнце.

Андрею стало стыдно. Не передъ ними, а передъ собой.

Въ самомъ дѣлѣ, толстый и почтенный Андрей Николаевичъ, отецъ семейства, написавшій цѣлую брошюру о черезполосномъ хозяйствѣ, ораторствовавшій на земскихъ съѣздахъ, — сидитъ, разнѣжился, въ пантеизмъ какой-то ударился, еще немножко—и опять въ философію свою пустится...

Ненавидѣлъ это въ себѣ Андрей, но что же дѣлать?

„Чего мнѣ надо? Ну, не знаю ничего; ну не узнаю никогда, сколько бы еще книгъ ни прочиталъ. Да вѣдь и никто ничего не знаетъ, и никогда не узнаетъ!“

II

„О Н А“

Андрей часто думалъ, что это „она“ его отравила. Правда, и до „нея“ бывали у него эти приступы тоски, и даже въ тотъ самый день, когда „она“ пріѣхала въ Вишняки, пятнадцать лѣтъ тому назадъ,—онъ бродилъ одинъ, съ утра, бродилъ по лѣсу безъ мыслей, только смотрѣлъ, какъ теплый весенній воздухъ дрожитъ и струится на солнцѣ между полуголыми вѣтвями деревьевъ, да изъ-подъ прошлогоднихъ листьевъ поднимаются бѣлые, робкіе цвѣты.

Это было до „нея“; до того ослѣпительнаго весенняго утра, когда онъ увидѣлъ на балконѣ, неожиданно, бѣлую дѣвушку съ прозрачнымъ лицомъ. Всегда,—и въ эту первую минуту, и потомъ когда онъ цѣловалъ ее на берегу соннаго пруда — она казалась ему невозможной, далекой, точно, чтобы дотронуться до нея, надо было перейти небесныя и облачныя пропасти, и даже лучше совсѣмъ до нея не дотрагиваться.

Онъ уже считался женихомъ милой Кати, которую зналъ и любилъ съ дѣтства, когда тетка Анна Ильинична пріѣхала въ Вишняки со своей воспитанницей—пріемной дочерью, какъ она ее называла. Она была нерусская, эта странная дѣвушка, но родной Андрею прудъ, родныя ивы бросали на нее такъ свои отсвѣты и тѣни, точно они были ея, точно они и она были одно. Андрей полюбилъ въ ней все, во всемъ—ее.

И до такой степени не похожа была эта любовь на любовь къ невѣстѣ, что онъ даже не мучился, не страдалъ. Просто открылъ въ себѣ душу и сейчасъ же отдалъ ее дѣвушкѣ въ бѣломъ платьѣ.

Когда весна перешла въ лѣто, когда все распустилось, разошлось, когда раскрылся каждый листъ, не оставляя мѣста никакой тайнѣ — она сказала Андрею, что уѣдетъ, потому что „кончилось". На его растерянныя слова: „но я не могу... я долженъ быть съ тобой... мы женимся..."—она качала головой:

— О, нѣтъ. Я не жена. У тебя была любовь въ душѣ. О чемъ ты заботишься?

И она уѣхала. А онъ остался, и вскорѣ состоялась его свадьба съ Катей, такой милой, хорошей, пріятной ему дѣвушкой. И стали они жить, и жизнь пошла хорошо, и все имъ удавалось. Андрей получилъ мѣсто въ губернскомъ городѣ, черезъ нѣсколько времени Катѣ досталось недурное наслѣдство. Вотъ только дѣти не всѣ жили; Катя рожала почти каждый годъ, но нѣсколько разъ несчастливо, и теперь у нихъ было только четверо. За то оставшіеся—такіе славные, здоровые бутузы, одинъ пятилѣтній Митя послабѣе, оттого они и взяли его съ собой сюда. Не всѣхъ же тащить!

А все-таки „она", та, его отравила. Онъ никогда съ тѣхъ поръ не слыхалъ о ней, тетка Анна Ильинична вскорѣ умерла за границей, и никто не говорилъ ему, что сталось съ ея пріемной дочерью. Можетъ быть тоже умерла. Но это все равно. Она глядѣла на него сквозь весенніе листья, сквозь стекло пруда, улыбалась около него, когда онъ говорилъ свои рѣчи на съѣздахъ, — и онъ не понималъ, почему онъ не забываетъ? Что ей отъ него нужно?

И два короткіе вопроса, дѣтски-простые, помимо вся-

каго разума, не отступали отъ Андрея въ часы его тоски. Два вопроса, на которые у каждаго есть свой отвѣтъ, да и у самого Андрея, казалось, былъ. А они опять приходили, точно нерѣшенные. Первый: какъ жить? Второй: какъ любить?

III

УЧИТЕЛЬ

Отъ нелѣпой муки этихъ, такихъ ненужныхъ, такихъ въ сущности праздныхъ и старыхъ вопросовъ—Андрей отдѣлаться не могъ.

Они заставляли его бросаться въ разныя стороны и не кончать начатаго. Они толкали его то къ книгамъ, то въ Петербургъ, къ „новымъ людямъ", то къ народу. И отовсюду онъ молчаливо и неутоленно возвращался къ своей семьѣ, къ милой, доброй, дѣльной и ничего не подозрѣвающей Катѣ.

Да и какъ ей было подозрѣвать? Андрей не говорилъ съ ней, когда на него „находило". Онъ уѣзжалъ, молчалъ, сказывался нездоровымъ. А въ другое время онъ былъ такой обыкновенный, милый, хорошій, нѣжный мужъ, уступчивый—только вотъ не ревнивый, что Катю немножко даже обижало, казалось непонятнымъ.

Непонятно ей было и то, почему онъ ушелъ изъ земства. Его такъ любили! Но это не плохо: мужъ будетъ при ней, не надо уѣзжать по дѣламъ, можетъ быть займется деревенскимъ хозяйствомъ...

А нынѣшней весной онъ опять уѣхалъ. Сказалъ, что въ Москву, а самъ поѣхалъ въ Ясную Поляну, ко Льву Толстому. Какъ-то такъ вышло, внезапно; безъ разсужденій рѣшилъ. Ему вспомнились, и потомъ все припоминались, каждый день, слова Левина: „для того,

чтобъ жить, я долженъ знать, откуда я и зачѣмъ я здѣсь. А такъ какъ я этого не знаю, и никогда не узнаю,—слѣдовательно жить нельзя".

Андрею казалось, что это не Левинъ говорилъ, а самъ Толстой. Говорилъ искренно, думалъ именно такъ; а вотъ, живетъ до сихъ поръ; значитъ, узналъ, „откуда и зачѣмъ онъ здѣсь"; значитъ, рѣшилъ вопросъ, *какъ* жить. Андрей вѣрилъ въ Толстого; но не словамъ его, написаннымъ, вѣрилъ, въ которыхъ часто видѣлъ противорѣчія и смуту для себя—но какъ на человѣка на него надѣялся, какъ на учителя, который можетъ ему *сказать*. Что-то сказать, что ему, Андрею, нужно.

Впрочемъ, онъ и въ это вѣрилъ не ясно, не твердо. Какъ-то неопредѣленно. Поѣхалъ потому, что надо же было что-нибудь дѣлать, искать, пытаться, спрашивать... Жить какъ-нибудь.

Здѣсь, теперь, надъ теплыми, бѣлоголубыми адріатическими волнами, Андрей живо вспомнилъ эту поѣздку.

Былъ холодный, точно осенній, май; только свѣтло было по вешнему. Андрей всю дорогу отъ Москвы до Яснополянской станціи Щекина—мучился неловкостью, глупымъ стыдомъ и даже страхомъ.

Ну пусть ѣздятъ къ великому писателю всѣ, и онъ всѣхъ принимаетъ; пусть ѣздятъ другіе изъ благоговѣнія, изъ любопытства, пусть имъ не стыдно; но онъ, Андрей, ѣдетъ за важнымъ дѣломъ, которое сразу не скажешь... и ему стыдно и страшно. Именно потому и страшно. Пріѣхалъ незнакомый и невѣдомый человѣкъ, даже не раздѣляющій взглядовъ учителя — пріѣхалъ, какъ къ учителю, однако, — съ наивнымъ, дѣтскимъ и бездоннымъ вопросомъ: какъ жить? Да его именно отъ простоты и нельзя высказать. И нелѣпость, и стыдъ.

Рядомъ въ купе ѣхали новобрачные: плосколицый студентъ и его маленькая, толстенькая подруга, съ малокровнымъ цвѣтомъ губъ. Оба они казались скучающими, и говорить имъ между собой точно было не о чемъ. Андрей съ уныніемъ глядѣлъ на нихъ. Зашелъ въ вагонъ - ресторанъ. Тамъ два инженера говорили громко, какъ на сценѣ, о семейныхъ дѣлахъ, а потомъ весь вагонъ заговорилъ о войнѣ, безъ оживленія, а точно по обязанности,—и опять было скучно.

На станцію Андрей пріѣхалъ уже въ пятомъ часу. Набѣжала тучка, пошелъ дождь, холодный, но все-таки майскій, и остро запахли чуть распускающіеся листья акацій у станціоннаго забора.

Андрей дѣйствовалъ уже почти безъ мыслей, въ силу сцѣпленія поступковъ: вышелъ, нанялъ извозчика въ Ясную Поляну и поѣхалъ.

Дождикъ перешелъ. Холодно, вѣтрено, но сверху смотритъ солнце на блѣдныя поля, отъ каждаго дерева по дорогѣ дышитъ живой весной, невидимые жаворонки смѣются гдѣ-то—точно воздухъ смѣется и поетъ надъ полями...

Деревня. Грязная, бѣдная. Избы крыты соломой. Въ концѣ деревенской улицы двѣ бѣлыя колонны—въѣздъ въ усадьбу. Длинная-длинная аллея. Мокрое, лоснящееся вечернее солнце ложится на дорогу между стволами деревьевъ...

Андрей не разсуждалъ и не мучился больше, онъ покорился своимъ послѣдовательнымъ дѣйствіямъ до конца. Онъ говорилъ что-то, какія-то обычныя слова, бормоталъ какія-то извиненія, называлъ свою фамилію,—все это было и нужно, и ненужно, и все какъ будто обошлось очень просто.

Въ большой длинной залѣ съ шестью окнами, по

три на каждомъ узкомъ концѣ, сѣли обѣдать. Было много народу, мужчины и дамы, разныхъ возрастовъ— „все своя семья“, сказала графиня, усаживаясь во главѣ стола.

Андрей помнилъ только, что Льва Николаевича не было и мучился ожиданіемъ. Графиня была вся быстрая, веселая, говорливая, жизнерадостная, молодая, — несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ. Онъ слушалъ ее— и ждалъ.

Подали супъ и пирожки. Отворилась дверь въ глубинѣ налѣво и вошелъ старичокъ, бѣлобородый, со знакомымъ-знакомымъ лицомъ, небольшого роста, немного согнутый, въ длинной, какъ юбка, примятой сѣрой блузѣ. Шаркая мягкими сапогами-ичигами онъ прошелъ всю залу къ своему мѣсту, которое было напротивъ Андрея.

Графиня ихъ познакомила. Старичокъ сказалъ ему что-то привѣтливое —и всѣ стали ѣсть. Старичокъ тотчасъ же раздвоился въ душѣ Андрея: онъ видѣлъ его, живого человѣка, какъ онъ сидѣлъ передъ нимъ—и въ то же время зналъ, что это Толстой, а не просто человѣкъ. И это было несоединимо, не потому, что Толстой былъ не похожъ на этого человѣка, а просто потому, что Толстого онъ зналъ давно, съ самаго дѣтства, а этого старичка видѣлъ въ первый разъ.

Говорили о холодной погодѣ, о деревнѣ, о квасѣ. Андрей сказалъ, что живетъ въ Малороссіи и что тамъ теперь тепло. Графиня говорила о томъ, что въ ночь уѣзжаетъ въ Москву, гдѣ у нея въ маѣ всегда столько дѣла по изданіямъ. Льву Николаевичу подавали отдѣльное кушанье, въ маленькихъ аппетитныхъ судочкахъ, и онъ ѣлъ согнувшись, по-старчески внимательно. Другимъ принесли жаренаго поросенка, нѣжнаго, какъ младенецъ, съ грустно-оскаленными зубами.

Въ концѣ обѣда въ комнату торопливо вошла женщина въ темномъ коленкоровомъ платьѣ, въ платочкѣ, съ темнымъ иконописнымъ лицомъ.

— А, это вы, Марья Ивановна!—привѣтствовали ее.

— Вы пѣшкомъ?

— Здравствуйте, здравствуйте. У меня дѣло ко Льву Николаевичу...

Толстой заторопился, извинился, всталъ и они ушли куда-то внизъ.

— Это Марья Ивановна,—пояснила графиня,—истинная послѣдовательница и ученица Льва Николаевича. Бывшая классная дама, теперь живетъ въ избѣ, въ деревнѣ, за семь верстъ... Обо всѣхъ хлопочетъ всегда, заботится... Вотъ и теперь, вѣрно, за кого-нибудь проситъ...

Помнитъ Андрей, что свѣтлыми сумерками онъ гулялъ съ Софьей Андреевной и еще съ кѣмъ-то изъ семьи по влажному яснополянскому парку, гдѣ надъ тѣсными, толстыми липами блестѣлъ юный мѣсяцъ и пахло черемухой. Софья Андреевна любезно и весело разсказывала ему о семьѣ, объ усадьбѣ, о посѣтителяхъ, показывала мѣста и полянки, лѣсъ, который она сама садила, дорожки, которыя были проведены ею же. Вернулись кругомъ, черезъ амбары и службы. Было сыро, и душисто, и холодно, свѣтлый мѣсяцъ сникъ къ краю свѣтлаго неба.

„Когда же я скажу?—думалъ Андрей.—Вѣдь завтра я уѣду, утромъ. Да и какъ скажу? Да и что, собственно, говорить“?

Передъ чаемъ всѣ сидѣли въ той же залѣ, только въ углу, за большимъ круглымъ столомъ, освѣщеннымъ лампой подъ широкимъ бѣлымъ абажуромъ. Графиня что-то вышивала, дамы тихо перекидывались словами,

Левъ Николаевичъ тутъ же говорилъ съ какимъ-то неизвѣстнымъ Андрею посѣтителемъ—о литературѣ.

Посѣтитель, рослый, угрюмый, въ коричневой плюшевой курткѣ, говорилъ мало. Повидимому, онъ былъ литераторъ, но фамиліи его Андрею такъ и не удалось узнать. Онъ говорилъ мало, но кажется не былъ согласенъ во всемъ со Львомъ Николаевичемъ, который мягкимъ, однообразнымъ, немного уставшимъ голосомъ велъ рѣчь о новѣйшихъ писателяхъ и поэтахъ. Вѣроятно, ему много разъ приходилось повторять одно и то же. Онъ говорилъ, что читаетъ все, но что ему не нравятся,—и онъ не понимаетъ, какъ могутъ нравиться—такіе мыслители, какъ Ницше, такіе поэты, какъ Бальмонтъ или Сологубъ. Вѣдь есть Шопенгауеръ—и есть Тютчевъ и Викторъ Гюго. Что такое Ницше? Развѣ это не ловкій нѣмецкій фельетонистъ? Стихи Левъ Николаевичъ вообще никогда не любилъ, но Тютчевъ, Викторъ Гюго—это поэты,—а Сологубъ?

Софья Андреевна, живая и быстрая какъ дѣвочка, схватила съ рояля номеръ петербургскаго журнала и прочла вслухъ послѣднее стихотвореніе Сологуба—объ одиночествѣ.

— А мнѣ нравится!—сказала она, кладя номеръ на прежнее мѣсто.

Спора не было, литераторъ почти не возражалъ. Андрей, занятый своими мыслями и мало интересующійся новой литературой вообще, почти не слушалъ. Однообразный и мягкій голосъ Толстого его убаюкивалъ. Онъ услышалъ, наконецъ, что разговоръ измѣнился, перешелъ на религіозныя темы, — на молитву. Толстой опять говорилъ одинъ, и Андрею казалось, что кто-то читаетъ ему статью Толстого, сильную, изумительную,—но которую онъ давно знаетъ.

Андрей чувствовалъ, что выходитъ какая-то безсмыслица: вѣдь ему нужно спросить, вѣдь этотъ человѣкъ *знаетъ*, вѣдь онъ, Андрей, для того и ѣхалъ, чтобъ спросить.

Но онъ, вмѣсто этого, разсказывалъ Софьѣ Андреевнѣ, отвѣчая на ея вопросы, что у него милая жена, четверо прелестныхъ дѣтей и что онъ совершенно счастливъ.

Перешли къ обѣденному столу, пили чай, а потомъ графиня стала собираться на поѣздъ и уѣхала. Литераторъ перевелъ разговоръ исключительно на религіозныя темы, и вышло какъ-то, что стали тутъ же, за столомъ, разговаривать съ Толстымъ Андрей и литераторъ, а кругомъ сидѣли семейные и привычно молчали.

Мало говорилъ и Андрей, но все-таки былъ такой видъ, что и онъ участвуетъ.

Андрей вообще религіозными темами не занимался, не позволялъ мыслямъ обращаться въ эту сторону, неопредѣленно и однако твердо чувствуя, что одинъ онъ тутъ все равно не справится, а только еще больше запутается, въ лучшемъ случаѣ приметъ что-нибудь чужое, готовое, и такъ изъ этого ужъ никогда и не вылѣзетъ, и будетъ еще ужаснѣе. Нѣтъ, лучше это оставить, лучше пусть лежитъ въ сторонкѣ. Страшно. Опасно.

Толстовскаго Бога-Добро онъ зналъ, и не боялся, но за то Онъ и не плѣнялъ Андрея, потому что ничего не обѣщалъ. И теперь Андрей прислушивался къ словамъ Толстого съ надеждой не на его Бога, а на него самого. Что *онъ* знаетъ?

Вотъ говорятъ о личности, о „я". Старый пророкъ не вѣритъ въ нее, не видитъ ея. Личность ограничена временемъ и пространствомъ; выходя изъ нихъ смертью— она исчезаетъ, уничтожается. Такъ говоритъ пророку его „здравый смыслъ", который онъ высоко ставитъ.

„А, здравый смыслъ“! думаетъ Андрей. Онъ знаетъ давно, что здравый смыслъ это говоритъ. Ему неинтересно,—вѣдь здравый смыслъ у всѣхъ одинъ и, между прочимъ, онъ же утверждаетъ, что ровно ничего, съ нимъ однимъ, нельзя ни знать, ни утверждать.

Левъ Николаевичъ опять сидѣлъ напротивъ Андрея. И опять Андрей глядѣлъ съ двоящимися чувствами на знакомое-знакомое старческое лицо, освѣщенное пламенемъ свѣчъ, на хмурыя брови, свѣтлые, глубоко запавшіе глаза подъ ними, изжелта-бѣлую не густую бороду, и слушалъ его голосъ, уже не такой мягко-однообразный, какъ прежде. Андрею казался онъ теперь болѣе живымъ, болѣе человѣческимъ.

Говорятъ о жизни. Какъ странно!

Толстой разсказываетъ, что началъ писать свою автобіографію — и увлекся. Но трудно писать! Это трудъ почти непосильный для человѣка; столько невѣрнаго, ужаснаго, тяжелаго, гадкаго въ жизни—какъ говорить объ этомъ? Да вотъ, если бъ онъ захотѣлъ описать только одинъ день съ полной искренностью, одинъ день своей *теперешней* жизни...

Андрей вздрогнулъ при звукѣ голоса, который такъ подчеркнулъ слово: теперешней. Какъ, это онъ говоритъ? Онъ, который всегда зналъ, что нельзя жить ничего не зная о жизни,—и который остался жить, который, слѣдовательно, знаетъ, *какъ жить*? Онъ съ такой горечью говоритъ о своей *теперешней* жизни? Значитъ ли это, что и его жизнь, устроенная по его знанію, ему такъ же тяжела, непонятна, противна и страшна, какъ всякому его—неустроенная? Такъ же, какъ всякому? Что же это?

Андрей всматривался, всматривался въ серьезное, такое человѣческое, лицо старика,—и оно дѣлалось ему

все ближе, все милѣе, все роднѣе. И вдругъ самъ Андрей, перебивъ литератора, спросилъ Толстого, но не о томъ, съ чѣмъ ѣхалъ, не о томъ, какъ жить, и уже не какъ далекаго и властнаго учителя, а просто спросилъ родного человѣка что-то о немъ самомъ, о его Богѣ, о живомъ его отношеніи къ Богу. Андрею теперь ясно было, что такое отношеніе у него есть. И хотѣлось еще убѣдиться въ этомъ, обрадоваться этому, не за себя,—а за человѣка, вдругъ ставшаго навсегда роднымъ.

И до сихъ поръ помнится Андрею голосъ, которымъ были произнесены слова: „ничего не знаю, но знаю что въ послѣднюю минуту скажу: вотъ, въ руки Твои предаю духъ мой! И пусть Онъ сдѣлаетъ со мною, что хочетъ. Сохранитъ, уничтожитъ или возстановитъ меня опять—это Онъ знаетъ, а не я“...

Съ никогда неиспытаннымъ чувствомъ радостной и мирной печали ѣхалъ Андрей изъ Ясной Поляны. Онъ такъ и не спросилъ „учителя“ о томъ, о чемъ хотѣлъ спросить. Но и не могъ бы, и уже не нужно ему было спрашивать.

„Учителя“ передъ нимъ не было. Былъ живой страдающій человѣкъ, который всю жизнь искалъ—и нашелъ, и узналъ что-то; но Андрею было ясно: то, что онъ знаетъ—онъ знаетъ только для одного себя. Великое знаніе,—но навѣки для одного себя, для самого себя.

Андрей увозилъ изъ Ясной Поляны новое чувство горячую, близкую любовь къ человѣку, къ такому, какъ онъ есть. Да, онъ родной, близкій, онъ несчастный,—онъ можетъ быть еще несчастнѣе Андрея; потому что *знать* только для себя одного—тяжелѣе чѣмъ не знать ни для кого,—не знать вовсе. Его не надо спрашивать. А только любить.

IV

СМОТРЯЩАЯ ВЪ МОРЕ

Это былъ самый длинный періодъ тоски у Андрея. Вернувшись домой — онъ заболѣлъ, выздоравливалъ долго, возвращался къ обычной своей, второй жизни, медленно. Осенью Катя сама предложила ему съѣздить на мѣсяцъ заграницу.

— Что, въ самомъ дѣлѣ, живемъ-живемъ, все у себя, какъ сычи. Люди не хуже насъ—вездѣ побывали. Вонъ Марья Степановна каждый годъ ѣздитъ. Ты поправишься, Митю возьмемъ—и Митѣ хорошо будетъ. Все какой-то блѣдный онъ послѣ скарлатины. Лиза, Нюта и тетенька Аглая Степановна за остальными дѣтьми не хуже моего усмотрятъ.

— Что тебѣ вздумалось? Такая домосѣдка... Я и одинъ могу поѣхать.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я тебя не отпущу. Ты разстроенный. Это война тебя все разстраиваетъ. Да и самой хочется на людей поглядѣть. Добро бы денегъ не было!

Такъ и поѣхали. Выбрали теплый уголокъ въ Австріи, на берегу Адріатики, для начала. Катѣ хотѣлось оттуда вернуться черезъ Ниццу и Парижъ.

Двинулись тяжело: няньки, положимъ, не взяли, но взяли лакея Тихона, съ незапамятныхъ временъ служившаго Андрею. Андрей не могъ представить, чтобы Тихонъ ушелъ изъ ихъ семьи. Онъ былъ у Андрея еще въ Москвѣ, вмѣстѣ они пріѣхали на хуторъ, потомъ вмѣстѣ женились—даже свадьба была въ одинъ день,—и такъ и остался онъ на вѣки вѣчные со своей женой, прачкой Василисой, въ семьѣ Андрея Николаевича. Катя, впрочемъ, не особенно любила его; даже боялась немного. Онъ былъ всегда унылъ и черствъ

его физіономія, мрачная и торжественная, хотя не лишенная пріятности—отталкивала и Катю, и покойную мать Андрея, которая говаривала:

— Точно у него все что-то на умѣ: думаетъ-думаетъ —и ужъ такое выдумаетъ, что и не приснится никому. Я Тихона твоего, Андрюша, боюсь. Вотъ ей Богу же боюсь. И зло у меня на него, и страхъ. А кажется, никогда трусихой не была.

Андрей давно привыкъ къ гробовому выраженію лица своего слуги. Они почти не говорили другъ съ другомъ—и точно всегда чѣмъ-то были молчаливо связаны. Тихонъ тогда, пятнадцать лѣтъ тому назадъ, былъ лѣтомъ въ Вишнякахъ, когда была „она"... Онъ, можетъ быть, помнилъ ее и что-то понималъ, потому что, какъ казалось Андрею, и у него, въ то же самое время, была своя „она"... Андрей заставалъ его, жениха Василисы, на темномъ дворѣ съ пѣвуньей Полей...

Тихонъ былъ въ высшей степени недоволенъ заграницей. Все ему казалось глупымъ, неудобнымъ и притомъ лично оскорбительнымъ. Онъ съ мрачнѣйшимъ видомъ всегда встрѣчалъ Андрея Николаевича и непремѣнно докладывалъ ему о чемъ-нибудь безнадежномъ, непоправимомъ и ужасномъ, случившемся благодаря „австріякамъ".

Почему-то теперь Андрею вспомнился Тихонъ, и онъ невольно улыбнулся, предвкушая еще много жалобъ и глухого Тихонова негодованія.

Андрей очнулся, взглянулъ на часы. Надо было спѣшить къ обѣду: уже половина перваго. А солнце, хоть и ослѣпительное, такое ласковое въ этотъ полуденный часъ. Жалко солнца и моря!

Онъ лѣниво сталъ спускаться внизъ, но прямая дорога такъ была крута, что поневолѣ пришлось почти

бѣжать. И Андрей Николаевичъ, тяжеловатый, порядочно запыхался, когда очутился внизу, на пляжѣ.

Онъ вышелъ довольно далеко отъ отеля, тамъ, гдѣ влѣво тянется прибрежный тѣнистый паркъ, а вправо начинаются улицы. Тамъ, гдѣ на крутыхъ, точно съ далекой горы скатившихся въ море, камняхъ, въ самомъ морѣ, среди волнъ,—стоитъ высокая бѣлая статуя Дѣвы Маріи. Она стоитъ лицомъ къ морю, съ берега видны только складки ея одежды и круглый черный нимбъ вокругъ головы. Волны и теперь взбѣгали на черные камни, къ ногамъ Мадонны, шипѣли и прыгали, шипѣли и таяли вверху серебрянымъ туманомъ.

Андрей никогда не проходилъ мимо Мадонны, не взглянувъ на нее; остановился и теперь на мгновенье: смотритъ въ море, никогда не обернется, никогда никто съ берега не увидитъ ея лица. И подплывалъ ли кто-нибудь съ моря такъ близко къ ея камнямъ? Можетъ быть, въ тихую погоду... А въ волненіе? Видѣлъ ли кто-нибудь ея лицо въ серебряномъ дымѣ волнъ? Какое тогда оно, это лицо морской Маріи Дѣвы?

V

„ПОЗВОЛЬТЕ ВАМЪ ДОЛОЖИТЬ“...

Уже гудѣлъ и надрывался гонгъ, когда Андрей, немного усталый, добрался до отеля.

Въ садикѣ его встрѣтилъ Митя, хорошенькій голубоглазый мальчикъ, немного похожій на дѣвочку, съ ямкой на подбородкѣ, и сейчасъ же повисъ на немъ.

— А мама сердилась! Сердилась! Что тебя нѣтъ. А тутъ за заборомъ дѣвочка была, ма-а-ленькая! Я больше. Я ее нарочно спросилъ: сколько лѣтъ? Пойметъ или не пойметъ? Ничего не поняла! Ни-ни, ничего! Ни слове-

чка! Папа! А Ти-онъ говоритъ, они глупые! Папа, глупые? А мы гуляли... И вотъ я тебѣ разскажу...

Но навстрѣчу шла Катя—и мальчикъ, забывъ, что хотѣлъ сказать, бросился къ ней.

Катя—или, вѣрнѣе, Катерина Ивановна,—была недовольна, и потому казалась въ эту минуту некрасивой и пожилой. Но когда она была въ хорошемъ настроеніи, то еще производила впечатлѣніе молодой эффектной дамы. Ее портило неумѣніе одѣваться по-здѣшнему, всякое платье казалось неумѣстнымъ, слишкомъ грубо наряднымъ; да и, борясь со своими черезчуръ роскошными формами, она изо всѣхъ силъ затягивалась въ корсетъ, и это было видно, и цвѣтъ лица у нея становился непріятно яркимъ. Однако въ общемъ она была еще свѣжа и очень аппетитна.

Катерина Ивановна совсѣмъ не могла гулять утромъ по крутымъ дорожкамъ нагорнаго парка, гдѣ бродилъ Андрей, но все-таки каждый разъ была недовольна, если онъ на долго уходилъ одинъ.

Пообѣдали. Поднялись къ себѣ, разомлѣвшіе отъ длиннаго ряда блюдъ. Катя растегнула корсетъ. Солнце било въ окна, прикрыли жалюзи. Мальчикъ прыгалъ на балконѣ.

Балконъ былъ угловой, небольшой, каменный. Выходилъ на море и далекіе, синіе, дымчатые острова. Комната съ балкономъ была безъ постелей, только кушетка и столъ; семья спала въ смежной, небольшой. Тамъ стояли двѣ громадныя, плотно сдвинутыя постели, да для Мити въ уголкѣ маленькая, которую какъ-то добылъ Тихонъ.

— А Тихонъ гдѣ?—спросилъ Андрей, улыбаясь.— Ему отчего-то было весело, легко и забвенно. Катю онъ такъ мило поцѣловалъ, вернувшись, что она сразу пришла въ спокойное настроеніе.

— Не знаю гдѣ, шутъ его знаетъ,—отозвалась Катя.— Митю привелъ и исчезъ.

— А мы съ Ти-ономъ гуляли, гуляли...—нараспѣвъ повторялъ Митя.—Папа, отчего они глупые? Что непонятные, да? Что не наши, да? А которые не наши, а понятные, тѣ святые, да?

— Ну что за чепуху болтаешь, какіе святые?—со смѣхомъ сказалъ Андрей, подходя къ мальчику и высоко подымая его.—Ну что за чепуху... Что за чепуху...

— Ай-ай-ай! Папка меня уронишь! Уронишь! Ай-ай-ай!

Оба хохотали. Катя изъ другой комнаты крикнула:

— Да перестаньте дурить! Я отдохнуть хочу, а они дурятъ!

Часа въ четыре прогуливались всѣ вмѣстѣ по пляжу, слушали музыку. Потомъ отправились подальше. Вернулись къ ужину. Катя съ мальчикомъ прошли прямо въ столовую, Андрей поднялся на минуту къ себѣ.

Въ угловой комнатѣ, сумеречной, онъ хотѣлъ безъ огня взять, что ему было нужно и спускаться, какъ вдругъ увидалъ, что въ углу что-то шевелится.

— Это ты, Тихонъ? Что ты дѣлаешь?

— Что? Прибираю. Мало ли уборки. Эта фыркунья. горничная-то здѣшняя, позаботится, что ли? А не хотите, чтобы я прибиралъ, такъ что было возить меня? Я не просился.

Андрей, ко всему привыкшій, не отвѣтилъ и пошелъ было къ двери, но въ эту минуту Тихонъ вылѣзъ изъ угла и приблизился къ нему.

Въ сѣрыхъ сумеркахъ можно было еще разглядѣть его бритое лицо съ длиннымъ тонкимъ носомъ; Тихонъ, какимъ былъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ, такимъ и остался: худощавый, рыжеватый, безъ возраста.

— Позвольте вамъ доложить, Андрей Николаевичъ...

— Ну, что такое опять?

— Да ничего особеннаго. Ничего такого. А что мѣста тутъ нехорошія, глупыя мѣста, такъ вы это сами изволите знать.

— Ну, завелъ свое! Говори ужъ толкомъ, что еще случилось?

— Да случилось—чему же случаться? Нечему особенному такому случаться... А только хотѣлъ я вамъ доложить... Я нынче тую... энту видѣлъ.

— Кого тую? Кого видѣлъ?

Андрей не могъ понять, да и нельзя было понять изъ словъ Тихона, кого онъ видѣлъ. Но сердце Андрея вдругъ глухо, само собой, заколотилось, точно оно поняло раньше Андрея.

Тихонъ еще приблизился и съ таинственнымъ видомъ (который, впрочемъ, былъ у него всегда) сказалъ:

— А энту... какъ ее... изволили запамятовать? Еще въ тотъ годъ, какъ свадьбы играли, такъ съ покойной тетенькой Анной Ильиничной—дай Богъ царство небесное—на хуторъ пріѣзжала. Англичанкой, что ли, въ ту пору была...

Андрей точно не удивился. Точно зналъ съ самаго начала, о комъ говоритъ Тихонъ. Однако сказалъ:

— Ну что ты врешь. Она умерла давно.

— И нисколько не умерла. Да я бы ее въ жисть не узналъ! Вотъ комедія-то! А она узнала, и сама ко мнѣ; и по нашему это такъ, однако съ пришепеточкой: здравствуйте, молъ, Тихонъ! А это что же, барина вашего дитя?

— Ну а ты что?—какъ-то глупо спросилъ Андрей.

— Я говорю: нашего и Екатерины Ивановны.. А она: я, говоритъ, увижу вашего барина. Ей Богу! Да ни въ жисть бы мнѣ не узнать!

— Отчего? Измѣнилась? Постарѣла?

— Ну, старѣ, конечно! А только но такъ, чтобъ очень... А не узнать ни за что. И вамъ не узнать, какъ встрѣтитесь. И хитрый же здѣсь народъ, позвольте вамъ доложить, Андрей Николаевичъ...

— Ты мнѣ скажи толкомъ... — началъ Андрей. Но Тихонъ уже внезапно обозлился.

— Чего толкомъ? Я не обязанъ въ безтолковой странѣ толкъ знать! Какой тутъ толкъ? Гдѣ его добьешься? Вы требуете, Андрей Николаевичъ, чтобы вамъ все было, а между тѣмъ человѣкъ не машина. Человѣкъ можетъ голову потерять.

Андрей понялъ, что больше ничего отъ Тихона не добьешься, махнулъ рукой и пошелъ внизъ.

„Ну вотъ пустяки, экій вздоръ!“—даже не думалъ, а тихонько шепталъ Андрей, садясь за свой отдѣльный столикъ, противъ Кати. Извѣстно, что вслухъ произнесенныя самоуспокоительныя слова успокаиваютъ больше мысленныхъ.

— Въ общемъ тутъ скучновато,—говорила Катя.— Всякій день одно и то же. Ну музыка, ну море, но это же надоѣстъ. Дѣла не дѣлаешь, знакомыхъ нѣтъ... Взглянуть бы еще на это Монте-Карло, такъ и Парижа, пожалуй, не надо. Въ Берлинѣ еще остановимся. А то куда съ ребенкомъ...

— Погода хорошая... — возразилъ неопредѣленно Андрей.

— Да что погода? Ты поправился. Дома тоже можно запустить. Махнемъ-ка отсюда, Андрюшончикъ, а?

— Какъ хочешь... Только вѣдь мы не разсчитывали...

— Мало что! Я теперь вижу, что это все бездѣлье. Тянись только съ утра, да ходи по пляжу среди этихъ..,

нѣмецкихъ и всякихъ. Въ Монте-Карло меня еще интересуетъ немного взглянуть на рулетку, ну, а потомъ и во свояси.

— Хлопотунья ты у меня, Катя.

— А какъ же, милый? Бездѣлье-то очи ѣстъ. Вотъ у меня свое дѣло, хозяйство, семья... А тебѣ я удивляюсь, и тревожусь даже, скажу по правдѣ: чего бросилъ службу? Ужъ не говоря о томъ, что ты на виду былъ — а сколько тебѣ добра приходилось дѣлать? Что, развѣ нѣтъ? Развѣ это не подымаетъ духа у мужчинъ, такое служеніе народу, обществу? Нѣтъ, Андрей...

Андрей не слушалъ,—по привычкѣ. Впрочемъ и о Тихонѣ, о его сообщеніи, онъ не думалъ: заставилъ себя не думать и удалось. Слишкомъ мирно и просто провелъ онъ этотъ день, утренняя тоска отошла, все казалось, обычнымъ, пріятнымъ, удобнымъ и нормально-плоскимъ.

VI

СЧАСТЛИВЫЙ БРАКЪ

Послѣ ужина всѣ сразу захотѣли спать. Митя засыпалъ за послѣднимъ блюдомъ и капризничалъ. Катя наверху его тотчасъ же уложила и, зѣвая и расхаживая по комнатамъ въ капотѣ, причесывала волосы. Андрей молча курилъ, спиной къ открытому въ теплую, черную ночь окну. Ему тоже дремалось. Обрывисто думалъ, что, пожалуй, и лучше уѣхать. Завтра, послѣзавтра... Чего тамъ! Море и на Ривьерѣ есть. Катѣ скучно... Да и ему... Чего тамъ! Уѣхать безъ заботъ, да и кончено.

А дома дѣйствительно подумать о какомъ-нибудь соотвѣтственномъ дѣлѣ. Довольно мыкаться и нервничать. Дѣла въ провинціи, въ уѣздѣ,—ухъ какъ много!

Простого, хорошаго, нужнаго, знакомаго Андрею... Приспособиться—и тянуть лямку. Хоть маленькая польза—да несомнѣнная... Главное—не мудрствовать, вотъ что главное.

Все это въ тысячный разъ, лѣниво, повторялъ себѣ Андрей; впрочемъ ему было хорошо, спокойно. Катя ходила и зѣвала, потягиваясь. Андрей думалъ, какая у него еще славная, милая женка, вся пріятная и бѣлая, и какъ его жизнь, въ сущности, хорошо и счастливо сложилась. Вспомнить другихъ... Брр... Страшно и жалко! Жалко! Дѣла у него нѣтъ—тѣмъ болѣе онъ, счастливецъ, обязанъ найти себѣ плодотворное дѣло, а не съ жиру бѣситься и слабѣть, какъ продыравленный мячикъ отъ какихъ-то небесныхъ миндалей, „нерѣшенныхъ" вопросовъ, которыхъ, можетъ быть, и нѣтъ вовсе.

— Ты скоро ляжешь, Андрюша? Охъ, устала, не полола-не-жала, — а устала, съ ногъ валюсь! Воздухъ, что ли дѣйствуетъ. Ложись, красавецъ мой, а то думаешь-думаешь. Не люблю я это, когда ты задумываешься.

— Да я думаю, что ты права... Безъ дѣла не проживешь. Вотъ домой пріѣдемъ—надо будетъ это имѣть въ виду.

— Ужъ я тебѣ дурно не посовѣтую. Я тебѣ всегда говорила; мужчина долженъ служить обществу. Ты ужъ не молоденькій, а послѣдовательности убѣжденій у тебя нѣтъ...

— Ну, причемъ убѣжденія...—поморщился Андрей.

Катя продолжала изъ другой комнаты:

— Благодаря этому и положенія никакого нѣтъ. Это я не въ смыслѣ чиновъ, ты достаточно меня знаешь, и не настолько я глупа и невѣжественна... А именно

въ смыслѣ положенія... Ты самъ отлично понимаешь... О-о-хъ! Хорошо растянуться! Вотъ постели у нихъ славныя!

Когда Андрей, растегивая жилетъ, вошелъ въ спальную, Катя уже лежала, зарывшись въ подушки, въ знакомой ему ночной сорочкѣ изъ розоваго батиста, полинявшаго отъ частой стирки, съ туго заплетенной черной косицей, такъ туго, что тонкій кончикъ заворачивался. Лицо она на ночь, для свѣжести, чѣмъ-то смазывала, и оно у нея всегда блестѣло.

Андрей аккуратно раздѣлся; уже въ ночной рубашкѣ, босой, тяжело ступая пятками, выставилъ за дверь свои сапоги, взглянувъ мимоходомъ на крѣпкоспящаго въ дальнемъ углу Митю и полѣзъ подъ одѣяло.

— Читать будешь?—соннымъ голосомъ спросила Катерина Ивановна.

— Нѣтъ, потушу.

Электричество щелкнуло, и огонь погасъ. Андрей потянулъ въ темнотѣ одѣяло, но оно оказалось Катино, и она что-то промычала.

— Ну, прощай, котикъ.

— Прощай. Гдѣ ты?

Она привычно потянулась къ нему, тотчасъ же нашла его и поцѣловала, обдавъ тоже привычной потной теплотой уже не очень молодого, упитаннаго женскаго тѣла.

Послѣ этого оба задремали, почти заснули, совсѣмъ пригрѣвшись подъ одѣяломъ. Андрей, сквозь тихую дрему, захотѣлъ повернуться на другой бокъ, чтобы заснуть окончательно. Это была одна изъ его привычекъ. Повертываясь, онъ случайно коснулся теплой ноги Катерины Ивановны. Тогда Катерина Ивановна,

тоже въ дремотѣ, повернулась къ нему. . . . . соединились безъ страсти, безъ всякаго внутренняго желанія, просто потому, что спали вмѣстѣ, потому что онъ былъ мужъ, а она—жена, потому что они могли и привыкли это дѣлать. Ничто лишнее не сопровождало этого соединенія: было только оно, въ чистомъ видѣ; ни поцѣлуя, ни слова, да и откуда бы взяться словамъ, вѣдь они оба почти спали. Да и какія и зачѣмъ тутъ могли быть между ними слова? Андрей, случайно очутившись на томъ боку, на который хотѣлъ раньше перевернуться, тотчасъ же крѣпко заснулъ; впрочемъ и этому тоже помогла властная привычка тѣла. Заснула и Катя, сморенная своею дневной усталостью. И въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ въ супружеской спальнѣ раздавалось только похрапыванье и свистъ, иногда тихое дыханье ребенка.

Но вдругъ Андрей проснулся. Было еще темно—хотя не совсѣмъ,—было сѣро и холодно. Андрей спалъ безъ сновъ и самъ не понималъ, почему онъ внезапно, будто отъ толчка, проснулся и совсѣмъ не хотѣлъ спать. До такой степени не хотѣлъ, что даже лежать вдругъ стало противно, тошно. Мыслей, впрочемъ, еще никакихъ не было, только сердце грубо, точно съ безсознательнымъ предчувствіемъ позора, билось и мѣшало. Андрей всталъ и уже начавъ одѣваться неизвѣстно для чего,—произнесъ шопотомъ, оправдываясь: „вѣдь я балконъ забылъ закрыть! Хорошъ! Эдакій холодище! Ночи свѣжія“.

Одѣлся не торопясь, аккуратно, и въ чулкахъ вышелъ изъ спальни.

Балконъ, точно, былъ не запертъ. Оттуда, изъ мутнаго отверстія двери, лилась сѣрость и наполняла комнату паутинными тѣнями. Андрей подошелъ ближе, но дверей не затворилъ, а вышелъ на балконъ, по-

стоялъ, и вдругъ сѣлъ на забытый у каменныхъ перилъ стулъ.

Еще раза два-три сверкнулъ многоцвѣтнымъ глазомъ маякъ гдѣ-то далеко-далеко, на дальнемъ берегу за моремъ,—и сгасъ совсѣмъ. Свѣтлѣло неуловимо, медленно, но вѣрно. Не очень было холодно, только свѣжо и влажно. Море, неподвижное, казалось совсѣмъ теплымъ подъ бѣлымъ пушистымъ паромъ, словно подъ мѣхомъ. У балкона, тѣсня его, строго стояли черные лавры, не облетающіе—и все-таки осенніе, свѣжіе, тихіе, крѣпкіе. Ничто не шевельнулось, не шелохнулось, ни море не шептало, ни деревья не двинули листомъ, не встревожили мудрую тишину ожиданія. Тишину ожиданія осенняго разсвѣта.

Душистая, нѣжная и грустная свѣжесть обняла Андрея.

„Что это, Боже мой, что это?"—съ тоской и стыдомъ подумалъ онъ. Стыдъ поднимался въ немъ и отъ этихъ осеннихъ, молчаливыхъ, крѣпкихъ деревьевъ, и отъ безмолвно-просторнаго моря, и отъ строгаго, лиловато-сѣраго неба надъ нимъ. Что было съ нимъ? Да ничего, то же, что всегда, то, о чемъ онъ никогда не помнилъ и не думалъ. Что же тутъ позорнаго? Это обычно, такъ всѣ, и Катю онъ любитъ...

Любитъ.

До сихъ поръ, въ часы тоски, безжалостный вопросъ: „какъ любить"? ни разу еще не тревожилъ его отношеній къ женѣ. Былъ съ ними не связанъ. Былъ связанъ съ той, съ давнишней, съ бѣлой дѣвушкой, которой онъ когда-то отдалъ душу; которую онъ, замирая отъ страха, цѣловалъ у пруда. Она здѣсь теперь, близко, она жива, онъ можетъ увидѣть ее.. Онъ, самъ не зная, все время, съ самаго вечера, не-

прерывно только о ней и думалъ. Она не отходила отъ него; она видѣла, какъ онъ не хотѣлъ думать о ней; видѣла, какъ онъ *любилъ* Катю... Вѣдь это то же слово, вѣдь это тоже „любовь", или называется любовью...

„Боже мой, Боже мой, Боже мой"!—безудержно, безсмысленно повторялъ Андрей.—„Вѣдь какъ звѣри, да нѣтъ, хуже, хуже звѣрей, безъ желанья, безъ огня, безъ словъ, потные, теплые, старые, сонные... И такъ всегда, и такъ всѣ, и это—„любовь".

Строгія осеннія деревья, стройныя, крѣпкія и свѣжія, глядѣли на него.

„Ну пусть бы тогда,—думалъ Андрей дальше,—пусть тогда, давно, когда въ тѣлѣ былъ простой, молодой, божественно-звѣриный жаръ, а въ душѣ не было яснаго вопроса „какъ любить"? ну пусть бы тогда, хоть и съ Катей... А теперь? Что же это? Зачѣмъ?"

Не въ спутанныхъ мысляхъ его—а въ самомъ тѣлѣ, въ крови—горѣли стыдъ и отвращенье. Стыдъ передъ свѣжими тѣлами осеннихъ лавровъ, бездвижно ожидающихъ разсвѣта.

„Можетъ быть—она знаетъ",—безпомощно подумалъ Андрей, и самъ не зналъ, кто „она", та ли, близкая женщина, или близкая Мудрость приникшей къ нему природы. „Можетъ быть она знаетъ, а я—ничего не знаю. Только знаю теперь, что *такъ* нельзя, такъ *мнѣ* больше нельзя"!

Бѣлый пухъ на морѣ порозовѣлъ, опрозрачнѣлъ, сталъ мягкимъ и тонкимъ. Лавры чуть замѣтно вздрогнули въ послѣднемъ ожиданіи. Съ неба совлеклась, скользнувъ вверхъ, сѣроватая тѣнь. И вышли, и протянулись отъ одного края неба до другого кровавые мечи,—лучи,—острые и алые.

Встало солнце.

VII

СЛОВО

На западной береговой дорожкѣ весело и свѣтло. Она, ровная, вьется по уступу надъ самымъ моремъ. Море улыбается, свѣтится близко, тутъ же, изъ подъ вѣтвей то густыхъ, то совсѣмъ разступающихся деревьевъ. Справа—высокія стѣны, высокіе сады бѣлыхъ виллъ, и сверху, съ каменныхъ перилъ, на стѣны спускаются длинныя вѣтви, покрытыя то красными, то желтыми цвѣтами, часто-часто, будто нѣтъ вѣтвей, одни цвѣты. Кое-гдѣ, противъ дверей въ стѣнѣ, устроены сходы къ самымъ волнамъ. Тамъ, гдѣ уступъ дорожки выше—это цѣлыя каменныя лѣстницы.

Андрей не пошелъ сегодня въ паркъ на гору, чтобы не опоздать къ обѣду; онъ отправился ненадолго, только сюда, на эту солнечную дорожку.

Сколько здѣсь гуляющихъ, хотя еще совсѣмъ рано! Вотъ двѣ толстенькія австріячки съ двумя, тоже толстенькими, собаченками; вотъ крутобедрая дама, высокая и пышная, лѣнивая и жадная; вотъ ярко одѣтая кормилица, не то итальянка, не то далматка, везетъ въ колясочкѣ чернаго, какъ жукъ, ребенка; молодой, угрюмый патеръ, наклонивъ въ книгу пушистыя поля шляпы, скользитъ у стѣны; два подозрительныхъ молодыхъ человѣка въ желтыхъ башмакахъ и клѣтчатыхъ панталонахъ, съ розами въ петлицахъ, хохочутъ, кривляются на ходу и махаютъ тростями. Хорошенькая пышноволосая дѣвочка-подростокъ, съ тоненькими крѣпкими ножками въ черныхъ чулкахъ, радостно разсказываетъ что-то по-англійски невозмутимой гувернанткѣ, указывая на море. Изъ стѣнъ виллы, отворивъ желѣзную дверь, выходитъ монахиня, вся черная,

съ чернымъ покрываломъ на головѣ, накинутымъ на нижнее, бѣлое, и пересѣкаетъ дорожку, чтобы сойти по узкой каменной лѣстницѣ къ морю.

Монахиня повернула къ Андрею лицо. И онъ узналъ ее тотчасъ же,—это блѣдное, узкое лицо съ розовыми губами, сѣрые глаза, опушенные завитыми рѣсницами, спокойные и далекіе. Онъ остановился на мгновеніе, не взволнованный, какъ будто даже не удивленный. Она молчала и смотрѣла на него, безъ улыбки, ожидая.

Наконецъ онъ двинулся, не отрывая глазъ, подошелъ ближе. Надо же было что-нибудь сказать. Вѣдь въ сущности это все очень просто и естественно. Встрѣтились, потому что живутъ въ одномъ и томъ же маленькомъ мѣстечкѣ. Узнали другъ друга. Она—монахиня, но вѣдь позволительно же монахинямъ узнавать друзей—чуть не дѣтства. Это, то-есть что она—монахиня, конечно, стѣсняетъ Андрея... Но и удивляться особенно нечему. Она всегда была странная. Мало-ли куда жизнь кидаетъ человѣка!

И Андрей, приподнявъ вѣжливо шляпу, стараясь улыбаться, началъ:

— Извините... Если я не ошибаюсь... Мы когда-то встрѣчались...

„Не забыла ли она по-русски?—подумалъ онъ быстро.

— Да нѣтъ, съ Тихономъ говорила“...

Миссъ Май,—монахиня, стоявшая передъ Андреемъ,—не забыла по-русски, потому что сказала ему правильно, съ едва уловимой дѣтской мягкостью произношенія:

— О, да, мы встрѣчались. Вотъ сюда пойдемъ, на лѣстницу, къ морю. Тамъ хорошо. Тихо.

Голосъ у нея былъ тотъ же, не глухой—и не громкій, безъ всякой рѣзкости.

Черное платье ея легко скользило внизъ по ступенямъ. Андрей молча шелъ сзади.

Лѣстница впивалась прямо въ воду; невысокія волны, шелестя, набѣгали на послѣднія ступени. Сверху, съ невидной дорожки, слышенъ былъ шелестъ шаговъ и неясные говоры гуляющихъ,—а можетъ быть это былъ говоръ моря и шелестъ листьевъ.

— Вотъ здѣсь,—сказала монахиня, здѣсь сядемъ. Здѣсь хорошо. Прямо въ море. Море спокойное, вѣтра нѣтъ.

Она сѣла на низкую и широкую, уступами спускающуюся, ограду лѣстницы. Андрей, неловко согнувъ свое большое, тяжелое тѣло, опустился на ступеньку.

— Выше, выше! такъ неудобно!

Онъ пересѣлъ выше, противъ нея, видѣлъ теперь ее всю, — черную на блѣдномъ, сверкающемъ морѣ; только лицо было немного затѣнено покрываломъ.

— Да, это очень странно,—сказалъ Андрей какимъ-то любезнымъ голосомъ.—Вотъ мы и встрѣтились. Кто бы могъ подумать! И какая въ васъ перемѣна...

— Я измѣнилась?—сказала она...

— Нѣтъ, лицомъ не очень... Но...

Онъ все пристальнѣе глядѣлъ на нее. Конечно, лицо измѣнилось: все, что тогда въ немъ угадывалось—теперь можно было видѣть. И оно казалось еще свѣтлѣе и ровнѣе, узкое, обрамленное бѣлымъ покровомъ, прячущимъ волосы. Не измѣнилось главное—это было *ея* лицо.

— Я даже не знаю вашего имени теперь,—продолжалъ Андрей. — Вѣдь поступая въ обитель, кажется, мѣняютъ имя. И мнѣ не приходило въ голову, что вы были католичкой.

— Да, я была католичка. Въ монастырѣ меня называютъ Маріей, сестрой Маріей.

— Сестра Марія... Да... Ну чтожъ. У каждаго своя дорога. Если вы довольны—это все, чего мы можемъ желать отъ судьбы. Каждый ищетъ свое тихое пристанище...

Андрей самъ чувствовалъ, что говоритъ совсѣмъ не то, не такъ, и не тѣмъ голосомъ, какимъ нужно бы. Но говорилъ въ немъ одинъ изъ его Андреевъ, приличный, обыкновенный господинъ, встрѣтившій знакомую. И. казалось,—чего же еще?

— Вашъ монастырь въ Англіи? Вы давно произнесли обѣты?

— Обѣтовъ я не произносила. Живу въ Италіи, около Флоренціи. Пять лѣтъ.

— Ахъ, не произносили?

— Окончательныхъ.

— Какъ вы это по-русски не забыли? Удивительно!

— Я ничего не забываю, если узнаю. По-русски я и говорю часто. Во Флоренціи всегда, давно, вижусь съ русскими. Я Шадрова знаю.

— Ахъ, профессора Шадрова? Онъ теперь въ Италіи? Онъ очень милый.

Марія-Май вдругъ повернулась къ Андрею и, слегка сдвинувъ брови, сказала негромко:

— Андрей, оставь. Говори со мною просто. Мы развѣ для того встрѣтились, чтобъ такъ говорить? Тебѣ трудно, потому что ты ничего обо мнѣ не знаешь, а я все знаю, я отъ Шадрова о тебѣ знаю, и отъ другихъ. Я тебя все время не забывала.

— Знаешь?—пролепеталъ Андрей въ минутной растерянности. — Что ты знаешь? И я тоже не забывалъ.

— Да, можетъ быть. Но мы встрѣтились, я знаю— ты не знаешь. Надо, чтобы я тебѣ разсказала...

Андрей покраснѣлъ и внезапно — не то, что разсердился, но озлобленно взволновался.

— Что? Зачѣмъ ты мнѣ будешь разсказывать? Что мнѣ до тебя теперь? Шадровъ съ тобой говорилъ обо мнѣ. Мы были близки, я ѣздилъ къ нему въ Петербургъ, я былъ съ нимъ одно время откровененъ... Потомъ порвалъ. Что онъ могъ говорить? Что у меня бываетъ своя мука? Ну такъ что-жъ? У каждаго свой червякъ. Съ жиру мы бѣсимся. Мало ли! И вѣдь ты не можешь мнѣ помочь? Я не слышалъ о тебѣ, не зналъ, это правда, но теперь, пожалуй, и словъ не требуется. Твой костюмъ за тебя говоритъ. И мнѣ очень странно, что мы сейчасъ на „ты". Дико. Нелѣпо. Я въ глаза не видалъ ни одной католической монахини, а теперь „ты" говорю. Ты, вѣдь, не отъ міра сего. Ну, а я отъ міра. И мука моя, когда приходитъ, самая мірская. Ну пусть у меня глупый есть вопросъ: „какъ жить?" У тебя онъ благополучно рѣшенъ: совсѣмъ не жить, а Богу молиться, уставы, тамъ, ваши католическіе соблюдать. Еще вопросъ, еще глупѣе: „какъ любить?" Тотъ и подавно рѣшенъ: люби ближняго, какъ самого себя, жалѣй и благотвори... Ну что ты мнѣ будешь это повторять? Я и самъ отлично эти штуки знаю...

— Постой, Андрей...

— Нѣтъ, нѣтъ! Все ясно. Ты меня ни въ чемъ не убѣдишь, да и не нужно мнѣ... этого. Оставь меня, какъ я есть. Поговоримъ просто. Я, конечно, уважаю чужія убѣжденія, чужія вѣрованія... И твои одежды...

— Эти одежды я скоро сниму,—сказала Марія.

Онъ поглядѣлъ на нее въ удивленіи.

— Снимешь? Уйдешь? Разочарованіе?

— Нѣтъ, не разочарованіе.

— А что же? Именно—разочарованіе. Я не ребенокъ, сестра Марія... Я почти старый человѣкъ, кое-что знаю,

кое о чемъ могу здраво судить. Да... Экій я! Я долженъ былъ сразу понять, что ты — романтическая натура. Тебя, конечно, не нравственность плѣняла тутъ, а экстазы... Въ католичествѣ этому особый просторъ... Ты, конечно, мечтала быть этакой святой Терезой, отказывающейся отъ всего ради небеснаго жениха. Почему же вдругъ разочарованіе?

— Андрей, вѣдь я хотѣла разсказать... А ты не слушаешь. Обо мнѣ самъ говоришь. Чего не знаешь. И сердишься. Помолчи. Успокойся.

Андрей замолчалъ съ нехорошей душой. Ему было стыдно. Онъ говорилъ почти съ грубостью.

— Ничего,—сказала Марія.—У тебя очень наболѣло. Оттого ты такой.

Онъ улыбнулся, жалко и довѣрчиво.

— Не знаю... Иногда очень болитъ,—а то ничего... Какъ будто ничего нѣтъ. Живу, работаю... И ничего. Я бы хотѣлъ, чтобы всегда такъ и шло.

Марія покачала головой. Зеленоватыя воды бормотали у ея ногъ, и онъ какъ будто къ нимъ прислушивалась.

— Тогда, Андрей, давно,—помнишь? Тогда я многаго еще не знала. Была неправа. Говорила — любовь проходитъ. А она не проходитъ.

Андрей молчалъ.

— Потомъ я жила, много училась, думала. И о тебѣ все время; и обо всѣхъ. Искала.

— Чего искала?

— Слова.

— Какого слова?

— Одного слова. Чтобы ужъ въ немъ все было, если его понять. Безъ слова нельзя. Можно знать безъ слова, но тогда только для себя. А для другихъ, для всѣхъ...—

она затруднилась—то-есть чтобы съ другимъ вмѣстѣ дальше узнавать, дать ему, если ему нужно,—какъ же безъ... одного слова? Въ словѣ одинъ другому... другъ другу... и всѣмъ—передаютъ.

— Я не понимаю, — сказалъ Андрей сухо. — Какое слово? Что передаютъ?

— Можетъ быть я не вполнѣ хорошо говорю. Но я иначе не умѣю. Ну вотъ, о твоемъ: какъ жить? какъ любить? Ну и все вообще... Вѣдь всѣ, много-много людей думаютъ и мучаются, и уже знаютъ, что такъ, какъ они живутъ и любятъ—такъ... не очень хорошо... Понимаешь? А какъ иначе—не знаютъ. И если бы я и знала какъ иначе,—то что жъ? Надобно не это, а слово, въ которомъ это вмѣщалось бы, и чтобы слово говорилось, и открывалось—многими вмѣстѣ... Кто не знаетъ одного слова—тотъ еще ничего не знаетъ.

Андрей усмѣхнулся, криво и невесело.

— А ты знаешь такое „слово"? Да, кто „слово" знаетъ—тому всѣ пути открыты...

Но она не поняла его игры словъ, можетъ быть потому, что не достаточно хорошо знала по-русски. И продолжала серьезно:

— Я искала слова, и нашла... И другіе искали, какъ я—и нашли. Слово соединяющее. И такое, въ немъ все...— она протянула къ Андрею сжатую бѣлую руку, худую, обвитую четками.—Разомкни его только, а тамъ уже все есть...

И нѣжно и медленно она разжимала блѣдные пальцы.

— Это слово „монастырь?" Отрѣшеніе отъ міра? Или экстазъ? Или ты не въ монастырѣ его нашла?

— Я вездѣ его нашла. И въ монастырѣ мнѣ нужно было... А ты не понимаешь. Ты все думаешь,—слово о томъ сейчасъ же, *какъ* жить. Жить—въ экстазѣ или въ

отреченіи, или еще *какъ* нибудь. Слово—не то. Слово не *какъ жить*, а въ словѣ, если его взять и раскрыть—можно увидѣть все о жизни.

Она помолчала.

— А изъ монастыря я теперь уйду. Имъ не нужно, у нихъ свое. Скоро уйду.

— Куда уйдешь?

— Къ другимъ людямъ. Къ тѣмъ, которымъ нужно.

— Къ кому же это? Къ бѣднымъ? Къ несчастнымъ?

Она взглянула удивленно.

— Къ какимъ бѣднымъ? Можетъ быть и къ бѣднымъ. Къ тѣмъ, кому нужно слово, кто его искалъ, какъ я.

— А ты знаешь, кому нужно?

— Да, я многихъ уже знаю. Къ нимъ и уйду.

— Кто же это? Ученики твои? Таинственное проповѣдничество?

Андрей самъ не зналъ, какъ случилось, что онъ говорилъ съ Май, съ Маріей, такимъ голосомъ. Но внутри у него все дрожало, не то отъ злобы, не то отъ ненависти къ себѣ, совсѣмъ уже непонятной.

Марія была спокойна.

— Проповѣд-ничество?—повторила она тщательно.—Нѣтъ, нѣтъ. Они тоже, они сами знаютъ слово. Мы вмѣстѣ знаемъ. Слово—оно тоже и знакъ, для сообщенія.

— Масонскій орденъ это, что ли? Или теософское общество какое-нибудь? Или Армія Спасенія?

— О, нѣтъ, Андрей, ты все не о томъ, не такъ. Я о словѣ говорю, которое землю, міръ наполняетъ, а ты о разныхъ обществахъ, о теософіи... Нѣтъ, не теософія, нѣтъ, не армія спасенія...—Она улыбнулась.—Люди, которые знаютъ,—ихъ еще немного...—И они всѣ русскіе, какъ ты. Но слово для всѣхъ нужно, то-есть можетъ быть нужно.

Андрей снялъ шляпу и провелъ своей красивой рукой по волосамъ.

— А мнѣ, что же, ты не скажешь этого слова? Или мнѣ, по твоему, не нужно?

— Нѣтъ тебѣ нужно. Я тебѣ скажу.

Андрею вдругъ стало страшно. Здравый смыслъ повторялъ ему, съ убѣдительностью, что все это явная чепуха и нелѣпость, что никакого такого „слова“ нѣтъ и не можетъ быть, и вообще какая-то не то придурь, не то сумасшествіе въ этомъ свиданіи и разговорѣ— однако ему было страшно. А вдругъ есть слово? А вдругъ она сейчасъ скажетъ — и все перевернется? Что за дѣтство!

Марія задумчиво проговорила, глядя поверхъ шепчущей воды, на далекіе, опаловые острова.

— У тебя ничего нѣтъ теперь, ни людей, ни жизни, ни вотъ этой воды подъ небомъ... Потому что оно все только въ словѣ горитъ... А слово—въ немъ...

— Ну,—Богъ, что ли, это слово?—почти закричалъ Андрей.—Богъ всяческая во всемъ? Разлитъ въ природѣ? Пантеизмъ? Умру — съ тучкой сольюсь? Это, что-ли?

Май покачала головой, грустно и тихо.

— Андрей, Андрей, прости меня. Не бойся. Я теперь не скажу тебѣ слова. Ты самъ подойдешь, тогда можно сказать. Я тебя не оставлю. Ты теперь только помни, что *оно есть*.

Андрей весь поникъ и утомленно молчалъ.

— И я люблю тебя,—прибавила Май.

— Любишь? А я... не знаю, люблю-ли тебя. Я теперь ужъ совсѣмъ ничего не знаю.

— Ты только помни, что все—есть. Это помни.

Она сказала и повторила настойчиво послѣднія слова.

— Ну, я буду помнить, — съ покорной безпомощностью произнесъ Андрей. — Я буду. Ты не оставишь. А другіе, не тѣ, которыхъ „немного", а всѣ другіе? Ты въ монастырѣ жила. Ты не знаешь. Жизнь грубая, черная, простая... каждый день. Муть у всѣхъ. Больные всѣ, и ѣсть хотятъ и смерть...

— И смерть?—спросила она.

— Да, да, вотъ еще одно... Еще одинъ, третій вопросъ...

Онъ торопился, точно боялся, что забудетъ то, что вдругъ ему стало ясно.

— Какъ жить, да. Какъ любить, да. И еще... и еще— какъ умирать?

Она молчала.

— Или это тоже есть въ словѣ? Есть?

— Да, есть.

Они замолчали, и оба молчали долго. Сверху, съ невидной дорожки, уже не слышно было шелеста шаговъ и говора гуляющихъ, только вода шепталась. По морю пошли блѣдныя, шелковыя полосы.

Марія поднялась.

— Прощай, — сказала она. — Мнѣ пора. Ты скоро уѣдешь. Я тоже уѣду. Но мы еще увидимся. Прощай.

И она ушла, а Андрей остался, и долго сидѣлъ на каменныхъ ступеняхъ, ни о чемъ не думая, не вспомнивъ о часѣ обѣда.

VIII

ВЪ ПЕРВЫЙ РАЗЪ

Катя очень сердилась, что Андрей опоздалъ. Опять заговорила объ отъѣздѣ.

— Богъ знаетъ, что съ тобой ни подѣлалось здѣсь! Пропадаешь, я безпокоюсь, сижу одна... Чего ни пере-

думаю! Съ горы упалъ, или что... И вялый какой-то. Ну тебя совсѣмъ! Поѣдемъ-ка. Вотъ въ субботу, легкій день. Билеты возьмемъ въ этой конторѣ ихней. Безъ хлопотъ. Завтра же и возьмемъ. Они и за багажемъ придутъ, и все. Вмѣстѣ, что ли, пойдемъ брать? Или ты одинъ?

— Ну хоть вмѣстѣ.

— Да чего ты? Голова болитъ? Напекся за эти дни на солнцѣ то, и сталъ разварнымъ. А тебѣ, вотъ, письмо. Отъ Ивана Алексѣевича, должно быть.

Андрей немного оживился и сталъ читать письмо. Онъ какъ-то отупѣлъ, на все соглашался, не выходилъ по утрамъ одинъ, ничего не читалъ, вечеромъ сидѣлъ молча на черномъ балконѣ и глядѣлъ вдаль, на то потухающій, то вспыхивающій многоцвѣтный огонь маяка.

Иванъ Алексѣевичъ, ихъ земскій врачъ, молодой и работящій человѣкъ, считался пріятелемъ Андрея. Андрею онъ нравился, но и возбуждалъ зависть. Андрей заранѣе зналъ, что напишетъ ему Иванъ Алексѣевичъ. Ну, конечно, станетъ упрекать его въ бездѣльи, и что онъ не имѣлъ права бросать то, что началъ, что нужны руки и энергія, что Андрей опомнится — да будетъ поздно...

Такъ оно все и было.

„... Я надѣюсь и даже убѣжденъ, дорогой мой Андрей Николаевичъ, — заканчивалось письмо, — что чудеса Европы и вся заграничная жизнь встряхнутъ васъ. И полноты у васъ поубавится, оживете, а то на домашней перинкѣ (прошу прощенія у великолѣпной Екатерины Ивановны, цѣлую ручки!) какъ то облѣнились. По вашему темпераменту вамъ такія встряски необходимы. А то окончательнымъ меланхоликомъ станете, а это въ

наше горячее время—дѣло неподходящее. У насъ, подумайте какая нынѣ пошла исторія"...

Слѣдовало длинное описаніе не одной, а многихъ исторій, и разсказывалъ ихъ докторъ живо, съ живымъ, молодымъ и справедливымъ негодованіемъ.

— Ну чтожъ онъ пишетъ?—поинтересовалась Катя.

— Прочти. И онъ упрекаетъ, что съ жиру бѣшусь,—прибавилъ Андрей тише, точно про себя, и слабо улыбнулся.

Катѣ очень понравилось письмо.

— Вотъ видишь! Видишь! Отличный человѣкъ этотъ Иванъ Алексѣевичъ! Что до жены его — не похвалю. Дастся же такое несчастіе хорошему человѣку! Вертунья да и дрянь!

И прибавила:

— Чтожъ, Андрюша, ты думаешь опять взяться за дѣло? Вѣдь ты нуженъ, пойми—нуженъ! Это ясно.

— Да не могу я...—началъ онъ, но оборвалъ и сказалъ просто:

— Не знаю еще. Посмотрю. Тамъ видно будетъ.

Утромъ шелъ дождь, но потомъ прояснилось, стало жарко, и только влажно и душно, какъ въ оранжереѣ. Не сыро, а именно влажно, бархатно. Желтое солнце золотило море и блестящія деревья. Утромъ никто не выходилъ, послѣ обѣда рѣшено было пойти или поѣхать куда-нибудь всѣмъ вмѣстѣ. Соскучившійся въ комнатахъ Митя радовался, прыгалъ и приставалъ ко всѣмъ. Длинные волосы его отъ влажности закрутились въ кольца, и онъ еще больше сталъ похожъ на дѣвочку.

За обѣдомъ Катѣ вдругъ стало нехорошо, и когда поднялись наверхъ—она поспѣшно сняла корсетъ и прилегла на кушетку.

— Нѣтъ, Андрюша, я сегодня не могу. Какъ хочешь, опять одѣваться и идти,—не могу. Надо отдохнуть одинъ день. Вѣдь потомъ ѣхать сколько, нельзя же передъ дорогой...

— Да что съ тобой?—спросилъ Андрей,—что ты чувствуешь? Можетъ быть хуже такъ пролежать цѣлый день безъ воздуха... Отдохни и пойдемъ. Смотри, Митя совсѣмъ пріунылъ.

— Нѣтъ, нѣтъ. Я и къ ужину не сойду, велю сюда все принести. Ужъ я знаю, лучше денекъ отдохнуть.— Ты не бойся, — прибавила она, многозначительно улыбаясь,—это не опасно. Просто, кажется, я опять...

— Что опять?

— Ну, недогадливый Андрей Николаевичъ! Догадайтесь, не такъ трудно!

И она снова улыбнулась, не безъ жеманности.

Андрей догадался. Въ первые годы, когда Катя объявляла ему о своей новой беременности, ему было пріятно, любопытно и гордо. Потомъ онъ привыкъ, принималъ извѣстіе съ равнодушіемъ. На этотъ разъ—оно его поразило. Хотя поражаться рѣшительно было нечѣмъ.

„Ребенокъ,—думалъ Андрей.—Новый ребенокъ, опять, мой. Откуда? Когда же?.. Вѣдь не отъ того, что было нѣсколько дней тому назадъ? Какія глупости я думаю! Но когда же онъ?... Дома передъ отъѣздомъ? Въ Вѣнѣ? Не помню... Совсѣмъ не помню. Все время было, все время, — и ничего не помню. А онъ есть... Такъ странно!“

— Трудно только разсчитать, когда, — продолжала Катя.—Къ веснѣ, пожалуй, въ апрѣлѣ, въ маѣ...

„И она не знаетъ,—думалъ Андрей.—И она, какъ я, не помнитъ и не замѣчаетъ“...

— Мнѣ хотѣлось бы дѣвочку, у насъ дѣвочекъ

мало...—И Катя не безъ сентиментальности взглянула на Андрея.—И мало ихъ у насъ, да и дѣвочки къ матери какъ-то нѣжнѣе. А тебѣ кого хотѣлось бы? Дѣвочку?

— Да,—сказалъ Андрей, несмотря на то, что ему не хотѣлось никакой дѣвочки и даже непонятно было, какъ можно хотѣть кого-то, кого совсѣмъ нѣтъ и могло бы совсѣмъ не быть.

Катя продолжала свое:

— Только дай Богъ счастливо, а то ужъ я намучилась. Да Иванъ Алексѣевичъ утѣшаетъ, теперь говоритъ, ничего, теперь хоть тройней располагайте, теперь вы молодцомъ, только, конечно, раціонально ведите себя, не утомляйтесь...

Солнце горѣло на каменномъ полу. Снизу, изъ сада и съ улицы, доносились голоса, крики дѣтей, стукъ колесъ.

Митя совсѣмъ соскучился на тѣсномъ балконѣ.

— Мамочка! Ма-амочка! Чтожъ гулять! Папа! Иди же!

— Ну иди съ Тихономъ. У мамочки головка болитъ,— сказала Катя.

— Не хочу съ Ти-ономъ, нѣтъ Ти-она, я съ папой хочу...

— Ахъ, какое наказанье! Гадкій, капризный мальчишка! Да перестань ревѣть! Андрей, пойдите, пройдитесь недалеко. Я можетъ, усну. А онъ тутъ ни минуты покоя не дастъ.

Андрей и самъ радъ былъ выйти на воздухъ.

— Ну, куда же мы пойдемъ?—спросилъ онъ своего крошечнаго мальчика, когда они сошли на набережную. На набережной было такъ свѣтло, ярко, влажно и весело, что оба, и Андрей и мальчикъ, улыбнулись.

— Далеко-далеко пойдемъ, на острова пойдемъ, хочешь?—говорилъ Митя, махая рукой.

И вдругъ, увидавъ рядъ широкихъ парныхъ экипажей у тротуара, молящимъ голосомъ запросилъ:

— Папа, а папа! Поѣдемъ лучше, а? Ну что тебѣ стоитъ, папа! Найми вотъ этого, онъ согласится! Далеко-далеко, скоро-скоро! Вотъ этого, видишь лошади у него какія толстыя, онѣ сильныя,—правда? Нашъ Красавчикъ сильный, а онъ худѣе! Правда? Папа! Найми!

Черезъ минуту они катились по влажному тѣнистому шоссе. Сквозь деревья налѣво то сверкало, то опять пропадало море, и каждый разъ казалось выросшимъ, потому что шоссе неуловимо подымалось. Толстыя Митины лошади дѣйствительно оказались сильными, бѣжали быстро, весело и упруго, помахивая короткими хвостами.

Митя былъ внѣ себя отъ восторга, болталъ и захлебывался. Вдругъ, на одномъ изъ поворотовъ, онъ взвизгнулъ:

— Папа, папа! Та тетя! Папа, скорѣй! Я тебѣ не разсказалъ, я забылъ! Папа!

Андрей уже сдѣлалъ знакъ кучеру и лошади остановились. У каменной ограды, по тѣнистому и пустынному шоссе, шла сестра Марія.

На оборвавшійся стукъ экипажа она подняла голову. Андрей спрыгнулъ на землю, Марія шла ему навстрѣчу.

— Здравствуйте,—сказала она, наклонилась и поцѣловала мальчика.—Куда вы ѣдете?

Митя не могъ стоять на мѣстѣ.

— Я тебя сейчасъ узналъ, тетя, тетя! Такъ хорошо ѣхать, тетя! А я забылъ совсѣмъ папѣ разсказать, что ты не наша, здѣшняя, а все понимаешь, какъ наша! Ти-онъ говоритъ, что это потому, что ты монахиня, а

всѣ монахини святыя. Правда? Тетя, ты посмотри, какія лошади! Хочешь, поѣдемъ съ нами? Поѣдемъ! Коляска большая-большая! А они бѣгутъ быстро-быстро...

— Куда же вы ѣдете?—спросила Марія, легко улыбаясь и взглянувъ на Андрея.

— Я, право, не знаю,—сказалъ тотъ нерѣшительно.— Кучеръ называлъ мнѣ мѣстечко, я согласился...

Кучеръ повторилъ названіе, Марія кивнула головой.

— О, я знаю. Я была. Тамъ очень хорошо. Немного далеко...

— Мы далеко, тетя, далеко! Поѣдемъ же!

— Въ самомъ дѣлѣ... — сказалъ Андрей. — Можетъ быть вы могли бы...

— Да, я могу. Я сейчасъ свободна. А тамъ очень хорошо.

Она вошла въ коляску и они двинулись впередъ, еще быстрѣе, хотя дорога и подымалась.

Митя сидѣлъ между ними, и восторгъ его не то, что стихъ, а перешелъ въ какое-то умиленное упоеніе. Мелькали дома, селенія, кабачки съ верандами, увитыми виноградомъ, покраснѣвшимъ и отяжелѣвшимъ; и опять пустынное шоссе, и море налѣво, свѣтлое-свѣтлое, высокое-высокое,—почти какъ небо. Влажной душистостью тянуло изъ виноградниковъ.

— Здѣсь такъ похоже на Италію,—сказала Марія.— Ты не видалъ Италію, Андрей? Вотъ увидишь...

Онъ въ первый разъ сегодня поднялъ на нее глаза. Тонкое, свѣтящееся на солнцѣ лицо ея показалось ему сегодня инымъ — и все тѣмъ же, ея лицомъ, такимъ нестерпимо милымъ и близкимъ — и такимъ далекимъ, точно она не сидѣла съ нимъ рядомъ, и не говорила съ нимъ, и никогда не могла говорить.

Веселье, страхъ и радость вмѣстѣ обняли его. И ве-

селье было такое непривычное, такое простое, точно Митино. Ему тоже захотѣлось говорить, разсказывать что-нибудь, о себѣ, о томъ, что онъ видѣлъ, съ кѣмъ встрѣчался, о томъ, что съ нимъ или вообще случалось. Сталъ ей объяснять, почему въ Вишнякахъ, на хуторѣ, старый домъ пришлось сломать, и какая была возня съ новымъ, а свой кабинетъ онъ устроилъ совсѣмъ такъ же, и балконъ такой же. Перешелъ къ тѣмъ недавнимъ годамъ, когда онъ служилъ въ земствѣ, разсказывалъ, съ чѣмъ и кѣмъ ему приходилось бороться, и какъ случалось побѣждать.

— Ты этого всего не знаешь,—говорилъ онъ, глядя прямо въ свѣтлые глаза Май.—Да и никто, даже у насъ, ничего не знаетъ, кто чуть подальше стоитъ. Сколько нареканій на наше дѣло! У насъ борьба и внѣшняя, и внутренняя. И борьба пока неравная. Враги наши могутъ кричать противъ насъ всенародно,—а мы не смѣй и рта разинуть. Мы подъ сурдиночку, въ закоулочкѣ, въ переулочкѣ... Хлопотали мы о своемъ, земскомъ, органѣ... Куда тебѣ! Я въ Петербургъ даже ѣздилъ... Нельзя. Кричатъ съ другой стороны: земство—это новая бюрократія! Земство отдѣлено отъ народа! Что жъ это такое? Вѣдь ужъ если это говорить... А если бъ ты знала, Марія, какіе люди есть! Простые, энергичные, дѣятельные... Сколько ни имѣютъ,—мало ли, много ли, другой вопросъ,—все отдаютъ. Силъ тратится уйма—да пользы-то на вершокъ. Я не говорю, и въ вершокъ польза—все-таки нѣчто. Вотъ былъ у насъ одинъ человѣкъ—вмѣстѣ мы съ нимъ служили...

Странно! Все прошлое, вся работа, вся жизнь Андрея въ этотъ часъ были къ нему обернуты своими свѣтящимися сторонами. И онъ говорилъ о нихъ искренно, какъ о чемъ-то легкомъ и нужномъ. Даже то, что не

давало ему ничего, кромѣ муки, тяготы, что онъ въ концѣ бросалъ, какъ безсмысленное,—и оно теперь казалось ему не безъ цѣли вкрапленнымъ въ жизнь и достойнымъ разговора и разсказа. О Катѣ онъ не говорилъ,—но естественно; онъ привыкъ не думать совсѣмъ объ этой сторонѣ жизни, или думать о ней послѣ всѣхъ другихъ.

Марія слушала его съ глубокимъ интересомъ и очень внимательно. Можетъ быть боялась чего-нибудь не понять по-русски. Лошади бѣжали все также бодро, и ужъ бѣлѣлось вдали, на крутомъ горномъ уступѣ, остро вдающемся въ море, крошечное далматское селеніе, куда они ѣхали.

— Отчего же ты оставилъ это дѣло, Андрей?—спросила Марія тихо.—Вѣдь ты его оставилъ?

Онъ на мгновенье затуманился.

— Да... Такъ. Оставилъ. Много какъ будто и хорошихъ дѣлъ, а присмотришься... И слабнякъ я. Характеръ какой-то ничтожный. Теоретикъ, можетъ быть... Не знаю.

Маленькая дѣвочка, подпрыгивая, бѣжала за коляской и просила по-итальянски копѣечку. Довольный Митя, которому дали три мѣдныхъ монеты, щедро кинулъ ей двѣ. Дѣвочка засмѣялась и бросила въ коляску измятыя красныя гвоздики.

— А какіе цвѣты во Флоренціи!—сказала Марія.—Такихъ нигдѣ нѣтъ. Розовыя лиліи. Я ихъ очень люблю.

— А я люблю персики,—заявилъ Митя.—Есть персики во Флоренціи, тетя?

— Ну ужъ навѣрно не лучше, чѣмъ въ нашей Вишняковской оранжереѣ,—сказалъ Андрей.—Нѣтъ, ты не узнала бы Вишняковъ, Май!

— А липы, цѣлы? Помнишь, они расцвѣтали?

— Цѣлы, цѣлы! Развѣ я позволю ихъ тронуть?

— У насъ гимнастика есть!—говорилъ Митя.—Когда я буду большой, какъ Боря и Миша,—я тоже буду на гимнастикѣ. Ты къ намъ пріѣзжай. Ты будешь моя, заграничная! Хорошо?

Май улыбалась. Ей тоже, вѣроятно, было весело. Черный покровъ слегка отлеталъ подъ встрѣчнымъ вѣтромъ, и лицо, все на солнцѣ, странно розовѣло, точно тонкій фарфоръ сквозилъ на огнѣ.

— А еще вотъ что я скажу,—рѣшительнымъ голосомъ заявилъ вдругъ Митя. — Когда я выросту совсѣмъ, совсѣмъ большой, вотъ какъ папа и Иванъ Алексѣевичъ, я пойду въ монахи, и буду святой, и женюсь.

Андрей невольно засмѣялся.

— Ну ужъ если пойдешь въ монахи—такъ не женишься. Монахамъ нельзя жениться. Да еще святымъ.

Митя взглянулъ на него со снисходительнымъ изумленіемъ.

— Папа, какой ты смѣшной. Вѣдь я женюсь на монашенкѣ, вотъ какъ тетя. И куплю лошадей, такихъ сильныхъ-сильныхъ, и чтобы хвосты были стриженые, правда? И мы будемъ кататься и по заграницѣ, и вездѣ, и все будемъ видѣть и знать,—далеко, далеко поѣдемъ...

— А насъ ужъ не возьмете? —спрашивалъ Андрей.

— А вы ужъ тогда будете старенькіе-старенькіе.

— Онъ правду говоритъ, – сказала Май, смѣясь.— Но это когда еще будетъ! А теперь мы еще не старенькіе... Неправда ли, Андрей?

Наконецъ, пріѣхали. Кучеръ подвезъ ихъ къ крошечному домику, заявляя, что это „кафе". Въ „кафе" не было ничего, кромѣ сѣрыхъ сухариковъ и мѣстнаго вина, вкуснаго, играющаго яркой розовой пѣной,—но за то оказалась громадная каменная терраса, на самомъ выступѣ, бѣлая, точно висящая надъ моремъ.

Митя бѣгалъ взадъ и впередъ, заглядывалъ за ограду и что-то кричалъ и болталъ. Май облокотилась на широкія каменныя перила и глядѣла въ море. Оно было вездѣ, — и справа, и слѣва, и вверху, высокое, какъ небо, но внизу. Свѣтлое-свѣтлое, легкое-легкое, веселое.

Андрей сталъ рядомъ съ нею, хотѣлъ заговорить, сказать ей... и не посмѣлъ. Она была такая близкая—и такая непостижимо далекая. Всякій разъ, поднимая на нее глаза, онъ это чувствовалъ, и всякій разъ ему казалось, что видитъ ее—впервые.

Когда допито было сверкающее, сладкое, алое вино съ розовой пѣной—они вышли изъ домика на дорогу, и пошли къ рощѣ, которая темнѣла влѣво.

Каменистая тропинка вела въ глубину.

— Пойдемъ, тутъ можно дойти до уступа,—сказала Май.

Она вела за руку ребенка, но скоро онъ побѣжалъ впередъ. Андрей и Марія опять разговаривали. Марія разсказывала ему, какъ жила долго одна, въ Оксфордѣ, и училась...

— А потомъ я была актрисой... Недолго, всего два года.

— Ты? Актрисой? Не можетъ быть!

— Отчего не можетъ быть? Я пробовала... Всѣмъ нравилось. Но мнѣ не понравилось. Я оставила.

— Тогда и ушла въ монастырь?

— О, нѣтъ, о, нѣтъ. Не тогда.

Андрей помолчалъ.

— А ты любила кого-нибудь?—вдругъ спросилъ онъ.

Она тотчасъ же отвѣтила съ простотой:

— Да, любила.—Тебя любила всегда,—прибавила она черезъ мгновеніе.

И Андрею стало опять страшно,—и стыдно за свой вопросъ, за тайный, грубый смыслъ, который былъ въ немъ.

Они дошли до самаго уступа, до обрыва въ море, и сѣли на камни, около низкихъ, крѣпкихъ, уже темнѣющихъ, осеннихъ дубовъ. Митя копошился вблизи, собирая въ пукъ какія-то длинныя травинки.

— Май, — сказалъ Андрей тихо и точно не самъ, точно за него кто-то долженъ былъ это сказать.—Май, я, вѣроятно, люблю тебя. Не оставляй меня. Ты сама говорила... Но какъ же? Что ты хочешь? Я ничего не знаю. Что мнѣ дѣлать? Какъ жить? Если ты знаешь,— отчего не скажешь?

Была тишина-тишина и солнце. Даже Мити не было слышно. И море съ высоты казалось тихимъ и нѣмымъ.

Лицо Май, окруженное чернымъ ореоломъ покрывала, наклонилось къ Андрею. Онъ обнялъ ея голову и поцѣловалъ розовыя, живыя губы. Поцѣловалъ въ первый разъ, потому что ему казалось, что не только ее, тогда, давно,—но и вообще никогда и никого онъ не цѣловалъ до этого мгновенья.

И когда оборвался этотъ, весь свѣтлый, весь подъ взорами солнца и небеснаго моря, поцѣлуй (а онъ именно оборвался, ибо во вторую половину его мига Андрею почудилось, едва-едва, призрачно, что она первая сдѣлала движеніе назадъ), когда онъ оборвался— Андрею стало казаться, что его не могло быть, хотя онъ и былъ.

Они шли назадъ, къ своей коляскѣ, чтобы возвращаться домой, и Марія говорила:

— Андрей, ты уѣдешь, ты будешь опять въ Россіи, въ деревнѣ. Поѣзжай, дѣлай, что хочешь, что можешь любить, что тебѣ кажется справедливымъ, только дѣ-

лай, дѣлай... И ко всему подходи помня, что *есть*.. есть слово, въ которомъ, если раскрыть его,—все горитъ: и жизнь, и любовь, и смерть. Подходи съ этимъ. А потомъ, скоро... ты пріѣдешь во Флоренцію, гдѣ буду я и будутъ люди, которые станутъ тебѣ нужны, а ты имъ.

— Скоро? Когда?

— Я скажу тебѣ, когда.

— Ты мнѣ напишешь?

— Нѣтъ, писемъ не надо. Не напишу. Я еще здѣсь скажу тебѣ. Не сегодня.

Стало быстро темнѣть. Внизъ они поѣхали еще скорѣе. Было не холодно, но свѣжо. Митя, утомленный и довольный, примолкъ, дремалъ. Андрей и Марія молчали.

Уже заблестѣли огни отелей, когда Марія остановила кучера.

— Здѣсь мой спускъ. Мнѣ близко. Я выйду. Прощайте, милые.

Она поцѣловала Митю, который обнялъ ее за шею потомъ, сейчасъ же, поцѣловала Андрея. И ему опять показалось, что это первый поцѣлуй; такой онъ былъ новый... свѣжій, какъ губы ребенка.

IX

ДРУГАЯ БЫ ЖЕНА...

— Тетя эта хорошая, и все хорошее, и лошади хорошія,—полусонно бормоталъ Митя, когда они уже совсѣмъ подъѣзжали къ дому.—Вотъ мамочки-то не было! Ѣздили-то мы какъ!

Андрей вдругъ вспомнилъ Катю. Вспомнилъ, что она—есть, и она съ нимъ, и онъ возвращается „до-

мой"—къ ней. Почувствовавъ себя на мгновенье старымъ, домашнимъ,—онъ почувствовалъ противное безпокойство: а вѣдь Митя можетъ что-нибудь сболтнуть. Катя, какъ онъ ее знаетъ,—сейчасъ же станетъ разспрашивать, пойметъ по своему, можетъ быть вспомнитъ, конечно, приревнуетъ... Не сказать ли Митѣ?.. Но онъ тотчасъ же опомнился. Вотъ до чего можно дойти! Съ ребенкомъ уславливаться во лжи,—и гдѣ? Гдѣ все свѣтъ, правота и правда. Да не нужно этого; какъ тотъ Андрей, который живетъ, ищетъ и страдаетъ, несоединимъ съ Андреемъ Николаевичемъ, спокойнымъ мужемъ и семьяниномъ, и какъ онъ, Андрей Николаевичъ, второй, не можетъ судить и даже видѣть перваго,—такъ и Катя не можетъ увидѣть Май, не можетъ коснуться ея никакими своими чувствами, потому что Май несоединима съ ней. Физически не можетъ ничего случиться. Вѣдь если до конца признать, что Катя *есть*, дѣйствительно *есть*, — то тогда навѣрное *нѣтъ* ни Май, ничего; и не было никогда, и не могло быть, и не нужно.

Они пріѣхали и поднялись наверхъ.

Катя разбирала дорожный сакъ, въ ночной кофточкѣ. Окна были заперты, уже горѣло электричество. Тихонъ угрюмо накрывалъ на столъ. Катя, вѣроятно, велѣла подать ужинъ наверхъ.

— Андрюша!—взвизгнула Катя, бросаясь къ нему.— Вотъ вы наконецъ! Да что же это такое? Съ часу ушли! Бога вы не боитесь! Чего я ни передумала! Ребенокъ въ легкомъ пальто! Что же это?

Она взяла Митю на руки.

— Спитъ совсѣмъ! Гдѣ это вы шлялись?

— Мы ѣздили мамочка...—сонно лепеталъ Митя.— Хорошо такъ ѣздили... Лошади сильныя... Гуляли тамъ... А я кушать не хочу...

— Ну пойдемъ, я тебя уложу. Ахъ, Андрюша, какъ я безпокоилась...

Она унесла Митю въ другую комнату. Андрей сѣлъ въ кресло, закурилъ папиросу, глядѣлъ на угрюмаго Тихона, медленно разставлявшаго посуду. Съ Тихономъ ему было не тяжело; при Тихонѣ ему не казалось, что того, другого, настоящаго міра,—нѣтъ и не могло быть.

— Опять, значитъ, складываться? Забирай одежки, востри ножки?—мрачно проговорилъ Тихонъ.

Андрей отвѣтилъ весело:

— Ну, ужъ не ворчи. Теперь недолго. Скоро опять на хуторѣ будемъ.

— Да мнѣ что? Мнѣ что вашъ хуторъ? Компотъ онъ съ ананасомъ, что ли? Я, Андрей Николаевичъ, еще въ ту пору, какъ мы съ вами изъ Москвы пріѣхали, докладывалъ вамъ, что тѣ мѣста мнѣ недостаточно нравятся. Ежели изволите помнить—я сколько разовъ просилъ, чтобы отпустить меня.

— Да какія же мѣста тебѣ нравятся? Дома не нравится, здѣсь не нравится...

— Здѣсь-то бы еще нравиться? Нѣтъ, Андрей Николаевичъ, сами изволите видѣть, насколь здѣсь неудобно. А что какія мѣста нравятся... Мало ли есть мѣстовъ? Я такъ полагаю, что не можетъ на свѣтѣ удобныхъ мѣстовъ не быть. Гдѣ-нибудь да они есть. Это неслыханно, чтобы человѣку мѣста не было.

Андрей не зналъ, что возразить. Катя, вернувшаяся изъ спальни, раздраженно сказала;

— Опять ты, Тихонъ, за свое? Опять закаркала ворона? О чемъ еще? Ты меня въ гробъ вгонишь когда нибудь, ну ей Богу, этими своими причитаньями!

Тихонъ внезапно озлобился.

— Въ гробъ? Въ какой такой гробъ?—произнесъ

онъ съ удареніемъ, шумно роняя тарелку на столъ.— Такія обвиненія человѣку, я, Екатерина Ивановна, позвольте вамъ сказать, въ первый разъ слышу. Если я вамъ не угоденъ, и даже вы въ такихъ вещахъ меня обвиняете, то ваша воля, покорно прошу, отпустите меня. А что я насчетъ мѣстовъ сказалъ, то, извините, нѣтъ такихъ законовъ, чтобы принуждать человѣка. И всегда буду говорить, ежели мнѣ не достаточно нравится и ежели такое у меня мнѣніе...

— Да замолчи, замолчи, хорошо!—вскрикнула Катя, почти сквозь слезы.

Андрей сказалъ примирительно:

— Ты, Тихонъ, лучше иди внизъ за ужиномъ. Давно звонили.

Тихонъ еще повозился, бормоча тише, точно для себя:

— Отпустить—и кончено. И наилучшее дѣло. Хутора я не видалъ! Жили, слава Богу, съ Андреемъ Николаевичемъ, безъ хутора. Кому какое мѣсто нравится... И никто не указъ, потому что это ужъ не въ силахъ человѣческихъ, а Божье ниспосланье. Да.

Наконецъ ушелъ. Приходилъ съ кушаньями, угрюмый, исподлобья выглядывалъ на Андрея и уходилъ. Потомъ убралъ все и исчезъ окончательно.

Андрей и Катя поужинали молча. Катя почти ничего не ѣла, видимо была разстроена и раздражена.

— Я просто истерзалась, просто истерзалась,—сказала она наконецъ.—Ушли, нѣтъ, нѣтъ,—просто сердце не на мѣстѣ. И вѣдь знаетъ, что мнѣ нездоровится...

— Ну прости, Катя,—сказалъ Андрей деревянно.— Мы проѣхались... Я упустилъ изъ виду, что ты будешь безпокоиться. Что же могло случиться?

— Что? Мало ли! Ахъ, Андрюша!

Она вдругъ встала, подошла, тяжеловато сѣла къ нему на колѣни и прижалась къ его плечу.

— Не стоишь ты, гадкій, чтобъ о тебѣ думали вѣчно, тревожились, какъ я! Другая бы жена и думать забыла, сама бы требовала, а я тебя избаловала. А развѣ мнѣ не горько? Ушелъ, знаешь, что я тутъ одна, больная...

Она разжалобилась отъ своихъ словъ, заплакала немного. И нервы у нея были разстроены. Ей хотѣлось въ одно время и плакать, и нѣжничать, и сердиться, и упрекать.

— Перестань, право, Катя, — сказалъ Андрей, не двигаясь и не отвѣчая на ея ласканія.—Охота разстраиваться. Ничего не случилось, я вернулся.

— Я знаю, что ты вернулся, что ты мой котикъ, да вѣдь было-то какъ! Нѣтъ, Богъ съ ней съ этой заграницей! Поѣздили—и до дому. Правда, котикъ? А то все разстраиваешься, и я—да и ты. Воздухъ, вѣрно, вліяетъ отчасти. Мнѣ тутъ покоя нѣтъ, точно жду все время, вотъ случится, вотъ случится!

— Взвинчиваешь себя,—сказалъ Андрей, зѣвнувъ.

— Ну и отлично, и поѣдемъ домой. Вотъ, говорятъ, женщина прежде всего—мать; мужъ для нея—второе. Нѣтъ, я не такова. Мужъ мнѣ дорогъ, дорогъ... И какъ я ни браню тебя иной разъ, Андрюшончикъ—вѣдь это для твоей же пользы! Ну, поцѣлуй меня!

Она громко и сочно поцѣловала его въ жесткіе усы. Андрей всталъ, съ усиліемъ освобождаясь отъ ея тяжести.

— Чего ты? Спать хочешь? Усталъ?

— Да, усталъ.

— Ну давай баиньки. Завтра рано вставать, билеты на субботу брать. Чего ты какой, правда, хмурый?

Андрей вдругъ съ раздраженіемъ крикнулъ:

— Ахъ, да оставь меня въ покоѣ! Ну такой, ну, сякой! Ровно со мной ничего, просто скучно! Помолчи немного, хоть передъ сномъ!

И ушелъ въ спальню. Катя осталась, изумленная, изобиженная его небывало-несправедливымъ окрикомъ, до того опѣшила, что даже отвѣтить сразу не нашлась, и только черезъ минуту задышала громко, рѣшивъ плакать.

Нѣтъ, никогда еще не видала она Андрея такимъ... даже сказать точно нельзя, какимъ,—но не такимъ, какъ всегда. Что же это? Откуда? Что это будетъ?

Избаловала она его. Вотъ, мужей баловать! Съ другой бы женой посмѣлъ онъ!

X

ВЕСНОЙ

Катя по натурѣ была очень ревнива, и Андрею нерѣдко за эти пятнадцать лѣтъ приходилось переживать самыя нелѣпыя вспышки. Еще не такъ давно она вдругъ приревновала его къ женѣ Ивана Алексѣевича, которую Андрей и видѣлъ-то всего разъ; потомъ къ боннѣ младшихъ дѣтей, ни съ того ни съ сего; бонна плакала, клялась, что Андрей Николаевичъ слова съ ней не сказалъ, и, дѣйствительно, онъ даже не интересовался узнать, какъ ее зовутъ. Катя потомъ каялась и все оправдывалась тѣмъ, что у нея ужъ „такое сердце“.

Это „сердце“ ее начало и теперь, было, смущать: ужъ не приглянулась ли Андрею которая-нибудь изъ этихъ... кружевныхъ да батистовыхъ подметалокъ на пляжѣ? красивыя есть... То-то онъ одинъ по утрамъ бѣгаетъ... Да нѣтъ; здравый смыслъ не позволялъ Катѣ долго останавливаться на этой мысли. Не то. Онъ даже и не

заикнулся, чтобъ остаться здѣсь. И не груститъ нисколько.

Какъ бы то ни было—въ Монте-Карло ужъ она ни на шагъ его отъ себя не отпуститъ. Пробудутъ нѣсколько дней,—а тамъ и домой, маршъ-маршемъ. А дома все обоїдется. Дома дѣла много, раздумывать да разстраиваться некогда.

Въ субботу съ утра (отъѣздъ былъ назначенъ въ пять часовъ) Тихонъ и Катя возились съ укладкой сундуковъ. Андрей одинъ сошелъ въ читальню. Широкія двери были открыты въ садъ. День—опять почти жаркій, солнечный, но море гудѣло и билось о плиты набережной. Бѣлыя и рыжія полосы рѣзали его синеву.

Андрей пошелъ по набережной налѣво, къ тому парку, у начала котораго, на далекихъ камняхъ въ морѣ, была статуя Мадонны.

Въ паркѣ, на очень тѣнистой дорожкѣ,—весь нижній паркъ былъ лавровый,—Андрей сѣлъ на первой скамьѣ. Какъ разъ передъ нимъ—низкая каменная стѣна, отдѣляющая дорожку отъ моря; налѣво и направо—зеленые сводчатые корридоры; и море все видно, и видны мокрые камни, черная груда, гдѣ стоитъ Марія Дѣва, смотрящая въ волны. Онѣ прыгаютъ вокругъ, шумя и туманясь, разсыпаются серебромъ и дымомъ, и отходятъ медленно, съ ворчаньемъ, съ гудѣньемъ, точно голодныя кошки.

А она стоитъ и смотритъ прямо въ море, и видны только складки ея одежды и черный ореолъ вокругъ головы.

Гдѣ-то далеко играла музыка; такъ далеко, что ея не было слышно все время, а только иногда неуловимый вѣтеръ проносилъ ее мимо на теплыхъ крыльяхъ. Проносилъ—и уносилъ за ограду, въ самое море. И

Андрей часто не могъ разъединить ихъ: отъединить волну звуковъ отъ звука волнъ.

Андрей наклонился низко и чертилъ что-то, не думая, на дорожкѣ тростью. Скрипъ гравія заставилъ его поднять голову. Сестра Марія подошла къ скамьѣ и сѣла рядомъ съ Андреемъ.

— Здравствуй,—сказала она.—Ты сегодня уѣзжаешь.

— Да.

— Мнѣ надо было еще разъ видѣть тебя.

— Да, ты обѣщала сказать, когда... Марія,—заговорилъ онъ поспѣшнѣе, перебивъ самого себя.—Еслибъ ты все знала... Ты не можешь знать, что я переживаю. И что я еще переживу! Ты многаго не можешь знать. Я слабнякъ, ничтожество—пусть! А ты мнѣ иногда кажешься—не живой. Да, да, не живой! Говоришь о жизни, о словѣ, и я вѣрю, я не могу не вѣрить, точно это я же себѣ говорю... Точно ты *во мнѣ* говоришь... Но ты сама? Развѣ ты страдала? Вотъ какъ мы, грубые, простые люди страдаемъ въ путахъ грубой, простой любви, кровью страдаемъ? Развѣ ты можешь понять трудъ и боль?

Онъ остановился. Марія молчала.

— Вотъ, ты мнѣ скажешь, когда надо пріѣхать во Флоренцію, и я пріѣду, потому что не могу не пріѣхать..

— Весной,—тихо, чуть слышно, сказала Марія.

— Весной? Пріѣду... Но ты, если и не можешь понять,—прости, все-таки прости, что я мучусь. Съ Катей, съ женой—это пусть. Тутъ я мучусь—но пусть. А вѣдь вотъ ты видѣла моего мальчика... И другіе есть... Какъ же они? Какъ это все?

Марія вдругъ повернулась къ нему—и въ первый разъ онъ увидѣлъ ея лицо—гнѣвнымъ. Спокойно-гнѣвнымъ.

— Скажи: а ты нуженъ твоему мальчику такой

какъ ты есть? Какъ былъ всю жизнь? Ничего не знающій, ничего не помнящій, въ тупой тоскѣ? Что ты хотѣлъ ему дать?

— Ничего... Я и не думалъ о немъ. Я просто любилъ. Или даже не любилъ, а...

— А что? Ну да, не думалъ. Ты думалъ о себѣ. Тебѣ и надо было думать о себѣ. Кто не узнаетъ ничего для себя сначала—тотъ безсиленъ съ другими и ненуженъ имъ. Сначала для себя,—и тогда станетъ ясно что это—для всѣхъ...

— Май, но вѣдь страданье, страданье!

— Такъ что-жъ?—сказала она бодро.—И даже можетъ быть...—послушай, я часто думаю объ этомъ,—можетъ быть и найдемъ слово, и раскроемъ его, и узнаемъ, *какъ* жить,—а жить намъ, по нашему знанію, намъ самимъ,—будетъ уже поздно. Мы только узнаемъ, только раскроемъ... а жить будутъ другіе. Но подумай: если не мы—будутъ искать и страдать надъ этимъ—они. Зачѣмъ же мы отдадимъ имъ наше страданіе, нашу радость? У нихъ будутъ свои, а эти—наши!

Андрей опять склонился низко и чертилъ что-то на дорожкѣ. Они оба долго молчали. Звуки моря, похожіе на гулъ дальняго органа, сплетались съ волнами дальней музыки. А въ самомъ сердцѣ этого гула—была тишина.

— Весной, весной,—проговорила Марія.—Въ самомъ началѣ апрѣля ты пріѣдешь во Флоренцію. Если умрешь раньше — я узнаю. Если я умру — ты узнаешь. Но и тогда все-таки пріѣзжай.

Она глядѣла на него съ улыбкой, въ глазахъ у нея стояли и не проливались слезы. И отъ этой улыбки и отъ этихъ слезъ—ему вдругъ стало горячо и радостно на сердцѣ.

— Марія, я пріѣду. Я люблю тебя. И мы не умремъ такъ скоро. Я пріѣду весной.

— А теперь...

Она, вѣроятно, хотѣла сказать „теперь иди“, но въ эту минуту откуда то справа, изъ-за поворота дорожки, послышался рѣзкій голосъ:

— Андрюша! Андрюша!

— Это Катя,—сказалъ Андрей, вздрогнувъ.—Ищетъ меня вѣрно.

— Андрюша! Андрюша! Гдѣ ты?—опять еще ближе, раздался голосъ.

Андрей хотѣлъ встать, но сидѣлъ. Марія встала первая.

— Иди, Андрей. Иди. Помни, что *есть*, и помни—весной. Иди.

Андрей тяжело всталъ и пошелъ направо, на голосъ. Тотчасъ онъ увидѣлъ идущую изъ-за поворота Катю, запыхавшуюся, со съѣхавшей шляпой. Должно быть она долго и мучительно его искала. Полная фигура ея, затянутая въ синее фуляровое платье съ бѣлыми цвѣточками, сразу заслонила весь солнечный просвѣтъ дорожки.

— Андрюша, вотъ ты, наконецъ! Бѣгала-бѣгала, Тихонъ говоритъ—здѣсь тебя видѣлъ, сюда побѣжала, кричала... Вѣдь за багажомъ сейчасъ придутъ! Прислали сказать, что сейчасъ придутъ!

Она почти плакала, идя съ нимъ рядомъ. На послѣднемъ поворотѣ Андрей обернулся и взглянулъ назадъ.

Марія стояла у каменныхъ перилъ и смотрѣла прямо въ море. Лица ея не было видно,—только складки одежды и черный ореолъ покрывала надъ головой.

Горячая и бодрая радость сжала сердце Андрея. Страданье? Что жъ, пусть и страданье.

Весной, весной!

Пименова, Э.

Политическіе вожди современной Англіи и Ирландіи. Съ 10 портретами. Спб. 1904 г. 2 р. (№ 6).

Рожковъ, Н., приватъ-доцентъ Московскаго Университета и преподаватель Практической Академіи коммерческихъ наукъ.

Учебникъ всеобщей исторіи для среднихъ учебныхъ заведеній и для самообразованія. Спб. 1904 г. 1 р. 10 к. (№ 15).

Тэнъ, И.

Происхожденіе современной Франціи. Перев. съ франц. (№ 10) [печатается].

Файфъ Ч.

Исторія Европы XIX вѣка. Перев. со второго англійскаго изданія *М. В. Лучицкой* подъ редакціей проф. *И. В. Лучицкаго.* Одобрена для ученическихъ библіотекъ среднеучебныхъ заведеній (1-е дополненіе каталога учебн. библіотекъ средн. уч. заведеній 1897 г., № 496). Съ 2 раскрашенными картами Европы и алфавитнымъ указателемъ именъ. Изд. 2-е. Спб. 1904 г. 5 р. 50 к. (№ 8).

Франке, Куно.

Исторія нѣмецкой литературы въ связи съ развитіемъ общественныхъ силъ (Съ V вѣка до настоящаго времени). Съ 39 портретами. Переводъ съ англ. *П. Батина.* Спб. 1904 г. 3 р. (№ 9).

Эндрузъ, Веньяминъ.

Исторія Соединенныхъ Штатовъ послѣ междоусобной войны 1861—62 гг. и до нашихъ дней. Переводъ съ англійскаго *Е. А. Гурвичъ.* Спб. 1905 г. 2 р. 50 к. (№ 17).

II. Изящная литература, исторія, критика и публицистика

Бороздинъ, А. К. (ред.).

Изъ писемъ и показаній декабристовъ. Критика современнаго состоянія Россіи и планы будущаго устройства. Спб. 1906 г. 1 р. 25 к.

Бѣлозерскій, Н. (Ив. Порошинъ).

Записки учителя. Въ 2-хъ частяхъ. Спб. 1905 г. 75 к.

***Мельхіоръ де*-Вогюэ.**

Максимъ Горькій. Произведенія и личность писателя. Съ портретомъ. Переводъ А. Б. Ф. Спб. 1902 г. 25 к.

Войтинскій, Вл.

Рынокъ и цѣны. Теорія потребленія, рынка и рыночныхъ цѣнъ. Съ предисловіемъ *М. И. Туганъ-Барановскаго.* Спб. 1906 г. 2 р.

Горинъ, Н.

Основныя идеи произведеній Максима Горькаго. Съ портретомъ. Спб. 1902 г. 30 к.

Гуревичъ, Л.

„Сѣдокъ" и другіе разсказы. Спб. 1904 г. 1 р. 50 к.

Захарьинъ, И. Н. (Якунинъ).

„Встрѣчи и воспоминанія". Изъ литературнаго и военнаго міра. Спб. 1903 г. 1 р. 75 к.

Карабчевскій, Н. П.

Дѣло бывшаго студента московскаго университета Егора Сергѣева Сазонова, обвиняемаго въ убійствѣ статсъ-секретаря Плеве и рѣчь въ защиту Сазонова. 2-е прибавленіе къ книгѣ „Рѣчи" (при покупкѣ книги „Рѣчи"—безплатно). Изд. 2-ое, испр. и дополн. судебнымъ приговоромъ. Спб. 1906 г. 25 к.

Кеннанъ, Джорджъ.

Сибирь! Въ двухъ томахъ. Переводъ съ нѣм. безъ всякихъ сокращеній. Спб. 1906 г. Цѣна каждому тому 75 к.

Выписывающіе изъ Склада за пересылку не платятъ.—Каталогъ высылается за 7-микоп. марку по первому требованію.

Лемке, Мих. Дуэли журналиста. Спб. 1903 г. 1 р. 25 к.

Мережковскій, Д. С.

Вѣчные спутники. Пушкинъ. 3-е изд. Спб. 1906 г. 40 к.

Грядущій Хамъ. Спб. 1906 г. 1 р.

Дафнисъ и Хлоя. Древне-греческая повѣсть Лонгуса о любви пастушка и пастушки на островѣ Лезбосѣ. 2-е изд. Спб. 1904 г. 1 р. 25 к.

Л. Толстой и Достоевскій. Т. I. Спб. 1903 г. 2 р. — Т. II. Спб. 1903 г. 3 р.

Любовь сильнѣе смерти. Итальянская новелла XV в. 2-е изд. Спб. 1904 г. 1 р. 25 к.

Петръ и Алексѣй. Историческій романъ. Спб. 1905 г. 3 р.

Пророкъ русской революціи. Къ юбилею Достоевскаго. Спб. 1906 г. 1 р. 25 к.

Морсье, де-, А.

Права женщины. Вопросы соціальнаго воспитанія. Переводъ съ франц. Эльтъ. Спб. 1904 г. 50 к.

Перцовъ, П.

Венеція. Съ 25 снимками съ картинъ знаменитыхъ художниковъ. Спб. 1905 г. 1 р.

Ренанъ, Эрнестъ.

Жизнь Іисуса. Переводъ *Е. В. Святловскаго*, безъ всякихъ сокращеній съ 19-го пересмотрѣннаго и дополненнаго изданія. Съ портретомъ Ренана, исполненнымъ геліогравюрою. Отдѣльно портретъ Ренана 20 к., съ перес. 35 к. Спб. 1906 г. 1 р. 50 к.

Розановъ, В.

Около церковныхъ стѣнъ. Въ двухъ томахъ. Спб. 1906 г. Ц. за каждый томъ 2 р.

Ослабнувшій фетишъ. Психологическія основы русской революціи. Спб. 1906 г. 20 к.

Якимовъ, Василій, авторъ книги *„По слѣдамъ голода“*.

Безъ хлѣба насущнаго. Разсказы. Спб. 1904 г. 1 р. 25 к.

III. Философія

Собственныя изданія:

Джемсъ, Уилльямъ.

Зависимость вѣры отъ воли и другіе опыты популярной философіи. Перев. съ англійскаго С. И. Церетели. Спб. 1904 г. 1 р. 75 к.

Жаковъ, К.

Понятіе предѣла въ математикѣ (съ точки зрѣнія логики). Спб. 1905 г. 25 к.

Теорія перемѣннаго и предѣла въ гносеологіи и въ исторіи познанія. Спб. 1904 г. 1 р.

Записки Петербургскихъ Религіозно-Философскихъ собраній (1902—1903 гг.). Спб. 1906 г. 4 р.

Содержаніе: 1. Объ отношеніи церкви къ интеллигенціи.—2. Левъ Толстой и Русская Церковь.—3. О свободѣ совѣсти.—4. Духъ и плоть.—5. О бракѣ.—6. О догматическомъ развитіи.

Минскій, Н. М.

Религія будущаго. (Философскіе разговоры). Спб. 1905 г. 2 р.

Юмъ, Давидъ.

Изслѣдованіе человѣческаго разумѣнія. An Inquiry concerning human understanding). Пер. съ англ. С. И. Церетели. Спб. 1902 г. 1 р.

Выписывающіе изъ Склада за пересылку не платятъ.—Каталогъ высылается за 7-микоп. марку по первому требованію.

Типографія Ф. Вайсберга и П. Гершунина, Екатерининскій кан., 71—6.

BINDING SECT. AUG 26 1966

PG
3460
G5A58
1906a

Gippius, Zinaida Nikolaevna
Alyĭ mech

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY